

НОВЫЙ
МИР

4

1935

Н О В Ы Й

М И Р

**ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И**

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

**К Н И Г А
Ч Е Т В Е Р Т А Я
А П Р Е Л Ь**

М О С К В А

1 . 9 . 3 . 5

Статформат Б/5 176 × 250.

Уполн. Главл. Б—1454. Тир. 57.000. Объем 17 печ. лист. по 64.000 знак. Сдано в набор 16/IV — 35 г.

Подписано к печати 29/IV — 35 г. Техн. ред. В. Белокопъ. Зак. 873.

Тип. им. И. И. Скворцова-Степанова. «Известия ЦИК ССОР и ВЦИК». Москва.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. П. РУСИН. — Маховик, рассказ	5
2. ВС. ИВАНОВ. — Похождения факира, роман, продолжение	29
3. АЛ. РЕШЕТОВ. — Над северной рекой, стихотворение	60
4. А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ. — Цыпленок, пропущенная глава из 1-й книги «Цусима»	61
5. ГЕОРГИЙ НИКИФОРОВ. — Верность, рассказ	64
6. Л. ЧЕРНОМОРЦЕВ. — Тропа большевиков, стихотворение	70
7. М. ЧУМАНДРИН. — Год рождения 1905-й, хроника одного детства, продолжение	71
8. С. ЛЕВМАН. — Абрам Моисеевич, три рассказа	101
9. М. ШЕХТЕР. — Ростепель, стихотворение	122
10. К. ТРЕНЕВ. — «Здесь жил Антон Чехов», рассказ	123

ЛЮДИ И ФАКТЫ:

11. Р. БЕГАК. — Шахта 9—9-бис	130
12. РОМАН ФАТУЕВ. — Певец из Кахаб-Росо	150
13. Н. ШКЛЯР. — Реконструкция фауны	158

ЗА РУБЕЖОМ:

14. Н. КОРНЕВ. — Гембеш, с рис. худ. БОР. ЕФИМОВА	173
15. А. ЮРЬЕВ. — По «Счастливой Аравии»	188
16. МЕЖДУНАРОДНАЯ ХРОНИКА	206

НАУКА И ТЕХНИКА:

17. В. Е. ЛЬВОВ. — Научное обозрение	210
--	-----

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

18. А. ЛЕБЕДЕВ, М. ЛИСЕНКО. — Художник Ф. К. Лехт, с иллюстрациями	230
19. Е. МЕЛИКАДЗЕ. — Густав Курбё	241
20. Е. В. ЖУРАВЛЕВА. — Выставка Б. Н. Яковлева, с иллюстрациями	251
21. ПИСЬМА СТЕНДАЛЯ О ЛИТЕРАТУРЕ, перевод, предисловие и примечания Н. Славятинского	254

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

Б. АНИБАЛ. — А. Грин, «Фантастические новеллы»	266
Г. ТАРПАН. — Л. Соловьев, «Поход «Победителя»	267
В. Е. ЛЬВОВ. — Документ воинствующего идеализма	269

Маховик

Рассказ

П. РУСИН

1

Всю жизнь Ивана Семеновича Пронина мучили жулики. Они преследовали его всюду — эти искатели дарового изобилия. Они ползли на него пешим строем и были похожи на голодную бескрылую саранчу. Они проникали через проходную завода, входили в новый трехсветный цех и нагло становились рядом с ним.

В первой пятилетке они со свистом провалили на собрании переход механического цеха на непрерывку. Свист Гришки Чичурина покрывал всех. Он сидел на передних скамьях и, засунув четыре пальца в рот, налитыми кровью глазами смотрел на Ивана Семеновича. Пронин жестоко схватился с ними тогда, обзывая Чичурина, Зубцова и Канунникова жуликами, хватами и жоржиками.

И, может быть, с тех пор уже ничто не могло успокоить Пронина: ни ударная книжка, хранящаяся в ящике желтого комода, ни тридцатилетний производственный стаж. Не успокаивали его и любовные заботы жены, теплой, широкобедрой Насти. В болтовне горластой хохотушки Клаши он редко узнавал свое счастливое отцовство.

Своею неуловимостью жулики приводили Пронина в отчаяние, и он, сдав обязанности предзавкома, объявил с ними перемирие. Себе он оставил единственное неприступное для них место — свою гордость лучшего производственника.

Одно время Пронин был даже мастером. Но как-то случилось так, что он опять пошел в бригады.

— Я за постами не гонюсь. Но пусть скажут, кто за Прониным переделывал работу?

На это свое бесспорное преимущество Иван Семенович показывал, как на боевой орденом.

В цехе Пронина молчаливо недолюбливали.

И он с какой-то особенной жесткостью вставлял свои реплики, будто отбивался от врагов.

Если говорили в цехе, что Гришка Чичурин сдал в этом месяце в соревновании, то Иван Семенович добавлял:

— Это с потрясения, что проморгал ордер на джемпер змеиного цвета.

Даже у трамвайной остановки, как это было сегодня, невольно подслушав разговор, Иван Семенович не утерпел, привел всё в ясность. Говорили две молодых женщины:

— Вчера я у ней была...

— Ой, правда? Как ее замужество?

— Кооперативом он у ней заведует. Счастливая, в шелковом платье, пианино, торт, шоколад...

Иван Семенович конечно не мог удержаться:

— Чему же вы завидуете, гражданка, что у ней муж вор?

С Прониным невозможно было спорить. Он, как из полного мешка, не глядя, вынимал любой из своих аргументов, и спорщики отступали.

— Знаем, знаем... — прерывал Иван Семенович. — Капитализм не может всех насыпать благами, тогда с чего же он капитализмом будет. А подкормить двадцатого, чтобы девятнадцать голодными ходили, — это не новая, всем известная работка. А ты развез...

Как-то в разговоре седой и неповоротливый слесарь Костянюк сказал при Иване Семеновиче, что все у нас хорошо, только мяса да жиров бы побольше подкинули. Пронин с злорадством вцепился в разговор:

— Человек навсегда доволен быть не может, — с подчеркнутым превосходством ответил он Костянюку. — Человеку дай мяса доотвалу, а он: ветчины бы. Дашь ветчины, а он — белого бы медведя попробовать. Напрасно советская власть лодырей кормит. Вот о чем надо беспокоиться.

Только Сальников, слесарь из его бригады, справлялся с Иваном Семеновичем. Кавалерист, облетавший среднеазиатские пустыни в погоне за басмачами, Сальников был лучшим слесарем в бригаде Пронина. В спорах с ним Иван Семенович всегда сдавал.

— Скажу просто, душевно, в партию не иду, хотя и знаю, что она против жуликов.

— Вот и давай их, — горячился Сальников, — кого в шенкеля, кого в мундштук и шпоры, а которые и сами одумаются.

В таких случаях Иван Семенович открыто смеялся над торопливой наивностью спорщика.

— Голова у тебя золото, — огорчался Сальников, — только вот сердце не в ту сторону запнуто.

После отъезда Сальникова на годовую военную переподготовку Иван Семенович опять вернулся к своим привычкам.

Особенно доставалось в его бригаде способному, но ленивому Гришке Чичурину и седому Костянюку.

Гришка иногда жаловался пучеглазой, грудастой Лизе, ученице ФЗУ, работавшей в шлифовальном. В цехе говорили, что он ее обхаживает и на катке из рук не выпускает до самого закрытия.

— Лиза, тошно мне что-то, как в кватилке. Пронин, чорт, опять начал гонять,

ни в какие ворота не попадешь. Станки, говорит, до обеда заняты, дал нарезать четыре болта клубником.

— Зато объясняет лучше мастера, сразу научиться можно.

Гришка косо взглянул на спецовку Лизы, едва сходящуюся на груди, и отметил про себя — нарочно тесную выбрала.

— Знаем мы этих мастеров, — оглянулся Гришка с раздражением. — Десять лет пилил, на одиннадцатый узнал, что не годится.

А слесарь Костянюк даже секретарю партячейки жаловался, что Пронин требует чуть ли не языком вылизывать детали.

В этом было много верного. Сложная работа бригадира по ремонту станков давно потеряла для Ивана Семеновича обаяние неразгаданности. И здесь он любил щегольнуть своим производственным лоском, требуя от бригады точности и чистоты в работе. С переходом во вновь отстроенный цех он стал еще более требовательным.

После темного гузоновского здания с мелкокалиберным оборудованием новый цех он встретил как академию механики. Поверху рокотали вагонетки кранов. В два этажа громоздились новенькие станки от мелких до мощных «ЗОЭСТ» и «Геркулесов», вращающих многотонные болванки прокатных валов. Бычиной толщины мегалл разделялся на части быстрорежущим голубым лезвием горящего кислорода.

В первые дни Иван Семенович ходил по цеху, как по новой роскошной квартире, — ничего подобного он до сих пор не видел. Но, оглядевшись, заметил подозрительные прорехи: одинарное остекление вершины цеха — холодновато, да два фрезерных станка — мало. Впоследствии это было подтверждено всеми.

Ивану Семеновичу нетрудно было угадать, что работать будет интереснее. Многие ручные способы и спасительный для лодырей «глазомер» — отпадут, и останется, так сказать, чистое творческое вдохновение. Пронин с увлечением работал на сборке станов многократного волочения, устанавливал печи для отжига

проводами, делал воздушный компрессор «Борзиг». Совершенно новой для него была работа по реконструкции машины для сжигания пылевидного топлива. В агрегате были неправильно рассчитаны шестеренки. Иван Семенович разоблачил промах конструктора, а агрегат пошел. За многие работы он получал премии, не замечая в пылу увлечения, что товарищи стали относиться к нему теплее.

2

Но все интересное кончается быстро. И после каждой такой вылазки Иван Семенович возвращался к постоянной своей работе — ремонту станков. Снова становился замкнутым наблюдателем и пропускал мимо все, что прямо не касалось его цеха или не обещало ему новой интересной работы.

На заводе в те дни удачно шли опыты с прокатом листовой стали. Втихомолку Иван Семенович радовался, что граница на этом деле не получит больше ни копейки. Но, когда в связи с этим было решено установить второй мощный маховик в листопркатке, Иван Семенович заволновался. Установка махины в двухэтажный дом обещала настоящую работу высокого класса.

Ему приходилось наблюдать, как англичане устанавливали старый, гузоновский, маховик. Тогда он работал слесарем. Собрали, пустили. Маховик добрал установленную скорость, но левый подшипник начал греться. Переделывали больше месяца; снова пустили — греться стал правый. Ивана Семеновича подтолкнула догадка. Он бросился к крышке подшипникового насоса, неловко открыл ее и пролил масло. За любознательность, без разрешения старших, мастер дал ему оплеуху. Но, к счастью, все обошлось благополучно, — Ивана Семеновича не уволили. Через шесть месяцев установки и три месяца пусковых англичане сдали маховик Гужону. Иван Семенович подсмотрел тогда, отчего грелись подшипники. С тех пор в него в'елась мечта когда-нибудь самому установить громадину, которая пойдет с

бесшумным вздохом, сшибая ветром фуражки с рабочих.

Пронин осторожно выяснял, спрашивал про новый маховик: какой, откуда придет, когда? Его интересовало главное — кому будет поручена установка. По мнению Ивана Семеновича, одно из основных свойств жуликов — навязчивые просьбы и уверения, по неотразимым законам переходящие в угодничество и подхалимство. Поэтому он больше всего следил за тем, чтобы никто не подумал, что он, Пронин, сам набивается с установкой маховика.

В свободные минуты Иван Семенович начал забегать в листопркатку. Он предположительно допускал, что за ним следит кто-то хитрый, похожий на него, Пронина. Поэтому, прохаживаясь вдоль прокатных станов, он демонстративно загибал руки назад, как на прогулке. Такой вид вполне удовлетворял его своей легкомысленностью, и он считал себя непроницаемым для отгадчика. Строго держась прямой, — по стыку чугунных плит пола, — Иван Семенович шагами измерял длину будущего вала и прикидывал вчерне место и площадь гнезда для нового маховика.

Он заметил, что работа в листопркатке шла на приподнятых темпах. В конце цеха, как всегда, мерцали спицы маховика и шевелились и плыли отяжелевшие провесы манильских канатов. С грохотом летели в обжим валов осыпанные шершавыми искрами малиновые листы стали. Складальщики с решимостью велосипедистов закидывали ногу с деревянной подошвой на сгибаемые раскаленные листы и в следующее мгновение бросали их под челюсть ритмического пресса. После освидетельствования микрометром узкие листы уплотнялись в штабеля. На горячих полосах написанное мелом выгорало и становилось желтым: марка «М».

Впервые Иван Семенович увидел в листопркатке грузного немца в сиреновом пальто и тройке. Это был консультант, недавно выписанный из Германии. Он ходил с микрометром в руке, и в промежутках между грохотом Иван Семенович слышал его сытый, играющий голос:

— О, да, это есть возможно!

3

В дни жестоких, припадочных морозов на завод прибыли девять платформ, закрытых брезентом. Их толкнули на первое время в угол заводского двора около свалки жестяных обрезков и бракованной проволоки. Брезент на платформах ездывался нелепым оснеженным косоугором.

В обеденный перерыв, оттягивая края брезента и осыпая сухой снег, Иван Семенович исследовал прибывший груз. Далеко запуская руку с широкой короткопалой ладонью, Иван Семенович ощупывал ребрастые детали маховика. Даже на морозе руки его не теряли своей особенной чуткости. В цехе часто удивлялись способности Ивана Семеновича на ощупь, по шлифовке, узнавать сорта стали.

В маховике было восемь тысяч пудов. Иван Семенович обошел все платформы, ошибка исключалась, — это была копия гужоновского маховика. Ледяные глыбы чугуна были просты и более потрясающи, чем его двадцатилетняя мечта о них. Ему не представляло труда уже видеть эти несуразные нагромождения в теплом, законченном движении.

Спрятав охваченные морозом руки, Иван Семенович подумал, что немудрено и навсегда заохладать в один из таких дней. И, может быть, этот день уже совсем близок. Придет и уйдет, — велики дела! — Пронина не досчитались. А вот маховик, этот надолго останется. С быстрой в сто двадцать километров в час он будет трохотать валами, круглосуточно отдавая салют мастерству установщика. Пусть скажут тогда жулики, где Пронин живой и где мертвый.

В цехе Ивана Семеновича настигла неожиданность. К нему подошел Гришка Чичурин и сказал на ухо:

— Говорят, маховик будет немец устанавливать.

— А-а? Кто сказал? — не сразу понял Иван Семенович.

— Инженер из листопрокатки разговаривал, Погонченков... Немец, говорит, будет монтаж производить.

Ивану Семеновичу нестерпимо захотелось оттолкнуть Гришку и, может быть,

даже ударить: кто ему дал право нахально шептать на ухо? Какое ему, Пронину, дело до маховика?

Иван Семенович резко, мимо гришкиного лица, махнул рукой в угол цеха:

— Иди, смени шестеренки на строгальном!

Чичурин пошел к верстаку. Иван Семенович силился удержать губы, сползающие в сторону. Он стоял, необычно выпрямившись во весь свой небольшой рост. Но ему казалось, что это совершенно непринужденная поза. Мелкие черты его лица были трудно уловимы из-за всегдашней привычки носить кепку глубоко надвинутой на глаза.

На ближайшем «Геркулесе» медленно вращалась пятнадцатитонная болванка. Она была только-что заправлена. Резец со звоном сдирал с нее коросту и неровности. Иван Семенович потрогал тупой край болванки. Токарь с подозрением косился на Ивана Семеновича, готовясь дать отпор, если начнутся нравоучения по уходу за станком. Поковыряв коротким пухлым пальцем остаток проволоки на болванке — следы формовки, Иван Семенович вышел из цеха.

Дневные смены шли на последнем получасе к концу работы. Завод тяжело ворочался в лязгах, шумах и всхрапах. Иван Семенович бесцельно бродил из цеха в цех. Старые друзья на ходу показывали ему новые станки и агрегаты. Иван Семенович вскользь осматривал, одобрительно мотал головой и шел дальше. Шел посмотреть на сиреневого немца — чего он стóбит как установщик. В цехе стояло чадное марево, и едва уловимо мерцали спицы десятиметрового маховика. Немца не было. Иван Семенович прошел в соседний корпус — мартенскую.

Он застал выдачу плавки шестой печи. Расплавленный металл всегда действовал на Ивана Семеновича успокаивающе. С широкого глиняного жолоба лавина падала в громадный ковш. Высокий верх перекрытый цеха, всегда погруженный в полутьму, теперь дрожал отсветами и шевелился порозовевшими балками углового, таврового и швеллерного железа. Белый водопад стали освещал толстый слой доломитной пыли на самых верхних

стропилах. Этажом выше люди с лопатами в руках изгибались и танцевали, закрывая подину тонким, ровным слоем доломита. Отражение слепящего света из печи резко очерчивало пляшущие фигуры с их скупыми и сдержанными движениями. Внизу, на канаве, куцая маневрушка отрывисто сигналлила, проталкивая платформы. В перерывах предупреждающе пел рожок крановщика. Люди нехотя сторонились наискось плывущих в воздухе многотонных глыб. На верхней площадке, над головами работающих, длинный хобот завалочной машины, медленно поворачиваясь и вздрагивая, плотно входил в косматое устье пылающей печи.

Иван Семенович докуривал третью папиросу, когда внезапно, обволакивая все звуки и наполняя цех дрожанием, рядом в прокатке завывла глубокая сирена. Это был конец смены.

Дома Ивану Семеновичу стало душно. Он обвинил себя за торопливое взбежание по лестнице и открыл форточку. Морозный воздух клубами забил вниз, вытесняя комнатное тепло. На полу возилась Клаша. Она настойчиво усаживала гольша, который неизменно падал на спину, задирая вверх крашенные ноги. Жена поежилась от холода и внимательно посмотрела на открытую форточку и на мужа.

— Чего вылупилась? — раздражаясь, сиплым голосом крикнул на нее Иван Семенович.

Он шагнул к гольшу и прижал ему туловище ближе к ногам. Кукла раздвинула ноги и под восторженный писк Клаши осталась сидеть, не падая.

— Чего ты уставилась, как нищая? — встал Иван Семенович против жены. — Холодно? Пойди, закрой. Окно стандартное, а ростом тебя папаша не обидел.

Жена встала коленкой на подоконник и захолопнула форточку.

— Я же тебе всю жизнь товарищем была. Чего ж ты кричишь на меня, как ломовой извозчик?

Иван Семенович покраснел и отвернулся от жены. Поужинали молча.

Ночью Ивану Семеновичу неотвязно лезли в голову давнишние, родные поля. Они мелькали, смещались куда-то

наискось и грохотали, будто видел он их сквозь окна встречного поезда. Потом все обрывисто смолкало. И за спиной слышались чьи-то омерзительные хрустящие шаги по жнивью.

4

Задолго до гудка Иван Семенович уже был в раздевалке. Он, не торопясь, повертывал голову, застегивая воротник рабочего пиджака. Лицо его похудело, стало резким и злым. В раздевалку по лестнице спустился Гришка Чичурин, увидел своего бригадира и недовольно вздернул брови. В узком проходе между шкафами Иван Семенович сказал, будто продолжая прерванный разговор:

— Им, заграничным специалистам, станок новейшей марки поставь, да чтоб со всеми приспособлениями, а иначе работать — у них живот болит. Лавочник какой-нибудь приедет, только и умеет распоряжаться, чтобы из ямы песок скорей выгребли, а мы носимся, не знаем, под какой портрет его посадить. А туда же: мы! наша техника!..

Гришка нетерпеливо вывертывал ногами что-то вроде чарльстона и прижимал локтем оттопыренный бок пальто. Но в то же время ему очень льстило, что Пронин разговаривает с ним не как со слесарем третьего разряда, а так, для души.

— У-у, это да. Они к нам прут, как на заработки.

— Надсмотрщики, а не работники, — потеплевшим голосом подхватил Иван Семенович. — Тому шею намылить бы, кто таких специалистов допускает. Выпишут, а за ними тут переделок не оберешься. Ты чего рано пришел-то?

Иван Семенович только сейчас заметил такой несвойственный для Чичурина героизм — притти на работу на сорок минут раньше.

Иван Семенович все это говорил впрочем больше для самого себя. Чичурин он убежденно считал неисправимым очковтирателем. И если говорил сейчас при нем, то для того только, чтобы мимоходом, лишний раз напомнить «соплякам», что они пришли работать на готовенькое.

— В маховике например... — поднял Иван Семенович перед глазами свою короткопалую чистую ладонь. — В нем вместе с валом девять тысяч пудов. А прилепи на спицу десятифунтовую свинчатку, он тебе, по законам центробежной силы, фундамент вывернет, весь цех изуродует, что твой экспресс, только пыль столбом.

— Вот это номер, — размашисто удивился Гришка, роняя из-под пальто норвежский конек.

Конек упал ножом вверх, в дутом металлическом каркасе под лапой темнела трещина.

«Пясть принес, жулик, — догадался Иван Семенович, — оттого и пришел рано».

— До обеда Иванову сменит два болта на центрах, — сразу осипшим и построжавшим голосом сказал он Чичурину, уходя из раздевалки.

Большинство станков в этот день в ремонтно-механическом были загружены срочным заказом. Работа была спешная. На станинах фрезерных, токарных, строгальных, сверлильных и шлифовальных станков синели листы кальки в белой лаутине рисунков. Старые и молодые лица раздумчиво склонялись над чертежами и деталями, измеряя циркулями, линейками и контршаблонами стальные покаты, выступы и пазы.

Иван Семенович держался больше около старых станков, где он чаще всего мог потребоваться. Так он делал всегда, если случалась особенно точная работа. Проходя мимо строгального, Иван Семенович по слуху определил, что станок не в порядке. Не доходя нескольких шагов до станка, он замер на секунду с косо повернутым лицом, как бы соединяя в одну точку слух и зрение. Резец шипел на протяжении всей станины неодинаково, — это была грубая небрежность. Иван Семенович подошел к строгалю и ругательно скомандовал:

— Подтяни третью шестеренку. Теперь смажь. Что? Давай, пускай! — И сам перевел рычаг опять на рабочий ход.

Когда все было сделано, опомнившийся строгаль пробурчал что-то себе под нос, продолжая работать. Иван Семенович проследил за полным оборотом ше-

стеренки и уверенно отошел. Бетонный пол дрожал под ногами. Станки и агрегаты высалали постоянные и переменные ритмы. Наверху свиристел карборундовый наждак, рождая искровый пушистый хвост; внизу дисковая пила оглушительно раздирала листовую металл. По мерцанию света на цилиндрах, дисках, конусах и спиралях Иван Семенович легко читал жизнь цеха, — напряженность и вялость, искусство и неумение станочников.

В среднем пролете цеха Ивана Семеновича остановил токарь Иванов. Молча, с поднятыми на лоб очками, токарь начал мерить кронциркулем стальной вал. Одной рукой Иванов поворачивал патрон на четверть окружности, другой — обхватывал кронциркулем бока вала, каждый раз хмурясь и меняя место промера. Затем он вытер руки, закурил и сказал:

— Работать дальше нельзя, получается овал. Если снять еще стружку, деталь будет запорота.

Иван Семенович приложил раздвинутый кронциркуль к чертежу, — мерка была взята правильно, — и повторил промер. Старый токарь был прав, — еще одна миллиметровая стружка, и тридцатичасовая умелая работа могла пойти прахом, задерживая выполнение срочного заказа.

Начались поиски Гришки Чичурина, которому было поручено сменить болты до обеда. За своим верстаком его не было. Иван Семенович прошел к медникам, рассчитывая накрыть Гришку за паянием конька. Предположение Ивана Семеновича оказалось верным, но только Гришка с самого утра это уже успел сделать и своевременно покинул медницкую. В раздевалке уборщица сказала, что он приходил, открывал свой шкаф и опять ушел. За полчаса до обеда Иван Семенович настиг Гришку в буфете.

Гришка, закрывая глаза от наслаждения,пил молоко и закусывал пшеничным пуддингом. Увидев идущего к нему бригадира, он поперхнулся, отодвинул еду и встал. Доверчивыми и понимающими глазами он посмотрел на Ивана Семеновича. Это Гришке удавалось мастерски, когда он готовился кого-нибудь обмануть. Иван Семенович, встретившись глазами с Гришкой, молча повернул к

выходу из буфета. Гришка пошел за ним к слесарным верстакам.

— После обеда чтоб все было на ходу, иначе вынужденный простой Иванина запишу на тебя, — сдерживаясь, спокойно сказал ему Иван Семенович.

Гришка не сомневался, что сказанное легко может быть исполнено им, также был уверен и Иван Семенович, что Гришка, если захочет, за время обеда справится с нарезкой болтов.

Когда бригадир отошел, Гришка озлобленно стал швырять по верстаку инструменты:

— Весь зеленый, как чорт. Его баба сегодня умучила, так он на мне отыграться хочет.

Седой Костянюк посмотрел поверх очков на Чичурину и строго сказал:

— Ты, парень, язык за зубами придержи, а лучше в работу вникай.

— Ладно, учителя! — презрительно сдвинул брови Гришка. — Будь спокоен, как в лифте. Лысым буду, тоже с твою узнаю.

Гришка Чичурин никогда не признавал себя виноватым по той простой причине, что большинство вещей в мире совсем не от него зависит. Он охотно вникал в самые широкие рассуждения и решал так: если все люди работать будут хорошо, то ему нечего себе ломать голову, надо только радоваться, к чему он и присоединяется. Если же все начнут работать плохо, то дураков нет, — один он за всех не нарабатается.

В любом случае получалось, что Гришка должен всегда оставаться спокойным. И на каждого, кто пытался нарушить его безмятежность, он ополчался, как на врага.

После обеденного перерыва старый Иванин работал с повеселевшим лицом. Болты, укрепляющие центра, были сменены и даже сияли свежей шлифовкой. Выверив вал ресмусом, он пустил резец на последнюю стружку. Иван Семенович, желая сказать Чичурину что-нибудь снисходительное, неожиданно для себя обронил:

— Руки у тебя, Гришка, золотые, только вот сердце не в ту сторону загнуто.

Гришка самодовольно взглянул на Костянюка и сбочил свою русоволосую голову в расплюсненном черном берете.

— Бригадир! Товарищ Пронин, — быстро подошел к Ивану Семеновичу работавший рядом с Иваниным токарь. — Ведь это вредительство, я трехметровый вал запорол.

Руки у токаря дрожали. Это было новостью настолько удивительной, что даже медлительный Костянюк пошел посмотреть. Токарь этот был известен в цехе как мастер, которому «пробы ставить негде». И работал он на новеньком последней конструкции станке «Комсомолец».

После обеда, отлично зная свой станок, токарь перевел суппорт и, как обычно, смело пошел на глубокой стружке. Дойдя до конца вала, он сделал промер. И только здесь обнаружил, что на одной стороне получился непоправимо глубокий с'ем, — на полмиллиметра больше нормы.

Ивану Семеновичу, как только он прошел по валу с кронциркулем, стало ясно — смещение центра. Он заглянул на крепление с внешней стороны патрона. Среди шести сияющих головок болтов были два болта с темными головками от чужого станка. Иван Семенович повернулся к Иванину и велел ему остановить станок. Здесь крепление имело точно такой же вид, только наоборот, как на негативе, — среди шести темных головок две чужих, светлых. У Ивана Семеновича кожа на лбу натянулась и, казалось ему, начала костенеть.

— Чичурин! — повернулся он в сторону верстаков.

Гришка встретил глаза бригадира. Через шум, гудение и жужжание цеха направился он к Ивану Семеновичу. Медленно, обходя разбросанные по полу крупные детали, Гришка шагал и носком правой ноги завертывал внутрь, как делают конькобежцы при поворотах. Черный берет реял над его полным и немного бледным лицом.

— Ты что же, обманом заниматься? — сдерживая себя, спросил Гришку Иван Семенович.

Гришка внимательно оглядел людей, стоящих у холодеющего стального вала

и, не торопясь, будто играя замысловатую партию в шашки, двинул ответ:

— Не обманом, товарищ бригадир, а обменом. Я полагал, что обмен будет целесообразнее.

— А как тебе было приказано?

— Не приказано, товарищ бригадир, а поручено, — еще больше бледнея, продолжал Чичурин. — Я разрешил себе другой вариант, который оказался ошибочным. Но социализм допускает разницу в людях.

У Ивана Семеновича начало костенеть все лицо. Он ощутил совершенно отчетливо, что в эту минуту мог бы уничтожить Чичурина.

— Ты что же делаешь, негодяй, — прорвался через весь цех несвойственно ему громким голосом Иван Семенович.

В эту минуту дисковая пила шла на холостом ходу, значительно уменьшая шум. Лиза, ученица ФЗУ, услышав выкрики Пронина и увидя рядом с ним Гришку, выключила свой свирястящий карборундовый наждачный диск и подошла к перилам. В цехе стало еще тише.

— Я прошу вас, товарищ Пронин, — внятно, отделяя слова, защищался Чичурин, — прошу вас со мной, представителем молодежи, так не разговаривать. Требую прекратить замашки старорежимного мастера.

Сверху, перегнувшись через перила, Лиза вслушивалась в слова Гришки. Закинув за ухо пряди рыжих стриженных волос, она придерживала их у воротника синей спецовки.

— Это вредительство! — стучал Иван Семенович грязной рукой по испорченному валу.

— Я прошу вас соблюдать неприкосновенность личности, — заметив пучеглазый внимательный взгляд Лизы, сорвался на фальцет Гришка. — Может, я завтра пожелаю стать героем труда. Может, послезавтра мне дадут орден!

Гришка с каждой фразой, уже не забывая о смысле, все выше поднимал голос. Наконец, и для него самого стало очевидным, что он сбился. Теперь Гришка желал бы все повернуть в шутку.

Подымая платье и шагая через болванки и заготовки, к Ивану Семеновичу подошла дежурная из конторы. Сквозь рев дисковой пилы она прокричала ему на ухо:

— Вас Горбунов к себе просит.

Иван Семенович заторопился уходить. Костянюку он велел нарезать для Иванина болты, а токарю — подсчитать: сколько стоит вал, работа над ним и вынужденный простой.

— Как в Америке, начинаем работать. Не успели еще со станка брак снять — уже, пожалуйста в кабинет директора, — тяжело усмехнулся про себя Иван Семенович, выходя из цеха.

Гришка поднялся наверх и пожаловался Лизе:

— Пронин, чорт, опять начал гонять, — ни в какие ворота не попадешь.

Лиза с откровенной насмешкой посмотрела на него, пустила мыльную воду и включила наждачный диск. Наждак пронзительно засвистел, из-под струи воды вырвался искровой хвост.

— погоди, Лиза, останови свою лавочку, — скривил Гришка лицо.

— С чего бы это? — громко и равнодушно отозвалась она.

Гришка шагнул к реостату, намереваясь выключить наждак. Быстро и ловко Лиза перехватила его руку.

— Не смей! И уходи отсюда, — не мешай работать.

С посветлевшими глазами она встала между реостатом и Гришкой. Он не узнал этого лица, вчера такого знакомого, с морозным румянцем на беговой дорожке и теплыми губами в темноте. И сейчас было так очевидно, что тесная синяя спецовка может не выдержать объема ее груди и разойдется по шву. Гришка нагнулся, прищурил глаза и, выпятив нижнюю губу, прокричал:

— Подумаешь, комсомолка, промфинпланщица! Я таких ударниц...

Лиза порывисто выключила ток и, держась за рычаг реостата, обернулась к Гришке:

— Я вас больше не знаю, мистер Чичурин в берете.

И снова включенный наждак, осыпая искры и ошеломляя слух, сумасшедше засвистел.

5

В кабинете технического директора Горбунова сидел грузный немец, консультант из листопрокатки, переводчик и молодой инженер со вдавленным с боков, острым лицом.

Первое, от чего насторожился Иван Семенович, когда вошел, — это присутствие немца. Гладко причесанный, плотно прижимаясь к спинке стула, он сидел в своем неизменном сиреновом костюме. Иван Семенович поздоровался с Горбуновым и сел, не снимая кепки.

Горбунов говорил про главного механика. Ивану Семеновичу давно было известно, что главный механик отстранен (он считал это правильным) и что ищут нового. Иван Семенович приготовился коротко объяснить причину аварии со спецзаказом во время своей смены. «Гришку Чичурина выгнать из бригады и с завода» — чувствуя возрастающее беспокойство от присутствия немца, подытоживал про себя Иван Семенович. Он не хотел, не допускал, чтобы немец мог слышать его разговор с Горбуновым. Иван Семенович был уверен, что немец обрадуется этому случаю и потом расскажет у себя дома, в Германии, и лавочники будут смеяться. Непременно лавочники, в этом Иван Семенович не сомневался.

— Мы вот тут уже говорили, — продолжал Горбунов, — и решили остановиться на вас, товарищ Пронин.

— Как это на мне? — невольно покоился Иван Семенович на немца, опасаясь подвоха с его стороны.

Речь шла об установке маховика, не дожидаясь прихода нового механика. Иван Семенович был сбит с толку. Он начал путаться в словах, сипел больше обыкновенного, вынул «Бокс» и никак не мог достать завалившуюся на дно пачки папиросу.

Немец тербил за рукав переводчика и с любопытством смотрел на худощавого и низкорослого Ивана Семеновича.

— Медлить нельзя. Все практическое руководство по установке возлагается на вас, — сказал Горбунов, опять обращаясь к Ивану Семеновичу. — Помогать

вам будет наш новый работник — инженер Винк.

Человек со вдавленным с боков, острым лицом шумно встал и пожал Ивану Семеновичу руку.

— А как же, ведь он... — Иван Семенович чуть не сказал «немец», — ведь он же назначен монтировать...

Консультант из листопрокатки затербил рукав переводчика и замотал головой:

— О, да! Я нет монтер!

Когда Иван Семенович вышел из водоуправления, он почти бегом бросился проверять: там ли стоят платформы с маховиком. Он раньше только предполагал, а теперь был уверен, что кто-то учитывает и взвешивает каждый вчерашний и сегодняшний его день. Значит, он ходит на виду у кого-то, кто интересуется его работой, следит за ним. «А может быть, какая-нибудь часть маховика с трещиной, — уже закрадывалось у него подозрение. — Обязательно надо молотком проверить, чтоб звон был чистый».

Иван Семенович торопился к платформам. Крепкий снег визжал под ногами, и звуки были почему-то двойные и догоняющие.

— Иван Семенович! — Гришка схватил Пронина за руку.

Несмотря на мороз, Чичурин был бледен. Он трудно глотал воздух, черный берет сползал ему на затылок.

— Иван Семенович! — повторил Гришка.

Казалось, в эти два слова Гришка вкладывал и просьбу, и обещание, и быть может, боль за разрыв с Лизой были в этих словах. Иван Семенович строго повернул голову. Перед ним было растерянное, просящее лицо Гришки. Парень, очевидно, впопыхах выбежал из цеха в одной спецовке и стоял теперь на морозе с посиневшими губами.

Иван Семенович гордился тем, что за ним никогда не переделывали работы. И еще не меньше того он гордился своей строгостью. Но сейчас он задумчиво посмотрел на покрасневшие веки Чичурина.

— Иван Семенович, — будто не зная больше слов, твердил Гришка.

— Ладно, иди, замерз ведь... — ободряюще сказал Пронин. — Я сейчас вернусь в цех.

Иван Семенович нашел платформы, покрытые брезентом, на том же месте.

Когда он вернулся в цех, токарь подал ему листок с расчетом стоимости испорченного вала. Подсчет был сделан уменьшенным, особенно по количеству часов работы и простою. И все-таки с Чичурина причиталось к удержанию почти месячный заработок.

— Гришку вырубашь? — спросил токаря Иван Семенович.

Токарь промолчал. Иван Семенович поставил свою подпись.

6

Никогда до этого Ивану Семеновичу не приходилось выполнять такую сложную работу. И главное, что смущало его, — это непривычное обилие людей, которые по-всякому могли решить его судьбу.

Ивану Семеновичу было понятно, что здесь его уже не может, как прежде, вынести на пребень успеха только одно уменьше один-на-один справиться с работой. Ему остро льстило, что именно его назначили руководить таким ответственным делом, но одновременно в нем вставало недоверие к тем, кто должен был выполнять его замыслы. Иван Семенович знал по опыту, что если в таком точном деле каждый сделает чуть-чуть, почти незаметно, по-своему, то самый блестящий замысел разлетится в щепки.

И он, думая про маховик, машинально осмотрел свои короткопалые ладони. Они казались ему нищенски бедными, и он задерживал дыхание, будто оступался в яму.

Он привык выделяться среди товарищей законченностью своего мастерства. К этому он пришел упорными шагами, ни перед кем не заискивая и не надеясь на помощь.

Первые же дни самостоятельной работы у Гужона укрепили в нем недоверие к людям. Тогда он устанавливал большой центробежный насос в квасилке. Помощником ему дали подручного сле-

саря. Насос был собран, установлен и пущен, обгоняя все сроки, указанные в официальных справочниках. Вода из коленчатого зева трубы рвалась водопадом. Радостный и уверенный в себе, Иван Семенович побежал за мастером, чтобы сдать готовую работу. В это время подручный просверлил дрелью отверстие выше всасывающего клапана. Мастер пришел, проверил и сказал:

— Пускайте.

Иван Семенович включил ток. Насос засопел, по-жабьему закурлыкал, и воды — ни капли. Иван Семенович вспотел и был близок к обмороку. Мастер приказал ему идти в контору и вышел из квасилки. Полтора года после этого Иван Семенович ходил низкоразрядным слесарем. После он узнал, что его подручному за пуск насоса прибавили два разряда и выдали наградные.

Сейчас, когда Иван Семенович заходит в квасилку, он лезет в карман и вынимает перочинный нож.

— Хотите, я вам сейчас покажу фокус? Соскоблю вот в этом месте краску, и здесь будет не железо, а олово.

В квасилке об этом фокусе знали. Но Иван Семенович каждый раз настаивает на пари, глаза его при этом странно блестят, и он держит нож наготове.

Он никогда не уставал быть наготове. Даже вне работы, за пивом, среди седых друзей, в трамваях, дома, — всегда он опасался какого-то внезапного фокуса с подвохом. И когда ему была поручена установка маховика, все его правила и привычки относиться к людям освежились заново.

В первую же ночь Иван Семенович остался на заводе. Сорок поденщиков, собственно, и без него могли бы очистить под маховик вторую половину листопркатного цеха. Ничего технически сложного в этом не было. Но Ивану Семеновичу показалось недопустимым — готовить место под приемку маховика целые сутки. «Для озорства еще плиту могут вывернуть на ребро» — вдобавок опасался он. Хотя никто и не додумался бы сделать это из-за бессмысленности такого поступка.

На третьи сутки Иван Семенович выбился из сил. Все это время он не загля-

дывал домой и ни на минуту не отлучался с завода. Около сотни людей работали в три смены. Установка такого громадного маховика для всех была новинкой, везде требовался опытный глаз, — в каком порядке сгружают части, как идет изготовление клиньев для скрепления сегментов окружности маховика. Заливка цементом дыр для опорных подушек, заливка подшипников, точка смазочных колец, муфт. Все это должно было идти одновременно, аккордом. Отставание в какой-нибудь мелочи разрывало слаженность в работе и сводило Ивана Семеновича с ума.

7

В эти дни холод в мертвом столбняке держал заводские дворы. Только высокие стволы труб смело врезались в чистое морозное небо, и над смуглыми стеклами корпусов таяли хлопья пара.

Иван Семенович бегал по цехам, где заготавливались мелкие детали для маховика, забывая надеть пальто: ему было жарко. Он стремительно вникал в суть дела, определял: подведет этот или нет? Расставлял людей, объяснял, показывал. И когда думали, что наконец-то он кончил свою канитель, Иван Семенович неожиданно возвращался для проверки.

Насчет инженера Иван Семенович был спокоен. Винк оказался одним из тех инженеров, которые, умея разбираться в справочниках и чертежах, считали себя законченными специалистами. Иван Семенович наблюдал, как Винк разделял в плитцах дыры под опорные подушки, тщательно вымерял, заносил все в особую записную книжку с золотым обрезом и натянул кругом, как силки, красные, белые и зеленые шнуры. Ватерпасы, уровни и отвесы ограждали углубления и вызывали почтение и медлительность в бригаде из строительного цеха. Иван Семенович терпеливо ждал двое суток. И, когда Винк по обыкновению уехал с завода по гудку, Иван Семенович удвоил смену строителей и в ночь залил углубления портландским цементом. К утру цемент отвердел, формы

были сняты, и вместо ям серыми холмами возвышались гигантские подушки. — Скажите, пожалуйста, — увидев, искренно удивился Винк. — Это возможно только с нашими темпами, только у нас.

И он увел Ивана Семеновича в контору, где показал ему диаграммы хода работ. Винк объяснил, что здесь отражается, как в зеркале, и численность рабочих единиц, и напряженность, и взаимодействие их, и техническая вооруженность каждого часа работы. Проник остался доволен этой беседой. Но с этого дня стал более внимателен к утренней смене, где работал Винк.

Немец Ивана Семеновича тревожил гораздо больше. По цеху немец ходил хозяином, громко разговаривал и на Ивана Семеновича смотрел с нескрываемым дружелюбием. Когда подушки были готовы, немец подошел к ним с рулеткой, попросил подвернувшегося рабочего подержать конец и сделал два параллельных промера вдоль свободной половины цеха. Иван Семенович спрятался за чугунный косогор детали маховика. Он сделал вид, что закуривает, но искоса наблюдал за немцем. Немец смотал стальную ленту, положил рулетку в карман и пошел на другой конец цеха, в сторону грохочущих валов.

«Неужели проверяет меня?» — выступил пот у Ивана Семеновича. И он послал подюжины матюков техническому директору Горбунову.

8

Больше, чем от недосыпания, Иван Семенович страдал от того, что не мог, не успевал все прощупать своими руками. Сварщиков, кузнецов, нормировщиков, слесарей, строителей, чернорабочих и инженеров — всех он желал проверить в самом начале работы, в истоках ее, чтобы всегда успеть задуть ошибку или жульничество.

Но работа шла круглосуточно. И тогда он следил за людьми по движениям рук, по выражению глаз, по походке. Показывают ли они наигранную торопливость, когда замечают его приближение, или это настоящее желание сделать

работу хорошо и скоро? И он стал делать исключения из своих неизблемых правил.

Иван Семенович был вынужден поставить Костянюка на самое узкое место работы — следить за под'емным краном и подавать его в нужный момент. «Настойчивый, добросовестный и опять же партиец» — успокаивал себя Иван Семенович.

Гришка Чичурин оказался незаменимым верховодом всех поденщиков и чернорабочих. Он бегал за Иваном Семеновичем повсюду, каждый раз стараясь заглянуть ему в глаза. Гришка пробовал даже оставаться на заводе на ночь и спать в раздевалке по примеру своего бригадира — три-четыре часа. Но Иван Семенович решительно этому воспротивился, и Гришка стал работать только по две смены в сутки.

За эти дни Гришка сильно похудел, но такого веселого парня еще не видели в листопркатке. Он хороводился с поденщиками и чернорабочими, — большинство из них впервые только пришли на завод. Он их (как и все в листопркатке) называл «колхозниками». Работа их была тяжелая и медлительная — ворочать домкратами части маховика для сборки.

Этот участок работы тоже беспокоил Ивана Семеновича. Но получилось так, что он не мог пока придумать, кем заменить Чичурину.

— Иван Семенович, уже — пригнаю! Дальше что? — прибежал к нему торопливый и запыхавшийся Гришка.

— Уже? — И Иван Семенович шел с ним на место работы.

Он долго проверял, щупал, измерял сделанное, так что Гришке становилось стыдно перед своей бригадой, и он ненавидящими глазами смотрел в затылок Ивану Семеновичу.

— Уже пришабрено... Что дальше? — снова ловил его Гришка.

Иван Семенович брал Гришку под руку, и они вместе лазили по деталям маховика.

В столовой Гришка закрепил постоянный стол за своими двумя сменами. Стол так и назывался — колхозный стол. В первый же день за завтраком

Гришка произнес речь на тему: «Что будет центральной фигурой питания при высшей фазе социализма». При этом досталось заводскому кооперативу и буфету, и затем только Гришка дал ответ:

— Центральной фигурой питания при коммунизме будет конечно не картошка и даже не селедка.

«Колхозники» засмеялись, а зав буфетом подошел и стал оправдываться, — почему сегодня бедное меню завтрака.

В работе Гришка проявлял ненасытную любознательность. Однажды он вдруг усомнился в необходимости маховиков.

— Это, по-моему, устарелая штука, Иван Семенович. Надо поставить просто мощный двигатель и не надо этого верблюда прилаживать.

Иван Семенович силно засмеялся.

— Ты, брат, я вижу, мозгами начинаешь шевелить. Слушай. Инженера я одного знал — тоже вот на тебя был похож. Он спроектировал такой двигатель, чтобы валы таскать. Но оказалось, что лошадиных сил надо в два раза больше в сравнении с маховиком, — значит, удорожание продукции. А самая суть — получались рывки. Маховик же развивает такую инерцию, что ее ничем не заменишь. Тут, брат, ничего не поделаешь, — закон механики. Инерция движущегося маховика все толчки вала принимает на себя, выравнивает их, и вращение идет мягко и ровно, как по маслу.

В обеденный перерыв Гришка со всеми подробностями расписывал «колхозникам» нерушимость величия маховика в мировой технике. Инженера, о котором ему говорил Иван Семенович, он представлял неугомонным изобретателем.

— В конце концов инженер этот стал задумываться. Поехал на северный полюс, снял трусики, сел на самую высокую льдину и открыл среди моржей собрание по вопросу о маховике. Потом вернулся и сказал: «Да. Маховик—это вам не верблюд».

Гришка был неистощим на самые нелепые выдумки. И все для одной цели: чтобы «колхозникам» работалось весе-

лей. Он им писал деловые заявления, любовные письма в стихах, советовал, какую фильму посмотреть. И особенно как ценитель мод Гришка имел неотразимое влияние на них.

— Я тебя так одену, что любая бабочка ахнуть не успеет — и готово.

И Гришка последовательно начинал одевать «колхозника», по очереди загибая пальцы.

— Нет, джемпер дорогой очень, я спрашивал, — не соглашался «колхозник» Караваев.

— Чудак, голова твоя тыква, а чего же я вам говорю. Давайте тогда договор на соревнование между сменами подпишем. Вот вам — хоть по три джемпера покупай. Подумаешь, невидаль — дорого! Нет таких крепостей... А джемпер — это оружие против холода. И опять же — стиль, красота. А красота — это явление хотя и дополнительное, но поразительное.

Рыжеусый «колхозник» мрачно посмотрел на Чичурину.

— Знаем эти агитации, не на первом заводе околачиваюсь.

Гришка сразу оценил противника и круто закончил балагурство.

— Который конечно, в чернорабочих пожизненно ходить желает, то писаться я такому не советую.

9

Пригонка подшипников шла медленно. Гужоновский кран в листопркатке не успевал обслуживать все работы в цехе. Шейки тысячепудового вала покрывали ровным слоем сурика и опускали краном в седла подшипников. Делали полный оборот, и краска указывала, где надо было выравнивать, шабрить. И затем снова красили шейки и опять опускали вал.

В одну из таких ночей Иван Семенович забежал домой отдать жене получку и взглянуть на Клашу. Он тихо вошел в комнату и включил свет. Клаша спала в своей кровати, обнимая ручонкой размалеванную куклу.

— Куда ты лезешь к ней, весь в мазуте, — встретила его жена.

Она лежала в кровати, щурилась от света и до шеи натянула одеяло, припухавшее на груди и на бедрах. В комнате пахло чистой и уютно.

— Тише, дура, ребенка разбудишь, — в нерешительности остановился Иван Семенович.

Дальше все пошло неожиданно и глупо. Иван Семенович думал, что он обьясняется с женой, убеждает ее. Но вышло, что он ругался с ней, продолжая памятную ссору за ужином. Когда он, не раздеваясь, прилег на диван, жена убежденно заметила.

— В подзаборники записался, — по отцовской дорожке пошел.

Иван Семенович поднялся и стал надевать галоши.

— Куда? — не ожидая такого маневра, совсем другим голосом спросила жена.

— На завод, — спокойно ответил Иван Семенович.

Вернувшись в цех, он был поражен. Немец-консультант делал какие-то промеры от вала до печей. Чугунные плиты были вывернуты на ребро. Шел третий час ночи. Гришка Чичурин увидался около немца. Это было похоже на предательство: Гришка не должен работать в этой смене.

После того как Иван Семенович повысил ему разряд, он стал покрикивать на поденщиков и вмешиваться решительно во все. Рыжеусого «колхозника» он даже обозвал жуликом при всей бригаде. Но при Иване Семеновиче он сдерживал свою расторопность.

— Что это? — сналету подошел к немцу Иван Семенович.

— Это он попросил нас помочь ему, — пояснил Гришка, — листопркатные станы пришли на завод...

Немец приветно, как из окна вагона, помахал рукой Ивану Семеновичу. Переводчик, сидя, дремал на холодной болванке. Иван Семенович подсел к нему, выпытывая про немца. Переводчик лениво рассказывал, как немец во время войны работал у Круппа, а после — по всей Германии, где находил работу по листовому прокату. Теперь немец будет работать здесь два года, по договору. Иван Семенович слушал, смотрел на

немца, и ему хотелось пойти спать в раздевалку.

После этой ночи Иван Семенович стал замечать у немца масляные пятна на сиреневом костюме: немец, выходит, так же волнуется за свою работу, как и он, Пронин, за свой маховик.

К тому же немец оказался очень разговорчивым.

— Как готово? — спрашивал он и протягивал открытую коробку с папиросами.

— Скоро готово, — отвечал Иван Семенович и брал папиросу.

И они вполне понимали друг друга.

10

Шел четвертый месяц установки маховика.

С крыш сорвалась первая капля, отбивая черные линейки на снежных еще тротуарах. В листопротатку скудно проникало солнце; лучи его синели и курились дымом сгорающего масла.

Кран поднимал тысячепудовые сегменты маховика, и толстые подъемные цепи вытягивались с легкостью тонких ниток. С молотком в руках Иван Семенович подходил к каждому сегменту, — пробовал его на трещину, — и гудящая чугунная глыба отплывала к месту сборки.

Иван Семенович ходил по цеху в чистой рубашке, с бритым подбородком. После того, как он уплотнил работу, третья смена была лишней, и он стал ночевать дома. Походка Ивана Семеновича стала неторопливой, он уже приучал себя с достоинством встретить счастливый пуск маховика.

Только Костянюк смущал его своим странным поведением на работе.

Как-то он отпросился у Ивана Семеновича за два часа до конца смены. И с тех пор стал часто пропускать подачу крана. В такие моменты Иван Семенович свирепел только от одной мысли, что Костянюк хочет наперекор ему замедлить пуск маховика. «Не воображай-де, мол, много: я сам — партиец» — так думал иногда за Костянюка Иван Семенович.

Когда Костянюк звал очередную подачу, Гришку било злобное возмущение.

— Даром, что партиец, а жулик. Опять на час задержка.

— Ну, ты, полегче, — охлаждал его Иван Семенович. — С каких это пор все стали жуликами, кроме тебя?

— Я, Иван Семенович, не говорю, — тревожно оглянулся Гришка и вытер низом майки потное лицо. — Только он с рябой уборщицей все шепчется, а вчера я видел — он с цветами в трамвай лез.

Домкратами был поднят четвертый сегмент. Кран освободился только через два часа и поплыл прямо на Костянюка. Иван Семенович видел, как Костянюк молча пропустил мимо себя кран, бросивший цепи в другом конце пролета.

— Ты что же, гадить? — подбежал Иван Семенович к седому Костянюку. — Я не посмотрю, что ты партиец. У меня записано, сколько часов ты украл у государства.

— Мы почти на руках две тысячи пудов держим, крана ждем... За это — под суд... — пытался выступить Гришка в роли прокурора.

У Костянюка запрыгали губы. Он поспешно закрыл их тыльной стороной ладони. Гришка заметил, что у него под очками были ясные серые глаза, как у Лизы.

— Мне таких работников не надо. Можешь сказать в ячейке, — добавил Иван Семенович.

Костянюк медленно, во весь рост, повалился на рыжеусого «колхозника», из осторожности отскочившего в сторону. По чистой случайности Костянюк упал не на чугунные плиты пола, а на кучу окалины. Припадок продолжался несколько минут. Принесли носилки.

Иван Семенович был подавлен. Единственный раз он раскаялся в своей строгости. Перед ним лежал человек, прошедший три войны, человек, которого давно уговаривали уйти на пенсию с полным окладом.

Рябая уборщица суежилась у носилок.

— У него мальчонку автомобилем придавило, в больнице лежит... А вам только промфинплан подавай, аспиды.

Она по-домашнему тепло и заботливо управляла на Костянюке очки и кепку.

Никто из листопрокатки не видел больше на заводе Костянюка. Одни говорили, что он по бюллетеню ходит, другие — на пенсию ушел. Но Иван Семенович каждый день ждал его возвращения. Ему мерещилось заседание с вопросами к нему, к Пронину:

— Как же это ты участника гражданской войны, члена партии, посредника цеха... при всех угробил?

И вместо ответа перед глазами Ивана Семеновича сползала по окалине и вздрагивала костянюкова бледная рука. Каждую ночь сидел Иван Семенович над составлением объяснительной записки в бюро, но она у него не выходила.

— Опять не спавши уйдешь... — тревожилась за него жена. — Иди ложись. Секретарь не может тебе повредить. Это — редкостный человек: он все понять может.

— Иль на свидание к нему ходила? — машинально подшутил Иван Семенович.

— И пойдешь. Думаю: ночевать не ходит, денег не дает — спутался с комсомолкой какой-нибудь. Да еще поругались мы с тобой. Прихожу в твой цех, к слесарям. Секретарь этот мне подвернулся. Я — в слезы, на тебя жалуюсь, денег пятьдесят рублей прошу. Он мне бумажку на двести написал, успокаивает.

— Ой, и дура... да ты с ума сошла? — замер Иван Семенович, переставая раздеваться.

— А кто тебя знает... может, опять запил.

— Когда же это я пил?

— А председателем когда был, там у тебя какой-то Колпенов мешок морковки украл. Ведь ты целый месяц самогон хлестал. Нахлещешься и орешь: «Коммунисты, учить лезут, а сами у голодных морковку воруют». Да еще душишь меня начинаешь...

— Ой, дура!.. — растерянно бормотал Иван Семенович. — Дура со всех сторон, так это было в двадцатом году. Вспомнила бы еще, как мой отец подзаборником слонялся по Проломке.

В эту ночь Иван Семенович не закончил объяснительной записки о Костянюке.

Последний сегмент был закреплен клиновыми чоками. В цехе сразу стало просторно.

— Готово, Иван Семенович, — громко крикнул Гришка. И, подойдя ближе, шопотом спросил: — Дальше что?

— Выверка окружности, оснастка и все. Убери, чтоб в цехе блестело, — распорядился Иван Семенович.

— Как готово? — засмеялся немец и протянул коробку с папиросами.

— Скоро готово, — беря папиросу, весело ответил ему Иван Семенович.

В час ночи закончили выверку окружности. Гришка с «колхозниками» вытирал масляными тряпками густо исписанные мелом сегменты маховика.

— Ну, шабаш, ребятушки, после завтра генерально попробуем нашу машину, — и Иван Семенович отпустил людей.

Утром Иван Семенович, начищенный и подтянутый, ходил по цехам. Это была первая, самая производительная треть утренней смены. Седые соратники громко его окликали и шумно здоровались с ним. Иван Семенович снова рассматривал и оценивал совсем новые, еще невиданные им станки и агрегаты. Завод тяжело ворочался в шумах, лязгах и всхрапах. У Ивана Семеновича непривычно щемило на сердце. Ему хотелось кому-нибудь сказать, что его непреклонная требовательность — от любви к товарищам по труду и к шумящему за стенами завода прекрасному новому миру.

Около столовой Иван Семенович встретил Гришку. Он стоял с Лизой и небрежными движениями оправлял свой новый яркосиний берет. Из радиорас труба над дверями столовой рычал баковой аккомпанемент, догоняя визгливый голос.

— Гриша, — сказал Иван Семенович, — ты бы пошел к маховику, а то какой-нибудь жоржик из любопытства еще песку швырнет в подшипники.

В ремонтно-механическом Иван Семенович перечитал на доске объявления. Все было так же, будто он вчера только

покинул цех. Впрочем одна бумажка привлекла его внимание. Это был именно список, приглашающий лучших производственников прийти сегодня на партсобрание. Список начинался фамилией Ивана Семеновича.

В листопротатке, в чадном мареве, опутанный черными приводными канатами, бесился, тяжело грохая валами, серый от пыли, старый гужоновский маховик. Иван Семенович посмотрел на свой маховик, на черной громадине которого были туго натянуты еще не успевшие загрязниться манильские канаты. Заканчивали мелочи — привинчивали подшипниковые термометры и заправляли концы приводных канатов. Вал на подшипнике сидел, как отличный наездник в седле. Минутная слабость завладела Иваном Семеновичем (задержав на секунду). Он позвонил в строительный цех, чтобы срочно окрасили новый маховик до пуска.

Иван Семенович положил трубку. Он был горд собой и своей родиной — заводом. Но это была такая гордость, которую он никому ни за что не дал бы подсмотреть. Иван Семенович не умел переживать даже малых поражений. И если иногда, очень редко, он сдавал на мелочах, то тем стремительней и непреклонней, проламываясь сквозь любые трудности, одерживал победу в большом. И в такие минуты, больше, чем в другое время, он был очень сдержан и внимателен к окружающим. Внезапно для себя он открывал в людях совершенно неожиданные достоинства, на которые ему хотелось хорошо ответить. Гришка со своей влюбленностью в маховик и в Лизу, секретарь со своим внимательным и теплым взглядом, доверие к нему Горбунова и дружба с немцем, — все это — прочный мир, который не пошатнется от какой-нибудь случайности. Несколько дней назад он купил жене ее мечту — шелковый платок. И понял, как это хорошо, — кремовый шелк над коричневыми бровями Насти. Вчера он принес Клаше прямо с витрины большого черного медведя с зелеными глазами. Даже Винка он готов был извинить за его склонность к легкой жизни в ущерб работе.

Перед концом смены Иван Семенович увидел Гришку в ослепительно белой форме теннисиста.

— Видишь ли, Гриша, — смутился чего-то Иван Семенович, — там маховик будут красить. Надо, чтобы белые разводы они сделали поярче... понимаешь, на корпусе подшипника, и вообще... Я тебе подлишу в двойном размере.

У Гришки мгновенно опустились углы губ, и он внимательно посмотрел на своего бригадира, в его усталые глаза.

— Понимаю, Иван Семенович: белые разводы должны быть пошире, чтобы по ним всегда можно было видеть, чисто ли протерт маховик. И опять же красота... — насильно улыбнулся Гришка.

— Во-во, — подхватил Иван Семенович.

— Затем после окраски, — равнодушным голосом продолжал Чичурин, — надо посмотреть, чтобы кто по неосторожности не сдернул свежую краску, цепями крана например. И потом перед пуском все-таки надо приглядеть за маховиком и вообще.

— Во-во, Гриша... вот это самое...

— Но, товарищ бригадир, — возвысил голос Гришка. — Иван Семенович, — продолжал он почти шопотом, — нехорошо это ты... Я сам сегодня в тройном уплатил бы кому. Я остаюсь, не в этом дело. Но про двойные... это — мелочь. Ты, Иван Семенович, проявил ко мне душевную малограмотность. При коммунизме, по-моему, на это будут нажимать похлеще, чем сейчас на техминимум.

— Гриша, Гриша, — вслед уходящему Чичурину ласково крикнул Иван Семенович.

— Это я пошутил, товарищ бригадир. Иду раздеваться.

И Гришка прощально помахал беретом.

После гудка Гришка до проходной провожал Лизу. В спецовке он был похож на медведя.

— Значит, провалился сегодня наш театр? — спросила Лиза, недоверчиво глядясь в Чичурина.

Гришка шел короткими медвежьими шажками и нетерпеливо вертел в руках театральные билеты.

— Лиза, видишь ли...

— Ах, да, понимаю. Пронин тебя спать начал гонять, — зло сказала Лиза.

Гришка покраснел.

— Чичурина никто не смеет гонять! Я остался сам, это — необходимо.

Лиза молча взяла у него из рук театральные билеты, и мелкие желтые клочья разлетелись по асфальту.

12

На рассвете ударил тяжелый проливной дождь. Гришка сидел на болванке у свежевыкрашенного, сияющего черной краской, маховика. В конце пролета в раскрытые двери было видно, как дымилась под дождем железные крыши. Маховик, половиной окружности сидевший в гнезде, показался Гришке жораблем, идущим в непогоду. Гришка зябко вздрогнул, и непонятными, незримыми путями к нему пришла неожиданная мысль.

Он пошел в электроцех и от имени Пронина дал заявку: немедленно провести сушку маховика по принципу домашних электропечей. Через час весь маховик был окружен спиральными проволоками на подставках. И когда включили ток, проволоки вспыхнули красным накалом.

Утром, ощупывая быстро высыхающую краску, Иван Семенович долго и весело смеялся гришкиной находчивости.

— Иван Семенович, без меня не пускай, я пойду, посплю, — не как просьбу, а скорее как сообщение произнес Гришка.

— Пускать будем во второй смене, без лишнего народа. Иди, успеешь.

Но люди не торопились уходить из цеха. Немец остался после гудка и все смеялся, спрашивал: «Как, готово?» Впервые за все время Иван Семенович увидел Винка в столовой, — значит, он тоже не собирался уходить. После своей смены «колхозник» Караваев, не переодеваясь, сидел у маховика и ждал пуска. Даже рябая уборщица и, что больше всего удивило Ивана Семеновича, рыжеусый «колхозник» заинтересовались маховиком.

Иван Семенович отметил, как постепенно его начинает охватывать волнение. Здесь ему не удалось, как всегда, спрятать от любопытных свою еще не оконченную работу, хотя он понимал, что между официальным пуском и сегодняшним разницы никакой нет. Гришка неожиданно обнаружился то с правой, то с левой руки около Ивана Семеновича. И каждый раз протягивал нужный инструмент для проверки или крепления аматурных частей маховика.

В последние минуты перед пуском наливали масло. Иван Семенович приподнял бидон, проверяя количество взятого масла, прошел к динамомашине и поднял руку.

— Товарищи, начинаем.

Опутанный приводными канатами и наполовину сидящий в земле, маховик мягко тронулся в путь. Было видно, как в черные ложбинки окружности маховика глубоко врезывались белые изгибы манильских канатов. Громадные, редко расставленные спицы лениво подымались в одном конце гнезда и нехотя ныряли в другом.

— Давай, — скомандовал Иван Семенович и положил руку на крышку подшипника.

Спицы замелькали быстрее. Они стали похожи на ребра раскрытого веера и наконец слились в сплошной мерцающий диск. Гришка Чичурин тоже держал руку на подшипнике и, по примеру своего бригадира, не спускал глаз с термометра. Ртуль медленно ползла к красной черте. Крышка подшипника точно ожгла от прикосновения рук и потеплела.

Иван Семенович пять минут держал маховик на четверти установленной скорости оборотов, — температура была нормальной.

— Давай! — помолодевшим голосом еще раз крикнул Иван Семенович.

Гришка нагнувшись берет на брови. Рыжеусый «колхозник» оторопело отошел вглубь цеха.

Раскачивая вздрагивающие канаты, маховик пошел на полной скорости. Его еще не успели обнести заградительным щитом, и водовороты ветра мяли, распахивали, трепали одежду на людях. Черная глыба маховика, казалось, отдели-

лась от своих спиц и, не нуждаясь больше в опоре, плыла по воздуху в собственном законченном движении. Это была скорость в сто двадцать километров в час.

Прошла минута необузданного бега по окружности. На ощупь крышка подшипника была нормальной теплоты, но ртуть скачками приближалась к красной черте. Иван Семенович побледнел и положил на крышку другую руку. В этот момент ртуть рванулась за красный горизонт. Иван Семенович бросился на другую сторону маховика — к правому подшипнику. Через крышку ритмически выплескивалось масло, заливая подшипниковый корпус. Иван Семенович схватил бидон и вылил из него остатки масла. Подшипник продолжал выбрасывать масло на пол, и ртуть уперлась в самый конец шкалы.

— Стоп, стоп, — жалко и растерянно захрипел Иван Семенович.

Он бросился закрывать руками просветы, из которых выкидывало горячее масло. И все увидели, как растерялся Иван Семенович и как удары масла с поразительной легкостью откидывали его руки, словно они были игрушечные.

— Стоп, — зазвенел голос Гришки Чичурина.

Маховик поплыл по инерции.

Не замечая никого, Иван Семенович метался по площадке вокруг подшипника. Масла, ключей, опять масла, — не уставал требовать Иван Семенович. Гришка превзошел себя. Это была почти цирковая работа: он жонглировал инструментами, бидонами и разнокалиберными гайками.

Иван Семенович проверил — медные вкладыши не расплавились. Он перебрал руками смазочные кольца — они были целы. Тогда Иван Семенович внезапно выпрямился. Весь в масле, побледневший, осунувшийся, он схватил грязной короткопалой ладонью Гришку за грудь, пятная его белую рубашку:

— Ты, стервец, не положил прокладку в маслоуловитель...

— Летел — как ангел, сверзился — как домовый, — услышал Гришка веселый голос рыжеусого «колхозника», ко-

торому случившееся казалось представлением в театре.

— Готов к расстрелу, но своими руками направлял войлок, — выдерживая взгляд бригадира, едва слышно сказал Гришка.

Иван Семенович снова нырнул рукой в отверстие крышки, — прокладка была на месте. Все было правильно, все было впритирку. Пустили опять, и подшипник снова стал выкидывать масло.

К маховику подошел инженер Винк.

— Мне, собственно, кажется, по-моему, надо снять муфту.

И тогда Иван Семенович оглянулся и увидел людей. Он не различал лиц. Ему показалось, что там ниже, на чугунных плитах цеха, нет лиц, есть только чудовищно стандартные протезы, нетерпеливо ждущие и ненасытно жаждущие даровой сытости. Его охватил припадок оглушительной ненависти, внезапной и неудержимой, как бешенство. У Ивана Семеновича начала костенеть кожа на лбу, и на мокрых висках резко проступили вены.

— Господин инженер, — не узнавая своего голоса, сказал Пронин, — в каждой муфте по сто пятьдесят пудов, и сажали их на вал в горячем виде. Вы капрасно растратили государственные деньги, приобретая такие знания. Ваша мысль, господин инженер, — технический абсурд.

Винк взвизгнул, как от неожиданного щипка:

— В таком случае, милостивый государь, я прошу вас выбирать выражения...

Иван Семенович почувствовал, что он стоит у какой-то последней черты. Пошатываясь, он сделал два шага в сторону Винка. Инженер торопливо, не оглядываясь, сошел с площадки.

— Вторая смена, — сильным голосом крикнул Иван Семенович, — идите домой, сегодня для вас работы нет! Я вам подпишу в двойном размере.

Пронин нетерпеливо поворачивал голову, и где-то в затылке у него нестерпимо хрустело.

— Чего же вы стоите? Я вам подпишу в двойном.

Рыжеусый «колхозник» громко, икающе засмеялся:

— Ну, и ударников развелось. Я в своей жизни столько воровбьев не видал. Идите домой, — подражал он голосу Ивана Семеновича, — огребайте в двойном.

Гришка снизу вверх смотрел на своего бригадира. И Пронин на площадке показался ему неотразимо похожим на капитана корабля, потерпевшего аварию. «Тогда капитаны стреляются, — в страхе подумал Гришка, — или сходят с ума». Он выхватил ломик из головки домкрата и бросился на рыжеусого. Сшибая людей и спотыкаясь о болванки, рыжеусый отбежал вглубь цеха.

— Ауфвидерзеен, геноссен, ауфвидерзеен, — широким басом уговаривал немец присутствующих покинуть цех.

Ивана Семеновича качнула лихорадочная дрожь. По чугунным плитам пола прямо к нему шел высокий человек в распахнутой шинели. Длинные полы кавалерийской шинели шевелились тупыми складками, как приспущенное знамя на ветру. Человек улыбался, вспыхивая стеклами очков. Он стал всходить на площадку, — крупное неуклюжее тело, седые виски из-под военной фуражки и рубчатый блеск серебряной оправы на очках.

— Костянюк? — нелепо спросил Иван Семенович.

Это был Костянюк. Он взял Ивана Семеновича за плечи и повел его к выходу. Пронина била лихорадка, ему показалось, что от вечернего неба несет нестерпимым холодом.

— Как же это, как же? — бормотал он, чувствуя свою руку в большой и шершавой руке Костянюка.

Костянюк вел его домой. По дороге Иван Семенович заметил, что с ними вместе шла рябая уборщица и широкоглазый мальчик по локоть Костянюку.

— Вот этот твой сынишка? — обрадовался Иван Семенович.

Он затащил всех в кондитерский магазин и взял коробку конфет.

— Ешь, ешь, — совал Иван Семенович в руки мальчику открытую коробку.

Потом он взял полную горсть и стал угощать рябую уборщицу. Длинные па-

лочки розовой пастилы в дрожащих руках его крошились, ломались и мимо пальцев падали на тротуар.

13

Дома Ивана Семеновича испуганно встретила жена. Она не пустила его в комнату и провела прямо в ванную. Она сняла с него мокрую от масла одежду, чистолом вымыла ему руки и передела его в сухое.

Иван Семенович молча подчинялся прикосновениям мягких теплых рук жены и казался совершенно спокойным. Он заметил на ней новый платок. Кремовый шелк охватывал ей голову в виде чалмы. Легкая материя лоснилась над ее коричневыми бровями и мягкими провалами лежала на макушке. Иван Семенович потянулся поцеловать жену в шею.

— Ну, тихо! — уклонилась она от его мыльных губ.

За столом Иван Семенович отказался от ужина. Когда жена подала чай, он ложечкой громко помешал в стакане и решительно отодвинул его на середину стола. Походив по комнате, он заглянул в кроватку, — Клаша спала. Из-под одеяльца у нее высунулась ножка. Иван Семенович осторожно ее прикрыл и вернулся к столу.

— Что ты, Ваня? — тревожно спросила жена

Иван Семенович посмотрел на нее внимательно, ищаще, как глухой.

— На заводе там... Что с маховиком, не придумаю. Какие-то микробы, что ли, завелись в моей голове, — Иван Семенович пальцами потер виски. — То они мягкие какие-то, как порошок, а то какие-то каменные, прямо думать ни о чем не хочется.

Жена тихо заплакала.

— И чего ты меня мучаешь всегда...

— Дурочка, чего ты, — спохватился Иван Семенович, — слезы тут—ерунда.

Ночью Иван Семенович долго ворочался в постели. Он заново перебирал в памяти ход установки маховика с самого начала. Он сличал фрагменты рабочих чертежей с готовыми деталями, перед ним с ненужной яркостью вспыхива-

ла иногда какая-нибудь пустяковая царапина на маховике, и он даже припомнил, отчего она получилась. Он мысленно разобрал правый подшипниковый корпус на составные части, затем снова соединял их, и нигде не видел возможности для ошибок. Все получалось образцово.

В темной глазнице окна синела ночь. Клаша сопела в кровати. Иван Семенович осторожно полез через жену. В голове шумело, ему очень хотелось курить. Так же осторожно он вернулся назад. Папироса прилипла к горячим и клейким губам, он глубоко затягивался, сбрасывая пепел за спинку кровати.

— Чего ты все булгачишься, полуношник? — повернулась жена к Ивану Семеновичу.

— Не спишь? Знаешь что, Настя?

— Ну?

— До чего мне, Настенька, выпить хочется, знаешь, так, для души. Есть у нас?

— Не-ет, — тревожно дрогнул голос жены.

Иван Семенович докурил папиросу, швырнул ее на середину комнаты и, редко расставляя слова, тихо и сипло зашел:

Чайка там стонет над морем,
На нее взвивается флаг.
Бьется с неравной силой
Гордый красавец «Варяг».

— Это, знаешь, мальчишкой когда я был, один хромой шарманщик так пел. Крутит ручку, выхлещется на здоровой ноге и поет с закрытыми глазами. Я ходил за шарманкой во все дворы, я хотел узнать... требовал от шарманщика продолжения... Я отдал ему свои две копейки. Шарманщик бросил мои деньги себе в жестянку и сказал: «Дальше ничего нет. Это — гибель героев. Отойди, мальчик, ты глуп еще». А когда он вышел на улицу, я подговорил мальчишек, и мы его закидали камнями, сшибли попугая, а шарманку — вдрызг.

Жена вздохнула и промолчала. Иван Семенович, выждав, еще тише снова зашел:

А чайка все стонет и плачет,
И волны бушуют вдали...

И в этот момент случилось такое, чего и потом Иван Семенович не мог вспомнить по порядку.

Жена сорвала с себя одеяло, босыми ногами прошлепала к выключателю, и Иван Семенович зажмурился от света. Когда он открыл глаза, жена стояла перед ним, взволнованная, с потемневшим лицом:

— Я знаю, куда ты все это кло-нишь...

Она торопливо закидывала за спину распущенные волосы, и на груди, сквозь рубашку, у ней отчетливо проступали две широко расставленные горшны.

— Ты сам — первый жулик. Ты хочешь, чтобы тебе все доверяли, а ты — никому. Я да я! Пронина знают, да Пронина еще узнают. А как где заминка, все виноваты. Один он — голубь непорочный. Противный ты мне.

Жена взяла с кровати свою подушку и переложила ее на диван. Клаша заворочалась и захныкала. Наклонившись над Клашей, жена заворковала ласковым грудным голосом.

Иван Семенович сел в постели, одновременно ошеломленный и отрезвевший от света и от слов жены. Он посмотрел на ее ноги с ямочками под коленками, как у девчонки, и сказал:

— Не даром, значит, к секретарю бегала... Так. Науку, значит, проходишь. Добро.

Он стал одеваться. Ему никуда не надо было идти в такую глубокую ночь, но он страшно торопился — наизнанку вывернул рубаху, порвал шнурок на ботинке.

— Значит, так... — не переставал бормотать Иван Семенович.

Жена, укрывшись тканевым одеялом, лежала на диване к нему спиной.

— Так, значит, науку проходишь... — думая совсем о другом, упрямо твердил Иван Семенович.

На улицах начинался рассвет. Иван Семенович удивительно легкой походкой приближался к заводу. Снять крышки и заново спокойно промерить, прощупать,

сверить подшипники с чертежами и перекрестно—подшипник с подшипником. Разница в обмерах и будет причиной дефектности правого подшипника.

Иван Семенович, запыхавшись, вошел в листопрокатку. Сквозь дым, грохот валов и электрический свет он пробирался на другой конец цеха к своему маховику, застывшему в оцепенении. Иван Семенович не поверил своим глазам: горбатые крышки подшипников были сорваны и валялись на площадке. Кругом были разбросаны измерительные инструменты. Иван Семенович застонал, он зарычал по-звериному, он сдвинул кепку на затылок и ринулся на площадку. Из-за маховика показался черный берет и худое лицо с покрасневшими веками.

— Гриша!

— Иван Семенович! — заплясал от радости Гришка Чичурин.

Он сознался Пронину, что отмычкой открыл стол Винка, взял чертежи, но ничего в них понять не мог. Тогда он сбежал домой и принес справочник для механиков императорских мореходных училищ (до завода Гришка тайно мечтал плавать на океанских пароходах). Но маховички там оказались несравнимо маленькими и без кольцевой смазки. И тогда Гришка пошел доступным ему путем — наглядный перекрестный обмер деталей.

— И... Иван Семенович, — торопился и заикался Гришка, — что это такое — непонятно.

Он взял Пронина за карман пиджака и подвел к левому подшипнику.

— Вот тут три кольца.

— Ну, правильно, три, — оглядывался Иван Семенович на разбросанный по площадке инструмент.

— Я прошупал: у каждого кольца есть чуть заметный с'ем вниз, в сторону муфты.

— Правильно, молодец,—лениво похвалил Гришку Иван Семенович. — В сложных чертежах еще не разбираешься, а это заметил. Рука у тебя хорошая.

— А у правого подшипника, — обрадовался Гришка, — два кольца не так, наоборот...

— Ка-ак? — сразу поперхнулся и осип Иван Семенович. — Где правый? Какой подшипник?

Гришка горлопиво и с силой потянул Пронина за карман пиджака. Засунув руку по локоть, Иван Семенович ощупывал ребра смазочных колец и утробно стонал:

— Правильно, Гриша. Верно, Гриша. Дурак я, проморгал я, Гришенька.

Два кольца из трех были навешены на вал неправильно. Своими чуткими пальцами Иван Семенович обнаружил, что едва заметный с'ем шел книзу, но только в сторону окружности маховика. Кольца были перевернуты.

— Так ведь при такой навеске этот подшипник должен, он обязан выбрасывать масло! — стонал Иван Семенович, размахивая грязной по локоть рукой перед лицом Гришки.

— Это Винк навешивал кольца, — осторожно подсказал Гришка Чичурин.

Ивана Семеновича передернуло.

— Что мне Винк! Плевать мне на Винка! Я-то где был? Кто мне это об'яснит? Утешитель тоже нашелся, молод еще... Тут надо вал подымать, маховик разбирать заново.

Маленькое лицо Ивана Семеновича было изуродовано болью. Гришка отвернулся в сторону грохочущих валов, и, может быть, в это время на его замасленную спецовку упала слеза.

Шел восьмой час. Это было утро выходного теплого и солнечного дня. Все подсобные смены листопрокатного цеха отдыхали дома. Только пролет между печами и прокатными станами был заполнен людьми, как всегда. Дымное пламя било в заслонки печей, пролет гудел, содрогался, пульсировал тропическим жаром, и высоко под стропилами цеха подрагивала красная парусина: «Дадим листовую сталь для авиации».

Иван Семенович окликнул Гришку Чичурина. Гришка присел рядом на крышку подшипника, искоса поглядывая на своего бригадира.

— Чего надулся?

— Я ничего, Иван Семенович, — доверчиво заглянул Гришка в глаза бригадиру.

— То-то — ничего... — Иван Семенович вынул из кармана блокнот и карандаш. — Ерунда все это... Поднять маховик надо, а потом будем говорить до полной ясности.

Пронин быстро писал на листках блокнота, смаху отрывал их и, не глядя, совал написанное Гришке Чичурину. Записки были адресованы в прессовый цех, в кузнечный, в строительный, в ремонтно-механический, к дежурному по производству. На всех листках были скучные, без завитков и росчерков, надписи: «Срочно». Принимая из рук в руки листки, Гришка заметил, что пальцы Ивана Семеновича были необыкновенно холодными.

В десять часов из прессового цеха к маховику подошли два электрокара. На каждом из них лежало по громадному куску железа в виде треугольников. Это были клинья для подема маховика барцевым грузом. При помощи Ивана Семеновича и Гришки клинья были вставлены крановщиком острыми концами между валом маховика и чугунными плитами пола. На цепях, в уровень с тупыми концами клиньев, была подвешена болванка в облике масла. Затем Иван Семенович облил маслом вал, клинья и пол вокруг них и подал знак крановщику. Крановщик притянул к себе болванку и в следующее мгновение, по взмаху руки Ивана Семеновича, отпустил ее в свободный полет, как маятник. Болванка сорвалась вниз и со свистом и искрами ударила в клин, от трения вспыхнувшего синим дымом сгорающего масла.

— Удар на удар! — крикнул Иван Семенович.

И крановщик опять притянул к себе болванку, и она вновь ринулась вниз, ветром разметая по полу чешую окалфы.

— Удар через удар! — подавал команду Иван Семенович.

Тогда крановщик заносил чугунную глыбу на цепях с другой стороны, и — искровый удар, трение и синий дым сгорающего масла — второй клин шел первому навстречу, на разрыв. Вал маховика приподнялся на несколько сантиметров.

Гришка влюбленными глазами смотрел на своего бригадира. Он кружился около Ивана Семеновича, бессильный помочь ему в этой работе.

Чугунная глыба длинными взмахами, как сказочным молотом, попеременно вгоняла клинья между полом и валом маховика со страшной силой разрыва в двадцать тысяч пудов. Ударяясь в клин, болванка отскакивала и, прежде чем крановщик успевал натянуть цепи, она слегка терлась о подшипниковые корпусы. Свежая краска сдиралась, морщилась, и на местах разрывов выступали крупные капли олифы.

Иван Семенович страшно торопился, он хотел любой ценой закончить работу в этот малолюдный выходной день. Завтра люди придут, и у него все останется так же, будто ничего не случилось, — пуск не задержится ни на час. Воспоминание о вчерашнем ему было неприятно, как осадок угарного газа на языке. Немца-консультанта в этот день не было в листопрокатке, — тем лучше. Завтра Пронин скажет ему: «Уже готово!», — и они закурят из одной коробки.

Иван Семенович по-воровски вглядывался вглубь цеха и торопливо, осипшим голосом кричал крановщику:

— Удар на удар!

Чугунная глыба остервенело ухала, дымилось сгорающее масло, кольца подымались из своих гнезд и наконец, отделившись от подшипниковых корпусов, закачались на шейках вала огромными сергами.

И в это время Иван Семенович заметил в глубине цеха желтую пушистую кепку инженера Винка. Иван Семенович оглянулся на маховик, на громадных железных ластах всползший над площадкой, и вчерашнее ворвалось в сознание с новой силой. Гришка Чичурин наносил риски на дефектные кольца, которые ему помогал поддерживать откуда-то взявшийся «колхозник» Караваев. Иван Семенович быстро повернулся в другую сторону и нервно сунул руку в карман за папиросами. И здесь он почувствовал, как на лбу, висках и вокруг глаз стало сыро, — прямо на него шел секретарь ремонтно-механического цеха.

— Ивану Семеновичу привет! — бего и внимательно взглядываясь в Пронина, засмеялся секретарь.

— Тут не до приветов, с маховиком штука вышла...

— Это ничего, поправим и пустим.

Иван Семенович весь выпрямился:

— Ну, это уж мне знать: пустим или не пустим. Авось, без помощников обойдусь...

За спиной у себя Иван Семенович услышал внезапный шум и неистовый выкрик: «Господин инженер!» Иван Семенович медленно и трудно повернулся к маховику и подумал было: кто осмелился с ним так пошутить?

Около правого подшипника Гришка Чичурин и Винк схватились почти грудью с грудью. Потеряв самообладание и стараясь перекрыть звонкий голос Гришки, Винк вскрикивал:

— Это спеедство. Я настаиваю...

Скандал вспыхнул из-за того, что Винк запретил Гришке Чичурину продолжать работу до составления официального акта о причине аварии. После, когда это дело разбиралось на бюро инженерно-технических работников, Винк утверждал даже, что Гришка замахнула на него ножовкой.

Никогда и никто еще на заводе не видел у Ивана Семеновича такого спокойного и почти бесстрастного лица. Иван Семенович оглянулся на секретаря, подошел к Винку, поздоровался и сказал:

— Я вас понимаю, вы правы.

Гришка принял эти слова бригадира, как пощечину, как непоправимое вероломство со стороны Ивана Семеновича.

— Примите во внимание, товарищ Винк, — продолжал Иван Семенович ровным тоном, — что на пригонку, приправку и притирку мы имеем законных три рабочих дня. Но если вы настаиваете на акте, то пишите, все остальное я беру на себя.

Винк приготовился и привычным движением развернул записную книжку с золотым обрезаем.

— Значит, так, пишите, — на мгновение задержался Иван Семенович. — Во время сборки и установки маховика по преступному недосмотру со стороны

Пронина произошла серьезная ошибка, а именно: инженером Винком были неправильно навешены два смазочных кольца на правом подшипнике, в результате чего...

— Позвольте, позвольте, — растерялся Винк, зажимая в кулак записную книжку. — Да, да, я вас понял, это, конечно, другой вопрос. Акт... это очень важно, но, очевидно, все-таки без него мы, действительно, можем обойтись. Все законно и, главное, в плане норм мировой техники...

Когда Винк уходил из цеха, его вдавленное с боков, острое лицо горело пятнами. Гришка подошел к Ивану Семеновичу и секретарю:

— Да ведь сразу видно неукротимого бюрократа, — как-то нервно, вздрагивая всем телом, сказал Гришка. — Он наверное и обедает с записной книжкой.

Секретарь внимательно посмотрел на Гришку и отвел Ивана Семеновича в сторону, к запасному выходу. Гришка вернулся к маховику, и они с Каравачевым продолжали разрезать, переворачивать кольца и закреплять их клиновыми чоками. Работа была легкая. Гришка мог бы ее сделать с закрытыми глазами. Через два часа они закончили наеску.

Работая, Гришка наблюдал за Иваном Семеновичем и секретарем. Иван Семенович сердито махал руками и почти не давал говорить секретарю. Потом оба они сели на болванку, и руками начал махать секретарь. Гришка видел, как Иван Семенович только слушал и много курил. Затем секретарь встал и, не прощаясь с Иваном Семеновичем, вышел из цеха.

Иван Семенович подошел к маховику, осмотрел кольца и подал знак крановщику. Чугунная глыба, слегка раскачиваясь, стала выбивать клинья из-под маховика. Вал медленно начал оседать, и кольца стали погружаться в гнезда подшипниковых корпусов.

Когда маховик принял нормальное положение и когда увезли ненужные больше клинья, Иван Семенович задумчиво провел паклей по сырому лбу:

— Все. Завтра мы дадим двести пятьдесят километров в час, и ртуть на тол-

щину двух спичек не будет доходить до красной черты.

Но Гришка уже не слышал своего бригадира, он увидел около доски объявлений белую блузку, взгляделся — и узнал Лизу.

— Иван Семенович, я — сейчас.

Гришка всем телом подался вперед, в сторону Лизы. Может быть, она в этот солнечный выходной день пришла посмотреть на него тайком или, быть может, хотела, чтоб он заметил ее? Гришка почти побежал к ней, по дороге роняя из рук штангенциркуль и паклю. Будто в шутку, он обнял Лизу и своей промасленной спецовкой испачкал ей белую блузку. Тонкий батист на груди был безнадежно испорчен. Лиза засмеялась, покраснела и выбежала из цеха.

Сконфуженный Гришка вернулся к маховику. Позевывая и старательно выдерживая равнодушный тон, Гришка сказал Ивану Семеновичу:

— Чорт их поймет, этих баб.

— А что такое? — насторожился Иван Семенович. Он не видел, куда ушел Гришка.

— Да так... как чуть чего, сейчас же домой бегут переодеваться...

В умывальной Иван Семенович, к удивлению и беспокойству Гришки, долго тер себе мылом сухую щеку. Потом, как на ораторской трибуне, он высоко поднял руку с куском мыла и раздельно зашептал:

— Бороться — за новое, говорит, это и есть душисть старое. Ничего другого пока еще не придумано.

— Иван Семенович! — Гришка испуганно пригнул высоко поднятую руку бригадира.

— Он мне говорит, Гришенька, я помню, говорит, как ты еще в гражданскую вот такими же клиньями поднимал бронированные паровозы. Я, говорит, мальчишкой был, но тебя запомнил.

— Кто это говорит, Иван Семенович? — уже с любопытством спросил Гришка.

— Он говорит, Гриша, секретарь. У меня, говорит, ты не сорвешься. Запомни, говорит, это я настоял, чтобы тебе дали установку маховика.

— Иван Семенович, а ты чего сказал?

— Я, брат, скажу. Дай-ка, я тоже повеселю себе волосы.

Иван Семенович старательно водил расческой по своим жидким волосам.

— Ты, говорит, в партии будешь на такой высоте, что ни один жулик от тебя не сумеет спрятаться.

— А ты чего сказал, Иван Семенович? — по-детски радостно суетился около Пронина Гришка. — Пойдем, я провожу тебя до дому, Иван Семенович. Посередине заводского двора Пронин остановился:

— Я еще зайду на заседание к директору завода. Приглашали.

— А ты чего же сказал, Иван Семенович? — загородил Гришка дорогу, не пуская Пронина в заводоуправление.

— Я, брат, еще скажу, будь спокоен. Прощаясь, Гришка размашисто и крепко пожал руку бригадира. Пальцы Ивана Семеновича были теплыми.

Похождения факира

Роман

В.С. ИВАНОВ

Часть третья

ФАКИР ВХОДИТ В ЦИРК

(Продолжение 1)

14

Ок, как непобедимо пышен «Золотой рог»! Помимо прочей челяди и украшений, семь искуснейших екатеринбургских слесарей в том темно-желтом зале, где умирала Клеопатра, готовят «раму последней степени», войдя в которую, «камчуга» должна «тарахнуться» так, чтобы жизнь твоя разлетелась в клочья от восторга! В углах зала стоят «веселительные машины», секрет которых пришел издалека, издавна. Дотронешься до цветка, а на тебя посыплется мука или мел. Думаешь спяна обнять чучело медведя, а оно стучит тебя веником по плечам и по спине. Тут же за столом сидят два восковых попа в рясах и с завитыми волосами. Чтобы не подумали о надругательстве над православной религией, попы именуются «раскольничьими». Один поп отвечает на заданные вопросы, а если спросишь другого, он раскроет рот и брызнет на тебя водой. Шарахнешься, ступишь на половицу, — оттуда бьет фонтан воды! Ты кидаешься в угол, а там попадаешь в мешки, где пух и уголь. Усталый, ты вздумаешь подышать воздухом в саду. Терраса уставлена кадками с деревьями. В кад тебе спускаться лень, ты садишься на скамеечку возле кадки, ибо на деревьях порхают искусственные пти-

цы, поют, свистят, обольщают. Ты присел, а на тебя опять вода!

Великая предстоит камчуга!

Фиофелакт Челпанов показывает слесарям фотографию:

— На этого господина чтобы ни одной капли. Понятно?

— Савву Устиновича мы и без портрета знаем, — отвечают слесаря.

Ольга Философова проходит, окруженная своими девушками, для которых шиты новые камзолы, весьма голубые и весьма пышные. На Ольге множество кружев и лент, из которых выходит мягкие кисти рук, белые и запашистые. Она, видимо, гордится своими руками и старается прикоснуться до всего, что способно понять их мягкость.

— Машины хитрые, — говорит она, оглядывая «переснастку», — хитрые, но устарели. При царице Екатерине такие бы, пожалуй, годились.

— Мы знаем, или ты знаешь уральскую душу?

— Душа у купца везде одинакова, Фиофелакт Иванович. Даже в Африке. Надеюсь, и без машин, после камчуги, вместо этого шантана такой вымахать собор, что сверху донизу весь будет во фресках.

Челпанов говорит, выставляя вперед свою громадную челюсть:

— Соборов и без того много, Ольга Николаевна. Вы лучше не постройками получайте, а чистыми денежками, чтобы

1) См. «Новый мир», кн.кн. 1, 2 и 3 с. г.

не зря вам заботиться. Вот к примеру Воронцова ходит со взглядами очень странными. Но опять думаешь: уберешь, а вдруг промышленники востребуют цыганские песни?

— Цыганские песни востребуются обязательно!

В «Орлином зале» загорается полный свет, какой требуется для камчуги. Лакеи ходят под этим светом, невероятно задрав невероятно напомаженные головы. У входа сам Челпанов. Он пропускает в ресторан только знакомых. Заботы измучили его. Помилуйте, ведь каждый незнакомый кажется ему обладателем отличных сумм, а ты говоришь ему: «Ресторан ионче ремонтируется». Ремонтируется-то, ремонтируется, но если С. У. Троегубов не появится? Иногда Фиофелакт Челпанов срывается с места, бежит за кулисы и поспешно говорит встречному:

— Дыхни.

От волнения ему кажется, что все перепились раньше времени. Он восклицает в ужасе:

— Ну, так я и знал. Надрался. Окатите его водой со льдом!

Около часу ночи Челпанов бледнеет, распахивает двери и низко кланяется в темное и теплое пространство сада:

— Пожалуйста, Савва Устинович. Давно готово.

Мы сразу узнаем Троегубова. Он плотный, седоватый, с упрямым и аккуратным лбом. Чем больше присматриваешься к нему, тем сильнее кажется он серым, незаметным, и трудно поверить тем рассказам, которые ходят о нем по всему Уралу. Он думает долго, с трудом, а если уж решил, так никогда не отступится. Сейчас он признал, что листовое железо самое выгодное производство, — и он будет выделывать это листовое железо до самой своей кончины. Он истратится на рекламу, на улучшение дела, на подкупы людей, которые могут ему помочь заказами, на выпуск книжек о пользе листового железа. Если Англия уже несколько лет не покупает его железа, так это не потому, что она вырабатывает лучше и дешевле, а потому, что это хитрые выдумки врагов, и для их уничтожения надо привлечь в

дело англичан. Так же много времени он раздумывает над своими чувствами к Мавре Степановне Патрушевой, nasledнице крупчаточного фабриканта. То ему кажется, что она чрезвычайно любит его и ради этой любви овдовела, а то считает ее своим врагом, который непременно хочет «влезть в дело». Над чувствами своими он размышляет гораздо дольше, чем даже над предприятиями, вот почему в последнее время Мавра Степановна часто сопровождает его: в прогулках прекрасно узнаются характеры. Мавра Степановна пожелал увидеть «камчугу», и Троегубов доволен: расходы не пропадут, если даже и не привлечем английские капиталы!

Госпожа Фридрих вскакивает на сцену. Зал содрогается от разбойничьего ее свиста. Мавра Степановна улыбается и кладет руку на плечо Троегубова:

— Наши работники, когда везут ночью кули с мельницы и «шалости» опасаются, свистят куда более лихо.

У Мавры Степановны необычайно здоровые и сияющие зубы, и она понимает, что они чрезвычайно украшают ее. На ней длинное платье какого-то удивительного, крайне темного фиолетового цвета. На правой руке кольцо — большое, зеленое и, должно быть, очень дорогое. Но все же главным украшением остаются ее непрестанно сияющие зубы. Она спрашивает, улыбаясь:

— Камчуга в ресторане начинается?

Ольга Философова отвечает:

— Камчуга кончается в ресторане! Начинается она где-нибудь в неожиданном месте. Коней!

Обе женщины смеются. Ольга Философова хлопает в ладоши:

— Давай, Фиофелакт, блеск и пышность, распахивай двери!

— Коней! — подхватывает Мавра Степановна.

Тройки несутся по широкой булыжной мостовой.

Городской грохот быстро промчался. Одноэтажная тишина сменилась лесной, — кони на шоссе.

Я вяло слушал конский храп, шелканье бича, вскрикивания наших дам. Пыль заволокла тройки. Пыль эта кисловатая, и благодаря этой пыли и тому,

что я сижу в уголке тарантаса, сжатый узлами и коврами, мне казалось, что мы скачем чрезвычайно медленно. В руках я держал балалайку, и когда сидящие впереди пытались встать и, визжа, падали на ковры, я, защищая балалайку, поднимал ее вверх, и она чуть слышно, по-комариному, гудела. Чудесный свет луны и неба похож был на золу, и в небо уходило смутное колыхание леса. Иногда на повороте вставали перед нами скалы, на которых лежала прозрачная луна. Я оборачивался. Тени наших троек скакали по скалам.

— Хозяин, давай свету,—кричала с передней тройки Ольга Философова.

— Какого ей свету надо? — ворчал Челпанов. — Вот еще взял я себе помощничка.

— Давай свету, хозяин! Золото едет!

Челпанов ехал с нами, «мужским флигелем». Наша тройка казалась ему солиднее прочих, кроме того, он полагал, что мужчины, глядишь, дадут какой-нибудь важный совет, потому что камчуга началась несолидно, лошадей непрестанно гонят вскачь, дамы кричат не то, что полагается, и костюмы на них не того цвета, как надобно. Камчуга, по убеждению Челпанова, требует цвет танго.

— Золото едет. Нашла, что орать. А если разбойники в кустах засели? Ну, куда вы устремляете в небо ваше приспособление, господин куплетист?

Из пыли склоняется к нам голова верхового. Савва Устинович торопит нас, он требует, чтобы все тройки одним махом выскочили на поляну перед озером. Тогда Челпанов орет на кучера. Тарантас подбрасывает, качает, и повар Софроний жалуется, что при такой езде непременно побьют всю драгоценную посуду. Балалайка моя гудит особенно жалобно, и я говорю:

— Полагаю, что чистый воздух способствует моему разговору и выходу к гостям, Фиофелакт Иванович?

— Отрасти себе вначале нормальный нос, куплетист.

Тройки остановились возле озера.

Плиты из слоистого гранита, карабкающиеся вверх по склону горы, освещаются громадными кострами. У берега дрожат лодки, плоские и широкие. Не-

подвижно сидят гребцы. На носу и на корме лодок желтые фонари. Вода и небо за лодками холодно-фиолетовые.

Мужики раскрывают ящики с продуктами, расстилают большие голубые ковры, которые кажутся теперь совсем белыми и легкими. Мужики шопотом сожалеют, что ковры зальются вином. Я всюду сопровождаю Челпанова. Застенчивость мучает меня, а, кроме того, мне чрезвычайно любопытно наблюдать за жадной челпановской растерянностью. Он непрестанно гладит свой подбородок, плюется, хрипит.

Подошли песенники.

— Начинать, что ли, Савва Устинович?

— Начинай: «Ах ты верная, манерная»...

Но тут же Челпанов останавливает песенников.

— Другую. «Любила Маруся друга своего». Разве так поют хором? Волки, и те поют веселее. Воронцова, закати им для поучения: «Я твоя, всем нетронутым телом».

Песенники скрылись за каменными плитами. Когда они смолкали, из-за плит доносились звуки откупориваемых бутылок. Звуки эти невероятно громки, словно бутылки размером с дом.

— Раскидывать увеселения? — спрашивает Челпанов у Троегубова.

— А это ваше дело. Вы обязаны заинтересовать нас, господин Челпанов.

Гости лежат на коврах. Внизу о гранитные камни ударяются крошечные волны, покачиваются лодки, шелестя о песок, иногда конь заденет копытом о телегу, и с восторгом плюнет возчик. Ночь росистая, свежая, и многим наверно кажется совсем ненужной эта пьяная бодрость. К тому же и Троегубов кисло улыбается холодным и скучным лицом, потирая упрямый лоб. Видно, что камчуга уже надоела ему, но что поделаешь, если реклама требует!

Англичан пятеро. Четыре из них собой высокие и мускулистые, а пятый, самый главный, сэр Бецольд, строением тела настолько кругл, что мне кажется, будто его так долго укатывали и выпустили таким круглым, что он способен катиться вокруг всей планеты без малей-

шей задержки. Да и, точно, он все время крутится — и по коврам, и по берегу, и по лодкам, и по возам. Сразу же, как только разложили ковры, он начал пить коньяк большими рюмками. Он хвалит пищу и плохим русским языком непрестанно повторяет:

— Очень рад, необыкновенно рад, что ваши лакеи объясняются по-английски.

— Прикажете подать что-нибудь замысловатое? — спрашивает Челпанов.

— Холодной телятины.

Лакей говорит ему:

— I'll serve you in a moment, sir!

От англичанина так и осталась у всех в памяти эта непрестанно повторяющаяся фраза: «Очень рад, что лакеи объясняются по-английски», да еще то, что лодочники и возчики сперва звали его «Бес со льда», а затем «Бес да соль».

Челпанов хотел, чтобы все двигалось так, как полагалось бы по закону камчуги, но, к сожалению, Ольга Философова так и не призналась ему, в каком порядке идут статьи этого закона. Челпанова многое раздражало. Раздражал его и Салахутдин Валитов, троегубовский гость и владелец многих екатеринбургских и пермских фруктовых погребов. У Валитова багровые глаза и циано-голубой галстук. Он кажется настолько согбенным, что, того и гляди, упадет. Расшевелить его трудно, так же, как и выпрямить, разве только иногда множество жирной еды слегка тревожит его. Он нюхает пар из котлов, в которых варится баранина, и глаза его багровеют еще больше.

Троегубов, уныло ухмыляясь, говорит ему:

— Ты бы уж и остался при котлах, Валитов.

— Пища, Савва Устинович, правильная, но мы ленивы стоять у котла. Мое мечтание на десять баранов, но мне любопытно понять и английское мечтание.

— Все врешь из вежливости.

— Наша фруктовая торговля не может существовать без вежливости, Савва Устинович.

По коврам прыгают подвыпившие дамы. Они переоделись в палатке, разбитой возле телег. Через каждые четверть

часа они меняют платья, и так как им обидно кого-нибудь выпустить вперед, то они выскакивают все разом. Однажды, когда они переоделись слишком долго, возчики вдруг вывели из-за костров хоровод девок. Девки, взявшись за руки, долго поют что-то протяжное. Их никто не слушает, а Валитов велит мне снять фрак, насыпать туда пряников и отнести девкам.

Озеро изменилось. Оно приобрело легкие голубовато-зеленые тона, а желтые костры превратились в красные. По дороге, вдоль берега, уходили девки, допевая свою незаконченную песню, и песня эта, отдаваясь, казалась очень жалобной.

Валитов зажег электрический фонарик. Он пускал свет в лица тех, кто пил вино. Попробовал он пустить свет в лицо Троегубову. Тот сказал:

— Карта вашего лица, Валитов, не изображает осмысленности. Прекратите шутки, если не умеете.

Валитов захихикал. Троегубов повернулся к четырем англичанам, которые сидели неподвижно со скучными лицами на крепких складных стульях. Багровый свет костра щедро открывал могущественные черты глупости, которыми были украшены их лица. Троегубов сказал, широко махнув рукой вокруг:

— Моя леса.

Затем он показал рукой на Мавру Степановну:

— Моя задумчивость.

Англичане рассмеялись, хотя и не поняли ничего. Круглый англичанин попытался говорить с Маврой Степановной о крупчаточной муке. Она отвечала ему тугим, слегка хриплым голосом:

— Я-то в себе уверена, сэр Бецольд, мне известны свои права. По наследству мне досталась крупчатка, лучшая на всем Урале, известная далеко за его пределы. Но у меня старички-родители, сэр Бецольд. Они утверждают — хватит тебе, помучилась без мужа, выходи за степенного человека. А разве степенного человека найдешь на камчуге, из которой редкий выходит без позора? Когда-то моему родителю, глубокоуважаемому староверу, на камчуге вымазали лицо чем-то совсем неприличным. А

вдруг возьмут да выпустят голых девок верхом на конях? Кто после этого на тебе женится?

Англичанин крутил руками и круглым ртом, старался выговорить тщательно:

— Я очень рад, что ваши лакеи объясняются по-английски.

Мавра Степановна встревоженно поглядывала на г-жу Философову. Мавра Степановна всегда приобретала вещи не для того, чтобы обладать ими, а чтобы перепродать их обогатиться. А кому перепродашь Троегубова? Да и приобретешь ли его? Кто знает, какие тайны распутства покажет сейчас г-жа Философова?

Мне вспомнились пухлые большие мешки, которые ломовики постоянно провозили через город на вокзал, мешки, украшенные продолговатыми фиолетовыми клеймами: «Фабрика крупчаточной муки М. С. Патрушевой». И я подумал, что завтра она непременно, хоть на копейку, но повысит цену на муку, дабы как-нибудь себя вознаградить за беспокойство. Думать это мне было неприятно, так же, как и неприятно слушать рассуждения Троегубова:

— Мавра Степановна выбирали жениха, выбирали, и все-таки как будто остановились на мне, так как я — плачу за все. Ешьте и пейте здесь до полной смерти! Требуйте какой угодно пищи! Я заплачу! Я трачу на сегодняшнее угощение многие тысячи и желаю, чтобы Урал получал радость. Ей, возчики, садись сюда, кушай, пей, пой!

Троегубов хлопал в ладоши, приплясывал, свистел, но и ему, и нам всем чванство его казалось холодным и скучным. Едва он закричал эти давно приготовленные слова, как из-за скал ударил фейерверк. Лошади замотались у костров, но и это показалось приготовленным заранее. Высоко над нами в скалах установили два горных орудия, и, когда вспыхивали огни выстрелов, я видел мундиры маленьких артиллеристов. В лесу приготовили гигантские костры, чтобы, когда тройки поедут обратно, Савва Устинович мог воскликнуть:

— Раз, два, три! Мой лес, и я его поджигаю. Смотрите, англичане.

Лес зажжется, а в соседней деревне давно приготовленные звонари ударят искусно в набат. Но и это «большое пылание» тоже будет чрезвычайно скучным, как и то, что в озеро, на счастье гостей, рыбаки закинули большую сеть, и рыба, которую выволокли на влажный песчаный берег, кажется заранее приготовленной, так же, как и то, что шансонетки заранее разученными ударами дерутся на ковре из-за брошенной сотенной бумажки.

— Не вышла камчуга, — сказал я Челпанову.

— А ты, куплетист, ешь, если не одарен способностью петь.

— Ешь, пей! — восклицал Троегубов скучным голосом, и, разглядывая его, я внезапно увидел, что в его аккуратном и подобранном теле движется громадный, как пропасть, темный и отвратительный рот с мелкими и гнилыми зубами. Троегубов был сильно пьян, иначе бы он никогда не открыл этого страшного рта.

Мавра Степановна сияла своим зубами возле Федора Мазеина, обладающего весьма широкой нижней челюстью, похожей на сани-розвальни. На нем голубые брюки, зеленая атласная рубашка с широким желтым гарусным поясом. В Екатеринбурге Мазеин владеет гончарно-печным заводом, выделявая огнеупоры, изразцы, дренажные трубы. Он исполнительен, трудолюбив, последователен, многодетен, и дети все — нежные, чудесной красоты и неправдоподобно глупые. Всему городу известно, что он жаждет пиров в необычайной обстановке и по возможности дешевле. Сейчас он злится, что Мавра Степановна мешает «великолепной оргии, почти египетской».

Он тихо, сдержанно говорит ей:

— Я, Мавра Степановна, несу без протестов отпущенное мне бремя страданий! Новейшие исследования в состоянии моих чувств доказали, что мне непонятно, как это люди могут жаловаться на тяжесть жизни. Все на совете отлично, раз так приказало видеть начальство и старшие.

— Старших я тоже почитаю, Федор Павлович.

— Мало почитать, Мавра Степановна. Я благоговейно! Я робок, застенчив, хотя, как видите, собой велик и здоров. И если во мне разбережено желание, то характер мой меняется только на короткое время, стоит лишь старшему неодобрительно взглянуть на меня...

Из-под горы несут громадные блюда. Два желтых фонаря освещают серебро и жир. Фонари останавливаются, и к блюду подбегает повар Софроний. Он склоняется, нюхает и, не уверенный в успехе кушанья, робко отходит. Как наверное мучается он, что вместо рыбалки он должен готовить блюда, которых никто не ест. Мне жаль его, и поэтому я не подхожу к нему, чтобы не тревожить его. Два высоких мужика с широким блестящими бородами ставят блюдо перед Троегубовым:

— Куда мне его?

На блюде лежит целиком зажаренный баран.

— А мы его по частям, Савва Устинович, по частям. Англичане есть могут!

Согбенный Валитов, выкатив и без того багровые глаза, наклоняется с криком ножом к барану. Он отрезает много мяса. Он ест быстро, и видно, что он притворяется. Даже он сыт и устал от жира. Время от времени он схватывает вазу с фруктами и обносит гостей. Циано-голубой галстук вываливается на апельсины.

— Зачем вам не попробовать фруктов собственного моего погреба?

Я сажу позади всех, но Троегубов замечает меня. Он говорит холодным и скучным своим голосом:

— Куплетист, можете взять баранью голову, она вполне подходит к вашим куплетам.

Я смотрел на плотный и теплый затылок Мавры Степановны, и, когда Троегубов обернулся ко мне, я растерянно встал, подошел к нему с тарелкой, и он действительно положил баранью голову на эту тарелку. «Ах, хорошо бы,—размышлял я, неся баранью голову,—если бы эта баранья голова внезапно замычала и предрекла вам какие-нибудь глубокие мучения!»

Троегубов говорил мне вслед:

— Или, может быть, куплетист, вам еще сала добавить?

Я вернулся, протянул ему тарелку и сказал:

— Можно и сала.

Мавра Степановна улыбнулась всеми своими великолепными зубами.

— Зачем вы напялили этот дурацкий фрак? В нем любой человек покажется вне каких-нибудь приличных форм.

Я одернул свой фрак и перевел взор на узкую ее стопу, которая как-раз уместилась бы без всякой боли в мой лаковый ботинок. Какое многообразие туфель: аспидно-серых, замшевых и бархатных, багряного лака, вороного, глинистого, каштанового. Какое многообразие туфелек и носов! Носик отклоняется от греческого профиля, заключающегося в том, что спинка носа соединяется со лбом совершенно прямой линией,—он, этот носик, поднимается вверх, и тогда его называют орлиным, как это случилось например у Евдокии Воронцовой, исполнительницы цыганских романсов. Но никто не имеет узких ботинок и гумозного носа, кроме меня, никто не имеет этого окаянного углубления, которое я должен заполнять каждый вечер гумозом, даже сэр Бецольд с его невероятной круглотой тела и движений.

Вот почему я смог ей сказать:

— Попробовали бы вы, Мавра Степановна, петь куплеты в другом фраке.

— Куплеты, так же, как и свои чувства, надо делать преувеличенными, и тогда ценность их внезапно возрастет не только для вас, но и для окружающих. Однако увеличение ценности создается вовсе не фраком, молодой человек. Вы часто вспоминаете о родителях?

— О родителях вспоминаю не чаще, чем они обо мне.

— Родители знают правду. Я их люблю, пишу им письма, они живут в Перми и совсем старенькие, господин куплетист. В Кисловодск ездят лечиться, но я водам не верю.

Она взяла тарелку из моих рук и передала ее мужику с блестящей бородой.

Гости двинулись за ней к реке. Ольга Философова, сильно подвыпившая, шла,

положив мягкие кисти рук на плечи Троегубова.

— Всякую собственность, даже самое себя, я считаю обременительной, Савва Устинович.

Троегубов раскрывал громадный свой рот и невыносимо громко и в то же время холодно смеялся.

— Но ведь и вы тогда, Ольга, не будете ничьей собственностью, а это лишит вас средств к существованию.

— Лодки к берегу! — крикнула вдруг Мавра Степановна.

Гребцы подняли весла. На носу и корме зажглись еще фонари.

Челпанов, из почтительности и жадности, распоряжался больше знаками. Челпанов злился на хитрого татарина Валитова, который ухитрился привезти на камчугу фрукты своих погребов, оказавшиеся более запашистыми и более вкусными, чем фрукты, закупленные Челпановым.

— Ну, кто обманул? Татарин меня обманул. Немаканный!

Челпанов сказал мне:

— Дамы уже не отражаются в зеркале, так что бери свой инструмент и садись для увеселения на переднюю лодку.

Он передал мне балалайку.

— Я совсем не готов, Фиофелакт Иванович.

— Много ли для них нужно.

Голос и песни мои совсем не годились для этой лодки, да и приблизительная таблица цветов этих лиц показывала мне, что я совсем не способен петь, и, не будь бы в руке моей треугольного инструмента, я бы отказался или бы даже, при всей моей неспособности, отшутился.

— Автор-куплетист исполнит лучшие свои номера! — воскликнул Челпанов.

15

Внизу колебался раствор медного купороса. Я переступал с ноги на ногу, проверяя устойчивость широкой лодки и своих балалаечных способностей. Множество пьяных лиц смотрело вместе со мной на медный купорос, и мне казалось, что смогу петь спокойно: эти лица не

способны ни к одобряющему, ни к уничижающему сигналу. Не будут сожалеть, что, ослепленные денежным величием своего героя, они умеют только подражать его ничтожным способностям, например визгливо сморкаться в платок, не замечая того, что способности его помещаются сейчас вне круга его лица, которое совсем осоловело. Так же ничтожны, справа от него, англичане, в конце насыщенные красным вином и желтой дряхлостью своего тупого тела.

Я раскрыв рот. Слушатели захохотали. Я привык уже к хохоту, который возникал, как только человек всматривался в мой фрак, в мои узкие ботинки, которые даже неопытному взгляду показывали, как они способны жать ногу, в желтую балалайку, прижатую к впалому животу, и в необычайно круглое лицо, снабженное весьма унылым выражением. Всем становился понятным и даже необходимым договор о моем носе, который подписал со мной Челпанов! Но вместе с обидой я испытывал известное удовольствие от смеха. Этот смех как бы отделял меня от них, и, кроме того, позволял мне тоже рассмеяться, — над ними и над собой. Они не замечали, что почтенный торговец фруктами, господин Валитов, задремал, держа в руках кусок баранины, а Евдокия Воронцова, легонько обняв его, вытаскивала бумажник из кармана. Заметив мой взгляд, она весело погрозила мне пальцем.

— Будем петь, господа, о настоящем куплетами, сочиненными мною в настоящее время.

Импровизация вполне подходила к теперешнему моему состоянию, а еще более, пожалуй, к состоянию духа моих слушателей. Я мог петь, сколько угодно плохо, — для меня и для моих слушателей важна была сейчас идея:

В то время, как вы сидите молча
Или даже пытаетесь петь,
В ваши карманы лезут по-волчьи,
Желая их осмотреть!

Куплет, который я составил и пропел, мне понравился чрезвычайно. Я решил исполнить еще один куплет, который разрабатывал бы эту же идею о волках,

а уже в следующем куплете попробую описать личности. Я стояла на одной ноге, упершись носком другой в борт лодки, что показывало мою удаль и полное презрение к тому, что люди думают обо мне.

Но на мое несчастье я смотрел слишком пристально на Воронцову. О моих размышлениях: вставлять ли цыганскую певичку в куплет, или пропустить, она подумала гораздо хуже, потому что вдруг сильно перегнулась туловищем через борт, лодка качнулась, — и я полетел в воду, вместе с балалайкой и вторым куплетом, который уже совсем был готов, но который с того времени по сей час я не могу вспомнить.

Лодка, люди, кушания, вина качались и хохотали:

— Это он здорово придумал!

— Танцовать ему нельзя, так он вместо антракта в воду ныряет.

— Веселей петь!

Плавать я могу хорошо, но теперешнее мое плавание было весьма затруднительно. Балалайка и утонувший куплет мешали мне. Я плавал около лодки, гребя одной рукой, и лодка затруднялась меня принять, — они боялись, что, вылазя, я обрызгаю их. Один только Сергей Коробин, обладавший головой, столь глубоко ушедшей в плечи, словно ее упихивали много лет, да так и не успели упихать окончательно, весь в шарлахово-красном сукне поддевки и в таких же пылающих штанах, владелец суконной фабрики, что выделывала сукно из киргизской шерсти, но более всего известный тем, что постоянно бегал по знакомым и незнакомым, предлагая свои услуги не столько для наживы, сколько для действия, — один он необыкновенно усердно помогал мне, потому что камчуга организовалась без него, а он желал в ней действовать:

— Купцы, если опрокидывают человека, должны платить! — кричал он.

Тогда Троегубов поднял руку с платком, которым махал он неслышно певшему хору. Лодки остановились. Сергей Коробин перескочил в троегубовскую лодку:

— Платите, Савва Устинович?

— И без вас известно, Коробин.

Челпанов протянул мне руку. Я влез.

— Сколько? — спросил Троегубов.

— За него-то?

Челпанов осмотрел меня, обошел вокруг и даже легонько притронулся, как бы желая знать, насколько я пропитался водою.

Светало. Я продрог. Кроме прочего, я злился на лаковые свои ботинки, которые, несмотря на то, что вымокли, все же жали мои ноги.

— За него-то? — переспросил Челпанов. — Полагаю, ста рублей достаточно за него и за всех его родственников.

— Не торгуюсь.

Челпанов протянул было руку, но Троегубов описал «катенькой» траекторию над челпановской рукой и положил деньги на мокрые мои пальцы.

Впервые в своей жизни я держал в руке сто рублей, те самые сто рублей, благодаря которым я проеду половину желанной дороги. Индия! Я плачу 25 руб. за паспорт сверху донизу заграничный, покупаю за 5 руб. широкие ботинки, и у меня еще остается на билеты 70 руб. Вот я вылажу возле Батумского порта. Невообразимо высокий и длинный иностранный пароход гудит третьим гудком, торопя меня в далекую веселую страну, где нет холодного утра, где люди, если даже и посмеются надо мной, то посмеются совсем на чужом языке, и где о моих песнях будут думать, что они ужасно трогательны. Эта трогательность еще увеличивалась тем, что я настолько был нищ и гол, что не мог даже спрятать сторублевую бумажку, — в балалайке моей, и то было мокро.

— Молодец, Иванов! Камчуга удалась! — воскликнула Ольга Философова.

Она поцеловала Троегубова. Я радовался вместе с ней. Она радовалась тому, кто хоть на мгновение умел держать в руках «полную чашу жизни» и кто мог дать ее другим. Поцелуй ее не встревожил Троегубова. Он ответил на него холодно, но однако ответил, потому что камчуга устраивалась для иностранцев. Однако поцелуй этот Ольга поняла совсем по-другому. Она преисполнилась невероятного восторга, лицо ее запылало, она вся тряслась. Ей ка-

залось, что сейчас начнется та самая камчуга, которую она ждала множество лет, и все сейчас от мала до велика вспыхнут так же, как вспыхнула она.

Ольга, указывая на меня нежной и мягкой кистью руки, сказала:

— Пропьет! Он — такая натура, что ему суждено пропить отца родного, крест с шеи, всю солнечную систему! Ставь, Всеволод, на эти сто рублей..

Мне некуда было девать эти сто рублей, и все смотрели на меня, а пуще всех Мавра Степановна. Я взмахнула сто-рублевкой и крикнул неуверенно:

— Шампанского!

Голос мой услышала только Ольга Философова, которая повторила за мной:

— Шампанского! На всю «катеньку».

— Сию минуту, — ответил Челпанов так почтительно, как он только мог отвечать почетным гостям. Ответ его был мне приятен, лихо передал я ему сто рублей, чтобы действительно сию же минуту показались толстые бутылки шампанского.

— Вам родимого или «Клико»?

— «Клико», — ответил я.

Ольга Философова сказала с большим знанием дела:

— Если начинаешь пить, Всеволод, так начинай с «Клико».

Кутеж, который устраивал мокрый балалаечник с инструментом, который разлипался у него в руках, с размокшим голосом, совсем не понравился Троегубову, и он сказал:

— Подстроено, чтобы мы побольше потратили.

Круглый англичанин подтвердил:

— Здесь очень хорошо потому, что лакеи говорят по-английски.

— Достаточно!

Троегубов велел повернуть лодки.

Когда днище зашуршало о песок берега, раскупорили шампанское. Лакей подал мне бокал. Я оглянулся. Никто уже не смотрел на меня, а все слушали Кобрина, который рассказывал, как он ловко обошел консисторию, которая хотела с него вытянуть пять тысяч за развод, а он всучил ей семьдесят пять рублей на гербовые марки! Я подержал

бокал в руке, все еще мокрый, и выплеснул шампанское в озеро, по которому уже плыло солнце.

— Правильно! — крикнула Ольга, прыгая с лодки прямо на руки к Троегубову.

— Передай гребцам.

— Передать гребцам! — сказал я, стуча зубами от холода и тщетно стараясь залезть под солнце.

Гребцы наполнили шампанским стаканы и пили его с явным отвращением.

Я ушел в сосны, там, где стояли возы с продуктами, чтобы выжать свое платье. Повар Софроний уступил мне белый халат. Я сколол халат булавками, а сверху надел брезентовое пальто. Костер пылал, но фрак высыхал весьма медленно, как будто он впитал в себя все озеро.

Когда я вернулся на ковры, англичане посредством опрокинутого пищевода выражали свое отвращение к русской водке, и только сэр Бецольд все еще крутился и все еще, хотя и сонно, повторял:

— Очень рад, что лакеи говорят по-английски.

Челпанов плясал русскую. Ольга Философова одна из всех подлинно радовалась камчуге. Она переделалась в тирольский костюм, и в лодке ее ожидало ружье. Она собиралась в камыши стрелять уток.

— Упью прямо в Ледовитый океан! Зажигай пока лес, Троегубов.

Троегубов ответил скучным и вялым голосом:

— Англичане заснули, чего зря костры жечь. А если лес действительно подожжем? И так расходов много.

— Зажжешь, они и пробудятся! Вот тогда-то они и подумают, что камчуга удалась. Велик ты и богат, если даже во сне способен жечь свое имущество.

— Пали! — воскликнул Троегубов.

Ольга старательно бегала по лесу, тыча горячей лапой в большие костры, но от этих высоких костров, словно пригревшись, англичане заснули еще крепче, и даже сэр Бецольд уснул, хотя и продолжал крутить круглым ртом на круглом своем лице. Троегубов велел

запрягать коней. Взяв свое платье, которое попрежнему было мокро, я пошел было к самому крупному костру. Троегубов, увидав меня, вдруг топая ногами, высоким и злым голосом, каким он не кричал никогда, крикнул мне:

— Убирайся отсюда, дурак!

Челпанов подхватил его возглас:

— Да, вам бы лучше отойти в сторону, вместе со своими кальсонами, молодой человек.

— Дурак, скотина, идиот! Морду уничтожу.

Троегубова схватили за руки.

Я вернулся к подводам. Костры еще пытались осветить пространство, которое уже заняло солнце. Повар Софроний, чтобы не думать о рыбалке, объяснял причины троегубовской злости:

— Лес-то у него заложенный, как его возможно поджигать? А вдруг пожар? Пожар, он даже рыбу в озере выжжет, не то, что кредиты. Враги его обрадуются, в газетах напишут, глядишь, англичане от компаньонства и откажутся.

Я вспоминал громадный и черный рот Троегубова и радовался тому, что миллионер испугался пожара и суда. Посмотрим, как он задрожит, когда на суде при всех свидетелях я воскликну:

— Милостивый государь, я не позволю называть меня дураком и кидаться на меня с кулаками, хотя они и троегубовские!

— Ну, что вы!

Рукав моего халата нежно всколыхнулся.

Несомненно, ее зубы были во много раз великолепнее и веселее зубов курчавого павлодарца. Ее фиолетовое платье опять приобрело необыкновенно глубокий тон, и только у ней от бессонной ночи лицо порозовело и повеселело. Она спустила руку с длинными пальцами от рукава моего халата к своему платью и тихо направилась к тарантасу. Я послушно шел за ней. Она говорила, что люди не могут научиться уважать не только чужие права, но и свои. Где уж тут сердиться на них? В тарантасе на пушистое золотисто-зеленое сено клали подушки. Она взяла длинную травинку большим пальцем и мизинцем. Она раскачивала травинки,

а камень на указательном пальце горел над этой травинкой, словно громадный цветок, которому все удивляются, не понимая, как стебель способен удерживать такую уйму красоты и пышности.

Она выпустила травинку. Травинка, делая мягкие круги, нежно скользила на землю.

Она сняла кольцо и, не глядя на камень, сказала:

— Изумруд.

Она прикоснулась губами к моей щеке, я весь вздрогнул и весь наполнился бесконечно длинной строчкой из необыкновенно нежной книги: «и холодок ее зубов».

Явственно разглядел я также, что в то же время, как бы почувствовав свое унижительное поведение, Троегубов оттолкнул от себя Ольгу Философову, и она упала на ковер навзничь, но лицо у ней попрежнему было веселое, и попрежнему она считала, что камчуга удалась.

Троегубов крикнул издали:

— Готовы тарантасы?

— Запрягли, — ответила Мавра Степановна, и ясно было, что она отвечала совсем о другом, понятном только им двоим, а для меня же она сказала попрежнему, не глядя на камень:—Изумруд.

Меня обижала и внезапность этого поцелуя, и то, что она два раза повторила об изумруде, словно я не видел его никогда. Правда, я раньше не встречал изумрудов, но я столько читал о них, что воображаемый блеск их далеко превосходил подлинный. Камень очень легко уложился на моем мизинце так, как будто от мизинца тянулся стебель травы, который я тщетно искал на земле и который несомненно раздавили сапоги Троегубова, подошедшего к тарантасу. Я сознавал, что молчание мое куплено не столько камнем, сколько поцелуем, и что мне никогда не сказать на суде того, что составлено так красиво. Троегубов смотрел на нее несколько виновато, как будто понял, что целовать куплетистов так же неприятно, как целовать пьяных шансонеток:

— Ножкам удобно?—спросил он.

— Удобно, — ответила она.

— А то еще ковер?

— Не надо ковра.

Давно уже тройки скрылись в лесу, давно погасили костры и на дорогу медленно выходили телеги обоза, и много раз повар Софроний предлагал мне сесть на подводу и закрыться голубым ковром, той частью его, которая еще не залита вином, а я все еще думал о причине, которая заставила Мавру Степановну подарить мне драгоценный изумруд. Давно уже лежал я под ковром и слушал, как поскрипывают, раскачиваясь, телеги, как лошади гремят уздечками, а рядом со мной идут, беседуя о виденном, возчики, и длинные их сапоги шаркают о траву. Изредка они стучат кнутовищем по оглобле. Я дремлю, но все-таки я неустанно думаю: почему ко мне пришел изумруд? В полосу, оставшуюся между ковром и рогожей, мне видны облака над озером. Они совсем пурпурового оттенка, какой разве только встретишь в лепестках розы. Однако изумрудный цвет мне гораздо ближе, — и я закрываю глаза. Мне хочется уснуть, но хочется также и узнать, почему изумрудный цвет мне дороже и ближе пурпурового, хотя стоит лишь раскрыть глаза, и я увижу, что у высокого сутулого мужика, идущего рядом с возом, его седая борода стала от солнца совсем яркопурпуровой, такой, какой не встретишь и среди лепестков розы.

16

Проснулся я у себя в кровати. Видно, возчики подпили, а может быть, привыкли растаскивать гостей по постелям, и меня приняли за пьяного. Мизинец правой руки моей саднит.

Я долго рассматривал мое кольцо. Все объяснения, которые я подбирал на возу и возле воза, теперь, когда я обсох и когда губы мои горели, — объяснения мои были ложны! Мой бурый фрак, мои брюки, еще не освободившиеся от глины, узкие ботинки, лежавшие возле кровати, подтверждали мне, что я думал о жизни и поцелуях, находясь возле озера, совсем упрощенно.

Лучше, если около меня поселится женщина, спокойная и строгая. Правда, она любит торговать и выделять

крупчатку, но я видел, что стбит людская торговля и что способна женщина проделать ради любви, если она при людях с одного взгляда дарит тебе любовь и чудовищной цены изумруд. Цена изумруда бесспорна, но любовь окончательно решится тогда, когда она придет письмо. «И холодок ее зубов» — «он явственно почувствовал» — «и холодок ее...».

Кольцо!

Предположим, она придет в письме сто рублей и попросит вернуть ей кольцо. Получив эти сто рублей, я могу с разбитым сердцем продолжать путь на Индию. А если она не придет письма, то значит ли это, что она забыла меня? Едва ли.

Меня затрудняло то, что если размышлять серьезно, то мне не подобает брать ста рублей, а лучше всего вернуть ей и кольцо, и сто рублей. Если я приму эти сто рублей, то выходит, как будто я продал свой поцелуй. Но, с другой стороны, какой же это поцелуй, если она целовала меня в щеку? Но это разве не поцелуй, если я необыкновенно явственно различил только ей принадлежащий холодок веселых зубов.

Певицы веселые. Имелись основания думать, что камчуга удалась, что, по примеру Саввы Троегубова, многие заводчики пожелают устроить камчугу в «Золотом роге». Но веселье это длилось весьма недолго. Не успел я встать с кровати и натянуть на ноги лаковые клещи, как узнал, что г-жа Фридрих возвращалась утром из гостей, мимо лаборатории. Не успел извозчик «и бровью повести», как она прыгнула с пролетки и схватила булыжник. За столом сидел над микроскопом ученый. Он трудился всю ночь, изучая екатеринбургскую пыльную инфузорию. Камень попал в середину микроскопа, разбил какие-то зеркальца и стекла, препараты рядом с микроскопом и очки ученого.

Челпанов бранил г-жу Фридрих, а та упрекнула его, что он вместо полагающихся десяти процентов всех певиц напоил до бесчувствия и те потеряли «счет выпитого»:

— Семьсот бутылок выпито, — кричала г-жа Фридрих.

— Не семьсот, а полтора, — говорил Челпанов.

— Семьсот. Я подсчитала, когда на озеро везли, семьсот!

— Ну, а вернулась, сколько ты подсчитала?

— Как я могу подсчитать, когда ты всех перепоял.

Дамы выскочили в коридор. Каждая из них считала, сколько около нее выпито коньяка, водки, шампанского. Выходило, что выпито очень много, что Челпанов врет, а, кроме того, за вино платили втрое, а то, что полагается платить за дам, взял Челпанов.

— Напойл, напойл! — кричали дамы.

Но тут пани Марина вспомнила, что из всего общества самым трезвым был пан Всеволод Савицкий. Дамы втокнули Челпанова в мою комнату. Я сидел на кровати, завернувшись в одеяло. Челпанов смотрел на меня со злостью. Дамы требовали, чтобы я вспомнил, сколько бутылок выпито.

— Да что я, бутылки считать поехал?

— Бутылки считать ты не обязан, — кричала г-жа Фридрих, — но, сколько ящиков тащили вина, ты мог рассмотреть.

— Вино таскали не ящиками, — сказал Челпанов.

— Извините, — прервал я его, — считается большим шиком на камчугу таскать вино ящиками. Я отчетливо помню, что вино тащили именно ящиками.

— Бутылками!

— Ящиками, ящиками, — вопили дамы.

Тут весьма кстати вернулись Антуанетта Сирбо, Ольга Философова и Матильда Эвоп. Они ездили с англичанами на соборную колокольню, чтобы при звоне заутрени сидеть рядом с колоколами на тяжелых брусках, пить водку и закусывать печеными яйцами. Деяние это называлось «утренний Федосей».

— Ящиками, ящиками, — закричала Ольга Философова.

— Бутылками, — ухал Челпанов.

Мне трудно было сосчитать, сколько пронесли вчера мимо меня ящиков с вином. Я весь заполнен своей великой тайной, у меня замирало сердце, когда

я думал о том, что услышу вопрос пани Марины: «А откуда у вас, пан Всеволод, на руке кольцо?». Я тихо отвечаю ей: «Была беседа, пани Марина, очень нежная беседа».

Дамы потребовали, чтобы я быстро оделся и вышел на террасу. Пока я одевался, Фиофелакт Челпанов убежал в город. Тогда дамы вспомнили, что, хотя они получили деньги и за бутылки, а не за ящики, все же им надо торопиться к портникам, тем более, что возле ворот сада уже ожидали лихачи.

На террасе пани Марина пила горячее молоко из высокого дымящегося сосуда. Увидав меня, она сказала, что пан Всеволод несомненно обладает вкусом на материи. Правда, вкус этот не оправдался на его фраке, но при его семействе и при тех деньгах, которыми он располагает, так же, как и при его слабой памяти на корзины, вряд ли возможно шить что-либо лучшее! Дамы пригласили меня, я полагаю, в надежде, что в их присутствии вспомню нечто более крупное, чем бутылка. Я сел в коляску и потому, что мне хотелось посмотреть, как изумруд мой отсвечивает на материи, когда я буду ее щупать, и потому, что в коляске, может быть, я не так сильно буду страдать от ссохшихся ботинок.

Коляски обгоняли друг друга. Приказчики у дверей магазинов, улыбаясь, снимали перед нами фуражки. В их улыбке была и почтительность к покупателям, веселым и крупным, было и презрение, потому что весь базар знал о позорной профессии этих дам. Я увидел много людей, справлявших вместе с нами камчугу: Мазеин, обладатель широких челюстей, стоял за конторкой. Согбенный Валитов щупал фрукты. Среди магазинов суетится Коробин, управляя на голове голубую фуражку и развывая полами поддевки из шарлахово-красного сукна. Он весьма странно покосился, когда я поклонился ему.

— Неужели у меня такое незаметное лицо, что он так сразу забыл?

Тогда пани Марина сказала:

— Вам пора бы знать, пан Всеволод, что с нами здороваются только в нашем ресторане.

— Но я-то не торгую собой, пани Марина.

— Ах, я не знаю, чем вы торгуете, пан Всеволод! Может быть, купцы думают, что вы врач при шансонетках, а это тоже позорное занятие. О, долго еще, пан Всеволод, останется при вас позор шантана. Я боюсь предсказывать, но мне кажется, что ваши дети не будут думать о своем отце столь почтительно, сколь полагалось бы им думать, если они вспомнят свое происхождение.

И сама пани Марина, и ее подруги мало обижались на то, что купцы плохо кланялись нам. Отчасти это сегодня происходило и оттого, что дамы хорошо заработали, и оттого, что в магазинах показывали им свежие партии товаров. Множество кусков материй, снабженных свинцовыми пломбами, под взорами дам вынимали приказчики из скрипящей бумаги, украшенной парижскими знаками. Дамы накупили множество аршин и поехали к портнихам. Меня посадили в плюшевое кресло возле длинного и узкого зеркала. Если в магазине меня спрашивали о пригодности цветов, то о фасонах они решали сами. Пани Марина выбрала жакет из белого атласа с вышитыми узорами, — «последний крик летних парижских мод, снятых на скачках в отеле Иланкшан». К этому жакету понадобился туалет из белого шелка с атласной пелеринкой. Г-жа Эзоп украсит себя костюмом из яркочерного сукна и полосатым жилетом, коротким и бело-красным. Юбка слегка разрезана сзади, а вторая юбка в виде передника образует тунику. Об этих туниках разговор шел с утра. Портниха, горбатая, вся в седых бородавках, офицерским басом утверждала, что в модах преобладают туники, а если допускают полутуники, то делают непременно их из кружев. Евдокия Воронцова заказала себе в результате бесед длинную тунику из кружев и корсаж «фишко Марии Антуанетты»:

Каждый лезет в особый фасон:

Золотин, Коробин, Мазенин. —

Тунике не ответят на ее поклон, —

Пьют не бутылкой, а ящиком портвейн!

Я гладил облысевший плюш кресла,
пытаясь вставить в куплеты Петра

Александровича Золотина. Экая борода! Каждый волосок ее промыт и разделан так тщательно, словно он из золота. И такая же тщательно разделанная идет о нем слава. Добродушный, незлопамятный, строитель этот, постоянно поплеывавший в широкий голубой платок, строил на Северной улице для Купеческого общества дом, службы и бани. Строили эту длинную четырехэтажную громаду наспех. Начали осенью 1913 года, а 20 мая 1914 года уже закончили каменную кладку. Стройку вели под дождем. Весна, сырая и дождливая, требовала особой заботливости о цементе, но все же цемент на две трети сдабривали песком, так что, когда 13 июня стены обрушились, и попробовали их поднять, то кирпич отделялся руками без особого усилия, да и толщина стен оказалась не больше четырех вершков, да там еще оставались пустоты для прокладки гжельских труб. Рабочим предлагали втаскивать на четвертый этаж тяжелые балки для крыш, полов и потолков. Рабочие понимали опасность спешки и еще 10 июня отказывались тащить балки, но хозяин—архитектор и подрядчик—Петр Золотин сказал: «Кто не хочет работать, получай расчет. Придут другие». Уйди, а в деревне семью кто каждый день кормить будет? Вот тащится мимо стройки обоз с бревнами. Велико ли от него сотрясение земли? Петр Александрович Золотин был крайне изумлен, когда четырехэтажная стройка рухнула. Семь убитых каменщиков закопали в общую могилу, но могила оказалась тесной. Тогда гроба поставили в два ряда, а седьмой на них поперек, так что поверхность земли над последним гробом толщиной своей не превышала четырех вершков. И здесь Петр Александрович торопился строить. Да и то сказать,—на суд надо идти. Суд собрался быстро, и осудил тоже быстро и милостиво, — архитектор Петр Золотин получил полтора месяца ареста, а члены наблюдательной комиссии выговоры и замечания...

Петь не будем о любви,
Хоть построили мы сени,
Сени новые мои!

Семь гробов
 Вошли к нам в сени!
 Осени нас, осени
 Ах, вы, сени, мои сени,
 Сени новые мои.

Широки и трудолюбивы челюсти Федора Павловича Мазеина! Челюсти эти повисли над зеленой шелковой рубахой, которая повисла над голубыми брюками, которые повисли над лаковыми его сапогами. Сидеть бы ему возле своего гончарно-печного завода, но где усидишь? Федор Павлович уговорил двенадцатилетнюю племянницу Дарью Свиридову, над которой опекунами состояли его старшая сестра Ирина с мужем, подать в сиротский суд прошение о назначении ей, Дарье Свиридовой, более приятных опекунов. Девочка постыдилась отодвинуть бумагу и подписала прошение. Федор Мазеин так двинул дело, что через два месяца сестра его Ирина и муж ее Антон отстранились от опеки, а вместо них опекунами назначили Ф. П. Мазеина и адвоката его Б. Н. Ивкова. Немедленно же Федор Мазеин послал в институт, где училась Дарья, требование, чтобы девочку на праздники к Ирине не отпускали, а от сестры своей он потребовал передачи имущества опекаемой. Девочка от тревоги заболела, а когда оправилась, так подала в суд прошение, в котором сознавалась, что первое прошение она подписала потому, что дядя Федор обещал каждый день присылать в институт коробку шоколадных конфет. Новых опекунов отстранили только через три года, когда половина имущества исчезла, а девочка Дарья уже дышала на ладан...

Осени нас, осени!
 Понастроили мы сени,
 Сени новые мои...

Даже восходящее солнце, которое вы наблюдаете с Уральских гор, не имеет такой шарлахово-красной одежды, какой прославился суконный промышленник Коробин! Многие подсмеиваются над его поддевкой и способностью к неудержимой болтовне, но пусть вот попробуют они действовать таким «низшим чутьем», каким умеет действовать господин Коро-

бин. Вместе с приятелями своими господин Коробин познакомил коннозаводчика Ложева с г-жей Стебаховой, монашенкой женского Серпуховского монастыря, которая выиграла на билет внутреннего займа 200 тыс. руб. Коробин убедил господина Ложева купить этот билет вместе с павшим на него выигрышем за сто тысяч рублей. Такую огромную уступку Коробин объяснял тем, что г-жа Стебахова, принявшая постриг монахини, не имеет права владеть собственностью, и если монастырь узнает о ее выигрыше, он неминуемо билет отнимет, а она намерена, получив эти деньги, уйти из монастыря. Коннозаводчик поколебался, но поверил, — и билет купил. Когда его приказчик явился в банк, то оказалось, что номер на билете переделан на другой номер, на который действительно пал выигрыш в 200 тыс. рублей. Следствие узнало, что это уже не первая подделка, что за продажу билетов — один в 40, а другой в 23 тыс. — уже судились в Москве некие приятели Сергея Коробина, а Стебахову он нанял за четвертной билет. Коробин на суде только подсмеивался над доверчивостью Ложева и выступал без защитника. Он калялся, жаловался на своих друзей, утверждал, что он человек религиозный и предвидит ядущие его в аду страдания и что земные муки ему не страшны! Суд признал, видимо, что земные страдания действительно ему не страшны, дал ему полтора месяца тюрьмы и церковное покаяние, а из уплаченных Коробину ста тысяч коннозаводчик Ложев еле-еле получил десять...

Семь гробов
 Вошли к вам в сени!
 Осени вас, осени,
 Ах, вы, сени, мои сени,
 Сени новые мои.

К обеду я составил куплеты. Я тщательно переписал их. Помню, что переписывал я их рыжим карандашом и карандаш непрерывно ломался, а я его чинил крошечным перочинным ножичком. Переписав, я понес куплеты к Фиофелакту Челпанову, потому что он всегда, согласно контракту, «за шесть часов» знакомился с нашей программой. По дороге я вспо-

мнил, что вечером может притти опохмелиться Савва Устинович. Тогда я вернулся и вставил нечто о рукоприкладстве Саввы Устиновича и о том, что он выбирает не столько невесту по любви, сколько по плотности ее крупчаточных мешков. Возможно, что Савва Устинович раскланивается с шансонетками, но он наверно раскланивается так презрительно, что лучше бы уж и не раскланивался.

Ну и выстроили сени,
Осени вас, осени!
Сени новые все в тени,
И английские они...

17

Антуанетта Сирбо пробовала голубой ножкой, туго ли натянута проволока. Спрыгнув, она подбежала к занавесу и заглянула в щелку. Я тоже заглянул, хотя я никого не ждал, и составленные мною куплеты казались мне необыкновенно скучными.

Чрезвычайно удивленно рассматривал я «орлиное» зало. Рядом с оркестром за длинным столом сидели плечистые скотоводы в поддевах из верблюжьего сукна, а с ними Пашка Ковалев и Петр Захаров. Пашка Ковалев пьет обеспокоенно нарзан, оглядывается, а румяный павлодарец пробует розовыми губами черное пиво, и лицо его сияет. Петр наслаждается тем, что вокруг него сидят почтенные и веселые люди в почтенном и веселом ресторане. Он отвертывается от занавеса, дабы внезапно поразить своего друга, когда он выйдет на сцену:

— Факир! Всеволод!

Затем он приподнимется и добавит с полупоклоном, размахивая салфеткой и подняв бокал с потрясающе пунцовым вином:

— Господин куплетист, разрешите вас пригласить в зал.

Господин куплетист погладит свой гумозный нос и ответит:

— Даже по вашему приглашению, господин Захаров, куплетист не спустится в зал. Его пребывание на сцене окружено тайной, как жизнь Железной маски.

Быстро я вернулся в свою комнату, чтобы поспешно вставить куплет о своих друзьях. Но куплеты совсем не получались. Я пытался их соединить с вычитанными из разных сборников:

У нас шулера и прохвосты
Так мирно и просто живут:
В субботу попарятся в бане,
А в праздник все водочку пьют.
Спокойно глядят — прикатили
Захаров и Ковалев.
Избавим ли нашу Россию
От жуликов и от воров?

Дамы переодевались в своих комнатах. В двери несетя запах пудры и духов. Они бранят жулика Челпанова, портних, аккомпаниатора. Едва дама успеет одеться, как другая советует ей иное платье: «Ах, почему вам хранить такой замечательный галунный блеск!» Дама натягивает галунный блеск, но оказывается, что лиловое больше к лицу, а позже выясняется, что так как все слегка с похмелья, то лучше надеть белое с сизым отливом!

— Маша, разве так глядят!

— Глуша, воды похолоднее!

— Сашенька, где ты, я же не могу зашнуровать корсет одна!

Звенят звонки, горничные звонко бегают из одного конца коридора в другой, а громадные артистические уборные пустуют. Там не одеваются, а наряжаются. Там лежат меха, ларчевые тяжелые платья, фальшивые бриллианты, а главное—сияют зеркала.

Возле моих дверей остановился Фиофелакт Челпанов. Он в шелковой поддевке и в сафьяновых сапогах, набелен и завит. Он готовится к танцу. В руке он держит листки с моими куплетами:

— Такой камерции не бывает, господин Иванов. Люди пили водку, а у вас голова не работает? Вчера вы вместо номера падаете в воду, уже много дней обещали составить куплеты насчет моих расписных зал, а вместо этого расписываете моих клиентов. Вы получаете жалованье, господин Иванов!

— Жалованья я еще не получал, аванс я ваш отработал. Вам же неудобно, если в ресторане окажутся карманники.

— Какие такие карманники?

— Здесь прямо указано:

Спокойно глядим — прикатили
Захаров и Ковалев.
Избавим ли нашу Россию
От этих карманных воров?

Челпанов встревожился. Видимо, он мельком просмотрел мои куплеты. Теперь он уставился в листки и вдруг, поблуднев, сел на мою кровать.

Челпанов пошевелил розовую лампу и розовый столик и, выпятив челюсть, тихо сказал:

— Вот так куплеты!

— Я защищаю вашу честь, Фиофелакт Иванович.

Челпанов все так же тихо спросил:

— Это честь, чтобы с моими девками раскланивался гласный городской думы? Да что они, миллионерши? Честь! Я честь свою сам защищу. А ты, куплетист, пиши насчет докторов или простодушных девушек, которые путают беременность с блином, а лучше всего пиши о том, что миновало и что уже больше не вернется, и над чем следует помяться...

— Я пишу то, что мне хочется. Вы, Фиофелакт Иванович, можете согласно контракта запретить мой плоский нос, но запретить мое высокое перо...

Я взял в руки карандаш.

Челпанова чрезвычайно возмутило, что карандаш называется пером.

— Эх, уже эти мне куплетисты.

Он тихо встал с кровати, разорвал в клочья мои куплеты, поплевал в них и осторожно понес в коридор, где и кинул их в травянисто-зеленую плевательницу.

Я схватил перочинный ножик, которым чинил карандаш. Делая ножиком круги, я воскликнул:

— Ножиком некоторые орудуют не хуже кинжала. Не забывайте, что мы работали индийскими факирами.

Дамы вышли на крик. Пани Марина смотрела на меня слегка презрительно. Сколько преподано ему хороших манер, а он орет да еще размахивает ножиком! Размахивает он, правда, не глядя на хозяина, и не поймешь, кому он хочет вскрыть живот: себе или первому встречному.

— Вы смешны, пан Всеволод, — сказала пани Марина.

Тут Челпанов побагровел, и не успев я привести руку свою в такое движение, которое б ввело сталь в живот моего хозяина, как он схватил нож и с такой силой кинул его, что лезвие ушло в столешницу до половины и, слегка подрожав, сломилось. Сердце мое замерло. Я внезапно понял, какой громадной силой обладает мой хозяин.

Поэтому я скрестил руки на груди и сказал кратко:

— Вы достойны куплета, а не драки.

Но тут внезапно вступилась за меня Воронцова. Она была совсем пьяна. Полчаса назад от нее ушел согбенный Валитов. Он требовал украденных денег. Она ему сказала: «Сам потерял, сам и ищи». Валитов выпил бутылку коньяка и не заплатил за него. Воронцова злилась на Валитова, на полицейские протоколы, которые весь день сопровождали ее, на корзины вина, которые утаил Челпанов.

Она кричала хрипло:

— Не выгонит, Всеволод!

Воронцова подскочила к Челпанову и ударила его по щеке.

— Ты вот как его, Всеволод. Тебя выпнать? Да ты ж его спалишь! Спалишь, Всеволод?

То, что огонь чересчур часто появлялся возле меня и во мне, признаться, уже давно тревожило меня. Ну, пусть это будет последний раз, коли это нужно для того, чтобы все флигеля уважали меня. Я нахмурил брови и сказал с внутренним огнем:

— Случается всяко. Пожары в России, в стране, сплошь деревянной, вплоть до голов ее обывателей, обычны.

Челпанов сразу поверил в пожар. Он встревожился. Внутренне он уже заманулся на меня, но схватить — он схватил только пани Марину за руку:

— Мы держали его по вашей рекомендации, пани Марина. А теперь, может быть, и вы тоже угрожаете мне пожаром?

— Пан Всеволод, я рекомендовала вас. Неужели вы способны угрожать пожаром? Что же касается меня, то я ни-

кому, пан Фиофелахт, не угрожала пожаром, даже России. А кроме того, пан Всеволод склонен иногда к странным шуткам.

— Шутки, прибаутки, а пойдут пожарищем утки, — сказал я.

Челпанов устремил челюсть свою к пани Марине:

— Мы полагали, пани Марина, что он при вас котом, а он — вымогатель и поджигатель.

— Кот? — вяло сказала пани Марина. — Зачем мне нужен кот? Вы знаете все пана Азгарц, которого я называла братом. Он мне муж. Надеюсь, это останется между нами, а не перейдет к посетителям. Кот! Он даже не польский кот.

В глазах пани Марины я увидел слезы:

— Гоните его, пан Фиофелахт, медленно в шею.

— Как его выгонишь? Вы его так развратили, что он сегодня сожжет меня!

Тогда пани Марина сказала мне:

— Мы все просим вас тихо покинуть наш ресторан, пан Всеволод, иначе на суде мы покажем, что сбирались съечь нас живьем.

— Не покажем! — крикнула Воронцова. — Верни нам корзины!

Тогда заревел Челпанов:

— Бутылки, а не корзины!

— Корзины, корзины, — подхватили дамы.

Я громко сказал им:

— Корзины.

Воронцова указала на меня Челпанову:

— Видишь, он был один трезв. Он видел, что корзины! Плати.

— Бутылкой бы его по черепу, — мечтательно сказал Челпанов, — бутылкой бы его, тогда бы он сразу покинул мой ресторан.

— Я не покину ваш ресторан до тех пор, пока вы не соберете разорванные мои куплеты. Может быть, я их pošлю в уральскую печать или выпущу отдельной книгой? Кроме того, заплатите мне, Челпанов, положенное, неустойку и сто рублей, которые вы меня заставили пропить.

— Вы слышите, пани Марина! Корзины, говорит он! Неустойку! А я ведь доверял вам, пани Марина, вам и вашему вкусу.

— Такой же случай произошел некогда в типографии, пан Фиофелахт.

— Вот вы наверно знали в типографии, как надо поступать, а что в таком случае делать в шантане, так вы плачете, пани Марина.

— Я давно высушила свои слезы, пан Фиофелахт.

— Слезы-то вы сушите, но заступаться заступаетесь.

— Я заступаюсь? А по мне, пан Фиофелахт, так вы хоть сегодня его отравите.

— Вы смеете говорить такие слова, пани Марина? Захвораи он сейчас от испуга, на меня упадут все подозрения. Получается не ресторан, а притон! Деньги крадут у посетителей, хозяину угрожают ножом, в стихах изображают гробы и мертвецов. Остается написать заявление в сыюкное.

Челпанов ушел.

Сразу же подбежал к дамам заведующий сценой, седой старичок, некогда суфлер, ужасно любивший рассказывать о невероятных театральных ошибках, в особенности о том, как однажды велели помощнику режиссера заказать стадо коров из папье-маше, а он не расслышал и пригнал к третьему акту настоящее стадо. Старичок этот посмотрел в программку и оказал:

— Публика любит скандалы, господин Савицкий, и Фиофелахт Иванович решил все-таки вставить ваш номер. Певички болтливы и склонны к ошибкам!

Публика действительно требовала меня, но когда я прислушался к этим крикам, то я понял, что меня требовали мои балаганные друзья. Я даже разобрал слова Захарова, который кричал, что если кулетист заболел, то зрители могут навестить его.

У входа на сцену ожидал меня Челпанов. Глядя в мой висок, он оказал:

— Возле дверей поставлен околодочный, и если ты запоешь такое, что не разрешено мною, так ты сейчас же теряешь паспорт и направляешься по этапу до самой твоей родины. А в случае

пожара у меня тоже имеется огнетушитель.

Он вынул «бульдог», пятизарядный, толстый и тяжелый. Занавес еще не подняли. Я вбежал на сцену и заглянул в щель. У дверей зала, возле сивой пальмы, покуривая длинную папироску, стоял хмурый околodочный. Происшедшее никак не укладывалось в систему моих тетрадей, а отнести к случайности я этого не мог, потому что все это продолжалось слишком долго. Какой же я поджигатель, и почему мне нужно петь под револьвером?

— Я отказываюсь петь, Фиофелакт Иванович.

— Почему ты отказываешься петь?

— Лучше я выйду на сцену и скажу, что простужен. Все знают о камчуге и о том, что я упал в воду.

— Вот поэтому и хотят, чтобы ты спел им то же самое, когда падал в воду.

Челпанов с опаской держал в руке револьвер. Он боялся опустить его в карман не тем концом. Барабан револьвера так вздулся, будто револьвер обладал не пятью, а пятьюдесятью патронами необычайнейшей мощи.

Повар Софроний вышел из-за кулисы. Косясь на револьвер, он сказал:

— Упор на какое кушанье делать, Фиофелакт Иванович? Вернулись Ольга Николаевна на тройке, махнули ручкой и опять ускакали, но все же многим довелось слышать, что должны мы ожидать Савву Устиновича.

— А вы уже нацелились продукты тащить? Проверим.

Челпанов, видимо, считая, что с револьвером в руке нельзя разговаривать о продуктах, положил его на столик канатоходки, обитый бархатом.

— Врет она наверно спьяна.

— Никак нет. Англичане выразили удовольствие по поводу камчуги и даже, говорят, хотят вступить в троегубовскую компанию.

Фиофелакт схватил повара за плечи и потащил его в сторону. Они шептались, и я слышал, как повар Софроний, тяжело дыша, шипел:

— Уж мы им в кушанье такого напустим, что живот высохнет, как бумага.

Все шампанское в городе сегодня будет выпито, Фиофелакт Иванович, уж вы мне поверьте.

— Ой, врешь, Софроний.

— Фиофелакт Иванович, в Париже поварские штуки изучали...

— Ой, врешь, Софроний!

Тут, дабы успокоиться и разобраться в той путанице, которая происходила вокруг меня, и не опасаться ни околodочного, ни хозяина, я переложил с бархатной тумбочки в свой карман толстый револьвер.

Впервые держал я в кармане огнестрельное оружие. Должен сказать, что я и трусил слегка, но еще более мною владела какая-то удивительно приятная, спокойная теплота. Я похлопывал рукой по карману и думал, что вот здесь лежит пять немедленных смертей! По-особому я глядел теперь в щель занавеса. Я сел возле этой щели на венский стул и положил нога на ногу. Кулиса та, что против меня, изображала куст роз, и я думал, что многим, кого я награжу куском свинца, на гроб положат розы. Я считал своих мертвецов. Я выбрал околodочного, Фиофелакта Челпанова, добавил сюда Золотина, Мазейна и закончил высокой прудью пани Марины, по которой весьма красиво потечет «калая струйка крови». Вот околodочный в последний раз подошел к чьему-то столику, улыбнулся, покрутил усы и пошел к следующему. Скотопромышленники хочут, перемигиваются с дамами, а через зал величественно идет пани Марина. Любопытно, что будут показывать эти свидетели на суде?..

Вбежал Петр Захаров. Ему не терпится. Он быстро осматривает рояль, электрические лампочки, щупает холст кулис. Он очень рад, что я не изменил своему прежнему костюму:

— Наша игра, Всеволод, развивается! Мы приехали в Екатеринбург, чтобы захватить еще парочку-другую игроков.

— Кончится, чую я, игра эта смертью, — говорит Пашка Ковалев.

Руки у него бледные, а на височках жалобно бьются синие жилки. Веснушчатый нос покрыт потом, и весь он до чрезвычайности противен мне.

— Возвращаетесь обратно?

— Возвращаемся. Едем, Всеволод?

— Мне, друзья, пора выступить. Через десять минут мы выйдем в сад, и вы мне расскажете о том, когда вы приобретете двенадцать лошадей у господин Коромыслова!

— Уже у нас две тысячи лошадей, Всеволод.

Лакей дотрагивается до моего фрака и говорит:

— Пожалуйста, вас зовут, господин Савицкий.

Петр подает лакею рубль, новенький, серебряный:

— Он сейчас придет. Мне надо ему сообщить нечто о двух тысячах коней.

Лакей недвижим. Петр Захаров вытаскивает второй рубль:

— Скажи, что господин Савицкий занят.

— Слушаю-с, — почтительно отвечает лакей и уходит.

Однако нам говорить не о чем. Петр дает рубли только для того, чтобы показать, насколько он богат. Я спрашиваю:

— Ну, а как же Нубия?

Рука лакея опять возле моего плеча. Лицо его упорно, а голос вежлив до необыкновения:

— Извините, но вас приглашают, господин Савицкий.

— Получи третий и навсегда исчезни.

Лакей получает третий, но стоит неподвижно.

— Пожалуйста, вас приглашают немедленно.

— Кто их приглашает?

— Их приглашают Фиофелакт Иванович.

Лакей, тот самый, который знает английский язык. Я боюсь обидеть его и говорю своим друзьям:

— Извините, дело идет о стихах.

— Все понятно, — отвечает с уважением Петр Захаров.

Сопровождаемый лакеем, я спустился в голубое «орлиное» зало. Я впервые спускался к посетителям ресторана, чему впрочем ни я, ни посетители не радовались. Моей радости мешал окологочный, который попрежнему курил возле дверей, и мои размышления, которые

всегда влезали в меня при обстоятельствах, казалось бы, мало тому способствовавших. Судите сами. Количество «Его тайн» увеличилось, тогда как «Его высший духовный идеал» чертовски плохо действовал. Мои тетради уравнились сами собой! Тетрадь, посвященная тайнам раньше, была раньше совсем тоща, а сейчас она разбухла.

Мы прошли через египетское зало, носившее странное название «переснастка». Попутно я размышлял о том, что мне до сего времени так и не удалось узнать, кого же здесь переснащивали. Змея все еще не уничтожила жизни Клеопатры, попрежнему колыхались пальмы, увеселительные машины напрасно занимали углы, мужик в розовой рубашке и с толстым носом стерег их, выказывая этим надежду хозяина, что камчуги-сты приедут сегодня заканчивать камчугу.

— Идите побыстрее, — сказал мне лакей.

События с моими тетрадями доказывали лишний раз, что заранее нельзя предсказать, сколько места займет в твоей жизни наука и сколько твоя личная тайна. Медленно двигался я через зало, заполненное рыцарскими сценами, попрежнему багровое и попрежнему весьма странно называвшееся «рублевой». Толстая танцовщица Климшина пробежала мимо меня, держа в горстях крошечного цыпленка. Зачем ей понадобился цыпленок?

Белое с золотом швейцарское зало надолго остановило меня. Я смотрел на эти снежные вершины и думал, что странствования мои чрезвычайно неудачны, — иначе почему же не смог я подобрать таких событий, которые могли бы произойти на белых швейцарских горах и которые в то же время подходили бы на события, происходящие в нашем ресторане, и которые следовало бы мне изложить стихами?

— Пожалуйста, идите, вас приглашают немедленно, — повторил лакей.

Лицо у него скучное и ленивое. Чтобы несколько встревожить его, я спросил:

— Способствует ли, по вашему мнению, странствования развитию тайны?

Он зевнул.

— Это несомненно зависит от характера. Идите побыстрее.

От характера? Его слова напомнили мне странствования моего отца, которые хотя были часты и продолжительны, но из которых отец мой не вынес ни одной тайны, причем нужно помнить, что отец мой странствовал по монастырям, где, как известно, много «тайны, авторитета и чуда». Мало того, отец мой утверждал, что смысл жизни совсем не в тайне, ибо если ты попробуешь сделать жизнь тайной, то она начнет властвовать над тобой, а жизнь не имеет никакой цены для того, кто остается ее рабом. Следовательно, поиски тайных мгновений есть рабство. Религия стремится привить ценность тайным мгновеньям, хотя бы тем, что говорит о мгновеньи, будто оно ничтожно и плохо. Вот почему отец мой стремился искать истину. Искания ее он совершал не с весельем, а с волнениями и беспокойством. Отец мой пукался в путь, как только ощущал это беспокойство. К сожалению, беспокойство это не всегда сопровождалось полновесием его карманов, и вот почему отцу моему приходилось думать о религии, то-есть останавливаться для пищи и отдыха в монастырях, угоднях возле церквей, скитах. Но и тогда отец мой нимало не склонялся к религии, так как он считал, что он останавливается в монастырских местах ради холодной бани. По мнению моего отца, только монахи обладали знаниями касательно того, как посредством купанья в умеренно холодной воде добиться чистоты кожи, охлаждения тела и более подходящего для жизни хода нашего телесного процесса, слишком ускоряемого действием внешнего и внутреннего жара, что производит расточительное снадение органической материи, а через это повергает тело наше в слабость. Все святители знали, что холодная баня уменьшает жизненную деятельность верхней оболочки, ограничивает чувствительность нижней, благодаря чему утолщает и закрепляет нашу кожу, делая тело менее ощутимым к переменам тепла и холода, предохраняя от насморка, разлития желчи, ревматизма, поноса, усиливая дыхание и возвышая

аппетит, — впрочем аппетит у отца был хороший и без холодной бани, — а, кроме всего этого, от более короткого знакомства с водой мы перестаем питать к ней боязнь, научаемся искусному плаванью и через это получаем возможность спасти свою жизнь в случае нужды. Во избежание недоразумений отец всегда оговаривался, что, говоря о холодной бане, он понимал ту степень холода, которую имеет открытая вода в теплые летние дни и которую по оправедливости вы называете холоднотой. Отец мой полагал, что вследствие свойственного им долголетия монахи вполне искусно овладели секретами холодной бани, и так как монашество неминуемо исчезнет, как оно например исчезло в магометанстве или у евреев, то искусство холодной бани надо передать нашим потомкам. Холодная баня обогащает ум человека воспоминаниями! Выйдя из холодной бани, отец мой всегда рассказывал свойственные ему истории еще более красиво, широко и бойко. «Как догадается само потомство, — спрашивал мой отец, — если ему не передать изустно или письменно хотя бы то, зачем, в какой степени, кто и сколько натирался сукном после холодной бани и какие сужна надобно употреблять?» Из всего изложенного вам будет понятно, что когда отец мой крестился на купола или на иконы, то, в сущности, происходило не моление и не попытка понять тайну, а разговор о холодной бане. Отец мой живо интересовался этим предметом. Желая узнать, подobaет ли купаться до или после обеда и что думают святые отцы об этом, отец мой обошел все четыре российских лавры, все семь ставропогигальных монастырей (Соловецкий, Донской, Симонов, Новоспасский, Воскресенский — Ново-Иерусалим, Заиконоспасский и Спасо-Яковлевский, о которых он любил повторять, что они настолько же изобилуют буквою «с», насколько богоугодным жиром), все скиты при этих монастырях, и, кроме того, он обошел 725 обычных русских монастырей, беседуя с монахами штатными и заштатными, монахинями, послушниками и послушницами общим числом в 39.052 человека, и причем оказалось,

что все они кое-что да знают о холодной бане. Отец мой пропускал тех, кто не пожелал с ним беседовать или кто предпочитал диетические действия теплых ванн; или молчание монахов полнокровных, которых было тоже немало и для которых вообще всякая баня вредна; тех, кто был в присмотре за кобылами во время родов или вскоре после них; тех, кто наблюдал, как начинает взбивать и мутиться пиво, или заботящихся, чтобы пиво не пахло бочкою; тех, кто уничтожал пятна от колесного сала или готовил белую треску или жирных форелей, которые, как известно, бывают наиболее вкусными в июле месяце, а зимой совсем безвкусны, что совпадает и с холодной баней; тех, которые делали замечательный «дорш», самый малый род трески, требующий, чтобы ее солили и не слишком много, и не слишком мало, эту прекрасную мелкокожную и нежную рыбу, тогда как мясо мелких окуней, как вам известно, не очень уважается по причине его костлявости, а мясо крупных окуней по причине его жесткости. Таким образом, отец мой кстати выяснил, что святители самой красивой и самой вкусной рыбы считают речную щуку, в особенности ту, которая имеет в длину более фута, в толщину три дюйма и весит от четырех до десяти фунтов. Щука эта жирна и вкусна «до согласности» — в феврале месяце, а наименее вкусна в апреле, когда она пожирает лягушек и бросает икру. В июне и августе щука опять становится хорошей, ибо получает более твердое мясо, хотя у тех щук, которым еще не миновало года, или у так называемых «травяных» щук время года не производит резкого различия в мясе, если только эта рыба существует в текущей воде. Щуки, которые рождаются в болотных и мутных водах, получают в жаркую погоду во время жатвы весьма мягкое мясо, которое имеет неблагоприятное влияние на их характер и вкус. И щуке, как видите, необходима холодная баня! Пополняя свои сведения, отец мой посетил, кроме вышеназванных, еще, в пределах России, 35 римско-католических монастырей и несколько армяно-грегорианских. Таким образом, он обо-

шел множество угодий, но всякий раз, направляясь в странствования, он заранее говорил, что весьма трудно будет сообщать грядущим потомкам точные сведения о русской холодной бане, ибо баню большинство обитателей понимает каждая по-своему. Когда например отец мой пробовал спросить, что же лучше — дождевая ванна или баня, то некоторые святые отцы бранили его весьма искусно, а некоторые не менее искусно одобряли, присовокупляя, что после дождевой ванны надо иметь возле себя волосяную щетку безразличного цвета или длинный лоскут фланели, от трения чего кожа твоя примет приятную теплоту. Дождевую ванну хорошо принимать утром, но подниматься рано и разыскивать дождь вряд ли кому хочется, и вот почему отец мой соглашался с монахами, говоря, что истинное красноречие, так же, как и аппетит, состоит в том, чтобы высказывать то, что относится к делу, и только это, а великим секретом красноречия остается серьезное лицо. Расспрашивая о бане, отец мой получал множество уроков серьезности, а следовательно, красноречия. Сам он боялся применять на себе как холодную баню, так и дождевую ванну, в силу чего он плавал хорошо только по волнам красноречия, к тому же он предпочитал сушу и потому, что суша сооружала ему только мозоли, а еще неизвестно, что соорудит ему вода. Мозоли часто останавливали его возле религии, — и для лечения, и для пищи. Но долго он там не задерживался, потому что монахи хотели только слушать о монахах, тогда как отец, будучи человеком глубоко бесстрашным, всегда рассказывал известным ему людям про неизвестное. Вот почему, едва отец мой начинал понимать смысл холодности монашеских лиц, как он снимал сапоги и пускался в путь босиком. Правда, верст через сорок он опять упирался в церковь, в монастырь или в монастырские угодья, так что в конце концов ему надоела холодная баня, от которой однако он не мог освободиться, ибо иначе ему пришлось бы креститься на купола и иконы совсем по-настоящему, то-есть признавать тайну мгновенья. Случалось, что отец мой

при одном упоминании о холодной бане впадал в озноб и в раздражение. Из попутного дела холодная баня превратилась в главную и заслоняла собой многое в его жизни. Когда ему, казалось, совсем нельзя было освободиться от бани, он наливал «с верхом» зеленое ведро водой. «Верхом» назывались плавающие льдинки. Я отлично помню это зеленое ведро с деревянной дужкой. Отец мой подвешивал ведро у крыльца школы на крюк таким образом, чтобы, дернув за веревочку, можно было опрокинуть это ведро на себя. Ведро долго раскачивалось, брызгая то сильно, то слабо. Отец мой приседал и лениво дергал за веревочку, стуча от страха зубами и обливаясь потом, который был гораздо холоднее воды. Измучившись и не доверяя своим рукам, он наматывал веревку на ногу, зажимурился и дергал изо всей силы. Вода выливалась где-нибудь рядом с отцом, обрызгав его грязью. Отец наполнял другое ведро, но и это попадало ему куда-нибудь на бок, так что в конце концов отец мой, весь залепленный грязью, влазил на печку и ложился под тулуп. Он обсыхал. С его сухого тела грязь спадала сама собой, а в поселке Лебяжьем говорили: «Быть ему Скобелевым! Все генералы обливались холодной водой». Долго на земле валялись ледяшки, долго отец мой дрожал под тулупом, а мать прятала зеленое ведро куда-нибудь в далекий угол сеновала. Отец мой, отогревшись, говорил: «Не даром устроили монастыри. В миру святым быть трудно». Однако отец мой быстро утешался, потому что зеленое ведро со льдом давало ему повод лихо рассказать, как лебяжинские казаки воевали с китайцами за обладание городом Семипалатинском. Китайцы наступали бесчисленными толпами. Казаки, которыми командовал дед Семен Савицкий, соорудили ледяную крепость, из которой палили ледяными пушками. На Иртыше было 87 градусов ниже нуля по Реомюру, так что река промерзла до самого дна, и когда для постройки крепости стали вынимать льды, то в них находили замороженных осетров. Этих осетров, не выкалывая, вместе со льдинами везли прямо к царскому

столу в Петербург. Казаки быстро разбили китайцев, но не столько нажились они на захваченном имуществе, сколько на продаже ледяных осетров. «Где же они, эти капиталы-то?» — спрашивали моего отца. «Пропили» — с гордостью отвечал мой отец.

18

Возле куртины ожидали меня три официанта. Младший из них держал лампу. Воздух был тих и неподвижен, но свет лампы колебался на их встревоженных лицах. Удивило меня и то, что официанты держали мои шпаги и мои тетради, и все это было завернуто в мою «соломенную собаку». Подальше, возле высокого куста георгин, дремал тощий городской в широкой фуражке.

Фиофелакт Челпанов спустился по лестнице. Челюсть его двигалась над моим паспортом, лежавшим на его руке. Я быстро подумал, что хорошо бы получить паспорт без особых изменений моей внешности, но я не мог не сказать:

— Жалованье-то так, значит, и не уплатите? В куплетики бы вас вставить вместе с прочими гробами.

Кстати, я вспомнил, что в кармане у меня лежит револьвер, но одновременно я узнал, что обращаться с револьвером не умею. Я много читал, что герои «спускают курок», но, пожалуй, от растерянности я могу узнать только способ, как эти герои спускают курок в самого себя.

Челпанов показал мне издали бумажку:

— Подписана! Дамы признают, что куплетист грозил мне пожаром и что вино подавали бутылками.

— Признают?

— Вот и уходи!

Ресторан, как вам известно, представлял собою нечто вроде большой деревянной подковы. Сжимая рукой револьвер, я подумал, что бежать вперед к выходу из сада по самому краткому пути мне помешает официант. Я мог бы проскользнуть к воротам влево мимо клумб, но там сторожил городской. Мне оставалось бежать только назад, туда, где были службы, среди которых шляются бездельники-конюха, всегда готовые

подставить ножку, где мусор, ямы, а затем кустарники — елки и боярышник, за которыми начинается овраг. Но обидно было не замысловатое расстояние, а то, что лаковые ботинки невероятно яростно жали мои ноги.

— Весьма благодарный за ваше обращение, я попрошу вас только, Фиофелакт Иванович, уплатить мне положенное: 60 рублей.

Челпанов закричал:

— Благодарю бога, что паспорт получаешь!

— Паспорт вы не имеете права задерживать по российским законам, согласно которым...

Челпанов еще раз показал мне бумажку, которую подписали наши дамы:

— Под суд бы тебя, да не хочется тень на заведенье наводить, скажут — поджигателя кормил. Если подойдешь к моим строениям, и даже не ты, а кто-то, похожий на твою морду, — будет разбита вдребезги.

То, что Челпанов не бросает паспорта на пол, указывало, что он желает со мной покончить мирно. Поэтому я сказал сухим и деловитым голосом:

— Ну, так как, Фиофелакт Иванович? Уплатишь ты мне неустойку? Наличными или вексель выдашь? Имей в виду — продуктами и подпорченным, слитым из разных бутылок вином не возьму. Разве, что обедать еще буду к тебе ходить.

От удивления и негодования Фиофелакт раздвинул челюсти, и пальцы его ослабели.

Мне трудно было прыгать, но я подпрыгнул. Я хотел действовать «молниеносно». Я вырвал подписанную дамами бумагу, мой паспорт, а затем прыгнул к лакею, схватил свои шпаги, тетради и соломенную собаку.

— Ой, господи! — визгливо крикнул Челпанов, падая навзничь и держась за карманы.

— Зарезали! — завопил лакей, тот, который привел меня и который умел говорить по-английски.

Широко раскинув плисовые свои шаровары по песку, лежал передо мною мой хозяин. Он чуть шевелил локтями и дышал очень хрипло.

Наверное он полагал, что я пырнул его ножом.

Лакей мужественно замерл на месте. Из кустов, одной рукой поддерживая брюки, другою свисток, выбежал городской. Его жесты указывали, что он не мог владеть своим револьвером, и тогда я выхватил свой пятизарядный «бульдог».

— Корзинами! — закричал я, размахивая револьвером. — Корзинами! Плати по контракту, иначе перестреляю. Плати!

Но Фиофелакт Челпанов не мог платить. Он держался руками за карманы, думая, что держит свой живот, который давно уже распорот. Тонкий визг вышел из его носа, и по этому визгу я понял, что мне надо торопиться.

Я побежал, еще волоча ноги. Надо полагать, этот бег признавался подлинно разбойничьим, и официанты столь тщательно пожелали спасти свою жизнь, что когда они бросились в ресторан, то вышибли из рук городского свисток, благодаря чему он мог схватиться за свой револьвер.

Однако свисток только помог мне. Гуляющие по дорожкам и кучера возле конюшен решили, что произошло страшное кровопролитие и что лучше разбежаться, нежели попасть в свидетели.

Я проскочил сквозь елки, пролез под боярышник, перемахнул высокий забор и сразу попал в невероятно теплую и длинную темноту оврага.

Однако я продолжал бежать, размахивая револьвером перед своим лицом, так что, в сущности, я бежал в тех кругах, которые описывала моя рука.

Тьма делалась круче и влажнее. Я споткнулся о какой-то пень и покатился по такой крутой отвесности, по которой все предметы падают с одинаковой скоростью согласно закону притяжения. Несколько раз перекувырнувшись, я приостановил этим дальнейшее развитие моего страха, который мог бы иначе превратиться в ужас.

Мне было жалко лаковой моей обуви, которая наверное повредилась в овраге, ибо я не чувствовал боли в ногах. Эта мысль, а также и то, что босые мои ноги могли наколоться на что-нибудь не-

постижимо острое, вместе с боязнью ужаса, приостановили движение моего тела. Едва я остановил свое тело, как подумал, что при дальнейшем усердном кувырканьи револьвер мой мог выстрелить, — и ужас, которого я так трепетал, охватил меня.

Долго я пыхтел, проверяя плечами пространство около себя.

Я пощупал свой карман и свою голову. Удивительно не то, что уцелел револьвер и голова, а то, что я не выронил ни шпаги, ни паспорта, ни подписки дам.

Едва я узнал свое имущество, как узкие ботинки опять напомнили о себе. Я снял ботинки и весьма порадовался жизни. Да и трудно было не радоваться. Я имел фрак и ботинки, на которые, как теперь выяснилось, совершенно не действуют дурные климатические условия. Кроме того, я обладал не очень поношенными брюками, опрятным паспортом, револьвером, кольцом с громадным изумрудом, несколькими клеенчатыми тетрадами, которые собрали в себя мудрость человечества, и соломенной собакой. С таким имуществом кто не дойдет до Индии?

Я чувствовал к себе сильное уважение.

Мне нехватало денег и некоторого количества свободного времени, дабы подумать над тем, что произошло. Очень меня огорчала «подписка дам». Наверное подпись пани Марины стоит впереди всех.

Я припилил полы своего фрака вовнутрь, так что получился некий куцый пиджачок, кое-как замотал в соломенную собаку свои шпаги, привязал к фракному карману паспорт и направился искать работу.

На перекрестках я спрашивал у городских, где находится типография газет «Урал». Мне хотелось держать в руке верстатку, а кроме того, я надеялся вспомнить «огненные» свои куплеты. Кто знает, не сгодятся ли они газете?

Так как при виде городского я надевал свои ботинки, то лицо у меня было такое качающееся, что городские говорили:

— Ишь ты, как надрался. Проходи,

проходи, а то клопов покормишь. Туда же, ногу в лак сует!

Возле типографии я снял фрак, снял атласную свою жилетку и, накинув все это на плечи, пошел в наборную.

Длинноволосый фактор в синем фартуке, с глазами, глубоко сидящими и непрерывно выпускающими из своей пещеры множество неизяснимых, но приятных чувств, сказал мне:

— Дружище, в городе полная безработица, и сколько бы вы ни спрашивали заведующих типографиями, они вам не дадут дела. Вы как, сегодня питались?

Меня растрогало его внимание, шелестение бумаги, выходящей из машины, запах типографской краски и холодный цементный пол:

— Вы утверждаете, товарищ, так про все екатеринбургские типографии? А нельзя ли присмотреться?

— Тысячи людей присматриваются к работе, дружище. И все напрасно. А по России так наверно миллионы присматриваются.

Он вынул из кармана жестяную коробочку, смятую, хранящую следы долгих прикосновений. Вертя папироску, он шел за мной. Ему очень хотелось найти мне работу. Он проводил меня до ворот, объясняя, где найти другие типографии и к кому обращаться. Голос у него слегка усталый, и он, видимо, многое понимает во мне, так как несколько не удивился, когда я, выйдя за ворота, надел фрак.

— Приходится голодать, дружище.

Хотя он ошибался, считая меня голодным, но я понял его определение моего голода, как духовного голода. Не докурив папироски, он свернул другую.

— Единственное, что я могу вам предложить... У меня тоже четверо детей и в Лодзи тоже два старика, родители.

— У меня нет детей.

Он все-таки протянул мне табак и рубль денег.

Он смотрел на босые мои ноги, и слезы были у него на глазах, но это были иные слезы, мало походившие на те, которые проливал иногда Петр Захаров.

— Что происходит в этой России? Происходит нечто страшное.

Этот еврей, фамилию которого я забыл, шел со мной до конца переулка. На углу мы остановились. Из окон типографии падал электрический свет, и видны белые высокие кипы бумаги, черные блестящие машины и какие-то глухие синие фартуки рабочих. Фактор стоял сутулый, длинноволосый, покашливая, и мне было как-то странно знакомо его лицо, хотя я отчетливо помню, что никогда не встречался с ним прежде. Видимо, он видел много в эти дни безработных и несчастных людей, ему было невыносимо горько смотреть на них. Я не отказался от его рубля, хотя имел на пальце изумруд невероятной ценности. Я чувствовал, что если откажусь от рубля, то обижу и его, и себя, бедного Пима, у которого совсем нет друзей.

Я пожал ему руку и сказал:

— Происходящее в России очень смутно. Я уйду в Индию.

— Полагаете, что найдете там работу?

— Найду.

— Счастливой дороги! Происходящее в России подлинно страшно, дружище.

Я не мог не согласиться с ним и потому, что испытал я в эти годы, и потому, что я, встревоженный его голосом, надел для успокоения лаковые свои ботинки.

19

Постоялый двор, построенный возле ночлежного дома, длинного и бронзовобурого, брал с меня за ночь три копейки. Перед тем как ложиться, я сдавал свой фрак, тетради и ботинки хозяйке постоялого, беременной бабе со злым и бледным лицом. Утром я получал фрак, соломенную свою собаку, заворачивал в нее ботинки и шел разыскивать работу. Питался я черным хлебом, запивая его водой из колодца.

Через неделю я поступил в типографию Марка Евдокимовича Юферова. Типография эта крошечная, меньше павлодарской: плоская машина в писчий лист, две бостонки и семь реалов шрифтов. Здесь выделявали «штемпея и печати». За работу я получал 4 копейки в час.

У входа в типографию я снимал ботинки, а чтоб веселее ходить по бетонному полу, от реала к бостонкам, тискальному станку и машине, я настлал дорожку из обрезков бумаги. Работал я в день не менее пятнадцати часов и усталости не чувствовал, что объяснялось тем, будто мне удалось хорошо поддаться в шантане.

На постоялом дворе жили нищие, босяки, которые пребывание здесь считали более почетным и дорогим, нежели ночлежный дом, а хозяйка с такой важностью носила свой живот, словно весь город участвовал в его создании. У ворот постоялого навалены бревна, которые от многих лет совсем потемнели. Бревнами собирались подпереть ночлежный дом, потому что он грозил обвалом, но все как-то не хватало то средств, то желания. С утра до вечера сидели наши постояльцы на этих бревнах и с презрением рассказывали о пьянстве и драках, которые наблюдаются в ночлежном доме. Иногда, напившись, наши шли к воротам ночлежки. Навстречу им выбегали опухшие люди в грязных тиковых штанах и разорванных рубахах. Они вопили:

— Опять позорить явились!

Дрались долго, пока не показывался в переулке городской, высокий и рыжий старик с тяжелой шашкой, которой он так искусно бил по уху, что человек с одного удара «засыпал на три дня».

Накануне четырнадцатого, перед получкой, я долго приторговывал на базаре широкие ботинки. Лаковая моя обувь невероятно надоела мне, и давно б пора ее обменять, но я полагал, что совсем будет плохо, если на пальцах у меня лежит драгоценный изумруд, а ноги в опорках. Наконец я подыскал подходящие ботинки. Это было широкое сооружение из зеленоватой кожи, и по всему было видно, что их долго носил весьма аккуратный и добросовестный человек. Они лежали рядом с грудой романов — «Тайны венценосцев», с истрепанными комплектами — «Природа и люди» и «Свет». Я взял книгу формата мне еще незнакомого. Я перелистывал «Вешние воды»:

«Санин приподнялся и увидал над собою такое чудное, испуганное, возбужденное лицо, такие огромные, страшные великолепные глаза, такую красавицу увидал он, что сердце в нем замерло, он приник губами к тонкой пряди волос, упавшей ему на грудь, и только мог проговорить:

— О, Джемма!

— Что это было такое? Молния? — спросила она, широко поводя глазами и не принимая с его плеч своих обнаженных рук.

— Джемма! — повторил Санин.

Она вздрогнула, оглянулась назад в комнату и, быстрым движением достав из-за корсажа уже увядшую розу, бросила ее Санину».

Если в соломенную собаку сложить эти книги, то как-раз останется место для фрака, лаковых ботинок и серых тетрадей. Из книг, которые мне не повредятся, я склею ножны для шпаги, обмажу их сверху чернилами и, пожалуй, приобрету на привенник лаку... Сразу же четыре копейки в час показались мне платой убогой и голодной.

И то сказать, хозяин наш, Марк Евдокимович, весьма экономен и бережлив. У Марка Евдокимовича глаза длинные и тусклые, «выброшенные», как говорят у нас в степи, но за этой тускlostью вы сразу видите оборотистый ум и упрямую волю и понимаете, что они могут вас так обойти сбоку, что вам и ввек не заметить этого. Он строго следит за приходом и уходом денег, у него множество конторских книг. Три раза в день он занимается гимнастикой, и в конторе, рядом с письменным столом, стоят весы и силомер. Марк Евдокимович явно презирает меня:

— Такой молодой человек, как вы, не должен носить узких ботинок. Узкие ботинки — удел старости, господин Иванов.

Трогая в кармане револьвер, завязанный в носовой платок, я говорю ему с наглостью наивозможнейшей:

— А зачем вы меня тогда наняли, Марк Евдокимович?

— Вы дешевле прочих, Иванов. У меня до вас работали по пять копеек в час.

— Значит, если найдутся работники за три копейки в час, то вы меня прогоните?

— Обязательно прогоню.

Марк Евдокимович старательно и по долгу думает. Каждый факт, признан-

ный им достойным, он записывает в конторские книги, так как достойным фактом может быть только заказчик. Он молод, только-что получил университетское образование, и, когда видит, что наборщик и печатник работают исправно, он достает синюю с золотым обрезом конторскую книгу, на одну сторону листа которой он излагает свое «Учение и историю штемпелей», а на противоположную — возражения, которые могут последовать и которые следует устранить сейчас же. Когда он пишет, лицо у него становится чем-то похоже на новый резиновый штемпель, такое оно эластичное, ловкое, так что кажется, если накатать краски и тиснуть, то не заметишь, который из них оттиск, а который подлинник. У него чудесная память и на штемпеля, и на лица, и фамилии заказчиков.

— Владимир Бернер, статский советник в Гомеле, владеет удивительным штемпелем, изготовленным в Самаре в 1911 г. Средина штемпеля заполнена орлом, а вокруг курсивом — имя, фамилия, отчество, местожительство, чин, год рождения. У меня штемпель этот значится за № 637.

Он быстро роется в столе и сразу же находит оттиск этого штемпеля. Штемпель, как штемпель, но я уважаю людей с прекрасной памятью, потому что думаю, что не может быть того, будто они запоминают одно только плохое или глупое.

— Господин Иванов, каков собой заказчик, который приходил третьего дня и с которым мы разошлись из-за двенадцати копеек?

— А черт его знает, — говорю я.

Марк Евдокимович восклицает в негодовании:

— С такой памятью вам, Иванов, не зачем работать в типографии. Вы даже свинопасом не способны быть, потому что свинопас должен запоминать своих животных.

Я обижался:

— Ну, одну-то я запомню.

— Это вы на кого намекаете?

— Не на себя.

— Прошу вас не отходить от реала. Быстрее берите буквы. Брань мешает

работе, — говорит строго Марк Евдокимович.

В две недели я заработал 9 руб. 30 коп., авансом выбрано 3 руб. 50 коп. Жил я впроголодь и теперь был чрезвычайно доволен, что после расчета куплю мешок с книгами, ботинки и отлично пообедаю.

За окнами по голубому булыжнику подпрыгивали телеги ломовых. У них громадные черные тени. На телегах желтые мешки с мукой, сбоку которых узкие фиолетовые клейма «Торговля крупчаткой М. С. Патрушевой». Я смотрел на свой изумруд и думал, что продай я его, то можно приобрести громадную типографию о десять машин, а сам Марк Евдокимович с радостью поступит ко мне заведующим. Четыре копейки в час казались мне заработком хотя и унизительным, но вполне терпимым, потому что хозяин мой так нескончаемо долго раскидывал костяшки счетов, что я понял — не видать мне моего заработка! И точно, Марк Евдокимович, не доверяя себе, призывает печатника для проверки счета.

— Правильно, девять тридцать, — говорит ему печатник.

Марк Евдокимович подумал, порылся в кармане и выложил на стол зеленую тройку, затем подумал еще, — и добавил к ней рубль.

— В расчете, — сказал он строго.

Я положил четыре рубля в карман брюк, однако не в тот карман, где лежал револьвер.

— Следует доплатить, Марк Евдокимович, рубль восемьдесят, — сказал я тоже строго.

Марк Евдокимович взвизгнул:

— Мы уже предвидели, Иванов, что у вас наглое желание! Я уплатил вам все, что полагается по вашей работе. За такую работу по морде бьют, а не деньги платят.

— Ага, по морде? — сказал я, отступая к порогу.

Я рассчитал, что с порога мне удобнее выстрелить:

— Помните, Марк Евдокимович, человек, подобный мне, заботится не только о пропитании и обуви, но и духовной пище. Отдайте мне мою духов-

ную пищу! Я повторяю, отдайте мне мою...

— Шагай через порог, Иванов. Уже нанят наборщик по три копейки в час.

— Ага, по три?

Я сунул руку в карман и сказал так строго, как не говорил никогда:

— Больше вам, Марк Евдокимович, не придется снижать часовой оплаты.

Но я плохо верил в то, что смогу попасть пулей в моего хозяина, а, кроме того, револьвер не только туго-натуго завязан в носовой платок, но и, чтобы не выпал из кармана, пристегнут к брюкам английской булавкой. Вот почему я обратил свой взор на полено, которыми прикрыта, дабы ее не разнес ветер, пухлая афишная бумага.

Схватив полено, которое потоньше и полегче, я со всей силой ударил им в письменный стол:

— Вам не придется снижать часовой оплаты!

Марк Евдокимович побледнел. Он схватил рукой бумажник. По его лицу было понятно, что он все равно не уплатит мне.

Я разбил вдребезги чернильницу и необыкновенно яростно раскидал приготовленные заказы: голубенькие и кругленькие штемпеля на деревянных ручках. Полено мне показалось чересчур легким, и я взял другое, березовое, сучковатое, тяжелое.

— Грабят! — закричал тогда Марк Евдокимович.

Приседая, он побежал от меня.

Типография тесная, не больше пятнадцати шагов в длину. Печатник, хоча, упал на бумагу, вертельщик — на колесо. Я бежал за своим хозяином вокруг машины, и мне все казалось, что об этой погоне мною где-то читано или даже видано во сне, — настолько это неправдоподобно и в то же время это — правда. Брюки у моего хозяина позади залатанные, ботинки давно не чищенные, волосы давно не стриженные.

— Стой! — вскричал я.

Хозяин, увидав, что полено нацелилось в машину, немедленно остановился и, крестясь, сказал скороговоркой:

— Уплачу, уплачу, уплачу, уплачу... Уплачу, сполна, сполна...

Он протянул мне два рубля из-за машины.

— В расчете?

Когда я, все еще держа полено в руке, остановился на пороге, чтобы последний раз взглянуть в его измятое лицо, которое теперь совсем не походило на штемпель, он повторил:

— В расчете? Однако, господин Иванов, верните мне, пожалуйста, полено и переплоченные двадцать копеек.

— Покричи у меня, — сказал я, беря полено подмышку.

И тогда Марк Евдокимович сказал мне вслед:

— Эх, напрасно я не взял у тебя паспорт!

Я быстро выбежал из типографии. Ясно, что Марк Евдокимович принимал работать бродяжек, беспаспортных и беззащитных, которых можно обсчитывать, а в случае чего — и грозить полицией. Мне было приятно, что я не бродяга, что у меня есть револьвер и меня не напугаешь полицией, а я сам могу кое-кого припугнуть.

Я купил желтые ботинки, книги и полсотни пельменей. Наевшись и напившись кислых щей, я отправился на буре бревна постоялого двора читать сочинения Ивана Сергеевича. «Вешние воды» я так и не дочитал. В комплекте «Вокруг света» я нашел роман Э. Сальгари о наследстве капитана Немо. Господин Санин был чересчур робок, а Джемма стремилась не к тому, к чему должен стремиться человек, желающий увидеть Индию.

20

В развесочной «Чайного товарищества Кузнецов и компания» работа производилась вручную, но уже рядом с пыльным и темным зданием, в котором мы работали, строили другое, длиннее и выше нашего раз в пять. Там устанавливали котлы, и немцы-инструктора в чистых фартуках и шляпах набекрень вынимали из деревянных ящиков широкие части машин. Поглядывая в окна, я часто думал о том, что мне скоро придется перейти в жаркую котельную. Мне хотелось бросать блестящий уголь в оранжевые топки котлов, пить теплую

воду из больших кружек и ругаться так же хрипло, как ругаются все кочегары.

— Скоро вы меня переведете-то? — спрашивал я нашего старшего — китайца Кан-си.

— Скоро, очень скоро.

А пока за семьдесят копеек с утра до вечера я подавал жестяные раскрашенные ящички узкогрудому рабочему, который устирал дно и бока их пергаментной бумагой, затем клал свинцовую, а третий рабочий подводил эту коробочку под кран, из которого непрерывно струилась коричневая сухая и пахучая лента чаинков.

Кан-си, старательный, тихий, в синем костюме, ходит совсем бесшумно. Он отлично говорит по-русски, и, говори я так по-китайски, я бы только радовался, но ему все мало. Если кто хорошо выполнил свою работу, он подходит к тому с маленькой записной книжечкой, где необычайно тонкие листы бумаги, и спрашивает:

— Знаете ли вы, господин, иные названия для браслет? Например я видел у ваших крестьянок браслеты из серебра, меди, фольги, иногда раскрашенного дерева, иногда из кости или стекла, а чаще всего из ягод рябины. Неужели они все называются одинаково?

— Называются запястье.

— Прекрасно. Но наверное есть еще названия?

Я говорил тогда:

— Зарукавни, например. В Лебязьем у нас их называют наручниками.

Чаще всего названия эти я придумывал. Кан-си рисовал крошечный значок в книжке, и вскоре я понял, что значки эти он делает не для памяти, а из вежливости. Он воспроизводил все виденное им с точностью, почти потрясающей. У Петра Захарова память большей частью пригнобилась плотно к тому делу и тем знаниям, которые он применял, а память Кан-си часто казалась мне похожей на пустые анекдоты Филлиппинского.

Если мы плохо понимали нашу работу, Кан-си мелкими шажками ходил среди нас, положив руки на живот и склонив голову. Старательно выговари-

вая букву «р», он говорил нам, как произрастает чай и почему мы должны его уважать. Уважение к тому, что ты выделяешь, есть уже начало хорошей работы:

— Подумайте о том, как чай, принесенный в корзинах с плантации, рассыпается на дыновках. Ему дают слегка подвинуть на солнце. Вот чай собирают в кучи и лепят комья, величиною с голову ребенка, мнут их ногами в плоских корзинках, так, что течет зеленый липкий сок...

Он соединял вместе ладони и смотрел в узкое пространство между ними:

— Вот таким ручейком, господин Иванов, стекает этот сок. Чай опять рассыпают на дыновках, сушат, пока он не потемнеет и не приобретет запаха сена. Зеленоватыми остаются только самые грубые листья, что можно сказать и о жизни человека. Все остальное собирают в кучу и в совочки, сплетенные из бамбуковых листьев. Если, после брожения, в чае все-таки останутся зеленые листья, значит, чай не перебродил, а когда он перебродил и когда его высушат, он приобретает название «мао-ча».

Он брал горсть этого мао-ча и заставлял нас нюхать его:

— Напрасно вы думаете, что вы придаете ему какой-нибудь вид. Ваша обработка не изменяет его качеств и свойства. Вы только украшаете его внешность для привлечения покупателя, подобно румянам и пудре. Они необходимы девушке при мгновенном знакомстве, но жениху они не нужны.

Обработку черного чая мы начинали с просушивания, производя его в особых корзинах, называемых «бейдзами». Бейдзы похожи на цилиндр, перетянутый посередине. Они подогреваются над ямами раза два, а в ямы кладется уголь, преимущественно дубовый. Кан-си говорил, что при подогревании бейдзы нужно избегать дров и углей ароматичных и хвойных пород. Мао-ча, который при раскупорке ящика был гибок, как резина, после подогревания делался черным и ломким, и аромат сена, свойственный ему, пропадал.

Сухой чай мы просеивали через тринадцать сит различной крупности. Сита

круглые и плоские одинаковых размеров Кан-си привез к нам с юга Китая, из Кантона. Эти сита разделяли чай на чайники одинаковой величины.

Провеявши рассортированные чайники, отбросивши от них грязь, попадающую при плохом крестьянском приготовлении мао-ча, мы старались разбить чайники на один вес. Требовалось, чтобы мы умели отделять крупные серые части «цави», дабы сушить их отдельно, так же, как и отделять палочки и камушки, примениваемые продавцами для веса.

Сортировали мы и низшие номера чая, ниже десятого, известные под общим именем «хао-сан». Хао-сан идет сплошь в плиточный чай. Мы получали его в длинных мешках из какой-то плотной оливково-бурой материи. Мы отбирали его на седьмом сите. Весь остальной чай шел на выделку черного кирпичного, того, которым некогда торговали мы, вместе с прочими лыкошинскими товарами, в степях возле Урлютюпа.

Черный кирпичный чай выделявали громадными ручными прессами. Кан-си ненавидел эту грубую работу:

— Такие ужасные сорта чая только и подобает пить ужасному народу, — говорил Кан-си. — Вам никогда не добиться «бай-хао» — цветочного чая.

— Кирпичного, и то нехватает.

Кан-си продолжал, не слушая меня:

— Байхао готовится из самых крошечных молодых листьев, еще не потерявших на оборотной стороне серебристого пушка. Байхао называется потому, что точный китайский термин значит «белые волосики». Этот чай выделяют сами фабриканты, и он продается прямо с фабрики.

— А что более выгодно? — спрашивал я.

— Производство кирпичного чая, господин Иванов.

— Так вот вы его и будете производить до вашей смерти, господин Кан-си. Вся нашу жизнь стоять нам, господин Кан-си, возле лао-ча.

— Для вашего возраста у вас чересчур много грусти, господин Иванов.

Лао-ча — это побеги чая, грубо срезаемые с кустов. Этот-то лао-ча и при-

возили преимущественно на развесочную. Лао-ча и обор его заменяет одно временно и последний сбор, и подрезку кустов. Ветки бросают в чугунный котел, вмазанный в печь. Листья от жара становятся мягкими и липкими. Смятый теплый чай расстилается на цыновках тонким слоем, сушится, свертывается, и тогда готов он, чтобы ехать к нам, в Екатеринбург.

Лао-ча мы разделяли на три сорта: «ти-дзи», более грубый, помещаемый внутри кирпича; «и-мян», составляющий низ кирпича; и «са-мян», идущий на верхнюю обкладку. Ти-дзи — это грубые, переросшие листья, часто даже прошлогодние, с кусками перезимовавших веток, и-мян и са-мян — более нежные побеги этого года с верхушечными листьями.

Мешки обычно осматривал сам Кан-си.

— Учитесь, господин Иванов, — говорил он. — Наука должна помогать видеть в любом деле так же свободно, как необученное око видит в прозрачной воде волосок.

Кан-си сразу оценивал качество чая, отличал подгнившие сорта от хороших и, запустивши в мешок руку, мгновенно нащупывал подмеси песка и камней.

— Учитесь, господин Иванов. Это очень просто. Смотрите только всегда в конец слова.

Чаинки отвешивались порциями. Я насыпал эти порции в тряпки, подвешенные над котлом, из которого шел пар. Лист быстро разогревался, и я тащил его к формам, сделанным из дерева.

— Подставляй! — кричал я формовщику.

Я кидал горячий лист в форму — и пресс опускался. Кирпичи вынимались из форм, обрезались и сушились. Кан-си осматривал каждый кирпич. Если обкладка отставала, или на ней образовывались выбоины, то кирпич браковался. Он мог загнить в пути. После осмотра мы укладывали, завернувши каждый кирпич в пухлую бумагу, по тридцать шесть штук, в корзину из бамбука.

— Сосен у нас мало, что ли? — ворчали мы.

Мы часто получали занозы, но бамбуковые корзины необходимы, иначе покупатель не поверит, что чай приготовлен в Китае.

— А что, в Индии чайное дело тоже имеется? — спросил я у Кан-си.

— Чайное дело имеется во всем мире. Скажите мне, господин Иванов, имеют ли особое наименование два бревна, связанные между собою в одном конце, а другими концами ставящиеся на балки?

— Стропила, — отвечал я. — Несколько таких стропил составляют вместе основание для покрытия крыш.

— Вы — старательный мужчина, господин Иванов, и я надеюсь, что скоро вам придется заведывать отделением. Мне хочется рассказать вам о некоторых предметах, которые я как бы обменяю на ваши знания.

В праздник я пришел к нему в гости.

Кан-си занимал маленькую квартиру в три комнаты. Мебели у него нет, а всюду, как у киргизов, разостланы кошмы и цыновки. У него были гости. Кан-си служил мне переводчиком. Китайцы охотно показывали мне обещанные, родные им предметы. От растерянности перед их странной ученостью я ничего не смог запомнить.

— Я вас прекрасно понимаю, господин Иванов, — сказал вдруг Кан-си. — Вы не хотите обладать такой бесполезной памятью, какой обладаю я. Я смотрю вокруг, все запоминаю, и голова у меня набита с такою же пользой, с какой пустыня — подвигами святых мужей. К сожалению, детство плохо организовало мою память, а теперь уже поздно. Я болен, господин Иванов, и скоро умру.

Собой он одутловат, и руки у него дрожат. Я верю, что он очень болен. Во время обеда он страдающе смотрит на кушанья:

— Мне бы наслаждаться пищею в чужих странах, но я, господин Иванов, приехал с головою и желудком, испорченными еще на родине.

Узнав, что я казак, он тщательно расспрашивает, как пьют и что едят казаки. К сожалению, я забыл многие

родные кушанья, и он, улыбаясь, говорит:

— Значит, вы проживете долго, господин Иванов. Я болен и уже не могу смотреть, как едят люди, и, разве только испытывая иногда наслаждение, наблюдаю, как питаются звери. Видали ли вы, господин Иванов, удава, который проглатывает поросенка?

— Я ненавижу змей, господин Кан-си.

Однако Кан-си рассказывает подробно, как в Кантоне он ходил смотреть питание удавов. Седает Кан-си в день несколько крошечных сухарей и маленькую чашечку риса. Страсть к еде неутомимо слышится в его голосе и в сверкающих глазах и рассказах об удаве; он говорит о том, сколько птица седает в день.

— Поэтическая ласточка, господин Иванов, ест втрое больше своего веса. Еда необходима для быстрого движения. Погоня за пищей наполнена красотой, быстротой, легкостью, господин Иванов. Удав способен прыгать, подобно молнии!

Иногда после работ Кан-си шел со мной гулять. Я заходил на постоянный двор, чтобы сказать хозяйке о моем позднем возвращении, и мы уходили за город.

— Вы купите пищи, господин Иванов, кушайте, а я буду смотреть.

Мне казалось, что он накормит меня, но любовь к пище — это одно, болезнь — это другое, память — это третье, а четвертое и наиглавнейшее в нем было то, что Кан-си страшно любил деньги. Впрочем о деньгах он никогда не говорил, и только из намеков можно было понять, что он собирает деньги для того, дабы увидеть побольше красоты. Ему приятен был мир! Он любил Цейлон, Тихий океан, но ему нравились Уральские горы, наши озера и наши камни. Он говорил с большой приязнью и с замечательными деталями о красоте своей «страны цветов». Если ему встречалось что-нибудь великолепное, он кланялся, прижимая руки к груди:

— Едва только вы скопите денег, господин Иванов, я вам советую...

— На проб, и то не удастся мне скопить, господин Кан-си.

— Напрасно тогда вы не хотите запоминать многие предметы и события. Знание о многом одновременно воспитывает и презрение к этому многому. То, на что вы способны сегодня истратить ваши деньги, не позже, как завтра, покажется вам совсем ничтожным.

— Разве память о многом есть уже знание?

Он смотрел на озеро, в середине которого стоял рыбак на черном камне, неподвижно держа в руках черное удилище, а возле него, на воде, совсем голубой, качалась белая лодка. Голубая вода трепетала, и голубые пятна ползли по борту лодки, вспрыгивая на рыболова.

— Очень красиво. Теперь вы взгляните на облака, господин Иванов.

Прижав руки к груди, он кланялся облакам.

— Как вы только скопите денег, я очень рекомендую вам посмотреть очаровательные ландшафты Китая. Холмы округлых очертаний возвышаются над ровным, как поверхность этого озера, изумрудным покровом рисовых полей. Среди холмов вы увидите деревеньки или храмы предков, блестящие золотыми черепицами. Иногда вам встретится городок, расположенный на склоне и обнесенный высокой серой стеной с железными воротами и башнями. Подле стены извиляется река, а за нею вы увидите голубые отдаленные горы. В стенах пагоды, верхний этаж которой занят небольшой кумирней, с каждой стороны прорезаны круглые окна. Эти окна — словно рамка для картин, и вам будет трудно выбрать, какая из всех четырех картин очаровательнее! Особенно я вам рекомендую посмотреть мою родину, Южный Китай, с вершины холмов, окружающих Ян-лоу-дин и Ян-лоу-син.

— Почему вы не были в Индии?

— Я еще попаду туда, господин Иванов.

— Не попадете вы туда, господин Кан-си. Производить вам до самой смерти кирпичный чай.

(Продолжение следует)

Над северной рекой

Из стихов о Кировске

АЛ. РЕШЕТОВ

Между городом и горою,
На которой лежат облака,
Мчится злая,
Любимая мною,
Несмолкающая река.
Она мчится,
Звеня и воя
И швыряя на берега,
Точно кружево дорогое,
Пену белую, как снега.
Пробивается косо, криво
Мимо гор
И людских огней.
Сосны тундровые с обрыва
Простирают руки над ней.
Вот январь
Озера и камни
Заковал, как в железо, в лед,
Но все так же поет река мне,
Неустанно стремясь вперед.
Знаю, так не умею петь я,
Но бессмертнее наша речь.
Отрывают сосны столетья,

Словно иней,
С колючих плеч.
Над столетьями,
Над валунами,
Над узлами дикой воды,
Вознесенный на взгорье нами,
Город наш,
Словно в небе, ты.
Лунной пеной сияют крыши,
Как улыбки, огни легки.
Я иду над рекой и слышу
Силу звонкую той реки,
Что бескрайностью многоцветной
Несравнимую ни с одной —
Жизнь мою
Пронесет победно
Беспокойной, крутой волной;
Что, стремясь весенним потоком
Дерзких песен,
Рельс
И колес,
Торжествует восходом окон
В недоступном семействе звезд.



Цыпленок

Пропущенная глава из 1-й книги „Дусима“

А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ

Эскадра продолжала стоять у острова Мадагаскар. Приглядываясь к жизни броненосца «Орел», я часто спрашивал самого себя: нормальные мы люди, или нет? Многие странным и непонятным казалось мне в нашем поведении. Иногда мы оставались равнодушными к важным событиям, а иногда незначительный факт приводил нас в крайнее волнение.

Месяца полтора назад ранним утром старший сигнальщик Зефилов полез в ящик с запасными флагами. Открыв дверцу, сигнальщик вдруг откинул назад крутолобую голову и застыл в немом изумлении: внутри ящика копошился цыпленок. Как он сюда попал? Может быть, товарищи подсунули его, чтобы посмеяться над Зефиловым? Человек долго терялся в догадках, пока не увидел в уголке за флагами яичную скорлупу. Истина сразу обнаружилась. Зефилов вспомнил, как на одной из предыдущих стоянок эскадры он купил у туземцев десятка три яиц. Иногда, при недостатке казенной пищи, он подкармливался ими. Одно яйцо случайно завалилось за флаги. На корабле, стоявшем в тропиках, температура в тени и даже ночью была высокая, как в инкубаторе. Зародыш в яйце ожил и превратился в цыпленка.

Новорожденный успел высохнуть и желтым пушистым шариком неуверенно стоял на розовых, почти прозрачных ножках. Слепленный дневным светом, он жалобно пищал, быть может, призы-

вая свою мать. Зефилов нагнулся над ним и заулыбался от умиления. Потом он осторожно положил цыпленка на ладонь и понес его к вахтенному начальнику.

— Вот, ваше благородие, чудо какое.

Лейтенант Павлинов, сдвинув черные брови, строго спросил:

— Это что значит?

Но, когда узнал от старшего сигнальщика, в чем дело, сам не мог удержаться от улыбки. Зефилова обступили рулевые и младшие сигнальщики, с удивлением рассматривая его находку. Лейтенант Павлинов сообщил по телефону новость в кают-компанию. Офицеры гурьбой повалили на передний мостик. Сюда же пришли старший офицер Сидоров и сам командир броненосца Юнг. Зефилов, чувствуя себя героем дня, с увлечением рассказывал, каким образом цыпленок мог вылупиться из яйца. Офицеры удивлялись, по-разному выражали свой восторг:

— Чудесное явление!

— Восхитительно!

— Какое умильное существо!

Командир Юнг ласково сказал:

— Семья наша на одну душу увеличилась.

Старший офицер Сидоров, расправив седые усы, добродушно добавил:

— Это, Николай Викторович, к счастью.

Даже лейтенант Вредный и мичман Воробейчик, глядя на цыпленка, расстрогались и подобрили.

На мостик началось паломничество команды: поднимались не только строевые матросы, но и машинисты и кочегары. На небольшой площадке они не могли все поместиться. Бахтенный начальник гнал их обратно, а они умоляли:

— Ваше благородие, цыпленок, говорят, народился без наседки.

— Нам только разок взглянуть на него.

Кончилось тем, что цыпленка пришлось снести на бак. Здесь скопились сотни людей. Шире раздвинулся круг, чтобы всем был виден новорожденный, слабо бегающий по деревянному настилу палубы. Он казался нам необыкновенно привлекательным, этот живой шафрановый одуванчик, с нежно-розовым клювом, с черными и маленькими, как бисер, глазками, наивно смотревшими на нас. Я не узнавал команды и самого себя. Тягостное настроение исчезло, как будто мы и не переживали ни сдачи Порт-Артура, ни гибели 1-й эскадры, ни впечатления от статей Кладо, доказывавшего, что 2-я эскадра слабее японского флота почти в два раза, ни страшной расправы с рабочими, учиненной царем девятого января. При взгляде на цыпленка просветлялись самые мрачные лица. Возбужденные, мы радовались громко, как дети, словно нам об явили об окончании войны.

Кто-то выкрикнул:

— Интересно бы угадать, что из него получится—курица или петух?

На середину круга вышел кочегар Бакланов. Двумя пальцами он взял цыпленка за ноги и высоко поднял руку. Голова цыпленка повисла вниз. Кочегар авторитетно объявил:

— Видите? Петушок! Никаких сомнений. Если бы была курочка, то она старалась бы подтянуть голову к туловищу. Я два года жил батраком в имени одного барина и точно знаю это дело.

Бакланов опустил цыпленка на палубу и отошел в сторону. У нас на корабле немало перебивало взрослых петухов разных пород, и это никогда никого не трогало. Никто не жалел, когда их резали для офицерского стола. Да и у

себя на родине большинство из нас росло в деревне вместе с петухами. Но теперь от слов кочегара мы обрадовались еще больше. Раздался голоса:

— Мы не отдадим цыпленка в кают-компанию!

— Он должен принадлежать всей команде!

С этим все были согласны. Тут же давались советы, чем цыпленка нужно кормить. Некоторые уже мечтали, какой из него вырастет красавец-петух, обязательно огненно-красный, и с каким удовольствием будут слушать на корабле его пение. Он будет подавать свой голос на всю эскадру. Сам «бешеный адмирал» лопнет от зависти к нам.

Начальство с трудом разогнало команду на работы. Но в этот день во всех отделениях корабля разговор шел только о цыпленке. Мы не могли забыть о нем. Может быть, он потому так взволновал нас, что был слишком мал и незащищен среди этого огромного царства железа и мощных механизмов, самодвижущихся мин, башенных и бортовых орудий, тысяч взрывчатых снарядов. Правительство хотело, чтобы мы поддержали на поле брани опозоренную честь Российской империи. Но теперь никто уже об этом не думал, как и о своем безотрадном существовании. Цыпленок, словно родное и самое любимое дитяще, заполнил все наше сознание.

Зефилов не имел времени нянчиться со своей находкой и подарил цыпленка рулевому Воровскому. Тот проявил большую заботу о нем и дал ему прозвище: «Сынок». Для него была сделана клетка. Питался он хорошо: вареной кашей из разных круп, размоченным белым хлебом, крошеным желтком. Кроме того, каждый человек, бывая на берегу, считал своим долгом принести для него каких-нибудь насекомых или личинок. Согласно уговора, кормил цыпленка только один Воровский, чтобы он лучше привык к своему хозяину. Так проходили дни, недели. К нашему всеобщему удовольствию, цыпленок увеличивался весом, обрастал перьями, оформлялся в птицу. Днем его выпускали из клетки гулять по палубе, и тогда, под

тропическим солнцем, он чувствовал себя здесь, как на деревенской лужайке. Иногда, не видя своего пернатого воспитанника, Воловский манил его:

— Сынок, Сынок...

И цыпленок с каким-то особенно радостным цырканием бежал на знакомый голос, зная, что получит какое-либо лакомство. Он клевал пищу прямо из рук Воловского, а потом, как на шест, забирался к нему на плечо. Посмеиваясь, рулевой ходил по палубе, а Сынок, чтобы не свалиться, балансировал отрастающими крылышками.

Все это очень нас забавляло.

Слава о нашем цыпленке распространилась на всю эскадру.

Через полтора месяца наш общий любимец оперился. Он мог самостоятельно забираться на мостик, делал небольшие перелеты. На голове его обозначились отростки гребня.

Так шло до сегодняшнего события.

Команду после полуденного отдыха разбудили пить чай. Сигнальщики и рулевые, собравшись на верхнем мостике, расселись кружком прямо на полу, застланном линолеумом. Перед ними стоял полуведерный чайник из красной меди. Раскинутый над головами тент умерял тропическую жару. Кто-то открыл крышку чайника, чтобы скорее остыл кипяток. Сынок, ошипываясь, молча сидел на ручке штурвала, словно прислушиваясь к ленивому разговору людей. Потом, может быть, привлеченный

блеском начищенной меди, он неожиданно вспорхнул, чтобы пересесть на чайник. Вдруг все сразу вскрикнули, как от боли: цыпленок угодил в кипяток и моментально сварился.

Минут через десять на «Орле» уже знали об этом все матросы и офицеры. И опять началось паломничество, сначала на мостик, а потом на бак, куда перенесли ошпаренного цыпленка. Каждому хотелось взглянуть на него, а он, раскинув ноги и крылья, неподвижно лежал на палубе, мокрый, облезлый и жалкий. Живая, подвижная красивая птица превратилась в кусок мяса. Около него, сгорбившись, уныло стоял рулевой Воловский. Одни из команды, качая головами, горестно вздыхали, другие ругали сигнальщиков и рулевых, считая их виновниками смерти общего любимца. Мы стояли долго, мрачные и подавленные, словно потеряли не цыпленка, а целый корабль со всем его населением.

Кто разгадает изломы человеческой души? Нас гнали убивать людей, и сами мы вместе с эскадрой были обречены на неминуемую гибель. Но все это как будто ожидало не нас, а каких-то иных, незнакомых нам людей. А сейчас мы не могли без мучительной скорби смотреть, как рулевой Воловский стал зашивать мертвого цыпленка в парусину, а потом привязывать к его ногам кусок железа, чтобы погрузить за бортом нашу недавнюю радость.

Верность

Рассказ

ГЕОРГИЙ НИКИФОРОВ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Каждый день к вечеру люди приходили с разных концов города к огромному зданию с колонками по фасаду и двуглавым орлом на фронте. Была осень, особенно тягучая и пасмурная, и всем казалось, что над городом не всплывало солнце и город спокон веков плесневел под гнилым небом. Пороховой дым, гонимый мокрым ветром, прилипал к стенам домов, и в улицах непоколебимо установился приторный запах сражений.

На широких ступенях главного входа в здание стояли пушки и пулеметы — красноречивое свидетельство решимости людей, готовых драться до последнего издыхания с теми, кто посягнет на их свободу. Однако по лицам нельзя было судить о суровости бойцов, и еще труднее предполагать, будто эти люди, с поблекшими глазами и в потрепанных шинелях, пальто и тужурках, в папахах, кепках и картузах, в любую минуту согласны стрелять из пушек и пулеметов по первому приказу своих командиров.

В бесчисленных комнатах и длинных коридорах вели самый обыкновенный житейский разговор. За чайником кипятку, поживаясь от сырости и холода, собирались вооруженные винтовками, бомбами и револьверами. И трудно было отличить, кто здесь начальник, кто подчиненный, и всегда пахло в комнатах созревшими портянками.

В городе говорили о неминуемой гибели, о конце славного начала, предве-

щали обязательную смерть всем, кто находился в том здании, с колоннами по фасаду и двуглавым орлом на фронте. Говорили, укрываясь в квартирах, потирая руки, похихикивая. Произносили имя генерала Юденича замирающим, восторженным шепотком, и никого из этих людей нельзя было добровольно вызвать на улицу, просить их о помощи или заставить ухаживать за больными и ранеными: они притворились умирающими от голода и лишений, совсем ослабевшими и ни на что не годными. Об этом знали те, которые возвращались к вечеру с боевых постов своих, и потому надеялись только на себя. Это были рабочие заводов и фабрик, крестьяне, в истасканных и нередко окровавленных шинелях.

Продрогшие и действительно голодные бойцы сидят у огромного медного чайника, пар тихо струится в широком отверстии для крышки, и тоненькими столбиками сине-сизого цвета поднимается к сводчатым потолкам махорочный дым. Пол затоптан грязными следами, стекла окон тусклы и слезливы, стены украшены широкими лохмотьями копоти.

Красногвардеец Семен Злыга, почесывая давно не бритый подбородок, разглядывает с большой горечью в глазах ощерившуюся подошву сапога.

— Закрути проволокой, — советуют сочувствующие, — разлюбозное дело, сто годов проносишь.

Нема проволоки, идеж ее добудешь, — бормочет Злыга и почему-то улыбается щедрой и необычайно светлой улыб-

кой, как улыбается простак, попавший в чрезвычайно неловкое и смешное положение.

— Эх ты, чортов дядя, ведь у тебя один сапог совсем новый! — замечает кто-то. — Куда ж ты другой подевал? Пропил, что ли?

— Да не. Новый снял с убитого ахвицера, а другой пошукал-пошукал, так и не нашел...

— Что ж он, офицер твой, в одном сапоге шеголял?

— Об одной ноге был, — об'ясняет Злыга, — ну, сапог дюже добрый, я и взял.

Злыга растерянно глядел на веселые лица товарищей и не знал, что предпринять.

За окнами укладывается ночь, густая темень как будто сочится из облаков вместе с тоскливым и надоедливим дождем. Где-то далеко, но довольно отчетливо ухнул пушечный выстрел, через короткий промежуток он повторился еще и еще, но ни тревоги, ни особого беспокойства не отразилось на лицах собравшихся. Все знали, что происходит, все давно привыкли к опасности и не особенно думали о смерти. Сейчас люди хотели обсушиться, согреться чаем, отдохнуть, и никто не хотел говорить о фронте, — слишком уж много и долго толковали, пели и даже играли в оркестрах об этом. Разговор шел иной и совсем посторонний.

— Теперь у нас в Рязани, поди, картошку копают, хлеб давно убрали.

— У вас, у косопузых, хлеб-то и не родится никогда, на одной картошке живете.

— Это правда, — охотно соглашается рязанец. — Что правда, то правда, хлеба мало видим, мы больше отхожим промыслом живем, малярничаем...

— Что нам, малярам?

— Во-во!

Ночь все темнее, хлещет ветер, он зловеще свистит в телеграфных проводах, громыкает сорванными вывесками.

Красноармеец Семен Злыга случайно приобрел галоши, совсем новые и как-раз по сапогам, он весел и доволен, хо-

тя утром, чуть свет, ему предстоит итти с отрядом на позицию, то-есть в бой, в котором совсем не случайна смерть. Злыга укладывается спать; он отползает ближе к стене, приподнимает воротник шинели и, не снимая переброшенной через плечо пулеметной ленты, ложится, подвернув руку под голову. Он еще слышит бормотанье соседей, пушечные выстрелы, хлопанье дверей. Потом все это отходит и наконец окончательно гложет. Злыга засыпает с последней сознательной мыслью:

«Палать, бисовы дети, шоб вам неладно было!..»

В полночь в затихшее помещение, полное спящих и собирающихся спать, входит комиссар отряда Кирилл Бабаев. Он огромен и размашист, сорокалетнее лицо его чисто выбрито, папаха сидит в отлет; на комиссаре заплатанная тужурка, подпоясанная широким ремнем, и на ремне, в деревянном футляре, — маузер. На ногах высокие, очень ладные сапоги. Глаза у комиссара откровенные, удивительной голубизны и блеска. Он внимательно оглядывает людей у стола, долго шарит глазами по беспорядочным рядам спящих, озабоченно крикает. Подойдя к столу, говорит, неожиданно для могучей груди его, высоким тенорком:

— Кто, товарищи, видал Злыгу?.. Что?.. Ну, какого Злыгу! Один у нас Семен Злыга!

— А-а-а, да... Действительно... А чорт его знает, куда он провалился!

— Семен, эй, Семен! — будит сосед уснувшего Злыгу. — Очнись, товарищ комиссар требуют.

Злыга садится, очумело глядит в лицо подошедшего комиссара.

— Кто до мене?

— Кто до тебе! — смеется Бабаев. — Очухайся, послушай, что я тебе скажу.

— Ну, слушаю...

Комиссар присаживается на корточки, шепчет:

— Завтра уходить с отрядом на позицию, вот какая штука.

— То правда, — полусонно соглашается Злыга, — будем уходить, чую — дюже биться будем.

— Будем, вот какая штука, Семен...

А у меня, садовая голова, ни фельдшера, ни одной сестры. Думал-думал, пришел к тебе, — давай вместе думать. Наши девки, которые с фабрики, все поразобраны: кто в лазареты, кто на фронт... Что ты скажешь?

— Мозгую, товарищ комиссар...

— Ты срочно мозгуй, — волнуется Бабаев. — Вот какая штука: ни подобрать раненого, ни перевязать... Давай дедок, Семен: ты весь Питер знаешь.

— А на який тебе ляд той дивчата?

— Говорю тебе — ни одной сестры нет, бестолочь ты, или не проспался! — сердится Бабаев.

Злыга, соображая, снова принимается разглядывать разномастные сапоги свои. Поплевав на палец, трет голенище старого сапога, получается грязное пятно. Наконец красногвардеец с видимой застенчивостью объявил:

— Так у мене ж той дивчата гулящие, где ж им на такое дело?

Искоса глянул на комиссара, полой шинели потер пятно на голенище, пятно очистилось.

— Поглядеть надо, — раздумчиво произнес Бабаев.

— А як же ты, товарищ комиссар, без горилки глядеть на них будешь?

— Ну, это мы обладам: в лазарете спирт есть, спирту добудем.

Злыга встает; он встряхивается, как будто на плечах его висел еще ленивый сон, оттирает сухой ладонью лицо и направляется к выходу. У под'езда товарищи берут дежурную машину.

Автомобиль режет острой грудью упругую грудь ветра, дождь хлещет в парусиновый верх, из-под колес свищет жирная грязь. Так они приехали на Лиговку, и шофер немедленно уснул, как только пассажиры скрылись в глухом дворе, закоулки которого были хорошо известны Семену Злыге.

Остановились около деревянного флигелька. Этот флигелек притаился в дальнем углу двора, уткнувшись двумя окнами в каменную спину высокого дома. Злыга обошел флигелек и сообщил потом нетерпеливому комиссару:

— Спят. В добрый час угодили, товарищ комиссар. Я — сей минут.

Злыга поцарапал переплет окна, при-

открыл незапертую фортку, зашептал просительно:

— Отчини дверочку, Зося... Это я, моя жоханая, я, Семен Злыга.

Вспыхнул огонек, тонкий язычок свечи.

— О, це добре! — проговорил Злыга, направляясь к двери. — Золотые дивчата, товарищ комиссар, будь я проклят, сам увидишь.

— Какой тебя шут носит, Сема? — спросил за дверью круглый голосок с мягкими перекатами.

Дверь открылась. Семен Злыга шагнул через порог, вытянулся по-военному, лихо козырнул.

— Зосенька, гарнесенька моя, имею честь явиться по приказу комиссара отряда, товарища Бабаева. — И продолжал уже чисто русской речью: — Ты не серчай, пришли напоследок повидаться, и угощенье с нашей стороны... вот оно, полностью.

Поставил на стол большой флакон спирту, разделся и, оглаживая веселое лицо свое, сел. Через десять минут он чувствовал себя радушным хозяином, выкладывал из карманов шинели тощую закуску, разводил водой спирт, знакомил Бабаева с девицами.

— Эта, черненькая, Зося Зингер, что встречала нас. Другая, с косой, Валька, по фамилии Перелет. Сиротинка несчастная, дочь убитого машиниста. Третья, которая посудой звякает, Ариша Чугаева. В городе от сохи на время...

В подсвечниках горели две стеариновые свечи, роскошь 1919 года. Девочки пили разбавленный спирт, закусывали селедкой и капустой. После третьей рюмки Зоська Зингер сняла со стены гитару, Арина Чугаева задумалась и подперла ладонью щеку. Струны гитары защебетали:

Я пойду, пойду косить во зеленый луг.

Не тупися ты, коса острая,

Не влюбляйся ты, добрый молодец.

После четвертой рюмки Валька трепещущими губами — на ухо Зоське Зингер:

— Комиссар мой, я тебе его не отдам, слышишь?!

А комиссар прицеливался, был внимателен к девицам сверх меры; добыл

он из кармана три пары кусочков тилевого сахара и наконец, к величайшему изумлению Семена Злыги, взял гитару и сам высоким тенорком спел «В полдневный жар в долине Дагестана».

Все было хорошо. В двух крошечных комнатах тепло и уютно, девицы, кажется, благополучно поделили кавалеров... и вдруг в самый разгар веселья комиссар поднялся, любовно обнял сразу двух и совсем просто сказал, как будто все уже было заранее подготовлено:

— Ну что же, девицы вы хорошие, честное слово... Двинем-ка с нами на фронт, вот какая штука, сестрами в отряд? А?

Откровенные глаза комиссара были веселыми и сияли необычайно.

Зоська Зингер уронила гитару. Лопнула самая жалобная струна, и в комнате повис высокой нежности звон.

Арина Чугаева, откинувшись к спинке стула, закрыла глаза, — она думала о далекой, брошенной в овраге деревне.

Валька Перелет выпила последнюю рюмку водки.

Семен Злыга торопливо забормотал: — А что такое? Самое обыкновенное; недостача у нас персоналу. Вы не думайте, все как есть будет правильно. Мы свои, и вы свои, а к буржуям на поклон не пойдем...

— Чудно мне очень, будто с настоящими разговаривают, — только и сказала Зоська Зингер. Нагнулась, скрывая взволнованное лицо, хотела поднять гитару — и неожиданно отбросила ее ногой к порогу комнаты.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Ночи звездные, дождя не было, зато по утрам белели поникшие травы. А днем желтые листья деревьев роняли крошечные слезинки, изредка хлопали пушки, чаще стрекотали в мелком осиннике пулеметы.

Однажды поздним вечером принесли на пункт, к санитарной палатке, Семена Злыгу, — его прошило по животу тремя пулями. Положили Злыгу на рогожу. Он чуть приподнял голову, перекошил рот, перенося мучительную боль,

сплюнул кровавую пену, сказал невнятно, прямо в лицо сестры Арины Чугаевой:

— Плохо... Уходите как только можно скоро...

Сестра Арина Чугаева осталась. Она закрыла умирающему красногвардейцу глаза участливой, теплой ладонью своей.

К утру пулеметы резвились еще бойчее, а пушки кашляли теперь прямо в лицо восходящего солнца, и солнце отступало вправо, к Пулковским высотам. В золотых лучах перемигивались серебряные офицерские погоны и шевроны юнкеров.

Кончено.

— Бог мой! Еще один-два удара, господин полковник, и мы будем в нашем родном Петербурге.

— Возможно, возможно... Однако, знаете ли...

Полковник горестно дернул щекой, указывая на пленных красногвардейцев:

— Ну, это же сброд, господин полковник.

— Они задержали нас, господин поручик, на трое суток, — закончил полковник.

У костра, поодаль, лежали и сидели пленные красногвардейцы, лежали раненые, и между ними мертвый Злыга; сидели утомленные переходами и боем, равнодушные к судьбе своей, с пустыми глазами, голодные и оборванные. Бесполезный, с перебитыми ногами, грелся у костра комиссар Бабаев. Босой, с синими ступнями, он полулежал, подрагивая от сильного лихорадочного озноба. Три сестры сидели в стороне, на срезанном стволе старой осины. Цепь юнкеров с винтовками охраняла поляну.

Дрыга ляжками, неторопливым шагом подошел к сестрам поручик, насмешливо расшаркался:

— Ну-те-с, мадмуазели, разрешите обеспокоить вопросом: кто же среди этой рвани был комиссаром или коммунистом?

«Пытать будут» — испуганно дернулась Арина Чугаева; она искоса взглянула на труп Семена Злыги, хотела ска-

зять: «Вот он...» — и выговорила:

— Мы другого отряда, мы совсем посторонние.

— Ах, посторонние! — улыбнулся поручик, — очень хорошо...

— А вы что скажете? — все так же любезно обратился он к двум остальным.

Валька Перелет дернула плечами, отвернулась.

— Убирайся ты к чертовой маме со своими расспросами! — ответила Зоська Зингер. — Подумаешь, испугал!

— Как вы сказали? — удивился поручик. И к полковнику: — Вы слышали, господин полковник? «Убирайся к чертовой маме». Очень занятно, очень!

Полковник устало, но достаточно красноречиво отмахнулся.

Так же не торопясь, поручик отошел к полковнику и, посовещавшись, крикнул:

— Сабаев! Парад алле!

Перед поручиком появился низкого роста, широкоскулый, с тяжелыми плечами, человек; в руках у него была длинная, хорошо скрученная веревка. Человек на секунду замер перед начальством и, видимо, хорошо зная свои обязанности, молча повернулся налево кругом. Он выбрал ветвистую березу, прицелился — и через минуту на суку повисла петля.

Арина Чугаева охнула. Вытянув руки, она поднялась и, как слепая, двинулась медленно по направлению к костру, где лежал подрагивающий в лихорадке Бабаев. Десятки пар глаз ударили в лицо Чугаевой гневом и возмущением, а сестра шла, и навстречу ей улыбался поручик.

— Сука! — прохрипела Зоська Зингер и вдруг захохотала, повалившись на молчаливую Вальку.

Чугаева, подойдя к поручику, плюнула ему в лицо.

— Прощельга, охальник, окаянная твоя душа! — сказала она.

Арина Чугаева не защищалась и не кричала. Человек у петли подошел, взял ее вперехват, как берут грузчики кульямякины, оттащил к дереву, накинул петлю на ослабевшую вдруг шею женщины, не затягивая, поглядел на поручика.

Кривя рот и гримасничая, поручик подал знак.

Палач деловито потянул веревку.

В смертный час этот Арина Чугаева широко распахнула глаза, подняла руку ко лбу — и не донесла... Рука нелепо взмахнула, упала, легкое тело женщины, вытянувшись, отделилось от земли...

Все еще гримасничая и кривляясь, поручик обратился к сестрам; он перевернул плечами и, закудив, подмигнул:

— Надеюсь, вы будете разговаривать после этой, поверьте честно воину, неприятной сцены.

Поручик вздохнул, как бы глубоко сожалея о происшедшем.

Валька молчала; она заплетала свои пушистые косы, любовалась их завитками и, сняв треугольничек косынки, аккуратно сложила косы в огромный, оттягивающий голову узел. Валькино лицо, с мягким девичьим подбородком, удлинилось: сестра деловито поглядела в маленькое круглое зеркальце, пухлые губы раскрылись. Валька была похожа на строгую, опечаленной красоты, невесту.

Зоська Зингер подбоченилась, она еще продолжала смеяться:

— Угости, кавалер, папиросочкой?

— Что?.. Ах, да, сделайте одолжение!

Зоська глубоко затаилась.

— Итак?.. — спросил офицер.

Зоська, кивнув головой поручику, пошла к палачу. Она остановилась как раз под второй приготовленной петлей.

— Вы очень огорчены, господин офицер? — спросила Зоська смертельно побледневшего поручика. Перебросила петлю через голову, улыбнулась. — Вы ничего не узнаете, господин офицер.

Она держалась вызывающе, более того, — она держалась насмешливо-дерзко.

Весь лагерь притих, пленные металась в мучительной тоске, отводили в сторону глаза, громоздко матерились, затыкали уши, чтобы не слышать.

Поручик не выдержал. Все принимало какой-то балаганный характер, а поручик хотел грозно-величественного. И вот, незаметно для себя, он стал шутом.

Полковник, наблюдая издали, отозвал ослабшего офицера. Он захотел распоряжаться сам, применить свои методы воздействия.

— Отпустить! — приказал он палачу.

И палач подошел к Зоське, он прикоснулся нескгибающимися пальцами к ее шее. Зоська дико вскрикнула и, затягивая на себе петлю, ударила палача ногой в живот. Все слышали, как зарычал палач. Он рванул веревку, не дожидаясь приказа начальника. Тело Зоськи Зингер сделало высокий скачок и закачалось среди ветвей; веревка, раскручиваясь, повертывала тело мелкими кругами; лагерь увидел широко открытые глаза казненной — глаза, полные торжествующей ненависти.

— Ничего не понимаю... — еле слышно пробормотал полковник.

Был полдень. Немощное солнце, удивительно тонкой бледности, скользнуло за облака. Потрескивал в костре валежник, слабосильный огонь едва пробивался. Валька Перелет оправляла платье. Она как будто стояла перед зеркалом и совсем, видимо, не обращала внимания на происходящее, — ее интересовало новое, и такое неожиданное для нее, платье сестры милосердия.

Полковник долго любовался женщиной. Ухали пушки все ближе и слышнее, высоко над поляной звинькали

шальные пули. Валька продолжала обираться, и весь растрепанный остаток отряда красногвардейцев не сводил с нее глаз. Все хотели думать, что ничего не произошло, отряд просто отдыхает, а сестра Валентина принаряжается исключительно для комиссара Кирилла Бабаева, которого она любит, и товарищи, само собой, радуются этой любви, такой пышной на фоне оскудевшей земли и вялого неба.

— Кончайте, поручик, — приказал полковник, — она сумасшедшая...

Валька шла к виселице степенным шагом. Пышные косы на голове приговоренной лежали, как пришипленное солнце. И вот, когда петля захватила невинной чистоты шею, пришипленное солнце распалось, пролившись сверкающим золотом между подрагивающих плеч....

Пленных красногвардейцев отправляли в тыл. Остался мертвый Семен Злыга и обезноженный комиссар Кирилл Бабаев, которого второпях забыли пристрелить.

Грохотали пушки, и щелкали в ветвях совсем уже не шальные пули. Выстрелил из-за облака тонкий лучик солнца; переломившись, он упал на вершины оголенных берез.

Тропа большевиков

Л. ЧЕРНОМОРЦЕВ

Плясали лютые морозы
Еще костлявее и злей.
В кустах таили мы угрозу
И ненависть. Мы грелись ей.
Калило ею ствол берданы.
Она взводила сталь курков,
Мы проторяли, партизаны,
В тайгу — тропу большевиков.
Петляли с лайкой остроухой
По насту парой верных лыж.
К весне, как хлопья, пали «слухи:
«Из города подмога, слышь...»
И повторяли звероловы
В дыму закатов и костров
Заветное большое слово:
«Привет от цеха деповского,
От городских большевиков!»
Мы шли тайгой. И только сучья

Крутой мороз, кряхтя, ломал.
И на привале, помню, в кучу
Мы сбились. Сообщал лазутчик:
«Войска идут через Урал».
Ну, значит, наши скоро... Помню,
Листок, зачитанный до дыр,
Ходил по лагерю. Огромный
Расцвел костер.
Медвежий жир
На радостях, ножом распластан,
Нанизан был на шомпола.
Он вспыхивал, трещал и гаснул.
... В те дни широкая легла
Через Урал, через Саяны,
Сквозь дебри зим, сквозь толщу льдов
Сюда, к сибирским партизанам,
В тайгу, — тропа большевиков.



Год рождения 1905-й

Хроника одного детства

М. ЧУМАНДРИН

Часть вторая

(Продолжение ¹)

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

После рождества отец получил письмо. Его принесла какая-то пожилая женщина. Она сразу прошла в комнату, где отец сидел за починкой валенок, и, не здороваясь, сказала:

— Вася нездоров, пока не ходите к нему, может быть, заразно...

Отец выслал Антона на улицу, Антон неохотно подчинился этому, но через минуту женщина ушла, Иван позвал мальчишку.

— Что ж ты не сказал мне про полицию? Помнишь, у сторожа-то.

— Это — «чудесная вещь»?..

— Вот-вот...

— А чего говорить? — неохотно отозвался сын.

— Небось, старик велел тебе рассказать все?

Антон замялся, покраснел.

— Что же ты? — отец помолчал. — Тебя могли арестовать...

Антон только отмахнулся.

— Я тебе говорю без смеху, наследник! — уже прикрикнул отец. — Раз велели передать, почему не послушался? Это ты в следующий раз брось!

Антон помолчал и сказал:

— Они — все гады. Помнишь, когда тебя с Ниной взяли в тюрьму? Пом-

нишь, там еще был один такой... Серый... — он замялся, не зная, как описать человека. — Ну, еще такое лицо... Усы — длинные, книзу. Помнишь?

— Он и у сторожа — тоже был? — забеспокоился отец. — Он тебя не узнал, не знаешь?

— Не узнал... — Антон помолчал и, взглянув на отца, увидел его встревоженное лицо.

— Чего «они» все ходят к тебе? А ты все что-то прячешь... Что?

Отец усмехнулся, и тень испуга исчезла с его лица.

— Жалко, что ты вот очень мал, наследник... — потом, после короткого молчания, отец предложил: — Пойдем-ка лучше на улицу или — в парк... Снежок сейчас хороший... Обедать — не скоро...

Сын понял, что отец хотел поговорить с ним, но так, чтобы не слыхала хозяйка.

Снегу становилось с каждым днем все больше, он лежал, глубокий и потвердевший. Мимо староверского кладбища шла крепкая дорога, на серой бетонной ограде кладбища сплошь виднелись черные крупные точки, — это неподвижно сидели на холоду вороны.

— Вот и январь... — заговорил отец — «Зима. Крестьянин, торжествуя...» — Он вдруг прочитал длинное и складное стихотворение. — Не знаешь? Это, брат, написал такой Пушкин, Александр Сергеевич, он сам сочинил. Интересно? Вооб-

¹) См. «Новый мир», кн.кн. 1, 2 и 3 с. г.

ще, ты все же мало читаешь. Я, лично, в тюрьме читал очень много. Спасибо ей. Только там я по-настоящему и понял, что такое человек и какая в нем сила. Большая, очень большая!.. — он снова повторил несколько строк стихотворения. — В общем, ты ведь не глуп. Читать ты теперь умеешь хорошо.

— Я теперь все вспомнил, что меня Нина учила... — поторопился сказать Антон.

— Нина... Она, брат, не тебя одного учила... — задумчиво и с грустью отозвался отец. — Ну, о чем мы хотели говорить-то, наследник?

Они уже подходили к перекрестку, где стояли казармы 56-го полка. От казарм открылся вид на Кудашевский парк. Он казался отсюда синим и прозрачным. Далеко между деревьями пролегали стройные аллеи, просеки. Снег хрустел под ногами, через парк шла свежая, протоптанная тропка. Отец и Антон пошли по ней.

Стволы деревьев были облеплены снегом. Изредка над узенькой глубокой тропкой свисали заснеженные, лапчатые ветви, иной раз попадалась одинокая приземистая елка. На снегу виднелось множество мелких птичьих следов. Невидимые птицы пересвистывались над головами людей.

— За что тебя в тюрьму взяли? — спросил Антон. Ему временами казалось, что отец сожалеет о ней, что он думает о ней хорошо и не прочь вернуться туда. Вопрос вызвал полную растерянность отца. Он пожал плечами.

— То-есть как за что? Помнишь забастовку?

— Ну, а забастовка — зачем?

Отец как-то так, сбоку, оглядел мальчишку и покачал головой.

— Тут тебе без меня жилось — хорошо? — спросил он, неизвестно к чему.

Антон не захотел даже отвечать. Отец понимающе похлопал его по плечу.

— Вот то-то и оно. Например на фабрике у Юльма или в ночлежке — хорошо? Ты вот в Москве жил, видел, как эта барыня-то, как ее! Ну, в общем ты видал, как «они» живут. Разница!

А почему? — и он добавил: — Вот и видать: глуп.

— Они — богатые потому что...

— Именно! — радостно подхватил отец. — Богатые, верно. А мы — не богатые. Они зовут гостей, идут, куда им угодно, говорят, что хочешь, — им никто ничего, потому что они богатые. Они человека задавят, избыют до полусмерти. Горбоносовы например. Они — чисто звери. А все — ничего! Верно? Богатые! Или городовые, околочные там... Разве они Горбоносова — в тюрьму взяли? А ведь он чуть не убил Ефима, — вот! В больнице до сих пор. Теперь подумай: например Хрош, — что это за человек?

— Шкура барабанная, — охотно отозвался Антон.

— Так. Шкура. А Горбоносовы?

— То же самое. Хрош слушается их.

— Так, теперь возьмем Юльма. Ты у них работал, знаешь...

— То же самое! — перебивал Антон.

— Или Кудашевы.

— Шкура, шкура, шкура! — уже весело и возбужденно кричал Антон. — И все, все! — он вдруг испугался и посмотрел на отца. — А... Царь? — запнувшись, спросил он.

— Вот то-то и оно, наследник, что на самой макушке стоит царь, — серьезно и медленно проговорил отец. — Мы же царя не трогали, когда устроили забастовку, он далеко, в Петрограде, а все равно: ему написали, он велел полиции — посадить в тюрьму. Он заступается за них, за сволочей.

— А царь — что? Шкура? — не зная, правильно ли он говорит, заикаясь, произнес Антон.

— Один чорт! — жестко, не оставляя никаких сомнений, отрубил отец. — Пусть Горбоносов или Кудашев — пусть-ка теперь они попробуют в тюрьму, а уж мы будем работать, учиться, допустим, жить по-людски. Верно?

— А царя? — с веселым огоньком в глазах спрашивал Антон. Ему понравился этот разговор, походивший на игру.

— И царя — в тюрьму! — тоже весело объявил отец. — А что на него смотреть?

— И кто придет к нему — не пускать!

тоже? — Антон помолчал и пояснил: — Нас ведь к тебе не пускали.

— Мы тоже пускать не будем! — обнадеживая, сказал Ажогин. — Вообще, нас много. Верно, есть такие, что в тюрьму — бояться. Я не боюсь, но неохота: арестуют — и сидеть без толку? Какой смысл? Лучше поосторожней, да зато делать и делать свое. А после революции мы им покажем! — и он пояснил скороговоркой, как бы читая давно знакомую книжку: — Революция — это значит: прогоним городовых и казаков, царя и губернаторов — в острог, а например фабрику у Юльма отберем себе — для всех! Понятно, наследник? И сами будем хозяева, — ни царя, никого! Сами!

Тропка уже вышла из парка и разделалась. Налево она направлялась к тюрьме, смотревшей сюда своими многочисленными черными окнами, направо — к ипподрому, где по воскресеньям устраивались конские бега и куда со всего города съезжались хорошо одетые люди на ликачах и автомобилях. Забор ипподрома зиял темными дырами: его начали уже растаскивать на дрова.

— Народ нынче не тот... — задумчиво говорил отец, отрываясь взглядом от забора. — Скоро еще и не то будет... Осмелеют все, легче будет работать. Самое последнее дело — трус. Ты не будешь трусом?

Этим же вечером на улице Антон увидел Веру. Она шла, тихонько позвякивая коньками. Заметив Ажогина, остановилась. Он хотел было перейти на другую сторону, но Вера твердо взглянула на него, и, как бы повинувшись ей, он приблизился.

— Что тебя не видно в училище? — спросила она, размахивая коньками.

— Я хожу туда каждый день.

— Я не видела тебя.

— А я виноват, что ты не видела меня? — возразил он.

— Чего же ты такой злой? — после непродолжительного молчания тихо спросила девочка.

Она была худенькая, но сейчас, на морозе, щеки ее горели ярким румянцем, глаза были велики, левое ухо, неплотно прикрытое шапочкой, видимо, пощипы-

вал мороз, Вера часто касалась уха рукой. Антон промолчал.

— Ты наверно не хочешь дружить, что я — девочка? — грустно сказала она, опуская глаза.

— А уж это мое дело! — важно ответил он и, подняв голову, пошел прочь. Но через десяток шагов обернулся. Он думал, что Вера стоит и смотрит ему вслед. Ничего подобного, она торопливо бежала дальше, как и давеча, размахивая коньками.

Антон обиженно дернул носом: вот как, девчонка заносится перед ним! Она стала бы потише, расскажи он ей кое-что о себе. Разве она решилась бы, подобно ему, поехать на войну или работать у Юльма?

Весь вечер он просидел за книгой, впрочем мало что понимая из того, что читал. Он видел перед собой Веру, с коньками в руках. Она даже ночью пришла к нему и села около. Она пожимала его руку, а он рассказывал ей о Платошке Матросове, о Юзьке, о том, как он перебил у Фортунатова все стекла. Потом Вера встала и нечаянно толкнула Антона в плечо. Он упал с табурета и проснулся. Он лежал на полу, в темноте, отец в одном белье стоял над ним и тревожно спрашивал:

— Что с тобой, наследник? Увидел страшное? Нет?

— Вера, Вера... Где Вера? — растерянно, ничего не соображая спросонок, спрашивал Антон, ежась от холода.

— Ого, уже Вера?.. — удивленно протянул отец. — Рано, рано, наследник...

Он коротко рассмеялся, положил сына к стене, укрыл его потеплее и лег рядом с ним.

Наутро Антон уже ничего не помнил. Он встал пасмурный, кое-как оделся, собрал книги и пошел в училище. Лишь подходя к школе, он вспомнил вчерашнюю встречу и свой сон. Он боялся встретить Веру. Чувство, не знакомое ему до сих пор, тяготило Антона. Он скоренько прошмыгнул в класс. Лиза Ковальчук давно сидела на своем месте, за партой пристроился уже и «Кривой». Лиза насмешливым взглядом встретила его, ее нижняя губа была в чернилах, Лиза, как птица, вертела своей белье-

кой головкой. «Кривой», не переставая болтать, играл с товарищами в перышки.

— Меня, брат, не обыграешь, верно? Спроси у Ажогина или у кого хочешь... Я один весь класс могу обыграть. Лизка, могу?

И так как Лиза промолчала, он сорвался с места, дернул ее за косичку, она взвизгнула, брат как ни в чем не бывало опять вернулся на место и продолжал играть.

— Ты смотри! Говори, когда спрашиваю! — пригрозился он.

Всю первую перемену Антон оставался в классе, он боялся столкнуться с Верой, но все же в конце второй он увидел Лизу и Веру, вошедших в класс. У него тревожно забилося сердце, но Вера постояла около доски, оглядела всех, находившихся здесь, — малыши, второклассники! — и, даже не взглянув на Ажогина, вышла из класса своей медлительной, почти взрослой походкой.

После занятий Антон, можно сказать, взбесился. Он первым выскочил на улицу. Он затевал возню с выходившими ребятами и, завидя в дверях Веру, жесточно бросился в свалку, уже затеянную с девятой школой. Это было событием, — обычно в войнах с девятой школой Антон стоял в стороне.

Старая выучка Ажогина давала себя знать: бойцы противника, как лодыжки из коня, разлетались в стороны от тяжелой его руки. Антон со стороны должен был выглядеть великолепно. Он не переставал мельком взглядывать на свою избранницу. Она же, наоборот, медленно обошла сцепившихся мальчишек, и, когда Антон подкатился ей под ноги, она на мгновение задержалась:

— Не хулигань, Ажогин, учительнице скажу...

У него и руки опустились, — значит, он зря выказывал себя перед Верой!?

Он вынул из-за пояса книжки и побежал домой. Он обогнал Веру, стоя сехал с крутого скользкого берега на реку и сломя голову помчался по тропке через лед. Так Верке и надо: он не останется и не заговорит с ней, — уж очень она зазналась!..

Дни в школе проходили однообразно и скучно. Правда, как-то само собою

случилось, что Антон стал руководителем всего одиннадцатого училища, победоносным вожаком его в драках с семнадцатой школой, — боевая слава одиннадцатого училища загремела по всему городу, но школьные занятия Антону прискучили. Быстро восстановив в памяти все, чему учила его Нина, он почувствовал себя взрослым среди младенцев. Он перестал обращать внимание даже на «Кривого». Вера — о ней он не хотел больше и думать.

— Ну, как с уроками? Не отстаешь? — спрашивал иногда отец.

— Учусь лучше всех... — равнодушно отвечал Антон, не отрываясь от очередной книжки.

И это была правда, — он шел впереди всего класса, хотя заниматься дома перестал вовсе. Зато читал он так много, что отец даже начинал беспокоиться.

— Шел бы лучше гулять...

Антон не был затворником, но сейчас он глотал книги, едва не давясь ими.

Однажды перед уроком закона божия священник сказал, что завтра в город приезжает император и самодержец всея России.

— Николай Второй! — торжественно заключил поп. Так и сказал: «Второй».

Весь класс молча слушал, что он скажет дальше.

— Царь? — громко, неожиданно даже для самого себя, спросил Антон. Растерявшийся поп не нашелся сразу.

— Царь, ну царь, да! — наконец закричал он. — А почему ты сидишь, когда говоришь с батюшкой? Встань!

Антон нехотя встал.

— Стыдись, Ажогин!

Слева кто-то тоненько засмеялся.

— Ковальчук! Встань, Ковальчук! Что тебе смешно?

Лиза, краснея, со слезами на глазах, встала.

— Девочка, а ведешь себя? Хуже мальчишек! Ажогин — испорченный мальчишка, что ты берешь с него пример? — бушевал поп.

Он прошелся по классу, зачем-то заглянул в заснеженное окно и снова остановился посреди класса:

— Мы пойдем всей школой встречать государя, его императорское величе-

ство! — уже сердитым голосом бубнил поп. — Вообще, все должны быть в черных шапках, это ученики. Ученицы — в черных платках или шапочках, то же самое...

— У меня шапка серая... — волнуясь и чувствуя непреодолимое желание противоречить, сказал Ажогин.

— Значит, надень черную! — недоброльно отозвался поп. — Чего ты меня перебил! Еще есть вопросы?

— У меня нет черной! — упрямо продолжал Антон.

— Ах ты, господи твоя воля! Ну вот за это стой столбом до конца урока! Этому — что, дома тебя учат? Отец с матерью?

— Какая есть шапка, в той и пойду, — еще более упрямо говорил Антон. — Купите мне черную — надену. Небось, вы денег не дадите...

Ему вдруг захотелось сказать все, что он знал о царе от отца. Он с трудом подавил в себе это сумасшедшее желание, потом вдруг сел и начал собирать книжки.

— Ажогин, Ажогин, встань! Я тебя из класса выведу! — священник уже подошел к нему, больно схватил его за плечо. У Антона потемнело в глазах, он закусил губу и с силой ткнул пером во что-то мягкое. Поп отдернул руку и испуганно посмотрел на ученика.

— Выйди, Ажогин, бога ради! — сказал он и вдруг ударил кулаком по столу: из рыжего и волосатого кулака, смешанная с чернилами, текла кровь. — Пришли завтра отца!

— Отец у меня работает... — с ненавистью ответил Антон. — Отец работает, а вы...

Он не дождался, громко хлопнул дверью и вышел в коридор. Впервые он увидел коридор пустым. Он подошел к одной двери — оттуда неслось негромкое жужжанье, видимо, читали всем класса доносился громкий голос учительницы, — здесь училась Вера.

Через мгновение дверь второго класса распахнулась, и оттуда, распаренный, поблескивая единственным глазом, выскочил Ковальчук. Он ронял по дороге тетрадь, задачник, промокательную бу-

магу, ручку. Он терял, поднимал и ронял все это снова.

— Он и меня выгнал! — беззаботно вскричал «Кривой», потом не докончил и с оглушительным свистом скатился вниз по перилам лестницы. — Идем на базар. Я книги покупать буду. Вот они, денежки! — Он достал несколько марок и показал их Антону. — Батюшка у нас жулик, — верно?

Он лихо и еще громче присвистнул и помчался в раздевалку. Это из-за Антона выгнали «Кривого», Антон хорошо понял это. Значит, есть еще на свете друзья и товарищи...

На базаре, прямо на салазках, на дороге, раскинутой по снегу, в корзинках, прямо на руках, на прилавках дощатых палаток было, как и обычно, множество книг. Антон всегда терялся, видя их столько.

— Один раз я был здесь с Иваном Ажогиним... С отцом... — добавил он, объясняя. — Он купил мне задачник, а внутри что-то было, только не скажу! — и он едва удержался от искушения рассказать о свечном заводе, о стороже, о полиции. Во-время спохватившись, он замолк и густо покраснел.

— Ну, что? Что там было? — даже затаив дыхание, спросил Ковальчук.

— Рубль... — неумело соврал Антон.

— Н-ну... Неинтересно... Ты не умеешь рассказывать интересно... Отчего это?

Антон не ответил, он брел за Ковальчуком, уже не глядя на книги и заново переживая всю историю с попом.

— Если меня выгонят, и тебя выгонят тоже, — раздумчиво заговорил он, идя за «Кривым». — Ты тогда иди со мной, будем ходить на работу в депо, а когда вырастем, мы тогда с этим батюшкой поговорим!..

«Кривой» легкомысленно кивнул головой, продолжая рыться в книгах. Он купил стопку тоненьких, как тетради, книжечек, с яркими картинками на каждой обложке. «Палач города Берлина», — вот как назывались они.

— Это — страшно. Ты любишь? А я — очень! — даже с легким содроганием сообщил Ковальчук.

— Зачем столько? Про одно и то же?

— Эх, чудило-голова! — весело воскликнул Колька, покровительственно поглядывая на приятеля. — С продолжениями! Здесь она его убила, а потом ей отрубили голову. Интересно. Палач, видишь? Я читаю скоро: мне здесь на три дня...

— Мне здесь на один день... — пренебрежительно отозвался Антон, не терпевший ничего превосходства над собою.

— Ну, это ты врешь! — изумленно воскликнул «Кривой».

— На полдня даже... — упрямо повторил Антон.

Ему стало скучно: он почувствовал, что говорить с «Кривым» ему не о чем. Столкновение со священником все еще продолжало волновать Антона.

Когда Ковальчук позвал приятеля к себе, Антон молча покачал головой. Получалось впечатление, что они расставались после ссоры, хотя «Кривой», увлеченный своей покупкой, ничего не хотел замечать.

— Наверно Лизка — уже дома. Все раз'ябедничает... Верка хотела притти.

Что это за «Верка»? Антон даже сжал кулаки, но опомнился и гордо проговорил, что пускай приходит, — он не любит возиться с девчонками.

Он пришел, когда отца еще не было дома. Старуха Соломатина возилась на кухне, что-то ворча себе под нос.

— Обед готов?

— А отца ждать, — ай не будешь?

— Что мне его ждать? — важно возразил Антон, проходя в комнату. Только произнеся эти слова, он успокоился. Он знал, что отец одобрит его поведение при сголкновении с попом, именно так и должен поступать тот, кто занимается забастовками. У него теперь даже появилась запоздалая зависть к Ковальчуку, купившему интересные книжки. Он понял и то, чего он лишился, отказавшись зайти к «Кривому»: там Антон показал бы себя перед девчонками, перед Верой.

Под окнами раздались громкие голоса, он заглянул в окно, мимо по дороге шла оживленная ватага солдат. Они были одеты кое-как, один из них широко размахивал ремнем, некоторые нестройно пели песню, слов из-за двойных рам не

было слышно. Шли они вразброд, не в ногу, с ними не было, видно, никого из начальства. Возможно, среди них находились и выпившие.

Старуха позвала Антона к столу. Под окном кто-то прошел, потом в сенях завопились и зашаркали ногами. Соломатиха, испуганная, вышла в сени, оттуда сразу же послышался отдаленно-знакомый голос.

— Ноги-то обмахнуть есть у вас чем или нет? Есть!.. Чего-чего, а вениками Россия-матушка богата!

В открытую дверь ударила сильная, белая струя холодного пара, хозяйка вошла в кухню, и следом за старухой в морозных клубах показался «Главный».

Антон узнал его сразу, несмотря на то, что Павел Орестович отпустил широкую бороду, подстриг усы и стал носить очки, из-за котрых теперь выглядывали его необычно большие и словно остекляневшие глаза.

— Признал? О, брат, у тебя сохранились все твои качества. Ты — остроглазый. Никита, кажется? Ах, Антон!..

Он без приглашения сел за стол и подмигнул Ажогину. По глазам гостя, по тому, как он смотрел на пищу, было видно, что он голоден.

Хозяйка прибавила щей. «Главный» отхватил громадный кусок хлеба, и, когда хозяйка, гремя ведром, вышла по воду, он скороговоркой сказал:

— Только не называй меня Павел Орестычем... Не трудно? Впрочем для рабочего класса трудностей нет. Попржнему ты такой же умный? Или — еще умнее?

Так он, помнится, говорил со всеми. Его несерьезный тон сейчас не обижал Антона.

— Вы где были?

— Э, дружок, где был — там, думаю, нету. Вообще ты не спрашивай, ничего не скажу: я такой! Я вообще — непонятный человек... — и он опять подмигнул Антону.

«Главный» жадно глотал щей. Потом, спохватившись, отсел от Антона и начал разуваться. Он стащил с ноги один валенок и вынул из него совершенно мокрую портянку, потом скинул второй, — то же самое.

— На улице мороз... — удивленно заговорил Антон.

— Я, брат, нынче сорок три версты пешком прошел, в прорубь попал... Как ты думаешь? У отца валенки сухие есть?

Он переобулся и залез на печку. Хозяйка с неодобрением смотрела на чудного гостя, а он, свесив голову с печки, расспрашивал ее:

— Как тут у вас жизнь? Как и везде, только втрое похуже? А мы ничего жили, квартира теплая, работа легкая.

— Это на железной дороге, что ли?

— Вроде, мамаша... — и он снова подмигнул Ажогину, сделав из пальцев подобие решетки. Антон понял, что «Главный» сидел в тюрьме.

«Убег, что ли?» — с недоумением подумал Антон, но спросить в присутствии хозяйки не решился.

А гость продолжал расспрашивать хозяйку:

— Хлеба-то хватает? У нас в России всего должно хватать, народ мы богатый...

— Кто богатый, а кто и нет... — перебила старуха.

— ... Денег куры не клюют, живи — не хочу, умирай — не отказывайся...

— Чего-то вы непонятно говорите... Вы не из кондукторов будете?

— Из них самых, — серьезно ответил «Главный».

В замороженном стекле окна прошла знакомая большая тень. Отец вошел в помещение, ударил рукавицами о валенки и сразу подошел к печке. Получалось, что он ожидал «Главного», и ожидал найти именно на печи.

— Как добрались?

— Да вот валенки велики! — весело ответил «Главный», спрыгивая на пол.

— Ну, если только валенки!.. — отец неловко обнял «Главного», и они трюмо поцеловались.

Потом отец приложил правую руку к печке, — отогревал ее.

— Теперь... много легче, — усмехнулся он. — Холодно, а рука стынет только одна. Другой же хоть бы что...

— Прямая выгода... — виновато сказал «Главный», беря Ивана за плечи и поворачивая его к свету. — Наследник у вас хороший, Ваня.

— Помощник.

— Подрстет, — ясно!

— Помощник уже, — подчеркнуто сказал Ажогин.

«Главный» удивленно раскрыл глаза, но потом обрадованно закивал головой.

— А может, послал бы... — он указал глазами на Соломатиху. — Деньжата найдутся...

Отец подошел к старухе.

— Где ее достанешь-то? — понимая с полуслова, спросила старуха.

— Ты знаешь, где, тетя Даша... Ханжи, в крайнем случае...

Старуха уже перестала коситься на «Главного». Жилец был смирным, хорошим человеком, он не стал бы возиться с прощальгой.

Отец закрыл за нею дверь, они вошли в комнату, завесили окно, отец достал из-под рубахи пачку бумаг.

— Слышать, солдаты у вас начинают шуметь? — спросил «Главный».

— Нынче вышли из казармы, чуть не убили штабс-капитана в первой роте, как его... Эх, забыл!..

— Не важно.

— Он у них — сволочь...

— Да, понимаете, надо ковать железо... И подогревать. Не подогрешь — ничего не получится...

Отец понизил голос, и Антон перестал слышать их. «Главный» слушал Ажогина и считал бумаги. Он считал громко, точно деньги, отсчитал двадцать пять и остановился.

— Сумеет? — неуверенно спросил он.

— Ну! Передавал же! От полиции уходил...

— Да, брат, быть тебе в сибирском раю! — «Главный» привлек Антона к себе и посмотрел ему сначала в один, потом в другой глаз.

Отец начал рассказывать.

— Вот тут казармы, знаешь, — ну, за кладбищем! У ворот ходит часовой: рыжий и заикается. Ты так — подойди и скажи: «Дай хлеба». Он скажет: «С часовым не разговаривай». Тогда ты скажи: «Где у вас лекарня?» Потом пусть он скажет: «Скоро построят». Тогда отдай ему вот это и еще письмо. Если кто заметит, скажи: письмо из деревни Сухову принес. Больше, чтобы ни одного

слова. Если солдат тебе про пекарню не скажет, молчи и сразу — домой. Если ошибешься, то отца опять в тюрьму заберут.

Иван говорил о себе, как о постороннем.

— Пойдешь? Не хочешь — скажи.

— Пойду, — сказал Антон.

Слабо освещенная Полевая улица сейчас была незнакомо оживлена.

На углу маячили двое городовых, около кладбищенской стены стояли оседланные продрогшие лошади, стражники вели тихие разговоры, еще дальше стражники жгли костер, с ними было несколько городовых, дворники, какой-то человек в светлой каракулевой шапке. Отсвет костра играл на серой стене кладбища. Над самым кладбищем, с громкими криками, встревоженные, летали вороны. По улице промчалась верховой. Кончилась ограда кладбища — кончилось и это тревожное оживление. Дорога до казармы была пуста. Казарма стояла на невысоком взгорке, второй ее этаж был ярко освещен, сквозь распахнутые ворота на дворе то же самое виднелись костры.

Антон бросился бежать. Ему что-то кричали вдогонку, он не обращал внимания на крики. Он мчался по утоптанной скрипучей дороге, теперь уже около ворот, совсем близко перед собою, видя человека с винтовкой.

Антон сразлета едва не ткнулся часовому в грудь, потом пробормотал:

— Хлеба, дай хлеба!

Он опомнился и даже попридержал дыхание: а вдруг солдат — не тот? Хриплый, чуть-чуть заикающийся басок попросил:

— С часовым не разговаривай.

Антон успокоился. Он между прочим спросил, где пекарня, и уже полез за бумагами.

— Ско-ро... по-остроят! — ответил часовой. — При-инес?.. Ну, да-авай-ко сюда... — Он забрал у Антона его бумаги и отвернулся лицом к забору. — Те-еперь иди... Другой стороной...

Антон свернул вправо. Там тоже были городовые, тоже горели костры, то же самое около них плясали и топтались спешенные стражники. Антона никто не остановил, он и сам теперь шел спо-

койно, ничего не боясь. Он вышел к Техническому училищу, и вот опять ему припомнилась Вера. Здесь она тогда крикнула ему:

— Я тебе помогать бу-уду-у-у!

Он поднял голову: сверху, через кирпичный забор, свисали толстые лапы старых елей. С них легонько сыпался сухой снежок.

Антон вышел на Техническую и услышал отчетливые, тяжелые шаги. Сюда шла темная масса людей. Когда он подошел поближе, он увидел темную группу солдат, — взвод или больше. По тротуару рядом с ними шли двое офицеров, они разговаривали приглушенными голосами:

— Помилуйте, весь полк как-никак...

— Чепуха, батежка! Успокоим... — беспокойно возражал другой, видимо старший.

Солдаты прошли, Антон заторопился к себе.

Но «Главного» он уже не застал дома. Отец невнимательно перелистывал книжки Антона. Делал он это явно затем, чтобы убить время. При появлении Антона он даже вскочил с места, затем выслушал все, что сказал ему сын, облегченно вздохнул, сам раздел мальчишку и повесил его куртку на гвоздь.

— Ну вот, и опять мы с тобой вместе. Сын, наследник...

Он, словно впервые видя сына, пристально посмотрел ему в лицо и тихо засмеялся.

— Я в твои годы был дураком. Мы еще поработаем, да?

О какой такой работе говорил отец? Антон снова увидел в его руках задачник. Утреннее происшествие в школе припомнилось отчетливо во всех мелочах, и Антон рассказал отцу все. Он рассказывал даже с оттенком хвастовства, но отец сидел молчаливый, и по его лицу было нельзя догадаться, как он относится к сообщению сына.

— Я думал, ты уже становишься человеком... — неестественно-спокойно наконец заговорил он, не глядя в сторону Антона. — Значит, не хочешь, чтобы тебя учили? В босяки хочешь итти?

— Поп — жулик, — мрачно проговорил Антон.

— Ну, положим, да. А ведь такие попы — везде. Значит, все мы должны бросить учебу? Они, значит, будут, а мы — нет? Ну, вот и соображай своей головой! Эх, Антон, Антон, я думал, ты будешь умнее...

Он с прежним неестественно-спокойным выражением лица посмотрел на сына и постучал корешком задачника по столу, — сердился.

Антон не знал, что ответить отцу, и тут появление Кошато́го сразу изменило дело.

Этот неожиданный приход заставил отца на время забыть о сыне и заняться пришедшим. Но Кошатый первым делом схватил Антона за плечи, боязливо заглянул ему в глаза. Ото лба к макушке волсы Кошато́го поредели, ясно обозначалась лысина, а на висках волосы были светлыми и нежными, как дыплячий пух.

— Ну, давай, рассказывай... — почти враждебно сказал ему отец. Антона и тут удивило поведение отца: за то время, что они жили у Соломатиной, Антон впервые увидел Кошато́го. Иван же встретился с ним, как со многими из тех, с кем он видался ежедневно. И когда Кошатый, опасливо поглаживая виски, оглянулся на Антона, отец торопливо добавил:

— Ты не бойся его! Давай и уходи!

Кошатый вздохнул, снял ватный пиджак, поднял рубаху и, придерживая подбородком ее подол, стал расшнуровывать широкий брезентовый, ладно сшитый пояс. Он бросил его на стол, пояс глухо стукнул, — внутренняя сторона его состояла из множества карманчиков, каждый из них застегивался на пуговицу.

Отец открыл один из них: там лежали свинцовые литеры. Вот куда, оказывается, шел шрифт, краденный Кошатым!

— Хорошо. Ну, получи... — Отец достал из-за иконы совершенно такой же, только пустой, пояс. Кошатый взял пояс, тщательно свернул его, положил на стол и отступил назад.

— Что ж ты?..

Кошатый испуганно посмотрел на отца.

— Я пришел сказать, понимаете...

— Ну-ну, Константин!.. — угрожающе подсказал отец.

— Товарищ Ажогин!.. — вскрикнул Кошатый, делая от стола еще один шаг.

— Ладно, понял... — спокойно, после короткого молчания, отозвался отец.

— У меня скандалы с женой. Каждый божий день. Просто получается невозможно, товарищ Ажогин!

— Слова и слова. Помолчи!

— Вот не верите, а я говорю правду!..

— Что это за правда такая? Противно! — и в самом деле с брезгливостью произнес отец, не отрываясь взглядом от Кошато́го. Тот переминался с ноги на ногу.

— Долго мы не видались, Тоня... — сказал он, подходя к Антону.

— Еще дольше не увидишь... Ты вообще держи язык за зубами, Кошатый... А то пожалеешь... Лучше, если бы ты уехал отсюда... — спокойно, точно отдавая распоряжения, говорил отец.

Кошатый даже взмахнул руками.

— Куда же я уеду?

Когда он ушел, Антону стало нехорошо, как если бы и он сам был заодно с наборщиком.

— К графу Толстому не зря ходил. Эх, Кошатый!..

Отец потуже свернул принесенный наборщиком пояс и сунул его под подушку.

— Что ты с человеком поделаешь, когда он трус?

— Он Маньку боится... — подсказал Антон.

— Он всех боится, кто посмелей его, а таких много...

На расспросы сына Ажогин рассказывал, для чего ему приносят свинец. О подпольной типографии он рассказывал торопясь, точно спеша уйти. Многого Антон даже не понял.

— Ну, понимаешь, ты тогда относил на свечной завод... Или например в казарму, — ну, вот эти прокламации-то... Ты думаешь, где их печатать?

Он не договорил, оборвав себя, махнул рукой и в самом деле заторопился уходить.

— Все ж таки ты глуп, наследник... Теперь иди, говори с твоим попом, улаивай его... — на прощанье сказал он. — Мне ведь недолго. Возьму — брошу те-

бя любить. Зачем мне такой неслух, неуч, а?

Однако со школой уладилось, отец вернулся повеселевший и, не раздеваясь, заговорил:

— Вообще будь помирнее. Не то что, как теленок, но ведь из-за твоей глупости и я могу попасть. Допустим, с помом. Он так и сказал: яблоко от яблоньки недалеко падает. Значит, про меня сказали. И ты сам сдуру пропадешь раньше срока...

Он швырнул Антону новую черную шапку с ушами.

— Завтра иди в училище! — Помолчав, прикрикнул: — Остерегайся, говорю!

— Как Кошатый? — попробовал было посмеяться Антон.

— Одно — от робости, другое — от ума!

В этот самый момент под окнами раздалась громогласная солдатская песня. Отец заглянул в окно, торопливо буркнул что-то и вышел из комнаты. Антон, оставляя за собой двери раскрытыми настежь, выскочил за отцом. Но тот уже куда-то исчез. Солдаты еще тянулись мимо. Со смехом, песнями, возбужденными, радостными криками они шли вниз, в сторону Суворовской. Антон встал в толпу и пошел с ними. Он заметил, что вместе с солдатами идет много «вольных», женщин и даже детей.

Солдаты кончили свою веселую и бестолковую песню «Две деревни, два села» и впереди запели другую, непромкую и строгую, — как-раз ту, что слышал Антон во время забастовки весной, когда ранили отца. Солдаты, кроме припева, видно, ничего не знали, потому что песня то грозно и оглушительно вздымалась на улице, то снова шла, еле слышная, где-то впереди.

Мы пойдем к нашим страждущим братьям... —

чуть слышалось из передних рядов.

Толпа уже дошла до Суворовской, оттуда слышались свистки городских, солдаты громко залязгали винтовками, крики возрастали, конка подошла и остановилась, потому что толпа мешала ей ехать дальше. Один солдат подскочил

к конке, отцепил от вагона валец, ударил по лошадям, клячи шарахнулись в сторону и исчезли в темноте. Испуганные пассажиры вылезли из вагона, толпа сгрудилась вокруг, на плечах солдат очутился Ажогин, он закричал что-то, чего не было слышно. Один из солдат выстрелил вверх, все смолкло.

— Я вот недавно с фронта, у меня теперь нет руки, приделали! — продолжал отец. — Зачем мне была нужна война?..

— Правильно говоришь! — закричали отовсюду. — Ур-р-ра!

Он не успел кончить, как рядом с ним показался другой человек, и стоило этому другому произнести первое слово, Антон узнал в нем «Главного».

— Вас конечно пошлют на фронт, товарищи, потому что вас — кучка. Миллионы солдат еще не понимают, для чего их гонят в окопы. Вы поняли. Вас погонят на фронт — и это даже хорошо: вы должны будете не понимающих войну научить разбираться в ней. За вами завтра пойдут тысячи, потом — миллионы. Надо, чтобы вся армия пошла за нами, революционерами, социал-демократами, большевиками. Только тогда мы вместе...

В этот момент со стороны Кремля послышался ожесточенный гул.

— У-у-у! А-а-а! — глухо несло оттуда, потом уже послышался отчетливый стук копыт.

— Стой, стой! — закричал кто-то из солдат знакомым голосом, слегка заикаясь. — Братцы, стой-ой! Мы же-е свои! Солда-аты! Ваши това-арищи!

Конные врезались сюда, кто-то схватил Антона за руку и оттащил его в сторону.

— Ра-асходишь спокойно! Стро-оем! — кричал все тот же знакомый заикающийся голос. — Ни в ко-оем случае не стрелять! Запреща-аем!

В темноте шло перестроение. Солдаты отступали медленно. Часть их пробежала к юльмовскому дому, намереваясь препредить путь обходному движению конных.

У стен кладбища солдаты шумно построились и, точно одной грудью, тяжело дыша, пошли к освещенной казарме, видневшейся на взгорке.

Антон пришел домой. Отец еще не возвращался, старуха Соломатина лежала на печке, завешанной тряпьем.

Антон дернул за край тряпки и усмехнулся. Ему стало и смешно, и досадно: мальчишка не боится ничего, он идет на улицу, где могут убить, — старухи же прячутся по запечьям, как тараканы.

— Ажогина нету?

— Какой он тебе Ажогин? Или другого названия для родного отца нету? — причитающе отозвалась старуха.

— Не приходил, говорю?

— Ой, Антоша, Антоша...

Антон махнул рукой и прошел в комнату. Он зажег лампу, и тотчас же к окну приникла чья-то тень, потом отскочила, снова приникла и исчезла снова.

Беспокойство охватило Антона, он понял: это следят за отцом, снова оделся и опять вышел на улицу. Шагах в десяти от дома, не останавливаясь, прогуливался незнакомый человек. Видимо, он решил не показывать вида, что мальчишка заинтересовал его. Антон в растерянности брел, куда глядят глаза, — он не знал, откуда может появиться отец. Вернее всего, он отступил вместе с солдатами. Антон пошел налево и на самом углу лицом к лицу столкнулся с Ефимом.

— Ты? — негромко окликнул его Ефим. — Отец где? Как ты думаешь — не забрали? — он помолчал, погладил Антона по плечу, и только этот жест напомнил ему, как давно они не видались с Ефимом.

— Выпустили, теперь здоров! Доктор был хороший... — торопливо ответил он на вопрос Антона. — Ты лучше иди-ка домой.

Антон сообщил ему о странном человеке, который бродит около дома.

— Ходит? Что ж тут хорошего? Думаешь, ему просто нравится, вот он и ходит? — Ефим досадливо крякнул и еще раз погладил Антона по плечу. — А вдруг Иван Ефимыч попадетсЯ?

— Иди в ту сторону, встретишь отца, расскажи ему, а я на Суворовскую, с другого боку... — торопливо сказал Антон.

И, не дав опомниться «Сутулому», он бросился обратно к своему дому. Чтобы его не узнали, он нарочно прихрамывая, прошел мимо человека, который попрежнему разгуливал с поднятым воротником, попыхивая папироской. Света в окне не было, значит, отец еще не вернулся.

Антону было приятно вот так прихрамывать, прикидываться не тем, кто он есть на самом деле, обманывать этого в воротнике, — в этом был интерес, неведомый его приятелям и однолеткам.

Уже подходя к Суворовской, в том месте, где главная улица переходила в голое шоссе, ведущее к вокзалу, в бледном свете фонаря Антон заметил отца. Ажогин медленно, оглядываясь, шел по дороге.

Антон скороговоркой сообщил о человеке с поднятым воротником, о том, что Ефиму уже все сказано, что домой итти нельзя.

— Ефим? Вышел из больницы?

— Нет, дожидаться тебя будет! — сердито даже прикрикнул Антон.

Отец озабоченно задумался. Потом он сказал, как взрослому, точно советуясь:

— Обратно мне не пройти, сынок...

Я и то чудом: как только вылез — не могу понять. Плохи твои дела, Иван Ажогин... Ну, однако ж пошли, наследник... Нет, здесь мне нигде не пройти... — он еще раз оглянулся назад и махнул рукой.

И, к удивлению Антона, он, шатаясь, заковылял по направлению к своему дому.

— Куда же? Отец! — беспокойно спросил Антон, но отец продолжал итти, спотыкаясь и бормоча всякую глупость.

— Ну, и молчи! Хочу выпью, а ты — молчи! Ты не попадайся мне под веселую руку, молчи! — чем ближе к дому, тем больше расходился он. И уже совсем близко от дома он воскричал: «Бывали дни весе-е-лье-е-е-е!» Прочь пошел, щенок!

Антон понял свою роль. Он начал дергать отца за рукав и тормозить его.

Движения отца стали еще более пьяны и нелепы.

— Да, дядя же Сережа! — плаксиво тянул он. — Мы уж думали, тебя машина задавила-а! Дядя же Сережа!

Перед самым домом отец свернул с дороги и, цепляясь за завалинку, прошел перед самым носом человека с воротником; тот, чтобы не натолкнуться на пьяного, отшатнулся; отец плелся по тротуару, то наваливаясь на сына, то, наоборот, опираясь на забор, как бы отбывая, и потом опять срываясь с места.

Около кудашевского дома отец твердо остановился, подхватил здоровой рукой Антона, прижал его лицо к своей жесткой, небритой щеке и тихонько засмеялся.

— Ну вот и спасибо тебе, наследник... Подожди немного, теперь немного...

Антон двинулся было вслед за отцом, но тот остановил его, велел ему идти домой и сделать то-то и то-то. Мимо торопились случайные прохожие. Городового, обычно стоящего у юльмовского дома, сейчас не было видно.

— Повымело чертей! — довольно сказал отец. — Значит, сделай, как говорил. А завтра иди в школу, и боже тебя избавь безобразить, наследник, честное слово!.. После школы зайди к Ефиму. Если на левом столбе на воротах креста мелом нет, значит, ничего, иди спокойно...

— Я хочу к Ефиму сейчас...

— Ну! — грозно прикрикнул Иван, и Антон вздрогнул: это был настоящий приказ.

Не прибавив больше ни слова, отец твердо и быстро зашагал к дому Ефима.

Антон вернулся обратно. Он издали увидел «того» все еще прогуливающимся около их домика. Антон проскользнул в калитку, запер ее на замок, ощупью пробрался через сени и кухню в комнату. Старуха спала, и ее громкий храп разносился по квартире. Антон тщательно осмотрел окна: стекла замерзли настолько, что конечно разглядеть что-либо через них было нельзя.

Он снял картину, изображавшую охотников на привале. Два гвоздика

с еле заметными шляпками держали верхнюю кромку обоев, Антон выковырнул их, оттянул обои, — в стене открылось квадратное углубление, в котором свободно могла поместиться пара кирпичей. В этом выдолбленном углублении лежали два брезентовых пояса. Он еле вытащил их, — так они были тяжелы от свинца, и потихоньку, волоча по полу, перенес в сени. В углу стояла кадка, куда хозяйка сыпала золу. Пальцами, коченевшими от холода, Антон начал разгребать золу, руки его тонули в золе до плеча, зола слежалась и смерзлась. Кое-как он доскребся до дна, — в этот момент у самой двери что-то упало, и тут же, где-то совсем тут же, послышалось негромкое ворчанье.

Антон окаменел от страха. Человек, здесь был какой-то человек! — вот первая мысль, ударившая его. Ужас связал его по рукам и ногам. Антон не мог тронуться с места. Потом кто-то осторожно коснулся его ноги, и послышалось мягкое урчание. Это была кошка.

Антон даже рассмеялся тихим, ослабленным смехом: так напугаться кошки! Он нащупал в темноте на полу оба пояса и опустил их на дно бочки. Потом он засыпал их золою, при свете спички увидел, что работа получилась чистая. Он отряхнулся и вошел в комнату. На часах было уже одиннадцать. Антона охватила дрожь: то ли он перемерз в сенях, то ли недавнее напряжение дало себя знать, — он почувствовал, что у него не попадает зуб на зуб.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Он проснулся утром, и первое, что увидел, — это горевшую на столе лампу. Он забыл потушить ее вечером, — так он устал. Хозяйка возилась на кухне, гремела в печи кочергой, — загребала жар. Значит, пора было идти в школу.

В кухне старуха посмотрела на него каким-то особенным, жалеющим и вместе с тем боязливым взглядом. Она сказала ему почти на ухо:

— Тут вчера вечером заходил один... Все про папу твоего спрашивал...

— Знакомый, что ли?

— Шут его знает... Ты бы спрятал чего... Дай мне — я спрячу.

— Чего «дай»?

Он, видимо, так умело разыграл роль простака, что старуха сразу успокоилась и вновь занялась своими горшками.

Он явился в школу, когда ученики уже были выведены на улицу, поп, учитель и обе учительницы устанавливали детей попарно, по росту. При этом перемешались все классы. Так случилось, что Антон оказался рядом с Верой. Отец-законоучитель обходил учеников: все было в порядке, даже непокорный Ажогин явился сегодня в черной шапке.

— Так-то вот лучше будет, неслух преподобный... — тем не менее проворчал он, удерживаясь на момент около Антона. — Небось, отец задал тебе хорошую дранцию? Ты, девица, смотри за ним!..

Поп сиял, как на свадьбе, в своем теплом коричневом подряснике, он расхаживал перед школьниками, размахивал руками, широкими, точно колокола.

Сильный мороз давал себя знать, ребята уже коченели, но Вера стояла спокойная и розовая. Она улыбалась чему-то и все поглядывала по сторонам. Антон слышал перешептывания за своей спиной, он догадался, что это смеются над ним и Верой. Он взглянул на тоненькую пачку своих книг, завязанную в платок. Может быть, и Вера насмехается над тем, что он носит книги в этом цветастом платке?

— Я забыл взять свою новую сумку... — громко заговорил Антон, обращаясь к Ковальчуку, стоящему неподалеку. Он сказал это специально для Веры.

«Кривого» не удивила эта новость. Вера продолжала улыбаться и поглядывать по сторонам.

Антон растерялся. Сколько раз он хотел оказаться, как сейчас, рядом с девочкой, а когда оказался, душа его ушла в пятки, он даже боялся взглянуть на Веру.

Но, к счастью, скоро тронулись. Спеша по мостовой шла пожилая учительница, за нею та, что помоложе, священ-

ник шагал по тротуару, словно кадиллом, размахивая рукою. Он зорко оглядывал свое малолетнее воинство. На перекрестках им попадались такие же школьники, они перекликались с одиннадцатым училищем, задирали его, в ответ на это из рядов одиннадцатого неслись гневные возгласы, учительницы кричали: «Дети! Дети!», их никто не слушал, ребята разогрелись от быстрой ходьбы, повеселели. Когда они пришли к Суворовской и заняли место неподалеку от госпиталя, улица была уже сплошь заставлена учениками, чиновниками, солдатами. Каждые пятнадцать шагов перед школьниками стояли городовые, а еще впереди прохаживались люди в штатском, один из них показался Антону похожим на «Серолицего».

Повсюду, куда ни кинь взгляд, — флаги, флаги и флаги. Трехцветные куски их, пятна флагов, потихоньку шевелились в морозном воздухе.

Снова начали мерзнуть ноги и стынуть от холода лица. Школьники затопали ногами, и скоро вся улица дрожала от дружного этого топота. Учителя бегали, успокаивая детей, но они не слушались никого, яростно топоча ногами.

— Едут! Едут! — раздались крики. От станции мчалась пара белоснежных коней, народ замер, издали катилось сюда «ура», лошади подскакали; одна нога в санях, другая на правом полوزه, — без шапки кто-то стоял, громадный, седой, в серо-голубой шинели с серебряным башлыком на плечах. Седой что-то сглушительно кричал, чего невозможно было расслышать. За его санями, торпливо цокая подковами, скакали два стражника, разопретые, несмотря на мороз. Около самого тротуара, на чистеньких извозчичих санях протрусил Хрош. Он прыгнул с санок и начал выравнивать ряды. Ученики испуганно жались друг к другу. На пыльных усах Хроша висели сосульки. Священник гудел своим толстым голосом, почему-то сильно нажимая на «о»:

— Вы должны дружнее! Подхватывать «ура» всем одновременно. Как бы единым гласом. Мощно и с великоблещем!

Становилось все холоднее, а никакого царя не было. Хрош проворно бегал перед строем школьников, поп уже перестал гудеть, дети опять начали переминаясь с ноги на ногу, кто-то из младших ребят заплакал.

— Что делаете с ребяташками? Почему морозите? Какое полное право? — тотчас же раздался сзади гневный голос, и немедленно же, как из-под земли, возник Хрош. Расталкивая детей, он ринулся на голос, ребенка тотчас же устремившись за ним, все смешалось, раздалась испуганные свистки, кто-то сбил Антона с ног, над ним топтался поп и опять что-то гудел, — потом все смолкло. Хрош никого не поймал, поп и учительницы расталкивали учеников по местам, высокая, злая, из третьего класса, добела закусив губу, хватала детей, ухитряясь, словно плоскогубцами, ущипнуть их даже сквозь ватные рукава пальто. Антона она толкнула прямо на Веру, та испуганно охнула, но быстро оправилась и тихонько махнула муфточкой по глазам, — она заплакала, напуганная суматохой.

Замерзшего школьника — он был из чужого училища — отвели в сторону, какие-то посторонние женщины оттирали ему снегом нос, щеки, руки, — он плакал еще громче.

— Черти небитые... Ребят морозят... — снова сказали сзади, но на этот раз Хроша не оказалось. Зато длинная учительница пронзительно завизжала, поп бросился к ней, появился какой-то человек в высокой каракулевой шапке. Они втроем вытащили из толпы низенького, небритого человека, на вид — мастерового.

— Ну-ка, пошли, братец, в полицию. Тут тебе, братец, кошунствовать не позволим... — бубнил поп, дрожа и покрываясь потом. Учительница визжала, господин в каракулевой шапке сосредоточенно и аккуратно встряхивал мастерового за шиворот.

— А ну, товарищи, чего смотрите?! — со спокойствием, какого нельзя было ожидать от него, сказал мастеровой. Он ударил человека в каракулевой шапке прямо по зубам. Секунда замеша-

тельства, совсем рядом показался Хрош с городовым, — мастеровой скакнул через канаву и скрылся в воротах госпиталя. Стоявшая там кучка раненых радостно заволновалась и разразилась веселым «ура». «Ура» подхватили школьники, оно загредело вдоль улицы, Хрош оторопело выскочил на середину мостовой, молодежато вытянулся, но улица вдали была пуста. А «ура» все перекатывалось по улице, пока опять не показалась седой военный в серебряном башлыке. Он что-то сказал вполголоса Хрошу и помчался дальше.

Когда все успокоилось, Хрош объявил, что можно разойтись по домам. Поп пошел выяснять, в чем дело. Хрош вероятно отмалчивался, или просто не знал и сам, что произошло.

— По всем видимостям... — грустно, опять сильно напирая на «о», сказал поп длинной учительнице, — их императорское величество, государь-император, не придут в наше заколустье...

Солдаты, стоявшие справа, уже сниклись со своего места, кто-то из них затынул продрогшим голосом:

Горы-вершины!
Вас я вижу вновь!
Карпатские долины!
Кладбища удальцов!

Солдаты нестройно подхватили песню, и их громкие шаги отдались по улице. Кругом поднялся гомон. Кто-то из публики, не стесняясь, матерился, как человек, которого звали в балаган, а показали всякую чепуху, обман. Городовые уже просто-напросто разгоняли народ, раненые у ворот посмеивались над прохожими, полногрудая сиделка, несмотря на холодище, вышедшая в одном платье, щелкала семячки, прислоняясь к одному из раненых, красиво, крутобровому молодцу.

Случилось так, что Антон и Вера пошли вместе. Они сначала молчали, потом Вера спросила:

— У тебя, правда, есть новая сумка?

— А ты как думала?

— Я ничего не думала. Почему ты такой злой! — она посмотрела на него и покраснела. — Разве у тебя хорошо идет арифметика, что ты никогда не

спросишь меня? Ты решаешь все задачи сам?

— А то как же! Теперь я сам могу помогать тебе...

— Помогай,—смирненно ответила она, но потом не выдержала тона и гневно блеснула глазами. — Глупости говоришь!

— Очень мне нужно возиться с девчонками! — он фыркнул и вслед за этим увидел, как раздулись ее ноздри. Она быстро зашагала прочь.

— Постой, Вера! — крикнул он, но она не оглянулась на него, она небрежно размахивала на-ходу рукой, вдетой в муфточку.

Ему хотелось сейчас нагнать ее, схватить за шею, повалить в сугроб, забросать снегом, увидеть слезы на ее лице и выражение мольбы и покорности в глазах, — ему хотелось поступить с нею так, как он поступал со своими сверстниками-мальчишками.

Антон пришел домой голодный, продрогший и злой.

«Может, царя совсем и нет?» — подумал он вдруг, останавливаясь посреди кухни.

Хозяйки дома не было, лампа стояла на столе, чисто вытертая, с аккуратно обрезанным фитилем, стекло лежало около, бидона на месте не было, — значит, старуха ушла за керосином. Он уже знал, что вернется она нескоро.

Когда вечером он сидел в темноте, один, с самого начала представляя себе сегодняшний день, — и случай с мастеровым, и Веру, и все, — ему опять пришло на ум:

«Может, и нет этого царя?»

Он посмотрел на портрет, висевший на стене. У царя, на портрете, была гладенькая прическа, маленькая бородка, усы, чуть-чуть поднимавшиеся на концах, обыкновенное лицо. Нет, нет, все это, изображенное на портрете, не могло быть царем!

Уже совсем вечером, все еще в отсутствие старухи, когда Антон, невольно поддаваясь чувству страха, вызванному одиночеством и темнотой, забился на постель, — пришел отец. Он заявился веселый и шумный.

— Встречали государя-императора? Антон молча и сумрачно кивнул головой.

— А он взял и не приехал? Побоялся? — продолжал посмеиваться отец.

— Как «побоялся»? — Антон даже подскочил на месте.

— Ну, после вчерашнего случая-то... Солдаты-то, небось, пошумели? Очень просто — испугаешься, брат... — словно угрожая Антону, говорил отец. — Ну, а как тут у тебя?

Антон рассказал первым делом о свинце, чем и заслужил полное одобрение отца. Он внимательно посмотрел на мальчишку и, видимо, остался доволен осмотром. Он мельком скользнул ладонью по голове сына.

— Ты — готовый подпольщик... — весело сказал он. — Я и думать не мог, что у меня такой наследник...

Однако ни с обыском, ни за самим Ажогиним не являлись. Иной раз, проходя с работы, отец говорил вполголоса:

— Вообще, кто-то шатается под окнами. Очень свободно, что следят... Только сейчас — не страшно, надолго не посадят, не то время...

На распросе сына отвечал:

— Видишь, как народ-то шумит? Сейчас, брат, тебе не четырнадцатый год.

Народ шумел и в самом деле, да как шумел! Даже старуха Соломатина, приходя из лавки или с базара, все чаще и чаще передавала городские новости, в которых обязательно было: там кто-то разбил бакалейную лавку, там-то булочник спрятал хлеб, с такой-то лавки бабы сбили замок, нашли триста ковриг и расхватили все, в четвертом месте избили городского, повсюду по базарам ходят солдаты, продают казенные вещи.

— Ай, ай, ай, что делается! — говорил отец. — Вот народ!..

Уходя с Антоном к себе, он говорил вполголоса:

— Вот, наследник, ты гони нашего брата в дверь, а мы ломимся в окно! Почему? Народ стал уметь,

Отец все же не переставал опасать-

ся обыска. К нему перестали ходить знакомые, теперь, наоборот, уже он сам пропадал неизвестно где целыми вечерами. Приходя домой к полночи, рассказывал:

— Начинается, наследник... Это не только у нас. Вообще люди теперь научились. Возьми, предположим, Калугу — на что паршивый город, а смотри, как закипело. Да что я говорю, — даже Лихвин!

Он называл десятки городов, где, как и в их городе, начинались волнения. Он говорил обо всех этих городах, как хозяин, которому принадлежали они. Или у него везде были знакомые, что ли? Антон слушал отца и становился спокойнее: выходило, что в случае опасности за отца могли заступиться все те города, о которых он говорил.

На следующий день, придя уже после училища, Антон встретился с Верой. Она шла, как и всегда, прижав к груди правую руку в муфточке. Вера остановилась и коротко произнесла:

— Ты опять носишь книги в платке?

Сейчас Антон вообще был безо всяких книг. Значит, это она видела его в училище.

— Думаешь, у меня нет сумки? — выпыхнул он.

— У меня есть — я и ношу. И вообще у нас четыре урока, а у вас только два!

Она дернула плечиком и быстро прошла мимо. Он, как дурак, стоял и смотрел ей вслед. Она даже не обернулась, она просто издевалась над ним. Он шел и шел, забыл даже, зачем он вышел из дому. Он встряхнулся, только очутившись перед витькиным домом. На противоположной стороне, опираясь на длинный батожок, стоял старый Солонкин, снег падал на его желтую лысину, старик просил Христа ради и приговаривал:

— Подобно Иову... Смотрите, выгнал, сукин сын, из родного дома. Обжирается, блудует, а отец сдыхает! Под забором. Пожертвуйте, благодетели.

Антон открыл калитку, пес, громко брянча цепью, бросился к нему, натянутая цепь повалила его на спину, он закричал и с громким, воющим лаем снова

ринулся к Антону. Но тут появился Витька. Он провел Ажогина в свою комнату.

Комнат в доме было восемь или девять, но только одну из них, самую маленькую и грязную, занимали хозяева. Остальные сдавались жильцам. Жильцов было множество, — но, странно, детских голосов не слышалось в доме. Наверное, здесь было так заведено, чтобы жильцы были бездетные. Кухня была сплошь набита кондукторами, точь-точь, как у Мологовых. Тут же, в кухне, хозяйничала уже немолодая, но еще краснощекая, крепкая женщина. По какому-то неуловимому признаку, по обращению с нею жильцов и самого Витьки Антон понял, что женщина состоит при витькином отце кем-то вроде жены.

Женщина эта жила в кухне на печке. В холодную погоду на печь лезли и мужчины. В такие дни, по словам Витьки, отец просто зверел, он звал эту женщину в свою комнату и ругал ее последними словами, бил, бросал ее на пол, вставлял ее ночевать здесь и делал с нею ночью все, что ему хотелось делать, — причемнисколько не стеснясь двенадцатилетнего Витьки.

Антон не мог понять, что случилось с Солонкиным. В типографии он казался Антону веселым и хорошим человеком. Что могло его так изменить? Антону показалось даже, что он потолстел и стал уже не таким рыжим.

— Не видал старую собаку? — спросил он Антона. — Стоит напротив, жалует на меня! — он рассмеялся и погрозился пальцем. — Это мне все одно! А домик-то — мой! А побираюсь-то — не я! А на дворе-то у меня — кобель на проволоке. Я, знаешь, предусмотрел все!..

Он как бы хвастался своим бесстыдством.

— Я не жадный, ничего не скрываю: деньги у меня есть, на книжке. Однако сказать, у старого чорта — того больше! Зачем ему? Сдохнет — в могилу не унесет. Вообще, сволота! Ух-х! — точно о чужом, говорил он. Потом он встал со стула, зевнул, потянулся. — Кому — за-

бава, кому — работа... — он полез под кровать, достал оттуда ящик с гвоздями, молоток и вышел из комнаты.

Витька безразличным взглядом проводил его и сказал:

— Я вырасту — то же самое: погони его. Пусть, рыжий идол, постоит на морозе, похристарадничает...

— Тебе деда жалко?

— А чего жалеть? Пусть околеет, чорт лысый...

Витька говорил об этом, как о давно решенном деле. Антона удивила жесткая расчетливость мальчишки, он не мог поверить, что Витька говорит серьезно.

— Мне вот учиться неохота: скучно, — заговорил опять младший Солонкин. — Зачем? Я не вроде тебя — у меня свой дом есть...

Уже не оставалось веселого трепача — Витьки, был какой-то другой, злой, неинтересный мальчишка. Что же, неужели так случается со всеми, у кого есть свой дом?

— Хочешь, я проведу тебя на чердак? — и, не дожидаясь согласия, Витька повлек его за собою, в темные сени, потом на второй этаж и по узкой скрипучей лестнице — на чердак. Два слуховых окна на восточном скате крыши выходили: одно на улицу — из него был виден ряд домов, старик Мологнов около одного из них, прохожие; другое — открывало вид на заросли большого сада. Сейчас сад был занесен снегом. Дальше виднелись огороды, пустыри, крохотные палисадники, причудливые беседки, белые, заснеженные крыши домов. Снизу со двора, точно из глубокой ямы, слышался хриплый лай пса да лязгающие звуки цепи о натянутую проволоку.

— Когда я выгоню отца, я куплю себе и вот тот садик, и вон тот, и там все! — спокойно и деловито говорил тем временем Витька. — Я построю еще два таких дома, или — три! Я буду богатый, вот увидишь, будь я проклят...

Он произносил эти слова, вряд ли понимая их смысл, но смотрел при этом, как настоящий хозяин, — неотступным, спокойным взглядом.

Антон ушел от него в состоянии смя-

тения и злобы, которая вспыхнула еще больше, когда он снова, на морозе, увидел обнаженную лысину старика Солонкина. Нет, Антон не жалел старого жмота, — чорт их возьми всех: пауки!

Он рассказал отцу все, тот слушал Антона, тихо посмеиваясь, а когда сын кончил, он произнес, темнея лицом и подняв руку, как бы для удара:

— Это ты верно — пауки! Они собрались в одном горшке и жрут друг друга: он — старика, а Витька сожрет самого. Дом. Их надо поджечь вместе с домом, чтобы сгорели они ясным огнем, чтобы ничего не осталось от них, от паучьего семени!..

Антон даже испугался: он редко видел отца в таком возбуждении. Но Ажогин быстро успокоился. Он только сказал напоследок:

— Видишь, какие бывают на свете люди, наследник. Вот — дом, значит, они хотят захватить все. Другое дело, что есть пауки покрупнее, и у этих Солонкиных ничего не получится, — рылом не вышли, — но все равно. Ведь таких мелких пауков — сколько? Или Кошатый... Эх, Кошатый, Кошатый! К графу Толстому ходил!..

Антон не понял из сказанного ровно ничего. Он видел уже успокоившееся лицо отца, видел большой, жилистый его кулак, лежащий на коленке, давно не бритое, серое лицо — и, неизвестно по какому случаю, спросил отца о Нине Матросовой.

И тут Ажогин сразу точно помолодел. Не сдерживая улыбки, он заговорил о том, какая Нина хорошая, как она учится в Сибири, какие у нее там знакомые. Он рассказывал все это с таким видом, точно встречался с Ниной ежедневно и она передавала ему все новости о себе.

— Понимаешь, там у них — деревня, места глухие, идет речка. Она крутится, как все равно окружает эту местность, рыбы там — вот уж действительно девать некуда! Ягод! Зверей! Например медведи там смиренные, встретят его ребяташки в лесу, закричат, замахают хвостом — он бежит прочь... Очень она хвалит те места...

— Может, она не захочет приехать сюда? — с горечью проговорил Антон.

— Ты, наследник, чудак... — горячо и тревожно сказал отец. — Как это она не приедет? Приедет, обязательно! Это плохо, что она в таких местах, — неожиданно заключил он.

— Ты сказал — хорошо.

— Это только так говорится... Возьми фотографию, — там даже этого нет. Она хочет послать нам свою карточку, а сняться негде, бедность, нет культуры... — огорченно продолжал Ажогин.

— Ты откуда знаешь?

— Да уж знаю!

Так разговор и оборвался, но он не выходил из головы Антона до самой ночи. Только, когда уж отец погасил свет и белая его тень прошла к постели, сын поднял с подушки голову и спросил:

— Тебе скучно без Нины?

Отец как-то не то засмеялся, не то закашлялся и, помолчав, сказал:

— Все-то ты хочешь знать... Какой у тебя беспокойный характер, наследник...

— А разве — плохо?

— Вообще, почему — плохо? Хорошо, но только... — отец не договорил и, махнув рукой, замолк.

На следующий день Антон увидел Казю и Стасю Стрелецких. Они ехали на извозчике, причем Антон с первого взгляда не узнал девушку. Она была в ладно сшитой офицерской бекешке, в серой шапке, из-под грязной суконной полости выглядывал носок ее щегольского хромового сапожка. Извозчик тащился медленно, Антон успел хорошо разглядеть Стасю: она еще более потемнела с лица. Казимир что-то оживленно рассказывал сестре и, хотя они проехали в двух шагах от Антона, гимназист не узнал или сделал вид, что не узнал, Ажогина.

Потом, когда Антон возвращался из школы, ему доводилось неоднократно встречать девушку. Она ходила четкой, офицерской походкой, встречные солдаты отдавали ей честь, она с красивой небрежностью козыряла им. Что случилось с ней?

В скорости Путилов опять появился в маленькой комнатке на Полевой.

Путилов совсем начисто снял усы и волосы на голове. Голова его стала казаться еще громадней, тем более, что кургузая гимнастерка была узка солдату, и длинные его руки намного вылезали из рукавов.

— Я всю эту мразь разнес бы собственными руками. Передушил бы, как крыс! — упираясь ладонями в стол, кашляя и кривясь при этом, покрикивал Путилов.

— Вы бы не сказали ему потише, Иван Ефимыч? — попросил Ефим, расхаживавший по комнате. — Из-за пустяка — риск? К чему?

— Скажи только — пойду и передую всех, — страшно напрягая жилы на лбу, кричал Путилов, не обращая внимания на «Сутулого».

— Пойди-ка взгляни, наследник: хозяйки — нет?

И Путилов сразу же стих.

Ефим принес вскипевший самовар в комнату и начал осторожно, по одной, доставать из шкапа чашки.

— Разве это порядок?! — между тем продолжал ворчать он. — Поднял крик, а зачем? Чего нам заботиться за сыщиков?

— «Сыщики»! — фыркнул Путилов, опять закашливаясь и упираясь ладонями в стол. — Очень вы им нужны! Выдумали страхи, и пугаетесь! «Социал-демократы»! Я говорил — пойдем к губернатору! Мы разнесем его по щепочке!.. Нет, теперь вот бегай, как пес с жестяной!.. Прицепили ее псу на хвост, а пес — бегай! Сам гремит — и сам же боится! Эх, люди не нашего бога, — смешно!

— Зачем тебе губернатор, Путилов? — скучающим тоном спрашивал отец.

— Эх, Иван, Иван!

Путилов сказал это со вздохом чело-века, не понимающего, что происходит вокруг.

— Чай-то дадите или нет?

— Бери, не именинник.

Путилов налил себе чашку, обхватил ее ладонями и, как громадная птица, вобрал голову в плечи.

— Видишь, Путилов, ты еще мало учен, не обижайся... — заговорил Ажогин. — Тебе, видать, скучно заниматься мелочью: тому растолкуй, другому растолкуй, третьему растолкуй.

— Я вон всю казарму вывел! Пустяки, да?

— Это хорошо. Значит, солдаты начинают шевелиться. Однако вот устроил ты ни с того, ни с сего, — зато и оказались одни, вас разоружили, переарестовали, военный суд на носу... В Сибирь половина полка пойдет, — приятно?

— Значит, я виноват? Не надо было? — Путилов вдруг вскочил и прохнул кулаком по столу.

— Да потише, чужак! «Не надо»! Это ж не разговор. Раз пошли — значит надо, я ж не про то говорю... А с кем ты поговорил, с кем советовался?..

— Пойду и заявлю... — снова, втянув голову в плечи, не слушая отца, словно про себя, продолжал Путилов. — Раз всех в Сибирь — и меня в Сибирь!

Он разом проглотил чай, вскочил с места и заметался по комнате. Он заглядывал в окна, — мимо проходили люди. Путилов держал себя так, словно хотел напугать Ажогина и Ефима.

— Да сядь, чужак! — словно ничего не произошло, говорил отец. — Ты имей в виду, Путилов: сейчас по всей России очень беспокойно. Думаешь, это только у нас так?

— Один чорт! Все одно — в Сибирь!

— Ничего неизвестно. Кто, может, пойдет, а кому и нельзя... — спокойно говорил отец, барабаня пальцами по блюдечку.

— От тюрьмы буду бегать?

— Побегашь... — продолжая барабанить по блюдечку, возражал отец.

— Трусость показывать! А полк — в каторгу? Эх вы, социал-демократы! Бабы!..

Отец быстро привстал со стула и вдруг ударил кулаком по столу. Путилов отшатнулся назад.

— Ты имеешь право так рассуждать? Может, ты пойдешь и заявишь: прошу меня отправить в каторгу? Ты выполняй приказ комитета! — теперь уже бушевал Ажогин.

— А если — не хочу?

Путилов пятился назад перед грозным натиском Ажогина.

— Значит, провокатор, так и сообщим ребятам, чтоб остерегались!

Путилов сразу осел. Он уронил между колен свои тяжелые руки.

— Ах, Иван... — расслабленно сказал он. — Мне все равно, я за революцию, но только эсеры — те будут смелей...

Путилов уронил голову на стол. Он, казалось, внезапно заснул. Но отец безжалостно растолкал Путилова и сказал ему, что комитет приказал уехать из города, здесь опасно, избави бог показать ся в казарме!

— Я про вас думал не так... — бормотал Путилов, не поднимая головы. — Эсеры — другой народ, те отчаянные.

— Не дури, Путилов! — прикрикнул отец. — Что ты из себя строишь идиота?

Солдат встал, огляделся кругом, застегнулся и, не говоря ни слова, вышел из комнаты. Отец подошел к окну. Путилов уже шел по двору, отец проводил его взглядом, вернулся к столу и привлек Антона к себе.

— Вот, наследник, какие бывают люди... — он тяжело вздохнул и, словно впервые, заметил «Сутулого». — А ты что, Ефим?.. Ты пройди-ка за ним, посмотри... Предупреди Павел Орестыча, на всякий случай...

Ефим ушел следом за Путиловым, отец достал из кармана газету и, не выбирая со стола, стал читать.

— Какой комитет? — беря газету из рук отца, спросил Антон.

— Есть такой. Да ты не поймешь, наследник... — вновь отбирая газету, ответил отец.

— Ты все говоришь, что не пойму да не пойму!

— Ну что ж ты поделаешь: мал... — тихо, пожимая плечами, сказал отец.

— Нет, ты уже расскажи мне все! — испуганно воскликнул Антон. — Я не расскажу никому, правда!

Отец принялся рассматривать Антона. Видимо, он старался разгадать его, узнать, что стало с одиннадцатилетним сыном. Темнозолотистые, непокорные,

жесткие волосы стояли надо лбом мальчика, серые его глаза безотрывно следили за лицом отца.

— Вот ты и вырос, — как будто даже с оттенком сожаления сказал Ажогин. — Совсем большой человек. Отцу — помощник. Ты ведь никогда не бросишь меня?

Антон вдруг, неожиданно для самого себя, всхлипнул. Он уткнулся лицом в колени отца и ощутил его широкую ладонь на своем затылке. Выходит, Антон опять остается один, даже отец не хочет говорить с ним?

— Ну чего ты, глупый? — уговаривал отец. — Я сболтал, а ты-то...

— Что сделаешь, с Путиловым? — решительно расспрашивал Антон.

— Да никуда он не пойдет, — это все слова, наследник! — с деланной веселостью говорил отец. — Ну и чудак ты человек!

Но, помолчав, сказал:

— Предположим, он скажет. Его посадят, да? Но зато и меня, и Ефима, и Павел Орестыча, и всех, — что хорошего? Он не со зла, но дурость его — вредная. Только нет, никуда он не пойдет, он просто баламут... — Отец потянулся на стуле, заглянул в мерзлое окно, обернулся к Антону. — В общем, мы нынче пойдем с тобой в иллюзион. Согласен?

И то, каким голосом он произнес это «согласен», разом подняло Антона. Отец обращался к нему, как к товарищу, как к одному из тех, кто приходил в эту маленькую комнатку и вел здесь серьезные разговоры.

Антон повеселел. Путилов уже вылетел у него из головы.

— Может, кого из товарищей позвешь? Вот этот «Кривой» к тебе ходит, как его?..

— А я скажу Вере... — сказал Антон и вдруг похолодел: выболтал свою тайну. — Да нет, я нарочно... — багровея, не зная, куда деть глаза, ощущая свои пылающие уши, забормотал он.

— Ай, наследник!.. Вера? Вот ты и вырос, наследник!... — смеясь и тормоша сына, скрипя кожаной рукой, покрякивал отец. — Вот ты и вырос!..

Стояли последние дни февраля.

В казармы пригнали новых солдат, старых давным-давно увезли на позиции, часть из них еще раньше прогнали под конвоем на вокзал и погрузили в теплушки, с зарешеченными люками.

Новые солдаты были все больше молчаливые, бородатые, почти старики. Ходили они плохо, не в ногу, и, проходя строем, почти никогда не пели.

— Какие же это солдаты? — жаловалась Соломатиха, горестно подпершись рукою. — Собрали оглодков, им бы теперь самое место — на печке лежать... Что же это будет, Иван Ефимыч? — спрашивала она, когда сбившейся, молчаливой кучкой, криво неся винтовки, бородачи шли на Солдатское поле, на занятия.

— Скоро вот вашу сестру будут брать... — посмеивался отец.

— Неужто у государя никого не осталось?

— Значит, не осталось...

— Кудашевы приехали, чисто бугаи, никто их никуда не берет... — продолжала старуха.

— Кудашевых нельзя, — серьезно возражал отец. — У них денег много. Возьмут на войну, — кто ж капиталы считать будет?

Старуха замолкла, не зная, как ей отнестись к словам жильца.

Артемий Кудашев все же оделся в военную форму. Чистенький, одетый в щегольскую серо-голубую шинель, затянутый в ремни, он медленно проезжал мимо ажогинских окон, верхом на крупной, золотистой масти, кобыле. Она, косясь и подрагивая всем своим ладным корпусом, танцуя, несла его по почерневшей, скользкой дороге.

Но никто не видел Артемия вместе с солдатами. Он жил дома, иной раз выезжал вместе с сестрой, иногда со Стасей Стрелецкой, — вот куда шагнула эта бойкая гимназисточка! — иногда, по старой памяти, с Гертой Юльм. Только теперь Герта отяжелела, они уже не проносились вскачь, Артемий иной раз даже поддерживал ее под локоть.

— Что же это делается, Иван Ефимыч?

— Зашаталось, скоро надо ждать — упадет... — загадочно отвечал отец. Говорил он таким тоном, как будто в точности знал все, что должно было произойти. — Что бог ни делает, все к лучшему!

— Да ведь на что крупа, и та вздохнула, Иван Ефимыч... К мясу не приступить, сами знаете... Как дальше-то будем?

Один раз, вынув хлеба из печи, она отрезала кусок, еще горячий, чуть-чуть пахнувший легким дымком, и подала Ажогину.

— Ну, как? — тревожно спросила она.

— Сыроват как будто... — невнимательно ответил Иван.

— Не сыроват... — с огорчением сказала старуха. — Это я картошки подмешала... Прямо и не знаю, что делать с мукой, надо берегчи... Не приступить к ней, да и в очередях настоишься... С трех ночи...

— Дело понятно... — охотно согласился Иван. — Что ж поделаешь, когда у нас хозяева такие. Вот погоди, переменится...

— Дай-то господи, царица небесная.

— Тем более, если царица небесная... — посмеивался отец.

В воскресенье к Соломатихе пришли гости. Это были сослуживцы ее покойного мужа: машинист, его помощник и с ними неожиданно — дядя Сергей, Матросов. Отец, очевидно, не был близко знаком с Матросовым, но все же поздоровался с ним.

— С позиции? — удивленно спросил он.

— Так точно, оттуда, — сдержанно ответил Сергей. — Вы что же, значит, без руки?

— А вы? — поинтересовался отец.

— Я на поправку, нога у меня перебила в коленке, вот здесь. — И он сделал рукою замысловатый жест.

Машинист был форсистым, усатым человеком, с широким, самодовольным носом. Машинист часто вынимал из кармана свои громадные серебряные часы и, словно желая обратить на них внимание

присутствующих, говорил, что ему пора трогаться. Однако оставался и с важностью слушал, что говорили другие, лишь изредка вставляя свои глубокомысленные замечания. Выходило, что он на память читает какую-то скучную книжку. Например он говорил:

— Некоторые полагают, что причины наших неудач являются в нашем государственном строе, вернее сказать, — в самодержавии русского государя...

— А что ж удивительного? — весело огрызнулся маленький седоватый помощник, смешно морща верхнюю губу, на которой торчали коротенькие, ершистые усики. — Даже в думе так говорят.

— Бросил бы ты это, Прокопий! — беспокойно отзывалась его жена, такая же маленькая, как и он, вертящая, по виду своему напоминавшая птицу.

— Русский народ не допустит умаления прав самодержца всея России, защитника народа от немецкого и жидовского засилья... — заученно продолжал машинист.

— А вдруг народ не согласен с вами, господин механик? — спокойно спрашивал Ажогин.

— Правительство должно быть твердым, настороже и держаться той политики, какую оно вело и прежде того...

— Какое там «твердо»... — опять весело восклицал Прокопий. — Скоро последние штаны немцу отдадим...

— Шпионы, измена и предатели... — продолжал бубнить машинист.

Он скоро опьянел, видимо, не привык к ханже, и скоро встал из-за стола. Покачиваясь, он вышел в сени и через минуту, толкаясь о стену домика, прошел под окнами на улицу. Потом вернулся, постучал в окно, постоял под окном в распахнутом пальто, словно ожидая, что следом за ним выйдут и остальные. Никто не вышел, он пьяно покачался под окном, повернулся снова и ушел уже совсем.

После его ухода стало веселее. Прокопий начал кричать, стуча вилкой по тарелке, требуя внимания.

— Пошел гору на лыжи драть. Я хочу спросить хозяйку: зачем она позвала этого? Истукана? Позвольте, вы ответьте!

— Черносотенец... — словно давая справку, произнес Ажогин.

— Именно: союз русского народа! — снова вскричал Прокопий, ударяя кулаком по столу.

— Да не шуми ты, Прокопий, услышат!

— А пускай! — петушился он. — Государственная дума у нас есть? Свобода, стало быть?

— Так это для членов думы свобода... И то не для всех, — вставил Иван.

— Все одно! — отмахнулся веселый помощник машиниста. И вдруг завопил: — Не люблю черную сотню!

Он приподнял кофейник с ханжой, подержал его над столом, налил стопочку и объявил:

— Кофий нам не по нутру, нам бы водку поутру.

Выпив, добавил:

— Чарка на чарку — не палка на палку...

И дальше:

— Оба глаза поперек!

Сидевшие за столом безудержно хохотали, старуха Соломатина вытирала слезы и, еле дыша, спрашивала.

— Значит, понравилось?

— Если стопку поднести да за виски потрясти, да об пол ударить, да поленом прибавить, — еще больше понравится.

Потом на столе появился самовар.

— Уж вы извините, господа гости... — говорила старуха. — Сахарцу-то я нынче не достала, уж придется паточки, извините...

Начались разговоры о том, что нету того, нехватает другого, — трудная жизнь.

— Ничего! Поголодаем до последней капли крови! — кричал Прокопий, топоча ногами. — Капуста — не пуста, шти — подожди, а мать-каша — давно не наша!

И, встав и припевая, пошел плясать. Плясал он неторопливо, время от времени рассыпая мелкий, дробный топот. Су-

нув руки в карман, размахивая полами пиджака, Прокопий припевал:

Как во городе-столице
Гриша с Сашею живут,
Хорошо они торгуют,
Русских немцам продают. Эх-эх-эх-эх!

— Прокопий, замолчи ты бога ради! — испуганно восклицала жена, но он, не обращая на нее внимания, продолжал:

Во распутинской деревне
Одна хата в три венца,—
Саша с Гришейю... ..
До победного конца. Эх-эх-эх-эх!

— Сам, все сам! — чванливо закричал он, приблизился к столу, приподнял крышку кофейника, заглянул внутрь и сделал вид, что выжимает последние капли. Он налил еще стопку, умильно оглядел присутствующих и заключил, делая грустное лицо:

— Вот, значит, насвистался барин: прильпе язык, мир Европы...

Он ушел в обнимку с женой. Сергей Матросов еще остался здесь. За весь вечер он не произнес ни слова, внимательно смотрел на машиниста, на веселого Прокопия, на Ажогина. Он время от времени пригубливал свою фюмку, но за вечер больше одной так и не выпил.

Когда в кухне остались только он и Ажогин, — старуха опять принялась хлопотать по разным своим делам, — Матросов спросил:

— Как вам Нина Сергеевна-то — ничего не пишет?

На лице отца отразилось короткое замешательство, словно он не знал никакой Нины Сергеевны, но потом покраснел и сказал, что Нина ему — нет, не пишет. Но потом однако рассказал гостю все, что знал о Нине и что говорил еще раньше сыну.

— Так. — Матросов встал, оделся и молчаливо, как бы прицениваясь, оглядел все, находящееся в кухне.

— Заходили бы когда-нибудь, Сергей Сергеич, поговорили бы, железнодорожники все же, интерес у нас — один... — предложил Ажогин.

— Приду, — не давая себя уговаривать, просто сказал Матросов.

И, не прощаясь, вышел. Он медленно прошагал по двору мимо окна и через мгновение хлопнул калиткой. После ухода гостей перед Антоном долго стояло крупное лицо Сергей Сергеевич, его тонкий нос, глубоко запавшие голубые глаза, прикрытые темными крыльями бровей.

За эти два с лишним года Антон успел уже забыть отца Нины.

— Он — что? Злой, — да? — желая прервать свои теперешние впечатления о Матросове, спросил Антон.

— Злой народ — это ничего... Вон Кошатый, — он, небось, не злой...

— А Матросов тоже революцией будет заниматься?

Отец сделал испуганное лицо:

— Ты, брат, не ори! Такие слова — разве можно?.. — но потом усмехнулся и посадил Антона рядом с собой. — Ты у меня умный звереныш, ты понимаешь не только, что я делаю, а и что собираюсь. Из тебя выйдет хороший большевик. — И он прибавил, не дожидаясь расспросов сына. — Большевики, это, знаешь, по поговорке: «Как чорта ни крести — все в воду пусти». Настоячиные ребята...

Антон ничего не понял, но промолчал.

— Понимаешь, есть меньшевики. Поболтать, наобещать, а потом в кусты, — это они мастера...

— Как Прокопий?

— Ну что Прокопий! Это просто веселый человек. Нет, меньшевики — значит: только бы поменьше. Болтают, а чуть что — за печку. Например война. На кой она мне, верно? Был я на позиции, мне оторвали руку, немцев я видал: такие ж люди, как и я, — рабочий класс. Враги? Нет, это мне не враги! Или, возьми — жизнь: все хуже и хуже. А Кудашеву или Юльму — им что? Живут богато, даже лучше, чем до войны. Я немца не обижал, он меня — тоже, а эти меня обижают. Значит, где же неприятель-то, понимаешь? Большевикам бы побольше: войну — кончай, Кудашева или губернатора — в шею, царя — гони тоже, займемся властью сами! А меньшевики — трепачи, пустомели... Крику много, а чут-что...

— Вроде — Кошатый, да?

— Чорт его знает. Хотя да, Кошатый как-раз из таких. Может, и не меньшевик, а вроде того, — отец помолчал, пожевал ус, потом пригладил его и добавил: — В общем, Антон Иванович, ты сообразительный. Это, брат, хорошо. Большевикам дураки незачем...

Хозяйка уже прибирала со стола, мыла посуду. Отец говорил, несколько не опасаясь, что старуха услышит. Потом в кухне затихло, скрипнула дверь, хозяйка просунула в дверь голову и сказала:

— В очереди говорили, будто в Петрограде пленные бастуют, магазины поджигают, винопольки разломали, все вино роздали, теперь безобразуют. Не врут?

— Безусловно — врут! — отозвался отец.

— Что же это такое будет? — беспокойно спрашивала старуха. — Какое-то время очень чудное, ничего не понять, кто что, кто за кого...

— Русские бьют наших, тетя Даша...

И Ажогин весело рассмеялся. Он по своей привычке несколько раз прошелся по комнате, потом снял с гвоздя теплый пиджак и, надевая его, предложил:

— Хочешь, пойдем со мной...

Антон в таких случаях не привык спрашивать: что, куда? Он быстро оделся и вслед за отцом выскочил на улицу.

Они пошли Полевой улицей вниз, пересекли Министерскую и вышли к Оружейному ремесленному училищу. Антон неоднократно бывал в этих местах, всегда любовался на красивое трехэтажное здание училища, но внутрь попал впервые и сейчас удивился: большой зал был вдоль стен весь уставлен стеклянными шкапами. Сквозь стекла можно было разглядеть разные старинные ружья, шашки, кинжалы, пистолеты и даже пушки, сделанные, впрочем, в таких размерах, что напоминали игрушечные. По углам зала, обнесенные канатом, стояли пушки побольше. На полу лежали бомбы. Стояли новые снаряды.

Зал был уставлен скамьями, на маленьком столике красовался синий графин с водой и около него под электри-

— Под моим председательством! — раздался голос в задних рядах.

Сюда пробирался высокий тощий человек, одетый, как и все рабочие здесь, но в пенсне на черном шнурке.

— Открываю собрание — я! — запротестовал он. — Господа большевики пролезут везде! Куда ж это годно?

— Совершенно верно: большевики пролезут... — спокойно возразил «Главный».

— Сегодня вопрос о положении в связи с войной и дороговизной.

— Нет, о культурно-просветительной работе! — закричало несколько голосов сзади.

— Я об этой работе ничего не знаю. Мне поручено открыть собрание рабочих Оружейного завода и железной дороги для обсуждения войны и дороговизны, — скороговоркой сообщил Павел Орестыч.

— Bravo, bravo! Просим! — опять закричали на скамьях.

Пристав крикнул, что он закрывает собрание, глубоко надвинул шапку на уши, и пронзительная трель его свистка взметнулась в зале.

В зале уже поднимался шум, одни вскакивали с места и пробирались к столу, другие громко разговаривали, третьи просто расчищали себе путь к выходу. И в тот момент, когда с улицы тоже послышался свисток, курчавый запевала весело прокричал:

— Эха, братки, начинай по кону! —

и ударил локтем в стекло ближайшего к нему шкафа. Стекла громко взвизгнули и зазвенели. Через мгновенье тесаки, кремневки, берданки, винтовки и шашки пошли по рукам.

Антон отыскал отца глазами. Тот стоял на площадке лестницы, в руках у него была короткая, точно обрезанная, винтовка. Отец громко стучал прикладом о паркет пола и что-то кричал приставу, пристав был уже обезоружен, он стоял под царским портретом и хмуро поглядывал по сторонам.

Сюда, к мосту перед самым училищем, мчалось несколько извозчицких пролеток, и на каждой из них сидело по двое, по-трое городских. Однако новые горо-

довые останавливали извозчиков у моста, у длинного ряда фонарей. Они высаживались там, не решаясь перейти даже на другой берег.

Из под'езда группами выбегали шумные, веселые рабочие. Молодой околodочный, прибывший с новой партией городских, что-то кричал им, приказывал, но они молча стояли у пролеток, на том берегу. Стражники, подобрав поводья, стояли на середине моста.

Запевала и Ажогин подтащили пристава к окну. Курчавый высадил стекло, морозный воздух хлынул в помещение, курчавый протолкнул пристава в окно, так, что он перевесился наружу, отец закричал, чтобы полиция отсюда отступила за мост. Жалкий вид пристава и угрозы Ажогина произвели впечатление: стражники и городовые, стоявшие поблизости, присоединились к тем, кто стоял за мостом.

Вслед за ними ринулась вооруженная группа рабочих.

— Пойди-ко к ним! — крикнул Ажогин курчавому. — Пускай сдают оружие, а то я этого сизяка выкину в окошко, к чортовой матери!

Запевала выскочил из зала, через мгновенье, размахивая приставским револьвером, он уже показался на мосту, а еще через мгновенье подскокил к околodочному на том берегу. Голосов было не слышно оттуда, по снегу двигались длинные тени, по жестам курчавого, по движению его рук было нетрудно понять, что курчавый разошелся.

Мастеровые на мосту проворно вмешались в толпу полицейских и, словно кусты крыжовника, начали обирать их. Околodочного вели сюда, к училищу. Пристав, побагровевший, все еще перевешиваясь на улицу, лежал на подоконнике. Его даже не держали, полицейский и сам понимал, что от него требовалось. Околodочного привели в зал. Увидев перед собою спину пристава, он приосанился.

— Вольно! — насмешливо сказал отец.

С двери одной из боковых комнаток сбили замок и пристава с околodочным поместили в ней. Дверь приперли громадной пищалью. Ажогин проверил, ка-

кое у кого оружие, старое велел оставить здесь, — через мгновение зал опустел.

Рабочие выходили черным ходом в сад, раскинувшийся сзади училища. Кучка тех, что были на мосту, уже перегородила мост бревнами, завалила его дровами, какими-то ящиками, кадками... Одинокая яблоня теперь была срублена, и ее дикие сучья уже торчали во все стороны.

Из города через мост легла дорога, ведшая на Рязань. Левее, в сторону от запущенного училищного сада, шли улицы Заречья.

Снег был глубокий, ноздреватый, по узенькой дорожке итти приходилось с трудом. Те, кто имел оружие, возглавляли и замыкали шествие.

У самого отца в руках уже вместо коротенькой винтовки оказалась странного вида плоская коробка с длинным, тонким дулом.

Кто-то запел песню, — Ажогин бросился к нему.

— Чтобы у меня тихо! Марш!

Это был особый, какой-то суровый и злой, окрик.

Спотыкаясь и толкая друг друга, рабочие шли по узенькой тропке: Ажогин строжайше запретил итти по нетропутому снегу. Передние вышли уже на большак, когда задние только-только перелезали через ветхую изгородь сада, — так был велик сад.

Антон шел рядом с отцом, впереди всех. Даже «Главный» шел сзади. Дорога резко взяла вправо, она пошла в полукилометре за строениями Чулково. Здесь конечно не было никаких фонарей, рабочие в темноте уходили в Щегловскую засеку...

— Ну вот... — тихо сказал отец Антону. И выругал самого себя: — Взял я тебя, дурак!.. Зачем, спрашивается?..

Засека прилегалла к Ужогинке, деревне, стоявшей на перекрестке двух дорог. Обе дороги шли в город, только одна выходила к ипподрому за Кудашевским садом, другая — к самому Кремлю. Отсюда уже небольшими группами было легко пробраться в город.

И вдруг Антон тихонько вскрикнул:

— Лед!

— Что «лед»?

Ажогин остановился, подошли «Главный» и курчавый. Сзади выжидающе остановились и все остальные.

— А ведь там — лед! — Антона трясла лихорадка.

Он уже явственно видел, как стражники и городовые переправляются по льду через Ужугу, и теперь уже совсем близко идут по пятам их отряда.

— Ну, пошли... — зло сказал Ажогин. — Там нет никакого льда... С завода все время идет отработанный пар, горячий. Нефть. Там не пройти, дурак...

Тронулись, и через мгновение голос курчавого снова поднялся над толпой:

Измученный, истерзанный работой трудовой!..

Ажогин повернулся и погрозился громадным своим пистолетом:

— Пристрелю, как собаку!

— Спеть нельзя? — дерзко возразил запеваля и захохотал.

Иван бросился к нему, двинул его по лицу, тот ахнул и покатился в снег.

— Ну, сказал!.. Ну, замолчу!.. Почему драться? — барахтаясь в снегу, бормотал курчавый.

— Получай, раз не понимаешь дисциплины... — сквозь зубы ответил Ажогин.

Дальше пошли молча.

— Как вы не понимаете, ребята?! — миролюбиво и негромко заговорил Иван, похоже, извиняясь за свою горячность. — А если за нами идут? Значит, из-за своей же глупости мы все должны пропасть ни за грош? — он помолчал и потом предложил: — Понемногу отставай, кто — в Чулково, кто — в Ужогинку...

— Кто — в Чулково... Кто — в Ужогинку... — прошло по рядам.

Рабочие начали отсеиваться, они сворачивали с дороги и боковыми тропками, прямо через огороды, на одиноко и в беспорядке расположенные невдалеке домики, шли к городу. Остальные продолжали шагать в полном молчании. Они уже пробирались опушкой леса. Сквозь редкий кустарник сзади, в

отдалении, виднелось багровое зарево над заводом. Со стороны товарной станции слышались паровозные гудки. В Чулкове лаяли собаки, где-то неподалеку раздался мягкий негромкий выстрел. Ажогин насторожился: выстрел повторился, — теперь уж легко было понять, что стреляли из берданки.

Рабочих становилось меньше и меньше. Лишь человек десять-двенадцать пересекли Ужогинку, свернули на городскую дорогу и пошли под гору, к берегу, где в летнее время ходил паром. Сейчас через лед была проложена широкая, хорошо наезженная дорога.

Шли, и казалось, что вот еще какое-то неуловимое мгновение — и из-за голых прибрежных кустов выскочат люди, закричат: «Руки вверх!» — и, окруженных, поведут рабочих по Киевской на гору, в тюрьму.

Антон очень отчетливо представлял себе эту возможность, и все же, кроме легкого замиранья сердца, он не чувствовал ничего. Больше того, его сердце громко стучало от радости, от сознания того, что он идет здесь, вместе со взрослыми, принимая участие в их большой, опасной игре.

«Главный», Ажогин и запевала шли вместе. Антон, задыхаясь и широко шагая, старался попадать в ногу с ними. Он оглянулся: ни у кого из шедших здесь не виднелось оружия: видимо, его спрятали или даже передали тем, кто отстал в Чулкове и Ужогинке. Непосредственно за отцом, с самого края дороги, шла высокая женщина, негромко что-то мурлыча про себя. Антон прислушался: это был мотив песни, спетой в училище.

— Квасцова, Квасцова!.. — тихонько прикрикнул на нее Ажогин и негромко рассмеялся.

«Квасцова...» — где-то Антон слышал эту фамилию? Он на полшага отстал от отца, но лица женщины не было видно, она, как старуха, куталась в теплую, толстую шаль.

— Итти по-одному, по-двое. Нового следа не делать... — распорядился отец. — Наследник!

Антон сорвался с места.

— По-одному, по-двое... — возбужденно, едва сдерживаясь, чтобы не закричать, говорил он людям.

Но дорога расходилась несколькими лучами. Люди и здесь разбредались в разные стороны, только отец, курчавый запевала и женщина оставались вместе. Теперь Квасцова шагала рядом с отцом, все так же, негромко напевая про себя.

Минут через десять они вышли на отлогий городской берег, несколько ниже Кремлевского сада. По льду, по разветвлениям дороги маячили темные фигурки людей. Отец пристально вгляделся в темноту, успокоенно, шумно вздохнул и даже засмеялся.

— Ну, тронулись, Варя... — обычным, домашним голосом сказал он, и все четверо они тронулись через сад в самый город.

— Держимся, Варя? — снова спросил он, и Антон уловил в голосе отца новые, какие-то играющие и мягкие, нотки. Антона они болезненно резнули по сердцу, и он сразу вспомнил Нину. Что же отец? Неужели — он забывал ее?

Имя женщины еще больше напомнило Антону, что он где-то встречал ее. Лица ее попрежнему не было видно, она молчала, идя широким мужским шагом.

Они вышли к кремлевским воротам, и вдруг отец отступил в тень. Он движением руки пригласил за собой остальных: на площади, у собора, горели громадные костры, около них толпились солдаты, на свету играл неровный, мигающий блеск штыков, винтовки были составлены в козлы, у самых соборных ступенек стояла пушка. Где-то жалобно и тоненько ржал конь. На колокольне светились то и дело заслоняемые огни.

— Пулемет на собор поставили... Вот сукины дети... — выругался отец.

Он оттащил Варю за рукав. Они стояли в тени, падавшей от кружевной стены Кремля на покрытый настом снег.

— Придется огибать кругом... — через силу сказал он, и при звуках этого измученного голоса Антон сразу почувствовал, что и у него самого отваливаются ноги.

— Наследник, пробегись через площадь, посмотри, сколько чего. А встречаемся в саду, около статуи...

Он хотел сказать что-то еще, но Антон уже сорвался с места и, забыв про усталость, ринулся в ворота. Его взгляд скользил по расположенным тут солдатам, повозкам, пирамидкам винтовок, лошадям, кучам офицеров.

И вдруг сердце его оборвалось: дорогу Антону пересек большой фельдфебель, он важно, чуть-чуть задышающимся голосом велел остановиться.

— Они мне!.. Проходу!.. Не дают!.. — сумрачно сказал Антон. Он вдруг нагнулся, схватил с земли ледяшку и, яростно крича, бросил ее куда-то в темноту.

— Сначала играет, потом передерется... — поучительным тоном заметил фельдфебель. — Бежи скорее, а то догонят... — и подтолкнул его своей толстой ладонью.

Антон бросился дальше. Вдоль дороги, на всей площади были солдаты. Гауптвахта у главных ворот глухо гудела множеством голосов. Два пулемета, точно большие лягушки, присевшие на белой мостовой, были направлены на окна гауптвахты. Тут же прямо на снегу, на коленях стояли неловко изогнувшиеся солдаты, у самого здания никого не было.

— Выпускай, фарао-о-оны! — кричали изнутри.

Потом с дребезгом разлетелось одно из окон, немедленно за этим вся площадь огласилась звуками разбиваемых стекол, в воздухе рванулась короткая пулеметная очередь, крики со стороны гауптвахты стали громче. Антон, обезумев, промчался под аркой главных ворот и выскочил на Суворовскую, против губернаторского дворца. Дворец был темн, только в трех окнах верхнего этажа горел слабый свет. У подъезда стояло человек десять казаков, в самой парадной — группа городских. Они гоняли прохожих с тротуара на середину улицы, кое-кого из прохожих задерживали, наскоро обыскивали и гнали прочь.

Озадаченный Антон направился в городской сад. По его расчетам, отец с то-

варищами не прошли и полдороги к статуе. Он вступил в темный, казавшийся диким сад, и пошел по узенькой, глубоко протоптанной тропке. В саду было темно и тихо. Антону поминутно мерещились впереди какие-то люди, он осторожно приближался, — и тогда или высокий пен, или приземистая елка, с которой сдуло снег, отчетливо выступали из белой мглы.

И все-таки было жутко. Не боявшийся кулачных драк, ожесточенных уличных свалок, темного, ночлежного люда, Антон терялся в этой спокойной тишине, когда слушал одинокий скрип шагов и морозное потрескивание ветвей.

«Хоть бы скорей они!.. Скорей бы они!..»

Наконец за поворотом сверкнул яркий свет фонаря, — это было единственное освещенное место сада: здесь поднималась большая белая статуя, изображавшая голую женщину с тонкой, длинномордой собакой около.

У ног статуи стояла скамейка, и на ней сейчас сидели отец и Квасцова, причем отец как-то неловко обнимал женщину.

Она сделала попытку освободиться, но он, несмотря на Антона, продолжал прижимать ее.

— Пустите, мне домой... — спокойным, низким голосом говорила Квасцова.

— У нас переночуете... — тоскливо говорил отец, не глядя на Антона, как бы не желая замечать сына.

— Нет уж, не говорите... — прежним, низким голосом отозвалась женщина, и Антон теперь сразу вспомнил ее: это была та самая Варя Квасцова, которую он встречал в свое время в пошивочной мастерской.

Фонарь освещал красивое бледное лицо Квасцовой и прядь темных волос, выбившихся из-под платка. Она похудела с того года, как ее впервые увидел Антон. Она улыбалась не то жалеющей, не то утешающей улыбкой.

— Вы хотя, по крайней мере, заходили бы к нам... — попрежнему тоскливо говорил отец, и она отзывалась:

— Это можно. Зайти — я зайду...

Она пошла по дорожке к боковой калитке. Отец коротко взглянул ей вслед, махнул рукой и пошел впереди Антона в сторону губернаторского двorca.

— Ну, что? — не оборачиваясь, видимо, стыдясь Антона, спросил он.

Сын рассказал обо всем виденном. Отец не перебивал его, только потом, подходя к выходу, заговорил снова:

— А стреляли-то где? Из пулемета?

— Я же рассказывал, где. Не слушал?

Ажогин виновато усмехнулся, — похоже, что он и не слушал в самом деле. Он снова обернулся и взглянул в ту сторону, где скрылась Варя. Антон неприязненно покосился на него.

— Так-так-так, наследник... — невнимательно продолжал между тем отец. — Значит, из пулемета по гауптвахте? И у губернаторского дома — казаки? Ну, авось, проскочим...

Через несколько минут они вышли ко двorцу. Теперь к городovým и казакам прибавились солдаты. Они громко галдели, среди солдат расхаживал кто-то крикливый и через всю широкую улицу досюда неслись его возгласы:

— Почему этот кагал? Вы воинская часть или нет? А? Что такое?

Но галдеж не прекращался.

— Покричи, покричи... — довольным голосом сказал Ажогин. — Перед смертью не надышишься...

Они остановились неподалеку от госпиталя, из боковой улицы к ним шагнул «Главный», — похоже, он ждал их здесь, и эта встреча была условлена. Он вдруг нагнулся к Антону и неловко поцеловал его.

— Все еще здесь? Из тебя человек растет. Ты — злой, а в нашем деле — это первая вещь... — неизвестно к чему, сказал он.

«А ты — злой?» — подумал Антон, но тут Ажогин взял Павла Орестовича за плечо и сказал беспрекословным тоном:

— Значит, теперь — ко мне...

— Думаете, ко мне нельзя? Ждут?

— И думать нечего!

Антону припомнилась весна четырнадцатого года, без малого три года на-

зад: тогда отец глядел «Главному» в рот. Теперь же обратное: Ажогин принимал его под свою защиту. Что изменилось в отце?

Когда проходили мимо госпиталя, увидели, что в окнах его — полный свет, передвигаются человеческие тени, сквозь двойные рамы доносится громкое пенье, что никогда не водилось в этом загаженном сумрачном доме. Ворота были распахнуты настежь. Против обыкновения у ворот стояло сразу трое часовых, на темном дворе слышались многочисленные голоса.

— Тронулось, тронулось... — сдавленным и радостным голосом бормотал Павел Орестович. — Теперь уж — да!.. Прости-и-ите!..

Ажогин ничего не ответил, но скал руку сына так, что у того брызнули из глаз слезы, и он вскрикнул. Около дома никого не было, хозяйка в кухне тупым ножом скребла стол, часы показывали уже одиннадцать. Из комнаты в кухню вышел человек, среднего роста, беспрестанно шевеливший толстыми, короткими пальцами. Человек был гладко выбрит, желтая его кожа отвисала на щеках. Когда он заговорил, Антон мгновенно узнал его: это был телефонист Косьмин.

Потом они пили чай, и Косьмин рассказывал:

— В Петрограде уже началось как следует. Громят продовольственные лавки, — народ голодный... Ходили к думе, — но что ж дума? — он махнул рукой и схлебнул чай. — Но заблуждениям и разным сказкам уже — конец, прочно! Тут у вас настроение, — как? Боевое? Чем кончилось дело с солдатами, — тот раз-то? Верхушка — уцелела? Вообще вы плохо нам пишете. Мы в Москве, рядом с вами, — и не представляем ваших дел...

— Комитет у нас... — и Ажогин вполголоса рассказывал ему, что сегодня произошло в Оружейном училище. Косьмин слушал Ивана недоверчиво, точно тот сообщал ему глупые сплетни.

— Я вот с поезда, прошелся утром по городу... — сказал он, пошевеливая пальцами. — Тихо, спокойно...

— Пройдите-ка вот теперь...

И Ажогин передал ему обо всем, что случилось сегодня.

— Да-да-да... — повторял телефонист, беззвучно барабанил по столу своими короткими пальцами. — Да-да-да... Ну, что ж, это — другой коленкор...

Он подробно расспросил Антона: сколько примерно в Кремле было солдат, находились ли там казаки, не понял ли он, о чем шумели солдаты.

Слушая, он уже перестал повторять

свое «да-да-да», и даже повернулся всем корпусом к Антону.

— Ну это, товарищ Ажогин, получается посерьезнее. — И, помолчав, телефонист спросил: — Квартира-то у вас — чистая?

— Ничего, как будто...

— В училище вас не могли заметить?

— Вот этого не могу сказать...

Еще посидели немного, поговорили, помолчали и в половине первого легли спать.

(Продолжение следует)

Абрам Моисеевич

Три рассказа

С. ЛЕВМАН

1. Херем

Красноармейский отряд под командой Степаненко выбил казаков из колонии Ново-Чистополь после двухдневного жаркого боя. Казаки оставили по себе крепкую память: трех изрубленных в куски стариков и четырех повешенных, среди которых был и подросток четырнадцати лет. Кроме того, казаки подожгли солому на Верхней улице и увели с десятков лошадей.

Комиссар красноармейского отряда, товарищ Райх, получил пулю в плечо и был принесен на руках в дом Абрама Моисеевича Киссиса. Комиссара несли двое: бородатый пожилой красноармеец с длинным, исхудалым лицом какого-то ужасного бледножелтого цвета и золотоволосый юноша, который только недавно обрел силу плеч, статность и неломящийся голос. Это был сын хозяина дома, семнадцатилетний Лева.

— Доктор, — сказал комиссар желтолицему красноармейцу, — я потерял много крови, но это пустяки. Дударь тяжело ранен, займитесь сначала им. И надо дать знать в штаб дивизии...

— Лежите спокойно, — хрипло отозвался доктор, — с Дударем все конечно, а вас нужно поставить на ноги.

— Товарищу комиссар, — решительно заявил Лева, — пошлите меня в штаб, я местный, — знаю все дороги.

Так вступил в ряды Красной армии Лева Киссис, сын Абрама Моисеевича

и внук Моисея Абрамовича, потомок того самого Лейбы Киссиса, который поселился в херсонской степи по указу императрицы Екатерины, участвовал в создании одной из первых еврейских колоний и остался в летописях Херсонщины под именем Лейбы Русого. Сам он и дети его истово трудились и в степи, и в синагоге: рыли колодцы и заказывали шелковые покрывала для священных свитков торы, ездили верхом, как настоящие казаки, и вели дружбу с гоями — украинцами и немцами. Они не были богачами и скрягами, как рыжие Киссисы из Златополя. Среди них не было мечтателей и авантюристов, которыми славились черные Киссисы из Старогая. Потомки Лейбы Русого были обыкновенные мужики, работающие и бережливые, любившие степной простор, лошадей и праздничное пьянство и не боявшиеся господ бога, с которым были в простых, добрососедских отношениях. К наукам они относились с предубеждением и некоторой опаской после того, как младший брат Моисея Киссиса спутался со студентами в Киеве, стал нигилистом и попал в Сибирь на поселение. Были они рослые, плечистые, голубоглазые и брали жен под-стать себе, — сильных и жизнерадостных; а девушки из рода светловолосых Киссисов славились здоровьем и кулинарными дарованиями. Их собственный маленький крестьянский мир никогда не казался им тесным и неудобным. Возвращаясь из несчастных

поездок в Херсон или Киев, они испытывали чувство сострадания к людям, обреченным жить в пыли городских улиц, под невыразительным городским небом.

Абрам Моисеевич не удерживал сына, когда тот заявил, что уходит с Красной армией. Украина вышла из берегов, как разгневанная река. Рабочие и крестьяне бились за свою, советскую власть. Границы маленького мужицкого мира раздвинулись беспредельно. Абрам Моисеевич дал сыну коня, новый кисет и буханку хлеба, молча обнял и поцеловал его и долго стоял у колодца, глядя вслед удаляющемуся отряду. Потом он вернулся домой, вынул из комода последний портрет Левы и повесил его над кроватью, рядом с портретом своей покойной жены, золотоволосой Ханы.

Разлука их растянулась на восемь лет. Из редких писем сына Абрам Моисеевич знал, что Лева Киссис, отвоевав положенные годы, пошел учиться — сначала на рабфак, потом в техникум. Письма приходили из Ленинграда, Свердловска и Казани. Однажды прибыла фотография, на которой возмужалый до неузнаваемости Лева был снят рядом с красивой девушкой, и на карточке была надпись: «Моя жена Люся».

Абрам Моисеевич писал сыну так же редко, но каждый раз подробно описывал, что произошло на селе и в окрестных поселках, как идет хозяйство, как здоровье родных и друзей. Он не мог поверить, чтобы Лева, где бы он ни был и какой бы высокий пост ни занимал, перестал интересоваться жизнью и судьбами родного края.

Лева приехал неожиданно, летом двадцать восьмого года, и тогда обнаружилось, что вопреки фотографиям он мало изменился, — только подбородок стал резче, и в голубых глазах появился ледок. Он охотно рассказал отцу, как жил последние годы и почему разошелся с Люсей. И хотя не в обычаях Киссисов было расходиться с женами, Абрам Моисеевич ничем не попрекнул сына. Настали новые времена, молодежь мыслит и поступает по-

своему, по законам своей собственной молодой мудрости, и не дело отцов мешать им. На третий день сын отправился на косьбу, и Абрам Моисеевич вдоволь посмеялся над неуклюжими стараниями Левы итти в ногу с отцом.

— Пишешь ты лучше, чем косишь, — потешался Абрам Моисеевич, — в батраки я бы тебя не взял.

Но спустя часа три неуклюжесть исчезла, и Абрам Моисеевич с гордостью отметил про себя, что сын не промотал дедовского наследства — силы, выносливости и проворства, переходивших из поколения в поколение. И Абрам Моисеевич стал несмело думать о том, как бы убедить сына, что пришла пора вернуться к земле и хозяйству. И уж он подберет для Левы настоящую жену.

Лева прожил у отца две недели. Они ходили в гости к соседям, ездили к родным и приятелям в соседние колонии, охотились, и Абрам Моисеевич был по-новому счастлив. Он во всем соглашался с сыном, открывая в нем все новые достоинства. Лева Киссис не даром колесил по свету, сражался и учился. Лева часто толковал о том, что крестьянское хозяйство нужно перестроить в корне. Он рассказывал о виденных им колхозах, машинах, тракторах. Абрам Моисеевич приходил в восторг от машин, но в колхозы он не верил: у них в округе была коммуна, созданная кучкой партизан, но дело у нее не ладилось, и коммунары начали разбредаться. Зато он ухватился за предложение сына посадить фруктовый сад.

— Вот это дело верное, — говорил он, — можно и фруктовый сад, и виноградник разбить. Деньги я достану. И машины хорошо бы выписать в компании с кем-нибудь.

Но прошло две недели, и обнаружилось, что Лева вовсе не намерен оstarваться в хозяйстве. Оказалось, что он переброшен на партийную работу в Херсон. Абрам Моисеевич не выказал своего разочарования. В глубине души он понимал, что его Лева рожден для больших трудов, чем их скромное хозяйство в Ново-Чистополе. И, когда

сын стал собираться в отъезд, Абрам Моисеевич не задерживал его.

— Ты теперь начальство, — сказал он, нерешительно улыбаясь, — а все-таки отца и сестру не забывай.

Лева обещал приехать в середине зимы и укатил в округ. И скоро до Абрама Моисеевича стали доходить сведения о его деятельности. Все чаще и сосредоточеннее говорили на селе о колхозах, о кулаках, о том, как организовалась в том или ином поселке артель из бедняков, а богачи пытались создать свою особую артель, но власти ее не утвердили. Особенно много слухов шло из переселенческих поселков, возникших за последние годы. И чаще других упоминалось имя Левы Киссиса: ведь он был свой, местный, мужик, и он же больше всех будоражил и волновал крестьянство.

Как-то в январский морозный полдень посетил Абрама Моисеевича его родственник Лейзер Киссис из Златополя, щуплый косоглазый человечек, непрестанно дрыгавший всем телом. Посещение было необычайно, ибо между родами русских и рыжих Киссисов была давняя вражда, причины которой затерялись в тумане прошлого. Вражда была глухая, скрытая, неистощимая. Только в дни больших торжеств, на свадьбах и обрезаниях, встречались недруги, чтобы вновь разлучиться на годы. И когда сани Лейзера остановились перед домом Абрама Моисеевича, об этом сейчас же узнала вся колония, и многие недоуменно покачали головами.

Абрам Моисеевич принял гостя со сдержанным радушием, и они долго беседовали о здоровье родственников, об урожае и доходах, и хозяин похвалил упитанных коней гостя, а гость подарил шелковую косынку четырнадцатилетней дочери хозяина, черноглазой Берточке. Потом Лейзер осторожно спросил, как смотрят новочистопольцы на колхоз, и Абрам Моисеевич ответил, что говорят об этом много, да все еще ничего не решили, но коль скоро советская власть за колхозы и обещает свою помощь, то, значит, крестьянству от этого будет только польза. На это Лейзер дал по-

нять, что из колхоза ничего не выйдет, потому что бедняки и лодыри пропьют все колхозное имущество, и тогда советская власть скажет: «Идите вы к чорту, какие вы хозяева!» — и распустит колхозы. Они выпили по стакану вишневой настойки, и Лейзер сказал, что нехорошо близким родственникам смотреть друг на дружку волками и что жена его Ривочка ежегодно зажигает свечи в память сестры своей Хань и очень просила Берточку приехать в гости на неделю-другую.

Абрам Моисеевич пристально смотрел на косоглазого и вспоминал все, что ему рассказывали о жадности и богатстве этого вертлявого человечка, похожего на втулку. Из всего, обширного некогда, рода рыжих Киссисов остались в Златополе только двое: Лейзер и двоюродный брат его Михель, загнавший в гроб двух жен, от которого родная дочь, шестнадцатилетняя девушка, много лет назад сбежала в Америку без гроша денег. Остальные отпрыски богатого рода разехались кто куда и занялись торговлей, а про одного было известно, что он поселился в Данциге и открыл банкирскую контору. Лейзер нажился в годы войны: он ездил в Киев, брал какие-то подряды вместе с Михелем и скупал у крестьян скот и кожи. Но с той поры он сильно постарел, глаза потеряли свой хищный блеск, танцующее тело его полно невысказанной тревоги.

— Приезжал к нам в Златополь твой Лева, — как бы невзначай выговорил Лейзер, — настоящий комиссар, дай бог ему счастья. Только зря он на синагогу ополчился, ой, зря! Советская власть на веру не покушается, а он такие слова говорит, что сердце трепещет.

— Какие же слова он говорит? — Абрам Моисеевич насторожился. — Лева партийный, он знает, чего советская власть хочет.

— А я разве говорю, что он не знает? — встрепенулся гость. — Боже упаси, я не говорю этого. Но зачем ему понадобилось отобрать у евреев синагогу? Мешает она ему, что ли?

— Какую синагогу?

— Новую конечно, большую. Вчера приходит ко мне председатель сельсовета и говорит, что надо в Златополз открыть школу и клуб. Очень хорошо, пусть будет школа и клуб. Разве я против? Отцы и деды наши, — мир праху их! — жили без школы и клуба, но я понимаю, что время такое... детей учить надо, все это так. Но зачем же синагогу трогать? Мы ее на свои кровные деньги выстроили...

— При чем же здесь Лева? — насмешливо спросил Абрам Моисеевич. — У него и без того дела немало...

— Да разве наш председатель посмел бы? — вскинулся Лейзер, и косящие глаза его зажглись рубиновым гневом. — Что ты не знаешь Элю, сына Хаим-Нахмана, почтового возчика? Нет, он человек тихий, соседский. Пускай он сам в бога не верует, так зато он другим не мешает. Его твой Лева подучил, уж это мы выяснили.

— Ну что же, — сказал Абрам Моисеевич, — Лева зря не сделает. Да и впрямь, к чему вам две синагоги? За глаза одной довольно. Молодежь наша от бога отошла, у нее другие заботы...

— Ай, ай, что ты такое говоришь, Абрам! — заметался Лейзер, и сморщенное его личико покрылось рыжими пятнами. — Отец твой Моисей встал бы из гроба, услышав твои слова. И жена твоя Хана, сестра моей жены, — разве могла бы она почивать спокойно, если бы знала? Сотни лет прожили мы в степи, отрезанные от всего еврейства, но веру наших отцов мы сохранили, и священные свитки торы уберегли мы... Ай, ай, Абрам, опомнись! И кто же поднял руку на святыню? Лева Киссис, потомок Лейбы Русого, мир праху его!

— Полно, Лейзер, — примирительно произнес Абрам Моисеевич, — не кричи так. Лева — мой сын, он чам зла не сделает.

Гость навалился на стол всем своим дрожащим телом и даже закрыл глаза от великого трепета.

— Поговори с ним, Абрам, поговори с ним, как отец. Растолкуй ему, что это великий грех — поднимать руку на дом божий. Советская власть — богатая

власть. Пускай построит школу, разве мы против?

Он долго еще убеждал хозяина, сверкая глазками, и метался по комнате, вздымая руки к небу и вращаясь вокруг собственной оси, как втулка. По морщинистым его щекам текли слезы, когда он поцеловал на прощанье Берточку и потряс руку старой Бейле, домоправительнице и дальней родне Абрама Моисеевича. Потом он надел свою серую шубу, уселся в сани и, не глядя ни на кого, укатил к себе в Златополь.

На следующий день Абрам Моисеевич собрался в Херсон. Бейля напекла пирогов, приготовила меду, творогу и сметаны, уложила все это под сиденье, и Абрам Моисеевич на рассвете выехал на станцию.

Поезд опоздал часа на полтора, но Абрам Моисеевич не скучал, сидя на вокзале маленькой станции. Он купил в киоске еврейскую газету и прочел ее от первой строки до последней, хоть и трудно было одолеть новую орфографию, а некоторые слова выглядели неузнаваемо и смешно. В поезде нашлись знакомые, и Абрам Моисеевич был очень польщен, когда уполномоченный ОЗЕТ, бывавший не раз в Ново-Чистополе, с большим уважением отозвался о Лева.

В город он приехал в два часа полудни и прямо отправился в общежитие горсовета, где проживал Лева. Но здесь постигло его первое разочарование. Швейцар сообщил ему, что товарища Киссиса нет дома да, кажется, нет и в городе.

— Сдается, уехал в командировку, — важно сказал швейцар и выжидательно поглядел на валенки новоприбывшего. — А ты кто такой будешь?

— Отец я, — смущенно отозвался Абрам Моисеевич. — Как же быть?

Швейцар легко нашел выход из положения.

— А ты в партком сходи, — посоветовал он, — может, и не уехал еще Лев Абрамович. Там скажут. А вещи можно и здесь оставить.

Приезжий не решился однако оставить вещи в незнакомом месте. Он

взял в руки свой старенький чемодан — подарок сына, — постоял несколько минут на улице, словно размышляя о случившемся, и пошел в гору, спрашивая прохожих.

В окружном комитете партии было шумно, сновали люди с портфелями и девушки в зеленых свитерах, и никто не обращал на него внимания. Наконец ему указали комнату агитпропа, и он вошел, несмело открыв дверь. В маленькой комнате, в которой стояли стол, диван и несколько стульев, молоденькая девушка в сером свитере разговаривала по телефону. Приезжий поставил чемодан в угол и стал ждать, чтоб девушка кончила говорить по телефону.

— Вам что, товарищ? — спросила она, не выпуская из рук трубки. — Товарищ Кисис уехал, будет через десять дней, не раньше. Его замещает...

— Я — отец, — решительно заявил приезжий. — Куда Лева уехал? Я прямо из колонии сюда... по делу...

Девушка положила трубку, не кончив разговора, и с изумленной улыбкой протянула ему руку.

— Абрам Моисеевич? Лева о вас много рассказывал, мы вас все знаем. Он уехал в Новокутский район, а оттуда поедет и в Златопольский. Он говорил, что хочет вас навестить. А какое у вас дело?

Абраму Моисеевичу казалось странным, что Лева нашел возможным делиться всем с этой молоденькой девушкой, но серые глаза смотрели на него так приветливо, что он уселся перед ней и стал рассказывать о Златополе, синагоге, школе...

— Знаю, знаю, — девушка утвердительно закивала головой и, вынув из стола папиросу, закурила. — Дело серьезное. Курить хотите, Абрам Моисеевич?

Приезжий неловко взял из ее рук папиросу, но теперь ему уж не казалось странным, что эта девушка знает о нем, о златопольской синагоге и намерении Левы посетить отца. Молодежь мыслит и действует по-своему, по-новому, и это хорошо, что она держится так легко и независимо.

— Вам следовало бы поговорить с товарищем Степаненко, — подумав, решила девушка, — секретарем окружкома. Сейчас я узнаю, может ли он вас принять. А вы посидите, почитайте газету.

Спустя минут сорок товарищ Степаненко принял Абрама Моисеевича и, усадив его в мягкое кресло, принялся толковать с ним о селе, о настроениях крестьян, о разных разностях. Это был веселый и зычноголосый человек лет сорока, с короткоостриженной круглой головой и светлыми бровями. Лицо его показалось Абраму Моисеевичу смутно знакомым, но такие открытые и спокойные лица встречаются часто, и Абрам Моисеевич решил, что ошибается.

— Какое же у вас дело, Абрам Моисеевич? — спросил наконец Степаненко. — Выкладывайте.

И в этот момент Абрам Моисеевич почувствовал, что дела-то у него, собственно, никакого нет. То, о чем хотел он говорить слевой, никак не вышло с этим приветливым, простым и умным человеком, который сидел за большим письменным столом и руководил отсюда новой жизнью. Но все же он набрался храбрости и рассказал о златопольской синагоге, которую хотят забрать под школу.

— Ну и что ж, это, по-вашему, нехорошо, если синагогу заберут и откроют школу? — щурясь, спросил Степаненко.

— Почему нехорошо? — замылся приезжий. — По-моему, как-раз хорошо. У них две синагоги, а им за-глаза и одной хватит. Только вот... недовольны они, не понимают... думают, гонение на веру...

Он говорил еще что-то о советской власти, о своем Лева, о детях, которым нужна школа, и под конец совсем запутался. Степаненко глядел на него, улыбаясь.

— Все обойдется, Абрам Моисеевич, — сказал он, — мы сразмаху не разбираем. Проведем собрание селян, объясним, проголосуем, все как следует. Потом сами же нас благодарить будут. А что кулаки у вас агитацию ведут.

про это мы знаем. И вы сами должны их разоблачать и бить, чтоб они народ не мutilи.

Этот ответ вполне удовлетворил Абрама Моисеевича, и они потолковали еще несколько минут, причем Степаненко пригласил гостя задержаться в городе на день-два, посмотреть местный клуб, школу, библиотеку, побывать на сельскохозяйственной выставке. Он вызвал девушку в сером свитере и поручил ей устроить Абрама Моисеевича в общежитии и организовать его пребывание в городе. И, уже пожимая гостю руку на прощанье, Степаненко сказал:

— А вы так и не узнали меня, Абрам Моисеевич? Ведь я у вас четыре дня прожил, когда мы казаков били.

И только тогда Абрам Моисеевич вспомнил Василия Ивановича Степаненко, командира красноармейского отряда, который прожил у него четыре дня в двадцатом году вместе с раненым комиссаром Борей Райхом. С этим отрядом ушел и Лева Киссис, чтобы биться за советскую Украину.

Абрам Моисеевич пробыл в городе два дня, побывал на швейной фабрике, в трудовой школе, в клубе водников, где шла пьеса из времен гражданской войны, и на сельскохозяйственной выставке. Здесь он впервые увидел трактор, триер и разные машины, о которых говорил ему Лева, и прослушал лекцию о том, когда и как следует поднимать зябь. Перед отъездом он вновь посетил Василия Ивановича Степаненко, но тот был занят на заседании и не мог его принять, и Абрам Моисеевич передал ему поклон через девушку в сером свитере. Вместе с поклоном он просил передать Василию Ивановичу кринку меду, заботливо упакованную старой Бейлей, и девушка с улыбкой обещала передать и то, и другое.

Вернувшись в Ново-Чистополь, Абрам Моисеевич засел за книжки, которые приобрел на сельскохозяйственной выставке. Среди них была брошюрка о том, что такое артель или общество по совместной обработке земли, и какие от него выгоды трудо-

вому крестьянству и советской власти. То, что писалось в этой книжке, было так ново и волнующе, что Абрам Моисеевич просыпался ночью и долго лежал, обдумывая многие вопросы, казавшиеся ему неясными. Он ждал приезда Левы, чтобы получить ответ на эти вопросы.

Но на третий день после его возвращения из города произошло событие, потрясшее его. Ранним утром прискакал из Златополя старый почтовый возчик Хаим-Нахман и, захлебываясь, рассказал Абраму Моисеевичу, что произошло в Златополе.

— Ваш Лева приехал и провел собрание, и вышло так, что почти все голосовали за школу. Потому что нашим детям нужна школа, и Лева это очень хорошо объяснил. И мы постановили забрать новую синагогу под школу, а кто хочет молиться, тот пусть ходит в старую синагогу. Я сам поднял за это руку, потому что богу от этого не будет никакого ущерба, а нашим детям нужна школа, и хорошо бы иметь клуб, чтоб там показывать кино. И только человек десять голосовало против — Михель, Лейзер и другие, потому что они верховодят в синагоге, и они считают себя господнимистряпчими... Что же делают они после собрания, как вы думаете, Абрам Моисеевич? Они отправляются в синагогу, кладут на амвон священную тору и передают анафеме Леву Киссиса...

— Какой анафеме? Что вы говорите, Хаим-Нахман? — бледнея, переспросил Абрам Моисеевич.

— Херем, вы забыли, что такое херем? Я прожил на свете шестьдесят один год, и это всего второй херем в моей жизни. Сорок лет тому назад у нас в Златополе ввергли в херем хромого Берля Кляцкина за богохульство, за оскорбление тори...

Абрам Моисеевич неподвижно сидел, вцепившись руками в стол, и по лицу его ползла смертельная, липкая бледность. В памяти его проносились страшные, оставшиеся от раннего детства, рассказы о хромом Берле, которого община ввергла в херем. Этот хромой Берль погиб жалкой смертью, ибо

все сторонились его, никто не смел говорить с ним, даже родная мать, — он не мог получить нигде кусок хлеба или кружку воды, и мальчишки забрасывали его камнями.

В памяти Абрама Моисеевича вставали слышанные в детстве страшные слова мистического проклятья, гремевшие, как набат из мрака средневековой ночи. Слова эти преследовали человека повсюду: в пути и на отдыхе, на море и в поле, под кровом и в лесу, под солнцем дня и на ночном ложе. Они шли за ним, как голодные волки, смыкая свое смертельное огненноокое кольцо.

Заглянув в лицо хозяину, Хаим-Нахман оторопел и лишился дара слова.

— Ну, ну, — забормотал он, хватая руками воздух, — не принимайте к сердцу, Абрам Моисеевич... Теперь не такие времена... теперь другие времена...

Абрам Моисеевич встал. Судорога исказила его лицо, но он поборол ее и взял с окна шапку.

— Куда вы направляетесь, Хаим-Нахман? Лева еще в Златополе?

— Ваш Лева еще там, и он с ними еще потолкует, дайте срок. Я еду на полустанок и сделал крик, чтобы заставить вас дома.

— Спасибо, Хаим-Нахман, — спокойно обронил хозяин и вышел на улицу.

Он сам запряг Серого, поцеловал Берточку и покатил сквозь снежную пыль, сидя торжественно и прямо, словно ехал на смотр. Ослепительное январское солнце стлалось ему под ноги, глаза болели от снега, ветер пел в ушах песню белизны и простора, а гладкая степная ширь внезапно дыбилась, ломалась, скользила куда-то под откос... Когда он примчался в Златополь, от коня, валенок и полусубка шел пар.

Впервые в жизни он бросил Серого на произвол судьбы перед домом Михеля и, тяжело ступая, взшел на крыльцо. Он рванул дверь и вступил в комнату, большой и белый, и валенки его были похожи на снежные колонны.

— Здорово, Михель, — сказал он, — как поживаешь? Принимай гостя.

Рыжий Михель с женой, сыном и двумя дочерьми сидел за столом и обедал. В огромной миске на столе оранжево дымились щи. Нарезанный большими ломтями, ноздреватый хлеб высился горкой посреди стола. Никто не поднялся навстречу гостю. Михель опустил полную ложку на стол и, выставив клин рыжей бороды, устоялся на вошедшего.

— Вкусные щи, реб Михель? — продолжал Абрам Моисеевич и сделал шаг к столу. — Вкусная жизнь, реб Михель? Много лет я не бывал в твоём доме, но запах твоей вкусной жизни сразу ударил в нос. Что же ты молчишь, рыжий пес? Где твой херем и почему ты держишь его за пазухой?

— Абрам Моисеевич, — еле выговорила жена Михеля, и в голосе ее слышались слезы, — я проплакала всю ночь, узнав о вашем несчастье. Мы не виноваты, Абрам Моисеевич... Община приказала...

— Община, Абрам, община, — торопливо заговорил Михель и сделал попытку встать. — Что я мог поделать против общины?

— Ты мог подавиться вместе со своей общиной, — сказал Абрам Моисеевич и опустил красную руку на скатерть. — Ты мог сдохнуть вместе со своей общиной, рыжий пес!

Он рванул на себя скатерть, и тяжёлая дымящаяся миска, словно извергнутая вулканом, поднялась в воздух и рухнула на пол. Звон посуды, дребезг стекла и крики женщин наполнили комнату. Абрам Моисеевич схватил Михеля за шиворот и выволок его на улицу. Он поставил его на снег и одним ударом сшиб с ног, снова приподнял и снова бросил в снег.

— Херем, — кричал он, наклонясь над расprostертым противником, — я покажу тебе херем, вонючая душа! Я покажу тебе такой херем, от которого ты будешь отхаркиваться всю жизнь. Мало ты награл, рыжий пес, мало золота ты закопал, мало людей извел? И ты посмел поднять руку на Леву Киссиса, который воевал за советскую власть, когда ты целовал офицерские сапоги и угощал водкой гайдамаков!

Ты посмел поднять руку на Леву Киссиса, которого поставила над нами наша, советская власть!

Просторная снежная улица мгновенно наполнилась зрителями, словно все только и ждали, когда придет Абрам Моисеевич и начнет бить рыжего Михеля. Женщины в платках, ребятишки без шапок, угрюмые крестьяне стояли поодаль и молча сторожили каждый взмах руки и каждое слово рассвирепевшего, засыпанного снегом человека.

Отпихнув свою жертву ногой, Абрам Моисеевич оглядел безмолвную толпу и пошел по улице. В гневе он потерял шапку, но не обратил на это внимания. Он шел, ступая тяжело и властно, как победитель, и толпа шла за ним, молчаливая и скованная, словно все знали, что он идет теперь к дому Лейзера и что Лейзера ничто в мире не спасет от расправы. Но когда Абрам Моисеевич подошел к дому своего родственника, на крыльцо выскочила простоволосая женщина, держа за руки двух перепуганных мальчиков. Она была в простом, домашнем, сером платье с закатанными рукавами. Она стала на крыльце, словно решила защищать дверь своим телом и телом своих детей.

— Абрам, — тихо выговорила она, — пожалейте меня, Абрам!

Абрам Моисеевич отпрянул, точно перед ним возник призрак. Эта простоволосая высокая женщина была так похожа на его милую Хану, и эти закатанные рукава на белых полных руках напомнили ему столь многое, что у него перехватило дыханье. Толпа, надвигнувшись, словно навалилась на него всею тяжестью. Он подошел к Ривочке и погладил ее по светлым мягким волосам.

— Ради тебя, Ривочка, — сказал он, — и ради твоих деток я прощаю его.

Толпа взорвалась криками и воплями, и, оглянувшись, Абрам Моисеевич увидел, что к нему спешат двое. Он их сразу узнал. То был его сын Лева в кожаном пальто и сапогах и председатель сельсовета, малоповоротливый и унылый Эля, сын почтового возчика Хаим-Нахмана.

— Что ты натворил, папа? — громко спросил Лева, беря отца за руку. — Скажи, пожалуйста, что ты здесь натворил?

— Я наказал одного жулака, рыжего пса, — бесстрашно ответил Абрам Моисеевич, — я показал ему, что такое настоящий херем, и это будет наукой для других. Ты наверное не знаешь, что эти бродяги ввергли тебя в херем?

— Как же, знаю, — улыбнулся Лева, — этим делом займется сельсовет. Но ты учинил скандал и самоуправство, и за это я составлю на тебя протокол.

Абрам Моисеевич выгнул из кармана варежку и стал счищать снег с валенка.

— Ладно, — сказал он, — Василий Иванович приказал бить кулаков, все в порядке. Пиши протокол. Советская власть — справедливая власть, чего мне бояться? И едем домой, мне нужно потолковать с тобой об одной штуке, которая называется — общество по совместной обработке земли.

II. Трудовая кровь

Весь день Абрам Моисеевич носил в кармане письмо от дочери, с удовольствием думая о том, как распечатает и прочтет его вечером, за стаканом остывшего крепкого чая. Во всем громадном, громяющем мире у Абрама Моисеевича оставались два близких существа — сын и дочь... Но сын, занимавший ответственные посты где-то на Урале, писал редко. Зато дочь Берта, которой в июле пошел двадцатый год, писала часто, три-четыре раза в месяц, и каждое письмо ее было событием большого значения. Читались ее письма медленно и торжественно, по вечерам, когда затихал прибой колхозных дел и председатель колхоза «Новый путь», Абрам Моисеевич Киссис, оставался наедине со своей памятью.

С осени прошлого года маленькая черноглазая Берта училась в Харькове, в машиностроительном втузе, куда была послана райкомом комсомола. Абраму Моисеевичу тяжело было расста-

ваться с дочерью. С ее отъездом дом его совсем осиротел. Тускло и безучастно смотрели со стены пожелтевшие фотографии, сиротливо морщилась вязаная скатерть на комод, неслышно двигалась по комнате старая Бейля, обломок старого рода белопольских колонистов, дальняя родственница, которой Абрам Моисеевич после смерти жены вручил ключи — символ домашней власти. Могучий просторный дом, который Абрам Моисеевич выстроил себе тридцать лет тому назад, после женитьбы, перестал привлекать его с тех пор, как худенькая Берта села в колхозную бричку, чтобы уехать в степную даль. Абрам Моисеевич стал и вечера проводить в помещении колхозного правления или у соседей. И Бейля знала: коль скоро Абрам Моисеевич рано вернулся домой и велел поставить самовар, значит пришло письмо от Берточка.

И на этот раз он пришел рано домой, слегка сутуля широкие свои плечи, и тщательно вытер на пороге порыжелые сапоги. Короткохвостый Драчун осторожно вошел вслед за хозяином и улегся на своем месте под столом, предвкушая ночное блаженство: с тех пор, как Берточка уехала, собаке разрешено было ночевать в комнатах. Абрам Моисеевич обшарил все карманы, выложил на стол все записки, набравшиеся в них за день, кiset с табаком, ключ от конторы, огрызок карандаша. Поверх всего лег мятый конверт, левый угол которого был отмечен масляным пятном, как штемпелем. Потом Абрам Моисеевич снял пиджак, умылся и сказал:

— Вы бы поставили самовар, Бейля. Берточка прислала письмо.

Бейля ушла на кухню, и слышно было, как она наливает водой маленький самовар, — большой дедовский самовар, величественный туляк, давно уже вышел из употребления и стоял в углу, прикрытый рогожей. Абрам Моисеевич взял топор и вышел во двор. Нужно было починить дверь от погреба. Теплый синий вечер повис над землей, не шевелясь, как прозрачная кисея. На Нижней улице и где-то у речки, на до-

роге, в месте, именовавшемся почему-то «На дачах», звенели голоса и смех. «Вторая бригада гуляет» — подумал председатель колхоза и улынулся.

Когда он вернулся в дом, пухленький самоварчик уже кипел на столе, и рядом с ним лежал хлеб, накрытый белой салфеткой, стояли крынки с молоком и медом. Абрам Моисеевич неторопливо сел, придвинул к себе лампу и взялся за очки.

— Садитесь, Бейля, — сказал он, — Берточка прислала письмо.

Старуха поправила платок на голове и села. Губы ее шевелились, точно она намеревалась что-то сказать, но Абрам Моисеевич был бы потрясен, если бы она произнесла вслух хоть одну фразу. Бейля была соткана из легких, бесшумных движений, у нее были тихие глаза и беззвучные губы, словно она дышала и двигалась в стеклянном безмолвном мире. «Доброе утро, Абрам!» и «Когда вы придете обедать, Абрам?», — вот и все, что доводилось слышать председателю колхоза от хрупкой старой женщины. У нее был когда-то сын, погибший на войне, но даже о сыне не говорила она вслух. И единственный человек, которого она допустила в свой тихий мир, была черноглазая непоседливая Берточка.

«Седенький мой папка, — писала Берта, — как твое здоровье и как чувствует себя тетя Бейля? Спасибо вам за творог и мед. Вчера были у меня ребята, товарищи по учебе, и очень хвалили мед, ничего не оставили».

— Ничего не осталось, — улыбаясь, повторил Абрам Моисеевич и, подняв очки на лоб, посмотрел на свою молчаливую собеседницу. — Как вам это нравится, Бейля? Вы послали ей полтора кило меду, и уже ничего не осталось.

Тонкие губы старухи дрогнули от невольной улыбки. Но Абрам Моисеевич живо представил себе шуструю Берточку в кругу ее приятелей, и как она смеется, откидывая голову, и как угощает приятелей отцовским медом, — и улыбка его перешла в тихий и затяжной смех. Он не мог отказать себе в удовольствии посмеяться над дочкой и ее прожорливыми приятелями.

«Я сдала уже четыре зачета, — писала дальше Берточка, — два на «отлично» и два на «хорошо», и все находят, что у меня еврейская голова. Но еще остались три зачета, и одного я очень боюсь, потому что у меня нет способностей к черчению, и мне помогает Алексей Тесленко, о котором я тебе уже писала...»

— У нее нет способности к черчению. Как вам это нравится, Бейля? — Абрам Моисеевич снова приподнял очки и устремил свой взгляд в потолок. — Она очень огорчается, что у еврейской девушки нет способности к черчению. Но зато у нее есть способность крутить голову отцу и старой Бейле и кому только вздумается.

И Абрам Моисеевич в тысячный раз удивился тому, что судьба дала ему такую дочь, такую непохожую на весь род светловолосых Киссисов, осевший в степях со времен Екатерины. Женщины у Киссисов были высокие и сильные, золотистоволосые и нежнокожие, с могучими бедрами, много и легко работавшие и рожавшие. Такова была мать Абрама Моисеевича, таковы были его тети и сестры. И такую же обильную телом и работающую жену выбрал для Абрама Моисеевича его отец, когда пришла пора женить сына. Она родила мужу четверых. Двое старших умерли малолетками от неизвестной болезни, «сгорели в течение одной недели». Остались Лева и Берта, столь не похожие друг на друга. Русоволосый, плечистый, похожий на украинского парубка, Лева и черненькая, тонкая, словно выточенная из темного янтаря, большеглазая Берточка.

— Читайте дальше, Абрам, — услышал он вдруг голос Бейли. — Не тяните за душу, Абрам, читайте дальше.

Это было так неожиданно, что он уронил очки на кончик носа. Темное лицо старухи поразило его своей напряженностью и тревогой. Только в эти секунды понял он, как любит Бейля его ласковую дочку. В сморщенных старушечьих пальцах, трепетавших на столе, прочитал Абрам Моисеевич повесть безмолвной материнской любви и горести. И, когда он снова принялся за

письмо, необычайное беспокойство старухи передалось и ему, хотя волноваться и нечего было. Дочь была здорова и весела, а ведь это главное.

Берточка спрашивала, как идут дела в колхозе, подписан ли уже договор с МТС, и как идет ремонт инвентаря, и вернулись ли с курсов трактористы, и получил ли учитель книги из Харькова. Она спрашивала также, как понравился тете Бейле платок, пересланный через корреспондента центральной газеты.

— Вот видите, Бейля, — сказал Абрам Моисеевич, — беспокоиться совсем нечего.

Он выпил двумя глотками остывший чай и стал жевать хлеб, намазанный медом. Недочитанное письмо лежало перед ним, обещая еще много наслаждений, и он нарочно тянул, чтобы prolongировать удовольствие.

«А теперь, папа, я должна сообщить тебе важную вещь. Алеша Тесленко — очень хороший парень, комсомолец, и мы вчера зарегистрировались с ним. Я давно хотела тебе написать...»

Абрам Моисеевич дважды перечитал неровные, прыгающие строки и лишь с большим трудом понял, в чем дело. Смысл внезапных слов уплывал, таяла, не давался в руки. Но и тогда, когда было расшифровано значение «хорошего парня» и этого длинного, колючего, как частокол, слова «зарегистрировались», что-то внутри Абрама Моисеевича отказывалось признать разгадку и поверить ей. Он сидел, склоняясь над столом, в позе неуверенности, словно потерял ощущение устойчивости своего тела, своего дома, всего мира. Хлебные крошки, упавшие на его ладонь, так и остались на ней.

Тихий плач привел его в себя. Старая Бейля, слабо раскачиваясь и ничего не видя, плакала на своем табурете.

— Ну, ну, Бейля, — сурово произнес Абрам Моисеевич, — плакать нечего. Радоваться надо, а не плакать.

Но старуха не слыхала его и продолжала горестно раскачиваться, всхлипывая и замирая от плача. Абрам Моисеевич резко отодвинул стакан и, теребя очки, встал.

За окном была зябкая весенняя ночь, набухшая ветром. В неустойчивом лунном свете качались деревья и вместе с ними кренились и валились набок белые домики. Абрам Моисеевич провел ладонью по влажному стеклу. Его Берточка вышла замуж за какого-то Алешу Тесленко. Они расписались в загсе, устроили вечеринку для приятелей, которым очень понравился деревенский мед, и все в порядке. Потом Берточка написала отцу «одну важную вещь», и Алеша Тесленко стоял, должно быть, рядом с ней и смотрел, как она пишет.

Глядя на качающуюся лунную улицу, Абрам Моисеевич вспомнил свою свадьбу с золотоволосой Ханой, которую отец отыскал для него в Херсоне. На самой дороге, против дома Моисея Киссиса, был совершен торжественный обряд венчания под шелковым балдахином, и высокая Хана, сияя счастливыми глазами, плакала, как того требовал обычай, краснея от вольных шуток подвыпившего тестя. Тут же на дороге, загородив проезд, стояли длинные столы, отягощенные яствами. Гуси, куры, фаршированная рыба, рубленая селедка, посыпанная яичным крошечком, янтарные паштеты из печенки, золотистый студень, гигантские пироги, начиненные мясом, рисом и луком, тушенная докрасна картошка. «Сладкие» столы ломились от медовых ржаных пряников, пирогов с маком и яблоками, тортов и варений. На свадьбу приехали все Киссисы — рыжие, черные и светловолосые, из Златополя, Липетовки и Старогай, и родственники невесты из Херсона и Балты, и немцы-колонисты из Шатендорфа. Гуляли три дня и три ночи, ели, пили и плясали, и спали, где попало, и Моисей Киссис пил и плясал больше всех, но держался на ногах крепче и дольше всех. На рассвете четвертого дня, проводив гостей, отец и сын запрягли волов и выехали в степь на работу.

Тихое повизгивание собаки и ее теплый шершавый язык оторвали Абрама Моисеевича от воспоминаний.

— Иди спать, старик, — ласково сказал он, — Берточка вышла замуж, дай бог ей любви и счастья. Не плачьте, Бейля, все будет хорошо.

— Я вспомнила покойницу, Абрам, — скорбно возразила старуха, — и плачу ее слезами... Бог даст, все будет хорошо.

Да, покойная Хана мечтала об иной свадьбе, которую она сыграет своей единственной дочери. Бывало, ночью будила она мужа и шопотом поверяла ему свои надежды и желания... И вот Берточка сама нашла себе жениха, сама вышла за него замуж, сама ввела в семью Киссисов Алешу Тесленко — голя.

— Налейте мне еще чаю, Бейля, — спокойно продолжал Абрам Моисеевич, — и мы дочитаем письмо до конца. И напишем ей, чтоб приезжала к нам со своим... со своим мужем.

Но Берточка приехала только в сентябре, в самый разгар уборки. Она знала, что отец занят, что мысли его заняты бригадами, комбайном и скирдами, что даже сны его полны тревогами и сводками, и потому она не стала извещать его о дне приезда. В четвертом часу утра она соскочила с остановившегося в степи поезда и за ней соскочил высокий худой паренек. Вслед им чья-то услужливая рука бросила чемодан и корзину.

— Приехали, Алеша, — сдерживая радость, сказала Берточка, — отсюда до дому двадцать семь километров. Постой здесь минутку, я поищу подводу.

Алеша посмотрел вслед громыхающей тени поезда и улыбнулся. Ему, городскому жителю, все казалось необычайным: и то, что поезд остановился посреди степи, и то, что здесь, среди утреннего безлюдья, могла найтись какая-нибудь подвода, и то, что он, без году инженер, едет в гости к Абраму Киссису.

«Придетесь пешком итти» — подумалось ему, и эта мысль не вызвала никакого неудовольствия. Было бы так приятно шагать в степи, под застенчиво розовеющим небом.

Но из-за пригорка слышался уже звонкий и довольный голос Берточки.

— Как поживаете, Хаим-Нахман? — кричала она. — Как здоровье вашей до-

чери и ее маленьких? Дайте я помогу вам уложить этот мешок. Вы довезете нас до Новой роши, а дальше мы пойдем пешком. Что пишет вам сын из Аргентины?

Хаим-Нахман, низенький, крепкий старичок, в длинном армяке и теплой шапке с наушниками, приветливо поздоровался с Алешей и помог уложить чемодан под сиденье. Он отвозил и принимал почту для района и хорошо знал дочку Абрама Киссиса. Лошади бежали мелкой рысцой, не очень заботясь о пассажирах, а Хаим-Нахман говернул им спину, отдавшись беседе с приезжими. Он знал все районные новости, и ему доставляло большое удовольствие тараторить нараспев и читать удивление и восторг на лицах слушателей.

У Новой роши старик распрощался с Алешей и Берточкой и повернул направо, к районному центру. Туман над степью уже растаял, становилось жарко. Только теперь Алеша по-настоящему вслушался в многоголосую степную тишину и понял, что вокруг пульсирует большая жизнь. Он услышал полет ястреба, щелканье кузнечика, царапанье полевой мыши, шорох колосьев, дыхание земли. Ему не хотелось говорить, и он шагал молча, изредка улыбаясь жене.

— Хорошо здесь у вас, — сказал он наконец, — просторно... Как странно, что ты прожила здесь девятнадцать лет.

— Папа будет ругаться, что мы не предупредили его, — отозвалась Берточка, — он прислал бы лошадь... Но у него теперь горячая пора, а я люблю ходить по нашим дорогам. Тебе не тяжело?

— Ты думаешь, мой чемодан тяжелей твоей корзины?

— Я привыкла, — засмеялась она, — ведь я в поле работала...

— Тоже герой.

— Ты у меня городской, деликатный...

Беспричинно смеясь и подшучивая друг над другом, они бодро шагали и почти не чувствовали усталости. Когда внизу показалась речка и каменные строения на берегу, Берточка опустила корзину и села на нее.

— Больше года я здесь не была, — тихо сказала она, — и почему-то волнуясь... Папка ругаться будет.

— Вставай, — отозвался Алеша, — чего расселась посреди дороги? Едет кто-то...

Огибая речонку, в гору в'ехала тачанка. Сбруя горела на солнце, и Алеше казалось, будто над головой коня взвиваются золотые птицы. Берточка встала и посмотрела вниз из-под ладони. Вдруг она сорвалась с места, ликующе прокричала что-то на незнакомом Алеше языке и побежала с пригорка.

Алеша видел, как тачанка осадилась на полном ходу, как на дорогу соскочил высокий человек в сером пиджаке и, подняв Берточку, как ребенка, на руки, принялся целовать ее. Не было никакого сомнения, что это и есть Абрам Моисеевич. Алеша смотрел во все глаза: трудно было поверить, что этот светловолосый, с легкой проседью в бороде, могучеплечий мужик — еврей и что он отец Берточки.

Алеша не знал, как держать себя с этим неожиданным человеком, но Абрам Моисеевич крепко обнял и поцеловал его, потом отступил на шаг, чтоб лучше рассмотреть гостя, и снова обнял его.

— Шолом алейхем, сынок, — сказал он, — это, по-нашему, по-еврейскому, здравствуй. Видно, понравились тебе ново-чистопольский мед и ново-чистопольские девушки.

— Он такой же высокий, как ты, папка, — торжественно возвестила дочь, — я одна среди вас такая маленькая. Откуда ты узнал, что мы приехали?

— У нас, доченька, свой телеграф. Хаим-Нахман сказал Зунделю — кооператору, тот передал еще кому-то... Садись, дочка, и поезжай, старая Бейля плачет уже в три ручья... А мы с Алешей пройдемся пешком и потолкуем...

О чем толковали Абрам Моисеевич и Алеша, огибая речку и медленно подвигаясь по улице села, об этом Берточка никогда не узнала. Это осталось «мужской тайной», как заявил впоследствии Абрам Моисеевич. И сын харьковского слесаря Алексей Тесленко вступил дорогим сыном в дом Абрама Киссиса.

Когда гости закусили и выпили по чарке настойки, Абрам Моисеевич встал и надел пиджак.

— Теперь, детки, надо вам отдохнуть, — сказал он, — а мне пора на службу. У меня два комбайна на уборке, сорок шесть мажар и три трактора на посеве... А вечером начнем поднимать зябь... Вы уж меня сегодня не ждите, вернусь под утро. Если будут спрашивать, скажите, что уехал в степь. А завтра вечером запрягу вам Серого и поедем в гости к дяде Евлею.

В конторе его дожидался уже уполномоченный райисполкома, и Абрам Моисеевич сразу окунулся в дела, сводки, списки, расписания... Эта осень была совсем не похожа на предыдущие: уборка, хлебосдача, посев и зяблевая вспашка, — все было сплетено, все проводилось сразу в одном могучем напряжении. Нужно было всегда помнить о каждой машине, лошади, подводе и прежде всего — о каждом человеке, которого он, Абрам Моисеевич, от имени советской власти и колхозного строя вел в наступление. Нужно было помнить о скирдах, амбарах, подпругах и мешках, о бензине и запасных частях, о пятидневных сводках и показателях в соревновании и прежде всего — о времени и силах людей, борющихся за нынешний и будущий урожай и счастливую советскую жизнь. Вот почему он только спустя много часов вспоминал о дочери и ее Алеше.

«Ладный парень, — подумал он, седлая коня, чтобы ехать к комбайнам, — ей за ним будет хорошо».

Вторично вспомнил он о дочери, когда проверял работу второй молодежной бригады. Эти жилистые парни и рослые девушки, так споро и ловко управлявшиеся с тяжелыми снопами и молодецки вскакивавшие на самый верх мажары, пробуждали в нем чувство гордости, словно он был их отцом, словно в них влокотала его собственная сила. Но тут же кольнуло его воспоминание о дочери: тоненькая, хрупкая, осунувшаяся за год, она не могла идти ни в каком сравнении с теми, кто трудился здесь, перед его глазами. И ему стало немного грустно. В роду Киссисов все любили суровый

труд на земле, отдавая ей свои силы и получая от нее новые.

И в третий раз вспомнил он о дочери поздно вечером, когда лучший тракторист Моня Леес отказался смениться и заявил, что остается на машине до утра, потому что работавший с ним в паре Вася Чернобыль испортил себе руку и вынужден был ходить с перевязкой.

— Зря ты это, Моня, — увещевал его Абрам Моисеевич, — уснешь у руля. А завтра к часу тебе опять выходить на работу. Лучше бы ты пошел отдохнуть, а я посажу за руль кого-нибудь из девушек..

— Чтоб она сломала мне машину? Нет, Абрам Моисеевич, я на это не согласен. Слыханное ли дело, чтобы Моня Леес заснул у руля? А завтра в час я буду свеж, как бабушкин коржик. Можете не беспокоиться, Абрам Моисеевич.

— Он о бензине хлопочет, — сказал стоявший рядом бригадир, — у него экономия на бензине серьезная, а чужой водитель всю экономию и слопает.

— Ну, как хочешь, Моня, — сдался Абрам Моисеевич, — только смотри, чтоб завтра к часу...

— Как в аптеке, Абрам Моисеевич, будьте спокойны!

И снова тайная зависть кольнула Абрама Моисеевича, когда он пожал руку худощавому и потному Моне. Вот как нужно трудиться, вот как трудятся на земле! А его хрупкая Берточка гуляет сейчас или читает книжку. Конечно книжка тоже великое дело, и Берточка станет инженером-конструктором и будет строить машины, а муж ее, Алеша Тесленко, тоже станет инженером и будет управлять машиной. Они приехали после года тяжелого труда, учебы и практики, они приехали отдохнуть и набраться сил... Все это так. И тем не менее ему было как-то не по себе: сам он и Моня Леес, и попортивший себе руку Чернобыль, присланный из МТС, и девушки из второй бригады, и все, кто только мог работать, трудились могуче и яростно, были охвачены великой страстью труда... Все, кроме его Берточки и Алеши.

Нужно было проверить еще работу двух тракторов на зяби, но участки от-

стояли далеко, а полевод сообщил ему, что бригады сменились час тому назад и все в порядке. Поэтому Абрам Моисеевич решил, что на зябь он наведается завтра с утра, а сейчас поедет домой и поговорит с дочерью: ведь он еще и двух слов с ней не выговорил по-настоящему. Он еще раз проверил завтрашние наряды и поехал домой.

Но ни дочери, ни зятя не оказалось дома, а старая Бейля не знала, куда они девались. Они поужинали в восьмом часу и вышли погулять... Абрам Моисеевич недовольно сморщился. Было уже полночь, а завтра предстояло рано вставать. Все же он решил, что дождет-ся прихода дочери, и одетый прилег на топчан.

Сквозь сон он услышал в комнате незнакомые шаги и сдержанный разговор и мгновенно сел, ошеломленный сонными догадками. Буйный рассвет пробивался в окно, и Бейля, стоя посреди комнаты, нарезала хлеб.

— Что такое? — спросил Абрам Моисеевич. — Где ты была, Берточка?

— Ты бы разделся и спал по-человечески, палка, — недовольно отозвалась дочь и, сев с ним рядом на топчан, прижалась к нему холодным лицом и ледяными пальцами. — А мы были на зяби, в ночной смене. Мы работали с Алешей на пару, ведь он хороший тракторист, и перегнали Мулю Спивака на четверть га. И ты должен записать нам наши трудодни, а то мы будем жаловаться в совет и правление колхоза, и тебе плохо придется... И мы умираем с голоду, тетя Бейля, как будто мы ничего не ели с прошлого понедельника.

— Кровь Киссисов, трудовая кровь, — сказал Абрам Моисеевич и прижался щекой к щеке дочери, тщетно пытаясь согреть ее. Иди спать, женщина, и не мешай мужчинам толковать о своих делах.

III. Ошибка

Сутки пробыл Абрам Моисеевич в районном центре, переходя из одного учреждения в другое и беседуя на улице с колхозниками. Старая еврейская коло-

ния, основанная полтора года назад, выглядела по-новому. На площади, против колодца, где спокон века валялись кучи белого камня, высился теперь двухэтажный кирпичный дом — единственное двухэтажное здание в поселке. В маленьких и чистых комнатах дома помещался районный исполком с его отделами и районный комитет партии. Было и еще несколько новых зданий, выстроенных за последние два года: общественная столовая, почта, сыроварня. В самом конце Нижней улицы разматалась большая стройка: там воздвигалось здание районной машинно-тракторной станции. Вековая тишина, висевшая над поселком, была так основательно нарушена, что трудно было себе представить, как выглядела площадь без кирпичного дома и без черного фордика, который безмятежно покоился у высокого крыльца.

Закончив свои дела в райисполкоме, Абрам Моисеевич пообедал в общественной столовке, где встретил немало знакомых. Был здесь и Хаим Купчик, переселенец из колхоза им. Смидовича, веселый и болтливый человек, который ухитрился построить лучший в районе свинарник. Кроме того, он был знаменит тем, что никто не мог противостоять его шуткам и прибауткам. Уж если Купчику нужно было добиться чего-нибудь для своего поселка, то никто не мог уйти от его рук. Абрам Моисеевич повстречал здесь также Крамера из немецкой колонии, которого не видел очень давно, чуть ли не пятнадцать лет. Да, пятнадцать лет прошло с тех пор, как Иоганнес Крамер спрятал у себя шестнадцатилетнего Леву Киссиса, которого разыскивали гайдамаки. Подсел к Абраму Моисеевичу и Остап Руденко, более известный под кличкой Шамес: Остап мальчонкой попал в Златополь, батрачил у еврейских колонистов, научился говорить по-еврейски и даже писать справа налево печатными еврейскими буквами. Теперь Остап Шамес работал старшим конюхом в еврейском колхозе имени Коминтерна.

После обеда в райисполкоме состоялось совещание, на котором Абрам Моисеевич сделал доклад о работе и нуж-

дах колхоза. Ему пришлось выслушать немало неприятных вещей, и он должен был сознаться, что с использованием инвентаря и организацией работ в бригадах дело обстоит не совсем благополучно. Потом он вместе с председателем райисполкома осматривал строительство МТС, а вечером Абрам Моисеевич заглянул в редакцию районной газеты. Редактор Темкин, близорукий и торопливый человек, у которого карманы всегда были полны какими-то газетными вырезками, письмами и сводками, сообщил ему новость. Из Харькова пришло сообщение, что в еврейские районы выезжает американская делегация для ознакомления с жизнью старых и новых поселков. В состав делегации входят представители от разных американских благотворительных обществ.

— Ну, что ж,—сказал Абрам Моисеевич,—примем их, как подобает. Неужто они с пустыми руками явятся?

— А чего бы вам хотелось, Абрам Моисеевич? — хитро прищурился редактор. — Ведь вы рассчитываете на премию.

— Обойдемся и без американской премии, — улыбнулся в ответ Абрам Моисеевич. — От автомобиля конечно не отказался бы...

— Ого!

— А как же, автомобиль — дело хорошее... Когда же они приедут?

— На этих днях.

— Время неподходящее, — задумчиво сказал Абрам Моисеевич, — некогда возиться с ними. Да уж ладно, в грязь лицом не ударим.

Пожимая ему на прощанье руку, редактор сказал:

— Завтра к вечеру буду у вас, Абрам Моисеевич. Хочу побывать в поселках, проверить показатели.

— Милости просим.

Покидая редакцию, Абрам Моисеевич думал о том, что редактор Темкин — человек основательный и приятный, но слишком уж он тороплив и чересчур любит произносить длинные речи. Каждый раз, появляясь в поселке, он созывает разные совещания и произносит речи, и

хотя говорит он складно и со знанием дела, но Абраму Моисеевичу всегда кажется, что все эти совещания можно было бы соединить в одно, а речи редактора можно было бы сократить во много раз. Впрочем, не такая уж это беда. Не в пример прежнему редактору Темкин неплохо знает крестьянство и умеет разбираться в людях.

Абрам Моисеевич переночевал у знакомого колхозника, а на заре отправился в обратный путь. Им овладело вдруг смутное беспокойство, когда, обгоняя его, по широкой улице села пронесся грузовик. На грузовике лежали железные балки и доски, предназначенные, по видимому, для строящейся МТС, и Абраму Моисеевичу показалось почему-то, что ленивый краснолицый парень, сидевший на досках, поглядел на него с усмешкой.

— Зря я заночевал здесь, — вслух подумал Абрам Моисеевич, — надо бы с вечера... домой...

Грузовик повернул к стройке, сопровождаемый тучей пыли, и Абрам Моисеевич еще более ощутил укус внезапной тревоги. С тех пор, как его выбрали председателем колхоза, эти уколы внезапного беспокойства настигали его часто и без всякого видимого повода.

— Веселей, Серый, — прикрикнул он на коня, пытаюсь суровостью тона заглушить тревогу, — отдохнул на казенных харчах... Но, но, не вихляй, я тебе покажу вихлять.

Скоро Абрам Моисеевич пришел к выводу, что оснований для беспокойства было достаточно. Как управился Сендер с отправкой обоза на ссыпной пункт? Не случилось ли чего с комбайном? Не запил ли Муля Спивак? С ним это бывает. Потом вдруг вспомнилась Берточка, ласковая черноглазая дочка, уехавшая в далекий Харьков, и сладостная грусть прильнула к сердцу Абрама Моисеевича. Десять дней гостила у него Берточка со своим мужем, и дни эти пронеслись, как тень птицы, и на поверку обнаружилось, что о многих важных вещах не успел он как следует потолковать с дочерью.

Гладкая степная дорога, знакомая с детства, прорывалась сквозь сухую однообразную степь. Иногда вдали желтели скирды, чернела изрытая, словно камнями заваленная, зябь. От земли вставал сухой и неподвижный зной, и казалось, что дорога бежит по руслу высохшей от зноя речки. Проехали двенадцатый и одиннадцатый поселки. Улицы были пустынные, и белые домики казались слепцами, отвернувшими лицо.

«Поздно спят» — подумал Абрам Моисеевич, но в мысли этой не было ни удивления, ни осуждения. Он был слишком отягощен собственными заботами, чтобы волноваться чужими.

В такие ясные осенние утра он всегда поднимался до зари, — так было заведено с незапамятных лет, с самого раннего детства. К этому приучил его отец. У них было небольшое хозяйство, и отцу приходилось много работать, потому что у Моисея Киссиса были три дочери и один сын, младший в семье. Маленький Абрам всячески старался помогать отцу, и тот снисходительно принимал сыновьи старанья, хотя иногда и посмеивался над мальчиком: уж такой он был человек, этот Моисей Киссис, что выше всего на свете ставил хорошую шутку и крепкое, вкусное слово. Он шутил даже в синагоге, в самые торжественные минуты, и у восточной стены, где было постоянное место Моисея Киссиса, всегда слышались покашливания и сдержанные смешки...

Абрам Моисеевич так углубился в воспоминания, что не заметил, как миновал разветвление дорог, и только случайный взгляд на развалины старого ветряка привел его в себя.

— Ты куда же это, Серый? — удивленно спросил он. — Ты зачем свернул, я тебя спрашиваю?

Конь, виновато кося глазом, остановился. Абрам Моисеевич хотел уже было сделать Серому строгий выговор, но тут же ему пришлось в голову, что конь-то, пожалуй, не виноват. Вот уже несколько лет, как, возвращаясь домой, Абрам Моисеевич сознательно удлинял свой путь, чтобы заехать в седьмой поселок. И Серый так привык к этому, что сам выбирал дорогу.

— Ну, как знаешь, — примирительно сказал Абрам Моисеевич, — некогда мне сегодня, да уж ладно... будь по-твоему.

Седьмой поселок возник недавно, всего лишь лет семь назад. Абрам Моисеевич хорошо помнит, как приехала в Ново-Чистополь первая комиссия из Москвы — евреи, говорившие на жестком литовском диалекте и с любопытством присматривавшиеся к жизни старых колонистов. Один из членов комиссии, землемер, остановился у Абрама Моисеевича и стал рассказывать, что правительство решило поселить в степи несколько тысяч еврейских семей.

— Что им делать в местечках? — спрашивал землемер, словно оправдываясь в чем-то. — Сами знаете, Абрам Моисеевич, частная торговля идет ко дну. Сотни лет жила с воздуха, а теперь такое время, что надо о настоящей жизни подумать. Как вы на это смотрите, Абрам Моисеевич?

В течение той зимы наезжало несколько комиссий, а с весны началось переселение. В пяти километрах от Ново-Чистополя стал создаваться седьмой поселок, и Абрам Моисеевич с любопытством и нескрываемым недоверием наблюдал за пришельцами. Сначала был хаос, шум, как в дни сотворения мира. Среди голой степи, вокруг одного единственного белого домика, где помещались контора уполномоченного, склад сельскохозяйственных орудий, продовольственный склад и лечебный пункт одновременно, раскинулись десятки палаток. Промеж палаток бродили озабоченные бородатые люди, женщины разыскивали детей, козы рылись в домашней утвари, черноглазые парнишки опасно водили на поводу лошадей, худенькие девушки со слезами на глазах доили равнодушных коров. То и дело прибывали со станции подводы и грузовики, люди с проклятьями волокли куда-то ящики и, обступая уполномоченного, кричали, что вот в четвертом поселке уже выстроены хаты, а здесь ничего нет, кроме проклятого колодца, который визжит на весь мир. Вспотевшие молодые люди с воспаленными глазами убеждали в чем-то бордачей, по многу раз обме-

ряли участки и рассказывали, как будет выглядеть улица, и седобородые евреи в потрепанных ермолках не могли понять, почему всех селят на одной улице, а не в переулках. По ночам зажигались костры, и отблеск их был виден далеко в степи. Абраму Моисеевичу часто приходило в голову, что так вероятно выглядело переселение его древних предков из Мицраима в страну Ханаанскую.

Люди из седьмого поселка строились шумно и подчас бестолково, но все же строились, и вот из хаоса начали вырисовываться очертания жилищ и людей. Не проходило дня, чтобы кто-нибудь из новопоселенцев не являлся в Ново-Чистополь. Люди приехали издалека, многого не захватили с собой, и было естественно, что они обращаются за помощью к старожилам. Но в речах их была какая-то неуверенность. Они слишком много расспрашивали о погоде, почве, ветрах и сусликах. Новая жизнь пугала их неведомыми опасностями.

— Чего вам бояться? — насмешливо спрашивали иногда старожилы. — Вам советская власть помогает, вам бояться нечего. Вот когда наших дедов бросили сюда на произвол судьбы, волкам на поправу, тогда действительно тошно было. А вам нечего плакаться...

Новые колонисты не желали однако вспоминать о дедах. Они были полны сегодняшним днем, а завтрашний день был насыщен тяготами и неожиданными опасностями. И они в тысячный раз переспрашивали о почве и ветрах, они хотели знать, как долго тянется полоса дождей и как лучше всего сохранять молоко. Женщины с завистью смотрели на добротные дома старых колонистов, на старые вместительные сундуки и фотографии на стенах.

Первая зима прошла в непрерывных тревогах и заботах. В четвертом поселке украли двух лошадей. Три пьяных украинских парня избili пожилого еврея из одиннадцатого поселка и грозились спалить весь поселок. Сельскохозяйственные машины в неопытных руках поселенцев часто ломались и не хотели работать. Абрам Моисеевич и многие его односельчане были уверены, что поселенцы не выдержат испытаний

и побегут. Но дело обернулось совсем по-иному.

Тысячи людей, получивших возможность работать на земле, так крепко прильнули к ней, что их не могла оторвать никакая сила. Они вгрызлись в эту неподатливую степную землю, трогали ее руками, часами не отрывали от нее глаз, бормотали о ней во сне. В течение месяцев они приобретали те самые навыки, которые приобретались другими в продолжение столетий. Неудачи выводили их из себя. Дрожь всем телом, худые и порывистые, они проклинали тогда свою судьбу и вспоминали о местечке, которое издали казалось таким мирным и родным. Старики облачались в талесы и жарко молились, повернувшись лицом на восток, и самозабвенно раскачивались. Но молодежь с новой силой принималась за работу, снова ржали лошади и скрипели мажары, и так тянулась борьба человека за землю. А спустя три-четыре года никто не вспоминал уже о первой мучительной зиме, и вокруг, в степи, росли все новые поселки.

Когда началась коллективизация, переселенцы седьмого поселка первыми откликнулись на нее. Под председательством старого Шалыта, бывшего мелкого лавочника из местечка Лиозно, создавалось в поселке первое общество по совместной обработке земли, в которое вступили все хозяйства поселка, кроме одного. Отказался вступить только Гилель Соскин, набожный еврей, свято оберегавший все религиозные установления. Он заявил, что колхоз — против бога, а он, Гилель Соскин, не такой дурак, чтоб идти против бога и его священной торы. Молодежь предложила выгнать его из поселка, но члены правления колхоза только посмеялись и оставили старика в покое. Это был первый колхоз в округе, если не считать уже распавшейся коммуны, которая была организована несколько лет назад бывшими красными партизанами.

Сын председателя колхоза, комсомолец Меер Шалыт, высокий, тонкий юноша с черными, почти сросшимися густыми бровями, предложил назвать колхоз именем «Правды», и его предложение

было принято. Он же предложил разбить всех членов артели на бригады. Вообще он был очень толковым и способным парнишкой, и Абрам Моисеевич хорошо знал, что именно благодаря Мееру старый Шалыт вырастил в двадцать восьмом году первосортную пшеницу, которая получила премию на областной выставке. Поэтому-то Абрам Моисеевич и не возражал против того, что чернобровый Меер ухаживает за Берточкой: дай бог каждому еврею такого зятя! Правда, дело повернулось иначе. Берточка нашла себе в Харькове другого мужа. Но ведь от такой случайности никто не застрахован...

Когда ново-чистопольцы организовали колхоз «Новый путь» и выбрали Абрама Моисеевича председателем правления, между «Новым путем» и колхозом имени «Правды» началось соревнование. Вот тогда-то Абрам Моисеевич и зачастил в седьмой поселок, где его всегда хорошо принимали. Старый Шалыт любил беседовать с ним на самые разнообразные темы, но в конечном итоге разговор сводился к хлебозаготовкам, посеву, качеству зерна. Оба председателя зорко следили друг за другом: ведь была затронута не только честь колхоза, но и их собственное достоинство. В тридцать первом году первую премию райисполкома получили правдинцы, а в следующем году «Новый путь» взял реванш и не только вышел на первое место в районе, но и получил почетную грамоту и киноустановку от областной газеты...

— Веселей, Серый, — сказал Абрам Моисеевич, — этак мы с тобой никогда не доберемся до дому.

Седьмой поселок жил уже своей будничной, деловитой жизнью. Белье неогороженные домики казались умытыми и отдохнувшими. Огромный рыжий детина, немой Берль, кузнец, печник и плотник, возился у кузницы, иступленно вращая глазами: он пытался объяснить что-то своему подручному, но это ему, видимо, не удавалось. У колхозного амбара сгрудились телеги, на которых подростки укладывали мешки с зерном. Два старичка торопливо шли по улице, энергично жестикулируя и заглядывая

друг другу в лицо. В дорожной пыли купались цыплята. Абрам Моисеевич пожалел, что сделал крюк и не поехал кратчайшей дорогой в Ново-Чистополь.

— У этих дело идет на лад, — сказал он Серому, — народ работающий. Смотри, брат Серко, как бы они еще нас с тобой не обогнали.

Лошадь укоризненно помахала хвостом, и Абрам Моисеевич не мог сдерживать улыбки. Серый был прав: на этот раз правдинцы никак не могли перегнать новопутцев. Третьего дня еще колхоз «Новый путь» сдал на сыпной пункт последние шестьсот пудов зерна по заготовкам да с посевом дела не так уж плохи. Вот надо бы еще налечь на зябь... Зябь, зябь! Вот отчего Абрама Моисеевича томит беспокойство...

Проезжая мимо колхозного правления, Абрам Моисеевич увидал в окне старого Шалыта и, остановив лошадь, поздоровался.

— Здравствуйте, реб Абрам, — приветствовал его Шалыт. — Из района? Как там дела в районе?

— Доброго здоровья, реб Гирш, — Абрам Моисеевич подошел к окну и степенно протянул собеседнику руку. — В районе ничего нового. Кое-кого повидал, потолковал...

— Доброй субботы, Абрам Моисеевич, — из-за плеч старого Шалыта показалось озабоченное, невыспавшееся лицо Меера. — Вы и забыли, верно, что господь сотворил твердь и небо в шесть дней, а на седьмой отдохнул и выпил водки.

— А ведь и впрямь забыл, — Абрам Моисеевич залился неслышным смехом. — Как дела, Меер? Вот скоро гости приедут, американцы... Перцовки припаси, они это любят.

— Гости, — мрачно отозвался Меер, — есть у меня время гостей принимать. Не знаете ли, Абрам Моисеевич, когда собирается к нам товарищ Темкин?

— Сегодня к вечеру товарищ Темкин будет у нас в Ново-Чистополе, — медленно, словно соблюдая великую осторожность, произнес Абрам Моисеевич, — я был вчера в редакции.

— Созовете общее собрание?

— Придется.

— Часов на пять, — через силу улыбнулся Меер и стал нервно засовывать бумаги в карманы пиджака. — Дай бог ему здоровья, любит наш редактор поговорить.

— Товарищ Темкин не прочь поговорить, — сдержанно подтвердил Абрам Моисеевич и незаметно ухмыльнулся в бороду. — А человек он хороший, душевный...

Меер нахлобучил кепку на свои пышные волосы и двинулся к двери, но какая-то сила, подобно невидимому рычагу, снова бросила его к окну.

— Человек он душевный и редактор хороший, не спорю. — Он положил руку на подоконник и стремительно отдернул ее, словно из дерева ударил электрический ток. — Зарежет он меня, этот хороший редактор. Зарежет, как цыпленка.

Абрам Моисеевич не выдержал и снова затрясся в беззвучном смехе. Когда он смеялся, глаза его совершенно исчезали, и аккуратная седеющая борода каздалась кверху.

— Хорошо вам смеяться, Абрам Моисеевич, — в голосе Меера звенела обида, — у вас сводка хорошая. Что ему у вас делать, Темкину? Вечером придет, утром уедет, — вот и весь разговор. А мне с ним два дня канителиться, заседать, резолюции принимать. Ведь вы его знаете. Селькоров — созвать, комсомольцев — созвать, бригадиров — созвать, правление, инспекторов, чорта лысого... Всех ему подавай. А попробуй увильнуть — в оппортунисты попадешь. Заговорит он нас до колик в животе.

— Не горячись, Меер, — мягко оставил его отец, — ну, придет на денек...

— Вы поймите, Абрам Моисеевич, какие у нас дни сейчас. Последние... Четыре дня осталось до конца месяца, и каждый денек — вот он, как на ладони. Вы знаете, из-за чего мы отстали: то люди болели, то трактор сломался. Только-что подтягиваться стали, ребята работают, как львы, а тут, пожалуйста, Темкин... Потом еще американцы нагрянут. Есть у меня время канителиться с ними

— А ты им так и скажи: дорогие граждане, некогда мне с вами заседать. Работать надо.

Меер подозрительно оглядел собеседника, поймал в бороде его след потаенной улыбки и пошел к двери.

— Будьте здоровы, Абрам Моисеевич!

— Прощай, Меер, не огорчайся. Все уладится.

— Да, — протянул старый Шалыт, глядя вслед сыну, — большая это забота. Уж очень любит он заседать да говорить, редактор наш.

— Обойдется, — повторил Абрам Моисеевич, — сколько процентов вы сдали по заготовкам?

Старик словно не слышал вопроса. Его серые, в зеленых прожилках, мечтательные глаза были устремлены неизвестно куда.

— В Лиозно, — задумчиво сказал он, — в местечке, откуда мы приехали, был старый меламед, и звали его Хаим-Вольф. Хаим-Вольф звали его. Он был хороший меламед и сек своих питомцев не чаще, чем раз в неделю. И, знаете, он тоже любил поговорить. Он мог говорить под ряд три часа, четыре, шесть... круглые сутки мог он говорить, и бог его знает, о чем он говорил. Когда он начинал исходить речью, то уж ничто не могло его удержать, и он забывал, где он и что с ним. Я сам видел, как во время такой речи он взял со стола целую, неразрезанную еще седлку, он взял ее вот так, за хвост, и всю отправил в рот — с головой и хрящиком, да так и с'ел всю, без остатка...

— Батюшки! — Абрам Моисеевич бессильно лег на подоконник, содрогаясь от неслышного смеха. — С головой, вы говорите, реб Гирш?

— С головой и хрящиком, реб Абрам. А по субботам, как вам известно, реб Абрам, родители приглашали Хаим-Вольфа на обед, как полагается, и это было чистое несчастье... Потому что он приходил прямо из синагоги и начинал говорить еще на улице, и так он говорил до вечера, пока засыпал на стуле... И мы, родители, собрались и распределили субботы, по очереди, чтобы

каждый знал наперед, когда ему приглашал Хаим-Вольфа...

Абрам Моисеевич ладонью провел по глазам, стирая с лица смех и выступившие от смеха слезы.

— Пора ехать, реб Гирш, — сказал он, — приезжайте в гости.

Взявшись за поводья, Абрам Моисеевич ощутил, что томившее его с раннего утра беспокойство улеглось. В Ново-Чистополе, надо полагать, все было в порядке. Если бы приключилось что-нибудь особенное, то уж правдинцы знали бы.

В колхозе все оказалось в порядке. Тракторист Муля не запил в отсутствие председателя, последний обоз с зерном ушел и вернулся, своевременно, комбайн был в целости. Но зяблевая вспашка шла медленно, и Абрам Моисеевич с головой нырнул в заботы дня. Колхоз был большой, люди в нем были разные, и со всеми своими нуждами и обидами шли они к председателю. Только к вечеру Абрам Моисеевич вырвался в степь и проверил, как пахут тракторы. Он похвалил Моню Лееса, обещал премировать его на общем собрании и рассказал ему историю о меламенте Хаим-Вольфе, который в пылу беседы с'ел селедку с головой и хрящиком. Вернулся он в поселок на закате солнца и, хлопывая по крупу рыжую кобылу, думал о редакторе Темкине и правдинцах.

— Зарежет он их, как цыпленка, — произнес он вслух, и ему снова стало весело, но к веселью примешалась какая-то горечь. Все-таки жаль Меера и его ребят. Они бьются из последних сил, чтобы наверстать упущенное, а тут... изволь канителиться с Темкиным. А старый Шалыт, бывший лавочник из Лиозно? Сколько сил и крови отдал он, чтобы покорить непослушную степную землю. Сколько ночей не досыпал, вставал на заре, чтобы раньше других выехать в степь...

— Да, — повторил Абрам Моисеевич, — зарежет он их, как я еврей.

На камне у самого в'езда в деревню сидел редактор Темкин и беседовал с тремя маленькими девочками. У толстого дяди были очки и длинный нос, и он

рассказывал такие смешные истории, что девочки приседали от смеха.

— Здравствуйте, товарищ Киссис, — вскочил редактор и побежал навстречу председателю. — Как поживаете? Как дела? Как здоровье? Привез вам последний номер газеты, тут и заметка о вашем колхозе. Редакция выдвигает вас кандидатом на премию... Собрание подготовили? Завтра утром хочу попасть в седьмой поселок, там что-то неладно... в правдинском колхозе... Да вы конечно и сами знаете. Ведь вы с ним соревнуетесь...

— Соревнуемся, — улучив секунду, вставил Абрам Моисеевич. — В контору зайдем, товарищ Темкин?

— Давайте в контору.

Абрам Моисеевич долго обрезал фитиль керосиновой лампы и икал спички, а редактор безостановочно говорил, снимая и снова надевая очки. Все, что он говорил, было правильно и нудно, и Абрам Моисеевич скоро перестал следить за речью гостя. Когда лампа была наконец зажжена, он взял свежий номер районной газеты и прочел заметку о колхозе «Новый путь», о его председателе и бригадирах.

— Что же, — сказал он и положил обе руки на газету, внимательно разглядывая зазубрины на собственных пальцах, — все это хорошо, да не совсем. Ошибка вышла у нас, товарищ Темкин, ничего не поделаешь.

— Не понимаю, какая ошибка?

— Тут напечатано, — Абрам Моисеевич осторожно ткнул пальцем в газету, — что мы выполнили по хлебосдаче все сто процентов. А на поверку выходит — всего девяносто два и пять десятых.

— Быть не может! — редактор налился кровью и, забывая об очках, слепоткнулся в газету. — Но ведь вы сами сообщили... И в районной сводке... Это неммыслимо.

— Я и говорю, что мы ошиблись, — как бы нехотя продолжал Абрам Моисеевич, — газета не виновата.

— А вы знаете, как это называется? — редактор поймал наконец очки и сунул их в боковой карман. — Это называется очковтирательством. Вы вводи-

те в заблуждение партию, советскую власть, нашу печать... Вы срываете планы...

— Я и говорю, что ошибка, — виновато повторил Абрам Моисеевич. — Да мы завтра поправим, товарищ Темкин. Организуем красный обоз, все будет в порядке.

— Но как же собрание? Я приготовил речь...

— А собрание перенесем на завтра, — миролюбиво сказал Абрам Моисеевич. — Завтра же я вам рабкоров соберу... Можно и производственное совещание трактористов...

Редактор долго еще бушевал, но под конец согласился перенести собрание на следующий день и ушел в школу, чтобы побеседовать с учителем. Абрам Моисеевич вышел на крыльцо и глубоко вздохнул. Теплый ветер, напоенный запахами созревших яблок, сена и бензина, стлался по улице. Низко на горизонте горела звезда, словно кто-то проткнул голубую кисею золотой булавкой.

Члены правления молча выслушали сообщение о том, что собрание откладывается. Но, когда Абрам Моисеевич вскользь сообщил, что колхоз выполнил девяносто два процента хлебосдачи, они недоуменно переглянулись.

— Сто процентов, Абрам Моисеевич, на этот раз ты дал маху, — сказал полевод. — Это в прошлую пятитидневку было девяносто два... действительно... а вчера мы с Сендером подсчитали...

— Вот что, товарищи, — тихо сказал председатель, — конечно мы выполнили все сто. Уже и расписка получена. Но есть такие обстоятельства, что надо подождать до завтра. Вечером на собрании объявим, что уж два дня как выполнили, а до вечера — девяносто два... Понятно? — Он обвел глазами присутствующих, улыбнулся, и шесть пар глаз ответно улыбнулись ему. — Ну, вот и все. Можно и отдохнуть.

Он аккуратно погасил лампу, положил в карман спички и вышел вслед за всеми на крыльцо. Племянник его, вихрастый комсомолец, шел по улице.

— Ты куда, Лева?

— Домой. Собрание не состоится?

— Отложили до завтра. Вот что, Левушка! Седлай Матроса и сейчас же поезжай в седьмой поселок. И скажи Мее-ру Шалыгу, что редактор Темкин пробудет у нас день, а то и два.

— Хорошо, дядя, — весело отозвался Лева, — я возьму новое седло.

Ростепель

М. ШЕХТЕР

Ростепель. По крышам, по долинам—
Муторная, темная вода.
Снова пахнут платья нафталином,
И горят на солнце провода.

Полные затейливого скарба,
Предвещая ярмарочный гуд,
Тарахтят грузовики и арбы,
И мальцы за арбами бегут.

Девушки, нисколько не лукавы,
В белом, словно яблони, цвету.
Где-то просыпаются купавы...
Голубь забирает высоту.

Сизый мой дружок, почтарь крылатый,
Цепко твое зренье, тонок слух,

Окажи по дружбе, не за плату,
Самую большую из услуг.

Улицей небесной, над рекою,
Проходя, голубчик, напрямик,
Расспроси Днeпро: живет в покое ль,
Нету ли в работе заковык?

Теплое почтенье — краснофлотцам,
Рыжим, как табак, плотовщикам,
Дяде, если только отзовется,
Тоже, но — с упреком пополам.

Кланяйся стальным и прочим птицам,
Стратонавтам, встреченным в пути,
А у окон милой погоди:
Так ли ей сейчас, как мне, не
спитесь?!



„Здесь жил Антон Чехов“

Рассказ

К. Тренев

I

Летнее солнце еще не выбралось из-за темнозеленого, всегда хмурого, однообразного Шварцвальда. Травы на шоссе и на полянах и исполинская, выше головы, серебряная рожь покрыты богатой росой. Вдали, за туманной Рейнской долиной, сливаются с небом голубые французские Vogезы.

Шварцвальд просыпается. Но спрятанный в одной из его нижних складок курорт еще спит. Закрыты жалюзи отелей, пусто в парке, и спит посреди него большое озеро со стадом лебедей.

В поле тоже еще пусто, но внизу где-то играет пастуший рожок. А от придорожного сенокоса движется по шоссе к курорту ручная тележка, нагруженная сеном. Ее везет, сутулясь, высокая смуглая девушка, а сзади подталкивает, семеня босыми ногами, белокурая девочка лет семи. Они молча везают в улицу, заворачивают во двор нашего пансиона. Навстречу им выходит и принимает тележку мужчина в серой рубашке, с подтяжками, у него юношеская фигура и издали молодое лицо в темных очках, но от углов рта легли глубокие морщины, коротко остриженные черные волосы сильно тронуты сединой. Сено сносится под навес в глубоком молчании.

Но вот курорт просыпается. Проехала прачка на велосипеде с огромной бельевой корзиной на багажнике, прошел медно-красный мясник с двумя складками на толстой шее, с обнаженными до

плеч руками-бревнами на фартуке, завязанном позади медной цепью.

В пансион привезли на паре коров овощи, и хозяйка фрау Эргардт с дочерью Гретхен отбирают морковь, свеклу, капусту. Обе они круглы, красны, как отбираемые овощи. А на балконе, недвижим и тонок, как столб, господин Эргардт, не выпуская изо рта, курит трубку. Это его занятие с утра до вечера.

Из жильцов раньше других просыпаются и показываются на балконе две сестры из Тюрингена, молодые, нарядные, с плоскими красными лицами, плотными, плоскими фигурами на дебелих ногах.

Потом выходит на балкон мой сосед, бескровный старик, с черными, как маслины, глазами, с огромным запасом дряблой белой кожи на лице, на длинной шее и даже на голом черепе. Когда я, в первый раз увидев этого немца, послал ему со своего балкона обязательный здесь на каждом шагу. «guten morgen», он собрал мехи кожи на лице и черепе и, потрясая газетой, закричал резким фальцетом:

— Какой там к чертям гут, когда дугу гнут. Вот, бросают в море тысячи пудов кофе, а мне, черти, приказали торговать именно кофе.

— А вы их не слушайте, бросьте, — посоветовал я для первого знакомства.

— Не могу, — как принцип! Говорит у нас на Украине: скажи, враже, як

пан каже. 34-й год тут скачу!.. Как принцип! Поперечный, Матвей Львович. Очень приятно.

До завтрака мы идем с ним в парк, который уже полон птичьего гама, огромные деревья его прорезаны золотом, на серебре озера белоснежные лебеди; и белоснежен фасад отеля, на котором прибита заветная, волнующая печалью дощечка. Всю дорогу Поперечный ругает немцев и лишь, когда проходим мимо обвитых плющом руин римских ванн, переходит к патрициям, которые научили немцев шарлатанить на воде.

За парком у трамвайного вокзала группа гимназистов чинно ждет трамвая, чтобы спуститься на занятия в Нидервейлер. Вдоль аллей и рядом в садах свесились, чуть ли не на головы им, ветви, обремененные спелыми темнокрасными вишнями. Но гимназисты даже не любят их. Они ведут чинные беседы на школьные темы. Некоторые углубились в латинские и греческие учебники. Я спрашиваю мальчика в синей курточке с белоснежным воротничком:

— Что же это вы не рвете вишен?

На меня поднимаются серые удивленные глаза, пухлые губы отвечают:

— Это не наши.

— Видите. Как принцип, — одобряет Поперечный: — Вот какие идолы растут, никаких заборов не нужно, а если я под этим забором с голоду умирать буду, также и на меня не глянут: «Это не наш!» Как принцип.

За завтраком Поперечный сидит рядом с дамами из Тюрингена, рыцарски ухаживает за ними, восхищается их цветущим видом и, томно вздыхая, говорит по-русски:

— У них в Тюрингене все вот такие рожи, как принцип, а кругом рыцарские замки. Из-за этих-то коров рыцари скакали по Палестинам за славой... Хотя — от такой красы удерешь за тридевять Палестин.

После завтрака немцы рассаживаются на террасе и, стараясь не беспокоить друг друга, беседуют вполголоса час, другой. Мимо по шоссе мчатся машины, мотоциклеты, вдруг на повороте за углом пансиона треск, стих шум моторов: столкновение автомобиля с мотоциклом.

У автомобиля смято крыло, мотоцикл отброшен к обочине, у шофера порезана рука, у мотоциклиста содрана кожа на лице. Через две минуты подехал щуцман на монументальной вороной лошади, одинакового цвета и блеска с его каской, застегнутой под громадными рыжими усами, в сопровождении пса, такого же рыжего, как усы.

Он слез с лошади, измеряет рулеткой какие-то расстояния между автомобилем и мотоциклеткой, между машинами и краями шоссе, делает вычисления. И пострадавшие, и окружившая их публика молча, с уважением, наблюдают за его действиями. Ждут результатов.

Пес тоже некоторое время ждал результатов, потом вошел во двор пансиона и направился было к террасе. Пансионский пес, куцый, серо-пегий, с глазами Бисмарка, не спеша, но решительно пошел гостю навстречу, подошел вплотную. Шерсть чуть поднялась, серые глаза не обещают ничего доброго. остановились морда к морде... Назрел момент, когда по нашим собачьим нравам за короткой прелюдией нарастающего рычания должен последовать взрыв звериного визга с клоками шерсти на месте события, людских воплей и проклятий, с мельканьем дрекольев...

У немцев и на этом фронте несколько иначе. Куцый хозяин молча стоял поперек дороги у самого носа гостя и стал рассматривать архитектуру дома. Рыжий гость совершенно не заметил этого: повернув голову вправо, он был поглощен созерцанием действительно прекрасного вида на Шварцвальдскую долину. Хозяин, повидимому, из уважения ко вкусу гостя, немного отодвинулся в сторону. Гость сделал два-три неторопливых шага вперед по направлению к калитке. Видно было, что он располагает свободным временем. Хозяин обошел его и опять стал перед носом, любясь все той же архитектурой. Гость повернул голову влево, тоже обратил внимание на балкон. Хозяин снова посторонился, а гость, из уважения к куцему хозяину, поджал хвост и зашагал несколько быстрее. Так они вышли на улицу, и тут только гость быстро повернул голову к хозяину и внимательно всмотрелся в

него, но тот уже неспеша шел назад, к себе. Рыжий пес до калитки проводил его взглядом и спокойно вернулся на место катастрофы.

А во дворе напротив трудовой день в разгаре. Девушка с сестренкой уже несколько раз успели привезти с поля сено, теперь она то и дело проходит во двор и обратно с ведрами, корзиной, отвела сначала на водопо́й красавицу-симменталку, принялась убирать двор, а подле неотступно мотыльком мелькает девочка, она сгребает сено, таскает на себе небольшие корзины, кувшины, иногда из глубины двора покажется мать, высохшая, согнувшаяся от работы. В серых глазах ее та же отчужденность, что и у дочерей. И все они целый день молчат, и молчит весь двор, если не считать желтого индюка, который, важно расхаживая по двору и то и дело обиженно дуясь и краснея, выкрикивает что-то очень грозное. Так в молчании кипит работа до сумерек. В сумерках во дворе пусто, только у ворот время от времени маячит силуэт высокой, чуть сутулящейся, девушки. Кого она ждет? Что это за странная семья?

Двадцать лет тому назад здесь на курорте произошли вот какие события.

В июле того года исполнилось десять лет, как из белоснежного отеля, что выходит в парк, полетела в Россию разящая в сердце весть: скончался Чехов. И теперь, в печальное десятилетие, его друзьями, во главе с врачом, на руках которого умер Чехов, прибита над окном отеля дощечка с надписью на немецком языке: «Здесь жил писатель Антон Чехов в июле 1904 г.»

Если бы только — жил... Он здесь умер. Но этого слова нельзя писать на курорте, да еще — на стене коммерческого отеля. Тогда же и теми же почитателями Чехова был поставлен в парке бронзовый бюст Антона Павловича.

А через двадцать дней вспыхнул пожар мировой войны, и добрые баденвейлерские патриоты поспешили бросить в этот огонь чеховский бюст, перелив его на пушки.

И еще один факт имел здесь место в эти дни. У Курта Альбрехта, содержателя извозничьего двора, сразу же, как

началась война, пошатнулись дела, и он рассчитал Франца Шредера, двадцатипятилетнего парня. Франц жил у старика тестя в этом самом доме, что напротив. Здесь у него была жена Луиза с двумя маленькими детьми. А в городе был брат — Карл Шредер, булочник. Франц пришел к брату и спросил, не будет ли у него работы. Но Карл ответил, что не такие теперь времена, что ему самому нехватает дела, от которого он просит не отрывать его по пустякам. Франц пошел искать работы в другие места: искал в Нидервейлере, искал в Мюльхаузене — нигде нет. А когда вернулся домой, Луиза сообщила, что его искал шудман. Сказал, чтоб никуда не отлучался, так как он всякий час может быть призван в армию. Франц в эту ночь не спал, слушал, как плачет Луиза. Потом он взял у тестя 40 марок, поехал в Мюльхаузен и купил на них в магазине ружье. До ночи он где-то скрывался в бору Шварцвальда, а ночью вошел в дом к старухе, одиноко жившей на краю Нидервейлера, и потребовал у нее денег, а для острастки выстрелил в стенку. Старуха упала без чувств, он нашел у нее 70 марок и ушел домой, а ружье по дороге бросил в высокую траву.

Францу повезло: два дня не могли найти преступника, и, чтобы окончательно скрыть следы, он пришел к владельцу магазина и попросил никому не говорить о покупке у него ружья. Через час Франц был арестован, сразу же во всем сознался и был приговорен к 18 годам каторги.

Луиза молча простилась с ним в суде и вернулась домой к детям и отцу. Как жилось ей — ясно. Когда однажды невыносимая нужда прибила ее к дверям Карла Шредера, ей было объявлено, что жена «убийцы» не переступит порога дома честного человека. И это дало тон общественному отношению к ней.

Уже после войны умерла сестра Луизы — вдова; пришлось взять к себе ее девочку.

Так прошло мирно десять лет, когда вдруг до Баденвейлера дошли тревожные слухи: Францу за благонравное поведение предстоит досрочное освобождение. Весть повергла курорт в большое

смятение: преступник вернется в среду честных людей, скомпрометирует курорт, разорит неповинных граждан...

Послана была петиция по начальству, в которой баденвейлерские граждане, во главе с Карлом Шредером, теперь первым на курорте кондитером, умоляли не освобождать преждевременно Франца Шредера. Петиция честных граждан была уважена. Франц просидел в тюрьме еще восемь лет.

Тут Карл снова подал петицию гражданам, чтобы преступник не был допущен на курорт, но на этот раз петиция почему-то не была уважена: Франц вернулся домой.

Разумеется, ему был объявлен бойкот. Сам он тоже понимал, конечно, что надо уехать, и стал было собираться. Но тут заговорила вдруг восемнадцать лет молчавшая Луиза:

— Никуда из своего дома. Тут я пережила все муки — не ушла, все ждала. А теперь, когда дождалась, вернулась всё, — вернулся муж, выросли дети, — бросать? Ни за что! Здесь родилась, здесь и умру.

Карл Шредер принимал даже героические меры: ночью пришел к брату уговаривать его уехать. Предлагал средства на проезд и обещал, что граждане его вообще не забудут. Но Луиза уже не заговорила, а закричала, чтобы он оставил дом «убийцы»:

— Я от вас натерпелась, теперь ваша очередь потерпеть.

— Этакая зловерная!

Граждане избрали мудрейший путь для борьбы со злом: не замечать его. С Францем и его семьей никто в Баденвейлере не говорит, никто не отвечает на их приветствия и, по возможности, не имеет с ними дел. А если уж случится какая-нибудь необходимость, все делается молча, — не глядя.

Так второй уже год живет семья Франца в Баденвейлере на положении немых граждан. Немцу ведь не так уж трудно молчать, и семья Шредера так усвоила это молчание, что оно привилось не только на людях, но и дома. Усвоил привычку не смотреть на людей — не только Франц, не снимающий черных очков, и женщина с отчужденным

замкнутым взглядом, но и девочка. Она не только бегаёт по двору, но и выбегает по делам на улицу в город. Но, почувствовав на себе чужой взгляд, наклоняет голову и опускает на глаза длинные, светлые ресницы. За месяц пребывания я только и слышал ее разговоры с индюком.

II

Вчера вечером я получил сообщение, что французская виза для меня готова, и сегодня собрался было в последний раз побродить в горах, среди поднимающихся до облаков мачтовых сосен. Но с утра погода начала портиться: зацепились за гребни Шварцвальда и поползли к долинам серые клочья, закутались в черные тучи далекие Вогезы. Быстро заволакивало небо. Но у наших хозяев сегодня светлый, праздничный день. То есть самый праздник состоялся несколько дней тому назад: был отпразднован, с большим торжеством, юбилей баденвейлерской вольной пожарной дружины. Господин Эргардт — один из старейших ее членов. Дружинники в прекрасной парадной пожарной форме, с музыкой и большим энтузиазмом прошли церемониальным маршем по всему курорту, пили пиво и говорили речи, потом снялись. Главное же, что сделало праздник совершенно прекрасным, — в нем приняли участие две приехавшие из Баден-Бадена высокопоставленные дамы — покровительницы пожарной дружины. Вот именно эти-то высокие дамы и прислали сегодня по почте господину Эргардту фотографию-группу. Перед этим мы сидели с Эргардтом на балконе, где он проводил предобеденные часы в полной неподвижности, и беседовали о величии немецкой природы и немецкого народа.

Когда мимо пансиона прошла к себе на двор Луиза, я спросил его мнение о ней.

— Э, лентяйка, — махнул он рукой и постарался замять этот разговор.

На счастье, фрау Эргардт подошла к нам, вся сияющая, и раскрыла перед нами фотографию, где в первом же пожарном ряду сидит именно господин Эргардт. Оказывается, тут же, почти рядом с ним, и две прекрасные дамы.

Фрау Эргардт с умилением и гордостью поясняет, что дамы — это подлинно те самые высокопожарные дамы-покровительницы и что это они сами, по своему расположению, прислали фотографию. Господин Эргардт тоже тронут и горд, но, как истинный герой, скромно и молча рассматривает фотографию, только чуть вспотел. А фрау Эргардт поясняет, как и что. Вся она разругалась, маленькие голубые глазки сияют счастьем. Действительно, при виде этой прекрасной группы крепче верится в местное пожарное дело, и смело можно надеяться, что в Баденвейлере и в грядущие годы не случится ни одного пожара, как не случилось в годы предыдущие.

Поблагодарив за удовольствие, я пытаюсь продолжать прерванный разговор о Франце и Луизе. Господин Эргардт в ответ пытается обратить мое внимание на то, что благородный господин, который сидит через одного, рядом с ним, — это и есть именно Карл Шредер, лучший и честнейший на курорте кондитер.

Но я опять возвращаюсь к Францу Шредеру. Фрау Эргардт, подняв глаза к небу, шепчет:

— Это крест наш, но бог вознаградит нас за наше непрерывное терпение.

И как-раз в этот момент терпение фрау Эргардт прерывается: еще не сошедший со щек румянец радости вдруг собирается в красные пятна — на щеках, на лбу, на носу; в глазах, только-что светившихся умилением, забегали злые огоньки. Задыхаясь, шепчет:

— Ничего, ничего, нам бог уже дает, выдаем Гретхен за прекрасного человека, а вот они теперь пусть попробуют удерживать своего жениха на веревочке.

— Разве у их дочери есть жених?

— Был. Пока не вернулся каторжный отец. В дом хотели парня взять. А теперь, конечно кто же в каторжную семью посмеет войти? Родной сын, и тот уже уехал! Так чужой войдет?

— Э, пусть войдет, — разрешил господин Эргардт.

— Пусть, пусть, только к честным людям из этого гнезда уж не показываться... Ну, да уж он понял, уж две недели не заходит, даже вечером... Мы конечно на них не обращаем никакого

внимания, а уж она, девка, ночью стоит, стоит у ворот и придется, и за угол выглянет, вот так!

Фрау Эргардт, колыхая от смеха круглое туловище, на коротеньких ногах, очень похоже представила не раз виденную мной у ворот застывшую скорбную фигуру высокой, тонкой девушки, напрасно поджидающей отказавшего жениха...

— Э, у нас ей не выйти замуж, — махнул рукой господин Эргардт. — Сын уехал, ей туда же дорога...

— Неправда. Пусть сначала убийца и каторжник уезжает... Видишь, как расхозяйничался.

Убийца и каторжник, действительно, в этот момент расхозяйничался: вся семья суетилась, таскала сено, вещи, убирала с нижней части двора все, что можно убрать.

И вдруг хлынул горный ливень с грозой. Кругом потемнело, серую мглу то и дело прорезывали молнии. Скоро по крутому спуску улицы мчался бурный поток. Шум его слился с шумом дождя, с каждой минутой он рос и уже ревел и с пеной прыгнул с мостовой на тротуары, ворвался в некоторые низко лежащие дворы. Плыли доски, дрова. Франц, засучив брюки выше колен, прыгал в поток, отымая захваченные им вещи, и бросал во двор семье, устроившей конвейер.

Вдруг из-за угла вынесло старика без шапки, с растрепанными белыми волосами, ухватившегося за ручную тележку. Водоворотом у закругленной стенки тележку опрокинуло, старика сбило с ног, завертело и потащило вниз. Фрау заахала, закрыла глаза.

— Э! — крикнул господин Эргардт, подойдя к перилам.

Франц по пояс в воде бросился наперерез старику, схватил его в охапку и, спотыкаясь, выбрался на крутой, еще не захваченный потоком склон улицы. Тележку помчалю дальше.

— Э, старик — такой же ни к чему не годный человек. Лентяй и пьяница.

Ливень и поток умчался так же быстро, как и налетел. Выпуклая середина мостовой обнажилась и засверкала на солнце свежее-вымытым асфальтовым

зеркалом. По бокам весело убегали ручьи. Господин Эргардт велел подать себе лопату и заботливо помогал стекать со двора последним задержавшимся лужицам.

Поперечный вышел на балкон и спросил:

— Это вы, господин Эргардт, в порядке пожарной дисциплины работаете или как принцип?

Господин Эргардт поднял голову и объяснил:

— Пожарная дружина есть для борьбы с огнем, вода же — совсем не огонь.

— Значит, как принцип, — решил Поперечный.

Я уезжал завтра с рассветом и сегодня вечером зашел к фрау Эргардт расчитаться.

— Как жаль, как жаль, — грустно улыбалась она сквозь слезы, взыскав с меня за недожитые до месяца 5 дней. — Вы у нас были, как родной. Я и господин Эргардт так любим русских, вы все такие, как сам господин Чехов. Мы так его почитаем... Вот и господин Поперечный тоже именно, как господин Чехов, — говорила она, провожая меня по коридору до моей комнаты. В ее голосе была теплая, искренняя грусть: захотелось на прощанье сказать ей тоже что-нибудь теплое, показать себя душевно близким этой, в сущности, душевной женщине.

— Точно так же и мне, дорогая фрау Эргардт, очень грустно, и, если бы не это досадное обстоятельство, поверьте, я не так скоро уехал бы из вашего во всех отношениях прекрасного пансиона.

Фрау Эргардт любопытно выставила из круглых плечей маленькую головку:

— Какое же обстоятельство случилось с вами?

— И со мною, и с вами, и со всеми нами здесь.

— Но, бог мой, что именно?

— Как — что? Это ужасное соседство конечно.

Она испуганно оглянулась. Я пояснил:

— Кому понравится жить лицом к лицу с убийцей...

— Ради бога, ради бога, — зашептала фрау побелевшими губами.

Я говорил громко, от души.

— Дорогая фрау Эргардт, только родной уют вашего отеля удерживал меня.

В коридоре показались тюрингенские сестры, они остановились, наша тревога передалась им.

— Такое проклятое соседство, — стоял я.

Фрау тоже застонала.

— Какое соседство? — спросили сестры.

— О, никакого соседства, — заметалась фрау.

— Да, да какое же это соседство, если на тебя день и ночь смотрят эти глаза убийцы... Проснусь, и кажется — стоит над тобой...

— Карл, Карл, — застонала фрау навстречу спускающемуся мужу.

— Э, никакого убийцы нету, — успокаивал нас Эргардт, — Франц теперь вполне честный человек... Спокойной ночи, я ручаюсь...

— Как же это вы можете, господин Эргардт, ручаться? — врезался Поперечный, который еще скатывался к нам с лестницы, но уже понял все. — Как вы можете ручаться за убийцу? Брат он вам или сын? Если, как говорится, чужая душа потемки вообще, то тем более душа убийцы в частности. Как принцип.

— Тише, тише, ради бога, — шептали супруги. — Спокойной ночи... Воздух после дождя холодный.

Господин Эргардт закрывал окна и двери, метался, как никогда не метался на пожаре, разводил нас по комнатам. Я поспешил к себе.

Но Поперечный остановился у моей двери и начал с хозяином тихий разговор.

— Зачем я, господин Эргардт, буду у вас ставить на карту, может быть, жизнь, когда у Бергера, на той стороне парка, вдали от опасности, я могу поселиться без риска и тем более, что за 13 марок вместо 15. Просто как принцип.

— Вы у нас можете жить за 10 марок, — прошептал Эргардт, — только, пожалуйста, совсем тихо, прошу вас... Вы же коммерческий человек.

— Хорошо, — согласился Поперечный, — только потому, что коммерция

выше всего и мы, как принцип, должны подавать ближнему руку помощи.

Я уехал из пансиона рано утром — все еще спали. Не спали только тюрингенские сестры. Повидимому, они и не ложились. Возле них металась и плакала давно и горячо полюбившая их фрау Эргардт. Испуганные и плоские лица сестер тоже были заплаканы.

Я, вслед за носильщиком, выскочил на пустынную улицу. Впереди нас, в ту-

мане, серым силуэтом двигалась к вокзалу, сутулясь под рюкзаком, высокая фигура девушки. В руках у нее была небольшая корзина. Когда мы пришли на вокзал, на гребне, по ту сторону серебряной от росы долины, заиграли первые лучи, а внизу в ответ им заиграл рожок пастуха. Быстро поднимался серый занавес над далекой огромной рейнской панорамой.



Люди и факты

Р. БЕГАК — Шахта 9—9-бис. **2. РОМАН ФАТУЕВ** — Певец из Казах-Росо. **3. Н. ШКЛЯР** — Реконструкция фауны

1. ШАХТА 9—9-БИС

Р. Бегак

1 Новичок в шахте

Когда Алексей Яремчук вышел на-гора после обхода штолен 12-й шахты, куда он явился с путевкой мобилизованного, первым чувством, которое он сумел в себе подытожить, оказалось смущение. Внизу, под землей, было сыро и грязно. Но не сырость и не грязь будили тревогу. Яремчук восстанавил в памяти впечатление обхода. В шахте суетились люди, их деловой вид и ловкость в работе как будто подкрепляли убеждение Яремчука в том, что метро — дело стоящее и спорое. Работа кипела во всех штольнях, движения людей были четки, вещи умно двигались в их руках: вагонетки знали свой путь, лопаты — меру захвата породы, молотки — силу удара. Анализируя свои мысли, — а Яремчук был человек думающий, подыскивающий каждому явлению точное имя, — он вдруг понял: это острое ощущение общей слаженности работ, возможно, и являлось причиной, вызвавшей беспокойство. Так оно и обстояло на самом деле, Яремчук ходил по шахте и нехорошо ревновал всех: шахтеров — к каждому удару молота, каталей — к каждому толчку, приводившему в движение вагонетки. Шахта жила без него и жила неплохо. Горячо работали люди, план, видимо, выполнялся бойко. Яремчуку предстояло при-

ти на готовое, освоить чужой метод работы, нагонять уже поставленные рекорды. Не то, не то! Он шагал по улицам, кипия обидой за переполнявший его задор, которого однако на шахте и без Яремчука имелось в избытке.

Но в себе он ощущал такой запас задора, что подчас казалось: поставь ему партия задачи и срок, врлся бы он в землю на Крымской площади, один-на-один в бою с московской породой прошел бы кротом под славной столицей и вышел бы на волю в Сокольниках. Смотрите, мол, вот он я, московский шахтер Алексей Яремчук!

С такими веселыми, хвастливыми и счастливыми мыслями бродил Яремчук по городу, пока не налетел на Моховой на холмы и рытвины неведомой шахты. Пропуска у Яремчука никто не спросил, он прошел за забор и начал разглядывать площадку работ, инструменты, механизмы. Не обращая на него внимания, таскали рабочие лес, толкали вагонетки. Толкали неспеша: с комфортом, не считая минут, пристраивались для курения, вступали в приятельские беседы.

— Непорядок! — решил Яремчук. — Люди толкутся, а хозяина нет.

— Много прошли? — обратился он к одному из рабочих.

— Спуститься хочешь? — откликнулся тот. — С месяц работаем. Пока смо-

треть не на что: ствол да метра два штольни.

У Яремчука заблестели глаза.

— Попал в самый раз! — подумал он и произнес вслух: — Где у вас тут ячейка?

— Комсомольская или ВКП?

— Все равно. Ну давай ВКП.

Рабочий начал разъяснять словоохотливо и пространно. Яремчук, не дослушав, кивнул головой и торопливо отошел. Собеседник его нехотя двинул вагонетку, ворча про себя:

— Московский. Найматься пришел, какой с их толк, земли не нюхали.

Яремчук разыскал секретаря шахтной ячейки и разложил перед ним на столе свои документы. Из бумаг явствовало, что оный посетитель есть бывший беспризорник, грузчик, шофер, слесарь, лучший ударник ЦАГИ и — по последней работе — начальник отдела металлов в Главном авиуправлении при Авиаснабе, Яремчук Алексей, добровольно мобилизовавшийся на метро.

Секретарю новичок показался парнем подходящим. Он потребовал путевку райкома, что-то на ней черкнул, с кем-то созвонился и коротко сообщил:

— Сегодня, в двенадцать ночи.

Яремчук понял не сразу.

— Выйдешь на работу сегодня в ночь. Партийцев у нас не шибко много. Ты там присмотришься...

Дружеского напутствия Яремчук почти не слышал. Он шел на метро, подобно туго скрученной пружине, заряженный волей к действию. Момент зачисления в ряды метростроевцев рисовался в его воображении торжественным и помпезным. Обыденность этой процедуры поразила его тем сильнее, чем настойчивее жаждал он необычайного.

Растерянность Яремчука не имела оснований. Девятая шахта, к которой привел его случай, не принадлежала к числу заурядных. На нее возлагалась сложная и ответственная задача: соорудить вилку, т.-е. соединительную ветку Арбатского и Мясищевского радиусов. Это означало возвести под землей в пункте

соединения радиусов камеру объема необычайного и в практике горного дела, и в мировом опыте метростроения. Мнения инженеров расходились. Часть из них считала задачу невыполнимой в принципе и предлагала радиусы раздвинуть, что облегчало строительные сложности, но сулило много неудобств в последующей практике эксплуатации метро. Проектное оформление шахты тонуло в дискуссиях, и работы двигались вяло. Только-что утвержденный МК, новый начальник шахты, инженер Ермолаев, принял от своего предшественника голую площадку с забором без ворот, 15 плотников и человек сорок чернорабочих-черемисов, не знавших русского языка.

Место закладки шахты намечалось в 4 метрах от дома, устойчивость которого вызывала сомнения. Инженеры предлагали кесонный способ работ как наименее рискованный. Ермолаев брался пройти шахту без кесона. Это ускоряло работы месяца на три и оставляло свыше ста тысяч рублей экономии. Начальник строительства Абакумов поддерживал Ермолаева. Приступили к работам. 21 апреля 1933 года Ермолаев начал проходку силами черемисов. Но вскоре прибыло около двухсот семей рабочих-уральцев, вызванных Ермолаевым.

На этом этапе работ застал шахту новичок-москвич.

За два часа до начала работы Яремчук подошел к шахте. Он следил, как собиралась его смена, и по мельчайшим признакам, по тому, как люди снаряжались, по обрывкам бесед пытался составить первые представления о будущих товарищах по работе.

— Как работа? Ничего, а? — нейтрально спросил он рабочих.

Уральцы не торопились с ответом. Нетерпение Яремчука прорвалось в словах:

— Интересно тут, а? Хорошо работаете?

Уральцы переглянулись. Одинаковая усмешка мелькнула во всех глазах.

— Ничего. Чиждолая работа, што полагается! — наконец проворчал один.

— Чиждолая! — подхватил другой. —

А главное дело, при расчете путают. Нет того, чтобы получку чисто выдали. Завсегда канитель. Одно слово: что ни на есть грязная наша работа, и заработок мал.

— А план выполняете?

Уральцы взглянули на Яремчука с некоторой досадой.

— Поди, выполни его с таким струментом!

— Не выполняете — вот и заработок мал! — с безапелляционным апломбом заявил Яремчук.

Но уральцы политической темы не подхватили.

— Конечно, здесь, на земле стоя, все легко. Ты вниз полезай, вниз...

Они заговорили о своем. По истощающему их равнодушию Яремчук понял, что его сочли за постороннего, и самодовольно подумал:

— В шахте покажу им класс!..

Полезли в шахту.

Уральцы быстро скользили вниз, нащупывая привычной ногой рейки на сходнях, заменявших лестницы. Яремчук оступался, испуганно хватаясь рукой за неровности почвы. Спуск показался ему бесконечным.

Наконец ступили на сырой пол и вошли в короткий коридор. Свету в шахте было немного, блестели земляные стены, омытые рыжей слезой. Где-то у ног звенела в стоке вода, обильно источаемая шахтой.

Рабочие заняли свои места. Затакали мерные удары. Яремчук стоял праздный: попав впервые в шахту, он тщетно ломал себе голову, придумывая, чем заняться. Не зная, что делать, принялся он изучать систему крепления — цепь плоских щитов, поддерживающих потолок штольни. Странно было думать: гремит над головой огромная столица. Вдруг почудилось, что лопаются хрупкие марчеванки. У Яремчука кружилась голова.

Чей-то возглас раздался рядом. Яремчук оглянулся. К нему подходил десятник.

— Чего зенки вылупил! — орал тот. — Робить пришел или проклаждаться?

— А делать что? Я же не знаю...

— Уж дела не нашел? Доски таскай! Гляди, работа застынет...

Он провел Яремчука по коридору, указал, откуда и куда таскать лес, и ушел.

Урока хватило часа на три. Яремчук добросовестно ворочал бревна, легко носил доски, на него взглядывали шахтеры, — нечто вроде любопытства мелькало на их лицах. Работа горела в руках Яремчука. Он двигался теперь по штольне уверенно, в деталях изучив короткий путь от ствола до места работ.

Расчистив от леса вход в штольню, Яремчук снова встал в бездействии. Десятник исчез бесследно. Яремчук подошел поближе к шахтерам. Каждое их движение было ему интересно, он как бы получал наглядный урок шахтерской техники. Один из шахтеров, пожилой татарин, поразил Яремчука. Взмах его руки, неторопливый, но мощный, повторялся с правильностью движения механизма. Он работал безотрывно, откалывая крупные глыбы породы.

«Вот сноровка! — думал Яремчук. — Вот бы с кем померяться!»

Десятник наконец явился. Яремчук встретил его грубым окриком.

— На меня орал, а ты-то, дорогой товарищ, где пропадаешь? Работа не медведь, в лес не убежит...

Десятник на окрик не обиделся. Уже при входе заметил он, что задание выполнено чисто, кому-другому дня на полтора хватило бы такого урока. Он оценил в полной мере исполнительность и незаурядную физическую силу Яремчука и проникся к нему уважением, выделяя мысленно новичка из общей массы рабочих.

Яремчука поставили на откидку породы к мастеру Кобелеву.

— На практику пришли? — коротко спросил мастер у нового подручного, и в этом «вы» прозвучала та же высокая оценка силы и проворства Яремчука, которая поразила и десятника.

— Рабочим! — ответил Яремчук.

Мастер не то с удивлением, не то с удовлетворением взглянул на него.

Днем, ложась в постель и подводя итоги трудовой ночи, Яремчук должен был со вздохом признать, что класса работы он в шахте не показал. Он был богат энтузиазмом, но со стороны уральцев ему противостоял опыт. Задача намечалась четко: энтузиазм должен был помочь Яремчуку овладеть опытом.

2. Москвичи и уральцы

Яремчук проработал с Кобелевым четыре дня, после чего мастер и десятник в один голос заявили удивленному инженеру, что рабочего, превышающего все нормы, им в третьем разряде держать стыдно. Инженер, заинтригованный, спустился в шахту. Вскоре появился приказ о назначении Яремчука проходчиком в один забой с мастером Шейхудиновым, чья ловкая работа очаровала Яремчука уже в первый день появления в шахте.

Задолго до смены Яремчук спустился в шахту. Будто занятый наладкой инструмента, копался в углу и следил оттуда за уральцами, украдкой воспроизводя их движения. Заодно с выучкой заимствовал он из этого посещения немало досадных наблюдений: смена сдавалась безобразно. Время рабочих уходило на разговоры, инструмента никто не проверял.

— Тары-бары-растабары, а потом нуют, что работать нечем! — ворчал про себя Яремчук.

Пытался он поднять эту тему в беседе с уральцами, но те только отмахнулись:

— Еще чего нехватало! Не наша это забота. На что администрация сидит! Рационализаторский запал Яремчука пропадал зря. В глазах уральцев ему нехватало авторитетности.

Работал он яро, ни в чем не уступая Шейхудинову и подымая ту же норму. Доставалось это Яремчуку нелегко, — в иные дни чуть не на четвереньках доползал он до дому. Упорство его не остывало.

Однажды пришел в шахту новичок. Долго, словно замороженный, следил он за Яремчуком, потом спросил:

— Раньше вы где забойщиком работали?

Шейхудинов быстро поднял голову, движение это не ускользнуло от Яремчука.

— В Донбассе! — наудачу соврал он и покосился на уральца.

Новичок ушел. Шейхудинов спросил безразличным тоном:

— В Донбассе долго был?

Яремчук решил выдержать роль.

— А что дать не жалко?

Шейхудинов остановился, отложил инструмент и с минуту наблюдал за Яремчуком.

— Десять лет будет! — коротко сказал он.

В этих словах прозвучали и победа, и поражение Яремчука.

«Работаю — прямо кровь из носу, а половину старика не обогнал!» — не без горечи подумал он. Шейхудинов насчитывал не один десяток лет работы в шахте.

Этот случай заставил Яремчука задуматься. Стало ясно: в одиночку ему уральцев не перекрыть. Яремчук начал приглядываться к окружающим его людям.

А людей прибавилось. Рос коридор штольни, росло число рабочих. Новые лица замелькали в шахте.

Это были тысячники.

8 мая спустили в забой пятерых комсомольцев. Трое вскоре исчезли из шахты. Новая работа пришлось им не по нутру.

Скловский остался.

Шахта проходила ствол — крепкий известняк. Требовались буры. Вместе с кузнецом Никитиным Скловский взялся наладить кузню. Долгие поиски обнаружили забытый кем-то горн в подвале соседнего дома.

— Обидно, без дела валяется... — заметил многозначительно Скловский, сообщая о находке мастеру Вершинину.

Мастер был человек грубоватый, любил выпить, но простое в работе не терпел, чем и заслужил доверие комсомольцев.

Ответ показал, что он Скловского понял с полуслова.

— Бери! — сказал твердо Вершинин. — Чтобы только никто не видал. Никто не увидел, и шахта обрела горн.

Эпизод этот, бросающий некоторую тень на репутации Скловского и Вершинина, дал однако шахте буры. Кузня заработала, 27 мая Никитин со Скловским встали на работу, а вышли они из кузни 1 июня. Самодеятельная кузня ликвидировала прорыв с инструментом.

Когда появились на шахте кузнецы, Скловский перешел в забой проходчиком.

В июльские дни тысячники на шахту прибывали ежедневно. В забое их встречали неприветливо.

— Не больше выдержишь, как два дня! — уверенно заявляли новичкам уральцы. — Тут тебе не завод да фабрика. Вы привыкли, чтоб было чисто, сухо. Нет, в сырости отработай! Живо взвоешь!

— Слышал? — шепнул один из новичков товарищу.

— Ну, слышал. Все может быть...

— Чего это может?

— Может, и сдрейфим. Дело новое...

— Не может быть ничего такого! — уверенно отрезал новичок. — Мы сюда работать пришли, а не удирать. А? Как ты?

— А чего?

— Вообще, что победим. Построим метро—первую очередь и в самый срок! А там и вторую построим!

Как и Яремчука, Матвеева поставили на переброску лесоматериалов. Он был полон усердия, но незнание техники сказалось немедленно.

— Лежки давай! — кричали проходчики. — Неси огниво!

Матвеев метался по штольне, но что такое «лежки» и «огниво», никто ему заранее не разъяснил.

Усвоив терминологию, он начал проявлять нетерпение:

— А настоящая работа когда же будет?

«Настоящая» — означало самому открывать забой. Этому делу обучиться можно было только у стариков, у тех

самых, которые в деловитость московских призывников упорно не верили.

Уральцы не доверяли призывникам, но и у призывников авторитет уральцев стоял не особо высоко. Потрясающими казались москвичам производственные нравы уральцев.

Пришел новичок-комсомолец в забой. Сидят уральцы, курят. Время приступать к работе. Уральцы невозмутимы, инструмент без движения лежит на земле. Для москвича зрелище это непеносимо. Он встает против уральцев, сложив руки на груди и изображая собою живой укор.

— Вижу, мол, замечаю, беру на учет.

Уральцы быстро осваивают создавшееся положение вещей, но виду не показывают. Их равнодушие становится демонстративным.

— Ну? — спрашивает неумолимо комсомолец. — Долго это будет?

— Чего?

— Курить долго будете?

— Покель табачку хватит.

Комсомолец попался не из числа искушенных, ирония ответа до него не дошла.

Товарищ по забою, тоже вчерашний новичок, отвел его в сторону.

— Брось! — шепнул товарищ. — Их не проймешь. У них врожденно такая тактика.

3. Бригада Яремчука

За организацию бригады взялся секретарь партийной ячейки. Он вызвал Яремчука и поставил перед ним вопрос прямо:

— Берешься руководить комсомольцами?

Яремчук радостно закивал головой.

— У меня на ХАЗ была бригада. Первыми по заводу шли.

— Значит, договорились.

Ударили по рукам.

Дней через десять на бюро комсомольской ячейки секретарь уныло сообщил, что с бригадой дело не выгорело, — не разрешили.

Комсомольцы всполошились.

— Как это такое могли запретить?

— Говорят, работа сложная, ничего вы тут не сделаете.

В качестве специалиста был особо приглашен на бюро техник Трушин. Все взоры обратились к нему.

— Что верно, то верно! — солидно подтвердил Трушин, наслаждаясь неожиданно выпавшей ему ролью эксперта. — Подходящей для вас работы нет.

— Добьемся! — воскликнул Яремчук.

— Не советую.

Но Трушина уже не слушали. Авторитет его бесповоротно пал. Комсомольцы ждали предложений Яремчука.

— Сам возьмусь! — решительно заявил Яремчук. — Подождите, ребята. Будет бригада. Добьюсь. Поработаем.

Яремчук за дело взялся с подъемом, — не сверху, но с низов. Он завел разговоры с десятниками: так, мол, и так, без вас мы что — молодо-зелено! Вот если бы ваша помощь...

— Смотря, какая помощь... — неопределенно отвечали десятники.

— Ну, в забой почаще заходите, вообще, чтоб чувствовалось настоящее руководство.

Десятники пообещали.

Следующим в агитационном маршруте Яремчука значился начальник шахты.

Инженер Ермолаев провел восемь лет в Свердловском горном институте. Он вступил в вуз в годы, когда авторитет старых инженеров в глазах молодежи не только еще не был, но и, казалось, никак не мог быть поколеблен; когда учебные планы перегружались обилием избыточных дисциплин, якобы способствовавших расширению кругозора молодых специалистов, но по существу заставлявших незрелую их мысль растекаться по древу; когда студенчество перебивалось со дня на день, так как получало невесомые в бюджете пайки; когда от молодого человека требовалось немало волевой настойчивости, чтобы дотянуть до диплома. Ермолаев настойчивость проявил, и диплом был ему вручен. Отношение молодого инженера к советской власти характеризова-

лось лояльностью. По мнению Ермолаева, он никому, в том числе и советской власти, ничем обязан не был. Новое общественное положение было им завоевано на свой страх и риск. Расходы советской власти на вуз в данном случае в расчет не принимались либо расценивались ниже, чем его, Ермолаева, усилия, затраченные в годы учебы.

Из вуза вынес Ермолаев непоколебимую веру в силу человеческого разума, в технику, — технику как средство, при помощи которого человеческое вдохновение вводилось в провода логики, — и веру в себя. Вера в себя стала для него основой, на которой базировалось его уважение к миру. Мир имел цену в его глазах в той мере, в какой его распорядки поддерживали ермолаевское чувство собственного достоинства. Это свойство мироощущения родило Ермолаева со старой технической интеллигенцией и от нее, должно быть, и было заимствовано.

Начались годы накопления практического стажа. В них проявилось персональное качество Ермолаева как инженера. Он был отважен в дерзаниях. Его посылали на прорывные шахты, — он подымал выработку. Ему поручали тяжелые грунты — пльвуны, юрскую глину, — он овладевал производством. Сколотилось ядро людей, которым он доверял, с которыми охотно работал. Менялся фронт работ, — он был в Донбассе, в Челябинске, в Кизеловском районе, — вместе с ним ездили проходчики, десятники, инженеры.

Затем пришло метро.

За работами на метро Ермолаев следил ревниво и не без азарта с 1926 года, когда впервые прочел он в «Огоньке» статью о строительстве московского метрополитена. В первом туре работы были поручены строителям. Горняк Ермолаев строителям не доверял, жадно следил за сводками и не был удивлен, когда дошло до него, что первые проходки завершились неудачей. Едва в управлении метро изменился курс и к работам стали приглашать горняков, в числе первых завербованных инженеров оказался Ермолаев.

Работа Ермолаева на метро была цепью дерзаний. Не говоря уже о случае замены кесона обычным способом работ, схватился он с инженерским общественным мнением и в вопросе о сооружении вилки. Ермолаев считал, что предпочтение надо отдать трудностям стройки, которые преодолевались в сравнительно короткий срок, перед трудностями в эксплуатации, которым предстояло тормозить работу метро на протяжении десятков лет. И он брался соорудить камеру, хотя в опыте горного дела с такой работой и не сталкивался. Абакумов его поддержал и, главное, поддержал его МК. Это был первый случай, когда Ермолаев столкнулся на деловой почве с инстанцией такой авторитетности. И тот факт, что его точка зрения встретила полное одобрение, زدидло высокое доверие Ермолаева к московскому партийному руководству.

Забегая вперед, скажем: и дерзание, и поддержка были не последними. Работе на метро суждено было сыграть свою большую роль в политическом становлении Ермолаева. Как-то неощутимо для него получилось так, что цепь производственных побед, сопровождавших его рискованные начинания, перестала представляться ему исключительно плодом удачного технического замысла. Встречая опору в МК даже в наиболее отважных своих выступлениях, он вдруг обнаружил, что ему лично присуща лишь смелость мысли, но удачное ее осуществление опирается уже на свойства эпохи, пред'явившей спрос на дерзание и дающей ему опору. Ощущение проектов формировала советская власть, и Ермолаев ощутил свою неотъемлемую причастность к ней.

Так прошел молодой советский инженер, работающий на метро, путь от нейтрального юноши, полного доверия к себе и к своим талантам, к советскому строителю, уверенному в ресурсах эпохи, преданному советской власти и в доверии власти к себе нашедшему основу личного самоуважения. И это свойство породило его с пролетарской интеллигенцией.

На уговоры Яремчука Ермолаев ответил коротко:

— Не выйдет.

Яремчук был готов к отпору. Начальник шахты слыл среди шахтеров человеком аккуратным.

— Этого качество любит, — говорили про него рабочие.

Ермолаев, и точно, любил высокое качество работы, а качество это, по преимуществу, относил за счет правильных технических расчетов. В состав таких расчетов входила у него и живая рабочая сила. В прошлом его опыте эту силу всегда представляли собою опытные проходчики, — величина неизменная, — уральцы, равнодушные к новшествам, вроде социалистических форм труда, подававшие норму в прямом соответствии с размером заработка. Но уральцев на этот раз шахте нехватало. Ермолаев к появлению призывников на шахте отнесся много благодушнее, нежели его старики-шахтеры, так как понимал, что другого разрешения кризиса дефицитной рабочей силы не найти. Он допускал мысль, что обучить призывников удастся, но глубоко был убежден в том, что по праву и по естественному ходу вещей ведущая роль в шахте падет на плечи уральцев. Ермолаеву претензия комсомольцев доверия не внушала. По его мнению, энтузиазм в политике был делом великим, но на производстве Ермолаев отдавал предпочтение опыту.

Яремчук не отступил, несмотря на неудачу.

— Почему же не выйдет? — с нарочитой наивностью переспросил он, хотя обо всех доводах начальника заранее проинформировался у секретаря ячейки.

— Учился мало. Не могу доверить такое важное дело.

— На-ходу доучимся.

— Пока доучитесь, Манеж завалите. Идем под ответственным участком. Не могу.

— Усильте контроль.

— Не выйдет. Где риск обвала, не могу допустить.

Первый разговор окончился вничью.

Когда Яремчук вторично вошел в кабинет начальника, он дал себе слово, что без согласия на бригаду от Ермолае-

ва не выйдет. Согласия пришлось вымогать часа два. Беседу прерывали. Входили и вбегали инженеры, десятники, конторские служащие, начальник подписывал, разрешал, указывал, и в каждую паузу Яремчук вставлял свое спокойное:

— Ну, как же вы? Может, позволите? В виде опыта?

— Ладно! — согласился обессиленный начальник. — В виде опыта. Попробуем. Хотя едва ли что получится.

Он отдал приказ:

— В забой, во вторую штольню!

Бригада организовалась к XIX МЮД. Разговору о ней в шахте было много. Старики издевались:

— Приступайте, все равно поломаются. Завалите вы дело.— («Мы» и «вы» крепко делало уральцев и москвичей).— На такое итти, так ты вперед годков пять в шахте отработай. А то сунулись со свиным рылом в калашный ряд.

Яремчук подбирал людей. Требовались ребята покрепче, понадежней, — всего человек десять.

— Ты его бери, — советовал Скловский Яремчуку, рассказывая о Никитине. — Не смотри, что он небольшой и по комплекции незavidный. Он только на вид хилый, болей,—этого у него и в заводе нет. А нрав кузнечный остался, очень злой в работе, все под руками горит. К тому он еще и комсомолец.

Никитин рекомендацию оправдал. Едва придя в бригаду, заготовил всем инструмент, свои же из бригады плотники приделали ручки.

Бригаду сколотили. Пришел первый день работы во второй штольне. Яремчук почти безвыходно просидел в шахте. Он изучал бригадников в работе, пропустив мимо себя все четыре смены. Бригаду организовали сквозную.

Итоги дня подвели неважные: плана в погонных метрах бригада не выполнила. Причины Яремчуку были ясны. Наблюдения его показали, что бригадники на работу приходили не во-время, уходили раньше срока, при сдаче смены опытом не делились. Дисциплина — дело великое, но самотеком она не внедряется.

Яремчук собрал комсомольцев, беседовал с каждым, убеждая: «Поймите, ребята, бригада — это одно целое, работаем врозь отвечаем вместе». Выделили звеньевых, ликвидировали обезличку с инструментом. Яремчук весь досуг проводил в общежитии, где делился своими соображениями с участниками бригады, обсуждал производственный опыт. Каждому комсомольцу стали ясны не только его задачи, но и работа бригады в целом.

На вторые сутки бригада выполнила норму—погонный метр, на третьем—дала метр двадцать. А на четвертые сутки загудела вся шахта: комсомольская бригада прошла полтора погонных метра,— норма, небывалая ни в одном забое.

Рабочие, инженеры, старые шахтеры паломничали во вторую штольню.

Уральцы осматривали работу, придирались и осуждали.

— Это уж ваша критика невероятная, — огрызались комсомольцы. — Мелочь какая-то, забито неправильно, это значения не имеет, а уж у вас смешки.

«Критику» однако мотали на ус и недочеты устранили.

К концу месяца бригада заняла первое место в шахте, дав 42 погонных метра вместо 30.

Вопрос о разработке колот долгое время занимал внимание технического совещания. Опыта не было ни у кого, включая инженеров.

На первую колоту поставили бригаду Яремчука.

— Работайте без норм! — сказала начальство. — Будем учиться.

Опыт отнял двенадцать дней. Научились кое-чему, вторую колоту сдали через восемь дней, после чего срок в пять дней был объявлен технической нормой.

Набравшись выучки и отваги, Яремчук предложил на техническом совещании сократить норму до четырех дней при условии, если каждый рабочий получит чертеж на руки. Инженеры пошумели, и согласились. Заготовили чертежи, приступили к изучению их в технических кружках.

Учеба наладилась не сразу. Яремчук договорился с техником и десятником из

предупредил бригаду: кто будет учиться успешно, тому при распределении интересной и выгодной работы будет оказано преимущество. Кружки начали работать бойко, злостные прогульщики все же обнаружались. Яремчук пошел на решительные меры.

Работало в забое двое ребят. Проходчик пренебрег учебой, его помощник сдал на «отлично». Тогда в забой явился техник и в присутствии десятника торжественно заявил оторопелому проходчику:

— Меняйся местами.

И он указал ему на помощника.

Шахтеры приказа не поняли. Техник пояснил:

— С сегодняшнего дня проходчиком будет вот он, а ты ему помогаешь.

Проходчика бросило в краску.

— Шутитесь? В жизни таких номеров не видывал. За что? Плохо работал, что ли? Я план выполняю.

— Правильно! — невозмутимо подтвердил техник. — План ты выполняешь. А разве это ты план выполняешь? Это я твой план выполняю. От тебя на шаг отойти нельзя, сколько раз за смену я сюда бегаю. Не могу на тебя положиться, все надо указывать. А вот парень — техэкзамен сдал на «отлично», этот не подкачает, прекрасно изучил дело. За него я теперь спокоен.

— Брось сказки рассказывать! — грубо обрезал обиженный. — Младенца нашел. Прямо говори: склока! — И он кинул злой взгляд на помощника. — Изучил дело! А я, что ли, дела не знаю? Первый день работаю?

— А знаешь дело?

— Почтище его.

— А вот проверим.

Техник задал несколько вопросов из техминимума. Проходчик запутался, помощник ответил. Приказ техника остался в силе. Проходчик перешел на роль пома и начал ревностно посещать технику.

Страна готовилась к XVII парт'езду. Бригада Яремчука обязалась сдать к сроку месячный план, выполнила его на шесть дней раньше. Колоту работали три дня.

Уральцы без особого удовольствия следили за успехами комсомольской бригады.

— Пришли свои порядки устанавливать... — ворчали они.

— Расценки снижают, и так ничего не наработаешь.

Ни погонные метры второй штольни, ни стремительное сокращение сроков сдачи колот не колебали скептицизма уральцев. Но январская зарплата комсомольской бригады их потрясла. На каждого приходилось рублей по 700 — 800. Яремчук получил тысячу.

— По работе и получка! — смеялись комсомольцы.

Крыть было нечем. Больше никто не заикался о расценках.

Когда начала пополняться бригада Яремчука, — ее расширили до двадцати человек, — в числе вновь записавшихся оказалось двое стариков.

4. Секретарь ячейки

По штольням и забоям однажды прошел секретарь комсомола Скловский в сопровождении маленького человечка. Скловский что-то раз'яснял, маленький человечек кивал головой:

— Да, да. Понимаю.

В одном из коридоров столкнулись с Яремчуком.

— Познакомься! — сказал Скловский. — Новый партсекретарь.

Яремчук и гость пожали друг другу руки.

— Хазанский! — сказал маленький секретарь. Встретились испытующие взгляды секретаря и Яремчука. Оба поняли друг друга, улыбнулись.

Весть о новом секретаре быстро пробежала по штольням. После смены партийцы, словно невзначай, забегали в партком. Маленький секретарь встречал их приветливо.

— Вас знаю! — сказал он Матвееву. — Видел, как вы работаете. Парторг?

— Да.

— Ну, как у вас коммунисты?

— Ничего! — отозвался Матвеев. — Технику уже понимают.

— А у вас как с техникой?

— С какой техникой?

— Вы уже овладели? Давно в шахте?

Матвеев с трудом проник в смысл этих слов. Взгляд его показал Хазанскому все неприличие вопроса. Он? Матвеев? Проник ли в технику?!

«О! — подумал Хазанский. — Тут ухо надо держать востро. Орешек крепкий».

Он изменил тему беседы.

— Раз'ясняем! — рассказывал Матвеев. — Вообще, о XVII парт'езде, почему партия метро строит... Хорошо работают, надо сказать, наша бригада всем пример показывает. Сначала, когда создавали, было недоверие...

Эту историю о маловерах-уральцах Хазанский уже заучил наизусть со слов Яремчука и Скловского, все же Матвеева он подзадорил:

— А кто же не верил?

— Вообще старые рабочие. У них выражение такое было, что не сможете правильно дать проходку. Но сейчас начинают понимать... У меня тут идея есть! — Глаза Матвеева вдруг загорелись. — Если мы устроим семейный вечер, а? Чтобы старые рабочие учили вновь пришедших, вообще для смычки. А? — Он негерпеливо ждал ответа.

Хазанский задумался.

— Идея неплохая. С чего начнем?

— Пригласим стариков...

— А придут?

— Вот не знаю... — Матвеев поднял голову, поймав улыбку секретаря, оживился. — Уговорим, а? — Он умоляюще смотрел на Хазанского. Хазанский рассмеялся.

— Непременно уговорим.

Матвеев ушел сияющий. План вечера был подробно обсужден, о деньгах Хазанский обещал договориться с шахт-комом.

— Ну, что? — столкнувшись с Матвеевым в дверях, спросил Козловский.

— Ступай. Ничего. У него подход хороший, товарищеский.

Козловский вошел к новому секретарю.

— Есть один вопрос! — заявил он, с первых слов приступая к делу.

— Ну, давай! — предложил секретарь.

— Я давно с этим хожу, не знаю, с кем поговорить. Я здесь с сентября. Раньше в Подмосковном бассейне работал. Сюда пришел, — огромная разница получается. Возьмем: почему откатчики без норм работают?

— Как без норм?

— Так, очень просто. Все время работают — сколько дали, то и ладно. Что в рот, то спасибо. А в Подмосковном на каждый забой — свой вагонщик, он имеет задание на смену.

— Это ты прав.

Встретив поддержку, Козловский вошел в азарт и высыпал перед удивленным секретарем целый короб самокритических замечаний. В большинстве они были дельны.

К концу дня к Хазанскому зашел Скловский.

— Узнал ребят? Я их всех к тебе погнал. Сейчас дела примешь?

— С делами успеем. Ты скажи — что вам комиссия по чистке записала?

— Невеселая штука. Отсутствие классовой бдительности. Партдисциплина слаба.

— С таким народом?

— А что? Есть люди?

— Прекрасные есть люди!

Скловский недоверчиво покачал головой.

— Так они все хорошие, когда спят. Членовки взносов не платят, собраний не посещают...

— Горы можно с вашими людьми перевернуть! — убежденно сказал секретарь. — Ладно. Еще поработаем.

— А наш Ленька как тебе?

Иначе, чем «наш Ленька», в бригаде Яремчука никто не звал. Шахтеры им хвалились.

— Говорил с ним! — ответил секретарь. — «Большевика» не читает, художественной литературы не признает.

Насчет «Большевика» Скловский сам был не без греха, и вообще такая точка зрения на Леньку была для него нова.

— Ты еще мало его знаешь! — возразил он секретарю. — Он к себе лодырей берет и из тех тоже людей делает. Замучает парня, зато на всю жизнь на-

учит работать. Его авторитет следует поддержать! — ревниво добавил он.

Секретарь понял опасения Скловского и откликнулся.

— С Яремчуком поработать надо. Теоретически. В общем я его партторгом смены выдвигаю. Это его подтянет.

— Правильно! Для него шахта — это в жизни главное! — с восторгом поддержал Скловский, счастливый тем, что в вопросе о Леньке он все же общий язык с партсекретарем нашел.

Хазанский присмотрелся к ячейке. Печальный отзыв Скловского не был лишен оснований: партийцы на собрания являлись туго. Но и собрания хороши: Хазанский перелистал пачку протоколов, порядок дня был сух, как летний воздух.

Новый секретарь вызвал к себе трех партийцев — откатчика, бетонщика и рабочего поверхности.

— У меня есть план! — оживленно сообщил им Хазанский. — На ближайшем партсобрании вы трое выступите с докладами.

Рабочие растерялись.

— Кто?

— Вы.

— У меня язык заплетается! — скромно сказал откатчик. — Говорить на собраниях я не мастер.

— Какой же из тебя партиец, если никогда не выступаешь?

— Ну, никогда... Так, высказаться, туда-сюда, покрыть за неполадки... А ты говоришь: доклад!

Остальные сочувственно кивали.

— Вы меня, ребята, не поняли! — раз'яснил Хазанский. — Я не прошу тебя о международном или о партс'езде, — этого с непривычки, ясно, сразу не осилишь. У нас будут доклады на особый лад. Составим из вас комиссию, обшарьте всю шахту от заготовки до бетона, с людьми побеседуйте, вообще наблюдайте. Даю сроку три дня. Скажете на собрании, чем мы болеем. Ясно?

Комиссия приступила к работе. Хазанский спустился в шахту, обошел партийцев.

— Придешь на собрание?

— Приду! — Но по лицу видно: врет.

— А порядок дня знаешь?

— Слышал. — Опять врет.

— У нас комиссия тут работает. Доклад о неполадках.

Парень оживляется.

— Ко мне приходили. Я им такое наговорил. Ни к чорту чет у нас единоначалия...

— Выступи, расскажи.

— Обязательно приду!

На очередном партсобрании партком едва вместил желающих выступить.

Семейный вечер Матвеева удался на славу.

Устроили его в бараках. В обширной комнате, отштукатуренной, чисто выбеленной, освобожденной от сундуков и коек, поставили большие, накрытые скатертями и закуской столы. Уральцы чинно расположились по лавкам, женщины, наряженные и веселые, заняли особый угол. Несколько приветственных выступлений было выслушано с уважительным вниманием. Затем пошло веселье. Затянули песни. Молодежь оказывала старикам всяческое почтение. Выступили затейники, пригласили стариков в круг. Против ожидания уральцы не заставили себя долго просить. Вышли, вытеснили молодежь и так расплясались, что унять нельзя было.

По всем баракам прокатилась слава семейного вечера. Партторги всех смен осаждали Хазанского. Им не было проходу в бараках, женщины кололи им глаза Матвеевым: вон у других партторг, как партторг, а вы вечера сколотить не умеете.

Семейные вечера прочно вошли в быт шахтеров.

5. Яша

Записка была от товарища по подполью. Он просил особым вниманием окружить на шахте Яшу, «которого ты, друг, по прошлой работе должен знать...».

Итак, Яша здесь, в СССР. Хазанский с уважением взглянул на него. Перед ним стоял худощавый, скромный, на первый взгляд, застенчивый человек средних лет.

— Я вас устрою в бригаду Яремчука, — пообещал Хазанский.

Яша кивнул головой. Как новичок, не мог он оценить во всей полноте предупредительность секретаря. Попасть в бригаду Яремчука теперь считалось на шахте привилегией, для новичка вообще недоступной.

Рассказ Яши

«Попал я в шахту в феврале 1934 года. Обстановка была для меня нова, я впервые оказался в условиях советского производства.

За последние годы мне мало приходилось встречаться с людьми. Я почти отвык говорить громко. С массой я общался в своей работе через листовки, корреспонденции, живые люди-одиночки появлялись и исчезали, не надолго задерживаясь у меня на виду. И вот я снова в рабочей среде. Я могу говорить вдоволь, кричать, распевать, изливать все, что накипело внутри. Как изголодавшийся, утолял я свою жажду встреч с людьми.

Я выбрал метро потому, что знал: сюда идут люди, как и я, не владеющие техникой этого производства. Так, думал я, будет мне легче вразить в незнакомую среду.

Меня определили в бригаду Яремчука, в смену Боброва-Русака, на участок грязной, но почетной работы — разработки колот.

Вышел я на работу 5-го в ночь. Ночь с 5-го на 6-е — начало суток и начало новой странички в моей жизни. Мне выдали спецовку — блестящую, новую. Какой вид она приняла через несколько дней! Но в тот вечер я еще выделялся среди старых шахтеров невинной белизной одежды. Рабочие провожали меня улыбками:

— Ага, еще один новичок!

В сушилке было душно, стояла пыль. Яремчука я разыскал в группе комсомольцев, они распевали под его дирижерством. Он мигнул мне глазом в знак приветствия.

Минут через десять по его сигналу вся смена дружно двинулась вниз по отвесным скользким лестницам. Я волновался, как некогда перед первым выступлением, и завидовал всем этим людям,

молодым и старым, уже получившим права гражданства в шахте.

Я старался следовать по пятам за Яремчуком, чтобы куда-либо не провалиться, но боевое крещение получить все-таки пришлось. Подымались по бремсбергу. Я не заметил тяжелой перекладины, задерживающей вагонетки, задел ее, проходя. Она с силой обрушилась на мою голову. Раздался смех ребят и сердитый возглас Яремчука:

— Чему смеетесь, черти?

Я был ошеломлен. Из носа текла кровь, я старался ее удержать платком и последовал за бригадой дальше.

И вот мы на месте работы. Я вижу как бы большую землянку, в центре ее — четырехугольное отверстие, так называемая форнель. Через нее ссыпают породу вниз, в проезжающие по нижней штольне вагонетки. С обеих сторон землянки — стены, чудесные стены под крышей из марчеван, уходящие все дальше и дальше вглубь, под напором нашей работы... Мы отдыхаем раз в пять дней, но работа в штольне не замирает ни на минуту. Рядом с одной колотой вырастает другая, третья, смена приходит за сменой, в шахматном порядке разрабатываются промежутки меж колотами, одевается бетонная броня... Тоннель готов!

Впервые в жизни взял я в руки лопату. Товарищи по работе, молодые ребята, с любопытством разглядывают нового компаньона. Но порода не ждет. Яремчук громовым голосом требует через форнель подачи вагонеток. В двух словах объясняет он мне несложную технику обращения с лопатой, после чего берется за кайло. Я стараюсь не отставать от остальных ребят, это дается мне с трудом. Лопата с непривычки оттягивает руки, часто садишь ее в породу слишком резко, не можешь набрать заполненной. Я обливаюсь потом, но стараюсь непрерывной работой выровнять свое отставание. Ребята посмеиваются:

— Ничего, работу ты любишь, только лопата у тебя из рук вываливается.

И утешают:

— Погоди, Яша, через пару недель ходить будет в твоих руках лопата. Это все с непривычки.

Помню, после этой первой ночи долго просидел я в сушилке, пока оказался в состоянии дойти домой. Подавленный, покинул я шахту. Я был совершенно разбит и не мог себе представить, как снова к вечеру я выйду на работу.

— Выдержу ли этот экзамен? — волновался я.

Но что же? Проспал день и к ночи с новыми силами направился в шахту. Вторая ночь далась легче.

Сейчас прошло уже больше трех месяцев со дня моей работы на метро. Ребята оказались правы. Лопата «заходила» в моих руках.

6. Парторг в бараках

Вскоре пришлось бригаде Яремчука узнать, что такое давление почвы на шахту.

Работа в забоях шла, как обычно. Скальвали и откидывали породу, ставили крепление. Вдруг раздался деревянный треск. Все бросили инструмент и взглянули на потолок штольни. Одна из марчеванок странно изогнулась. Лопнула рядом вторая.

Шахтеры кинулись к выходу, но быстро спохватились, — обвал укрепили.

Целый день только и речи было, что об аварии.

— Упустили все-таки лоб! — озабоченно сказал Яремчуку один из уральцев. — Вы, ребята, поаккуратней. С этим делом не шутят.

Даже самое название — упустить лоб — было слуху Яремчука чуждо. Бороться с авариями он не умел. Приходилось опять идти на поклон к уральцам.

Уральцы жили в бараках. По просьбе Яремчука ему предоставили там комнату, взамен комнаты на Серпуховке, которой добился для него шахтком.

— Сдурел ты? — спрашивали комсомольцы у Яремчука. — Променял сокола на ворона.

— Ничего вы не понимаете! — возразил Яремчук. — Наши уральцы там все живут.

— А тебе с них что?

— Буду вместе жить, сойдемся тесней.

— Зря морочишься! — заявили комсомольцы. — Уральцы — это народ за-

мкнутый. Он, как домой пришел, больше ничем его не проймешь.

Но трудно было разубедить Яремчука. — Фактически кто решает работу? Они. У них только нам учиться.

Комната Яремчука служила центром притяжения для всех, кто жил в бараке. Здесь можно было встретить партийца-рабочего и комсомольца-звеньевского. Но больше всего времени проводили у Яремчука уральцы-татары. Общение с бригадиром-парторгом ввело в их кругозор производственные интересы. Быть может, впервые в жизни привелось им вкладывать так много азарта и инициативы в дискуссии на повседневные шахтные темы.

Самым азартным и самым инициативным из всех показал себя уралец Шейхудинов. Яремчук разгадал в нем неиспользованную жизнью одаренность и в удобный момент обронил предложение — организовать под началом Шейхудинова сквозную бригаду уральцев.

Шейхудинов не отказался.

Бригада наладилась и начала хорошо сдавать план. 30-го числа у Шейхудинова предстояла сбойка. Работа шла на всех парах, как вдруг досадный промах бригадира едва не сорвал намечавшиеся успехи.

Шейхудинов вышел работать в ночь. Вдруг заболел у него живот. Испуганный уралец бросил инструмент и ушел с шахты. Бригадира хватились. До смены оставалось часа два. Он не вернулся.

Наутро приказом начальника шахты Шейхудинов был уволен с работы.

Кара разразилась, подобно грому. На Урале слыл Шейхудинов лучшим забойщиком. Семья из семи душ жила только его заработком. Шейхудинов кинулся к парторгу.

Яремчука начальник шахты и слушать не стал: преступление было беспримерно. Долго тянулись дипломатические переговоры сторон, в которые парторг втянул и ячейку, и шахтком, и, по договоренности с Хазанским, даже общее собрание рабочих. Решили: лишить Шейхудинова звания ударника, но в забой вернуть. Шейхудинов на собрании все-

народно покаяться и дал зарок: сбойку выполнить к 25-му вместо 30-го.

Последние дни перед сбойкой Шейхудинова не могли выгнать из шахты, пока не пришел категорический приказ Ермолаева: отослать бригадира домой на отдых. Срок уралец выдержал и заработал заново почетное звание ударника.

7. Вожди и шахта

Шейхудинов воевал со стволовыми.

— Леня! — жаловался он Яремчуку. — Они мой план держат!

На стволовых рабочих жаловались все бригадиры.

— А конкретно чем? — спрашивал Яремчук.

— Порода лежит. Не берут.

— Дерись.

— Матом крыл, — не берут.

— А кто конкретно не берет? Может, откатчики?

— Не знаю. Кругом порода лежит.

— А ты выясни.

Выяснив, Шейхудинов приходил снова.

— Откатчики, ты верно сказал, Леня.

— А что у них?

— Не работают. Очень медленно.

— Может, вагонеток нет?

— Есть вагонетки. Бурятся. Много времени убивают.

Яремчук учил Шейхудинова: поговори с десятником, с техником, вообще действуй, на месте не сиди.

Шейхудинов действовал. Десятник переругивался с откатчиками. Вагонетки продолжали сходить с рельсов. Порода душила штольни.

До сих пор взаимоотношения Шейхудинова с вождями были примитивны. Он научился распознавать их лица на портретах, охотно аплодировал, когда проносилась с трибуны их имена, и, отдав им должную дань уважения, возвращался мыслью к шахтным делам, к которым, по глубокому убеждению уральца, прямого отношения вожди не имели.

Однажды дали ему билет на актив метростроителей. Уралец принарядился и пошел. И зал, и народ в зале ему понравились, собрание было обставлено

празднично. Вышел и встал на трибуне оратор. Долго не мог победить Шейхудинова ощущения необычности, — как если бы вдруг заговорил оживший портрет.

Слова выступавшего были просты, слушалось легко. Плохое знание русского языка мешало Шейхудинову, он не все понимал.

Вдруг Шейхудинов встрепенулся, — оратор заговорил языком шахты.

— А если вагонетки поставлены на плохие рельсы, то они будут с рельсов сходить! — говорил он и больше не казался Шейхудинову человеком с портрета. — Тут ничего мудреного нет, — продолжал он, превращаясь в кого-то очень своего и простецкого: вроде шахтного десятника. — Кто бывал в шахтах, знает: это очень простая вещь. Положи рельсы более прочно и аккуратно, и вагонетка с рельсов сходить не будет.

Он долго объяснял, какие неудобства может породить в работе плохо уложенный путь. Уралец слушал его, разинув по-детски рот.

Явившись в очередную смену, Шейхудинов прошел с техником по всей длине рельсов, и техник должен был признать, что во многих местах они уложены неправильно. Шейхудинов торжествовал.

— Он все знает! — восторженно настаивал он откатчиков. — Что у нас на шахте делается, это он тоже знает, как будто рядом с нами работал. Он мне такую инсрукцию дал: это очень просто. Положи рельс, теперь завтра погони вагонетку, и на этом самом месте, где ты неправильно склал рельс, вагончик слетит. А почему? Сам виноват! Сам портишь, сам ругаешь.

— Ты что! — поправляли бригадира откатчики. — Разве мы сами себя ругаем? Это ты нас ругаешь, а мы-то собой вполне довольны, народ, как говорится, отменный!

Ребята смеялись. Шейхудинов строго поправлял:

— Когда я тебя ругаю, я себя ругаю. Тебя учить надо, меня учить надо. Меня Лазарь Мойсеич учит, тебя я учу.

Этот разговор услышал Хазанский.

— Ты как думаешь — ты доклад Кагановича слушал? Нет! Это ты твой первый урок по технике слушал. А зачем затруднять Лазаря Мойсеича, у него и без нас дел много. Ходил бы на кружок, занимался сам.

Хазанского поддержал Яремчук. Несколько дней обхаживал парторг уральца.

Шейхудинов записался в кружок и привел с собой стариков.

Козловский работал в забое. Послышались поблизости голоса. Он оглянулся. Рядом стояли люди со странно знакомыми лицами. Козловский пригляделся. Вдруг всплыли в памяти: знамена, колеблющиеся над головами, нарядное, в аэропланах, небо, трибуны Красной площади... Сомнений не было — в шахту зашли товарищи Каганович и Хрущев.

Отбойные молотки заглушали их голоса. Козловский остановил работу и вслушался. Каганович произнес что-то, как будто об использовании известняковой породы. Что-то пробормотал в ответ Хазанский.

— Работает звено Козловского, — произнес он затем отчетливо.

Услыхав свое имя, Козловский торопливо вернулся к работе. Хазанский подошел.

— Пойдем. Лазарь Мойсеич тебя просит.

С Лазарем Моисеевичем поздоровались за руку.

— Как план? — поинтересовался он.

— Даем. По крайней мере пока примера не было, чтобы не дали.

— Работу освоил?

— Я раньше в Подмосковном был по мобилизации...

Каганович улыбнулся.

— Выходит, старый горняк, школа есть! А заработок как?

— Рублей шестьсот-семьсот.

— Им деньги девать некуда! — вставил Хазанский. — Мы им коммерческое кафе организовали, я спрашивал ребят: «Не дорого?» Они говорят: «Было бы питание, а денег мы заработаем!»

— Шестьсот — это для молодого человека очень неплохо. Женат?

— Нет.

— Почему?

— Все есть, даже невеста, — снова вставил Хазанский. — Одного нехватает.

— Чего?

— Комнаты!

— Комнату дадим! — сказал Лазарь Моисеевич и покинул забой.

Через пару дней позвонили из Моссовета. Козловский получил комнату.

Вопрос об известняковой породе тоже не остался без движения. Породу пустили вместо гравия в бетон.

8. Камера

Соединение двух радиусов — Арбатского и Мясницкого — девятой шахте предстояло произвести первой на метро. Эту работу, которая числилась в разряде особо сложных и опасных, техническое совещание без споров поручило бригаде Яремчука.

Комсомольцы торжествовали.

— Когда начинали, что Ермолаев говорил? А теперь чуть что — бригада Яремчука! — сказал наставительно Матвеев.

— Я ему это попомнил! — утешил его Словский.

— А он что?

— Не отрекается. Говорит: «Я был прав, выдержку надо было сделать».

— Он теперь так должен сказать! — пояснил Матвеев...

Бригаде Яремчука была поручена разработка камеры, — это означало, что бой вокруг Арбатско-Мясницкой вилки завершился победой Ермолаева.

Ермолаев внимательно и сочувственно следил за бригадой Яремчука. Его поражал тот факт, что опыт уральцев как-то безболезненно и с пользой для дела растворялся в массе молодняка, хлынувшего в шахту. Старики дружно работали с молодежью, но своего особого лица в шахте не имели. Все командные высоты занял молодняк, с потрясающей быстротой овладевший техникой дела. Преимущество опыта перед энтузиазмом оказалось спорным, да и самое противопоставление их, пожалуй, ложным. Ермолаев сдался, не мог не признать, что жожаками оказались в его шахте энтузиасты. Вот почему он отважился передать ответственнейшее задание бригаде,

организации которой некогда сопротивлялся.

Яремчук собрал бригаду.

— Ребята! — сообщил он. — Работа опасная. Грунты, сами знаете, вышли не те, что геологоразведка показала, работать нам в юрской глине, порода мягкая, требует хорошего качества крепления. Необходимо, чтоб была бдительность. Ну, как? Выполним?

— А план какой дают?

— Месяц.

— Выработка?

— Шестнадцать метров. Имейте в виду: не частями разрабатывать, — это не станция. Сразу открывать придется. Бригада взялась.

Разработка камеры была связана с новыми, еще не преодоленными трудностями. Требовалось возвести общий свод над двумя тоннелями в разветвлении Арбатского и Мясницкого радиусов. Когда затягивали марчеванки, над глиной находился пыбуун. Малейшее упущение надолго остановило бы работу.

Случалось: лопались огнива; по небрежности допустили пару раз завалы. Произошла неполадка с чертежами: камеру забрали выше, чем следовало, это усугубило сложность сооружения.

Яремчук почти не вылезал из шахты. Как парторг отвечал он теперь за всю смену.

В шахте завелись бюллетени: ежедневно вывешивался рапорт о том, как выполняли рабочие свои самообязательства. Отстал комсомолец Злобин из смены Яремчука. На собрании сослался на простои из-за леса.

— А леса почему у тебя нет? — спросил парторг.

— Не знаю. Не везут.

— А много времени теряешь?

— Когда час, когда и два.

— Вот видишь! — сказал Яремчук, обращаясь к собранию. — Теряешь час, два. И не беспокоишься. Сидишь и ждешь. А, положим, потерял бы минут пятнадцать, встань поди, выясни, проследи: где материал, отчего не везут?

— Не поможет. Их там, чертей, ничем не растрясешь. Что выясню, при том и останусь.

— Хорошо. Пусть так. Плюнь, привези сам.

— А времени сколько убьешь?

— Ну, убьешь полчаса, не больше, а так полтора теряешь.

— Обязан я, что ли? Буду за них ихний план выполнять, избалуются, совсем на шею сядут.

— На бригаде поставь вопрос: так и так, сегодня сам я себе лес возил, а такой-то парень мне план срывал.

Злобина удалось убедить. Больше простоев из-за леса в смене не было.

Бюллетень свидетельствовал: перестал выполнять план один из уральцев. Подкатывались к нему комсомольцы с агитацией, старик ни с кем говорить не стал. Сообщили парторгу.

В часы работы в забой уральца зашел Яремчук. Лег на сухие комья породы, прикурил, разговорился. О том, о сем, — дошли до плана. Спросил, как бы незначай:

— Что это с тобой? С женой не ладишь?

Старик помрачнел:

— Сын хулиганит.

— Велик сын?

— Школьник.

— С чего он вдруг? Может, товарищи в школе дурные? Ты бы с заведующим поговорил...

Старик с досады даже инструмент отбросил. Резко обернулся к Яремчуку.

— По улицам шляется! — с горечью пожаловался он. — Не берет его школа!

Яремчук присел на комьях.

— А именно? Как это так — не берет?

Чуть не со слезами старик рассказал: близ барачной школы нет. Городские мальчика не принимают. Целые дни гоняет сын по улицам, вконец избаловался.

— Какой тут план! Руки у меня висят. Придешь домой — мальчишки нет. Встанешь утром — уж он на улице.

— Ладно! — сказал Яремчук, подымаясь с земли. Он выяснил все, ради чего пришел. — После смены загляни к Хазанскому, я там буду. Устроим твое дело. Зря раньше не сказал. А план ты подтяни, всю шахту подводишь. Сроду

того не было, чтобы наша смена план не сдала.

Через два дня, при содействии ячейки, Яремчук поместил мальчика в одну из городских школ. План у старика пошел вверх.

Уже стало обычаем: при выходе из шахты рабочие спрашивали друг у друга:

— Ну? Что план?

— Неудачников подымали на-смех.

— Прикуривал? Дурака валял?

Яремчуковцы проследили и довели до общего сведения: срывали выполнение неаккуратные явки на работу. Смена большая, работает человек триста. Десятники и техники не успевали следить. Шахтеры опаздывали и покрывали друг друга.

— Становись! — говорил опоздавшему звеньевой. — Скорей становись. Десятника еще в забое не было. Не узнают.

Яремчуковцы выдвинули лозунг:

— Что это значит: становись! За звено надо отвечать не формально, а так, чтобы с шести утра кипела работа. Не допускать опоздавших в забой! Пусть несет разрешение техника или десятника.

Смена предложение приняла. И если доводилось звеньевому, в виде поблажки товарищу, скрывать опоздавшего, соседи по работе безжалостно выдавали его, — чтоб другим не было повадно.

Козловский торопливо вбежал в партком.

— Хазанский тут?

— Здесь я. В чем дело?

Козловский отвел секретаря в сторону.

— Слушай. Ты должен вмешаться. Это просто травля человека.

— А в чем дело?

— Знаешь Нивраева?

Нивраев был начальником участка.

— Ну, знаю.

— Вот, расскажу тебе пример. Он у нас борется за план. С воздухом у нас не выходит, компрессоры подают слабо. Понимаешь, камень, — известняк, — берем вручную: кувалдой и клином. И вот Нивраев положил много хлопот, но запертили.

— А что именно?

— Хотим взрывать.

— Запретили, — стало быть, нельзя.

— Нет, можно.

— Может, ты инженеров научишь?

— Научу. Можно взрывать.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю. Вот же мы взорвали, — ничего!

— Как взорвали?

— Очень просто. Не дальше, как сегодня.

Хазанский молча смотрел на Козловского.

— Вы с ума сошли! — воскликнул он наконец. — Это же нарушение приказа. Вам влетит.

— Уже влетело. Нивраеву выговор.

Хазанский рассердился.

— Не стану защищать. Не жди. Чистое безобразие.

— Почему?

— Ведь был приказ!

— Это ничего не значит. Ну, хорошо! — уступил Козловский, видя, что Хазанский опять начинает сердиться. — Ведь ничего не случилось. Наоборот, получилось очень хорошо. Ну, поговори с начальником, Нивраев, знаешь, какой парень? Ужасно смелый. Предприимчивый. Ему начальник просто сказал: если берешь на себя — бери, я за тебя отвечать не стану. Он взял. Это ведь допустимо, тут производственный риск.

— Могло плохо кончиться.

— Но ведь хорошо кончилось!

Хазанский согласился поговорить. Козловский ушел.

«Парня надо на учет взять, — подумал о Козловском партсекретарь. — Движем по производственной линии».

Разработка камеры подходила к концу. Знакомиться с опытом яремчуковцев приходили работники всех шахт метро.

Скальная порода, натолкнулись шахтеры на старинный колодезь. Находка оказалась для не-археологов не вполне приятной: вместо мягкого грунта приходилось выволакивать со дна колодца прогнивший мусор.

Однажды в тоннель явился начальник строительства — тов. Абакумов.

Не в пример прочим, шел этот тоннель не кругообразно, но на четыре угла. Огромный свод был сработан чисто.

— Аварии были? — спросил Абакумов.

Ему сообщили: упустили лоб, но жертв нет.

Абакумов обошел тоннель, вызвал бригадира. Подошел Яремчук — в спецовке, облепленной глиной и грязью. В присутствии инженеров и рабочих прославленный суровостью начальник обнял Яремчука и назначил бригаде премию — тысячу рублей.

И обятие, и премия вошли в устные летописи метро. Далеко за пределы девятой шахты разошлась молва о первом ударнике метро — бригадире Алексее Яремчуке.

9. Стволовые

Смена блестяще сдавала план. Выдача породы наверх шла все активнее, возрос спрос на бетон. Но ствол не успевал за забоями. Породы не принимали, бетона не спускали. Дело стояло за откатчиками и стволовыми.

Партгруппа постановила: взять упор на подачу бетона в шахту и выдачу породы. Яремчука прикрепили к стволовым.

Яремчук в совершенстве владел истинной, понять которую не всегда удавалось Ермолаеву. Яремчук глубоко и твердо знал, хотя и не сумел бы этого сформулировать словами, что основной производительной силой был и остается живой человек. И как Ермолаев, планируя работу, вызывал к действию четкие ряды прочно усвоенных технических формул, так и Яремчук проверял мысленно качество доверенных ему людей.

Сугубо личным качеством Яремчука был свойственный ему талант в обращении с людьми. Он всегда находил путь к сердцу и разуму товарищей, и, как правило, слова его были просты и полны делового смысла.

Он начал с того, что собрал стволовых.

— В чем причина? — спросил он. — Всю шахту гробите.

Стволовые угрюмо молчали. Начал сердито оправдываться один паренек.

— С нас все требуют: давай бетон, забирай породу. Вагонеток мало, бункера породу своевременно не вывозят, свалить ее негде...

— А ты разговорчивый! — сказал Яремчук. — У тебя кругом об'ективные причины. Это, положим, верно, насчет бункеров, уладим. У меня такой вопрос: кровь у вас холодная! Мало беспокоитесь. А в шахте завал, какво работать? Об этом, небось, забыли?

— Тут шахтеры не при чем. Сегодня не вывезли — вывезем завтра, вас не заставляем, — загудели стволовые.

— А в самой шахте что при завале делается, забыли?

— А что?

— Сами не видали? Представляетесь!

— Чего нам представляться? Мы в шахте сроду не были.

— Как не были?

— Так и не были.

Яремчук оторопел.

— А ну, ребята, кто именно сроду шахты не видал?

Почти все стволовые подняли руки.

Яремчуку словно глаза открыли. Он прекратил перебранку со стволовыми.

— Ладно. Когда так, в выходной спускаю вас в шахту. Идет?

Договорились.

В выходной стволовые собрались аккуратно, не было только разговорчивого паренька.

— А тот где — с об'ективными причинами? — спросил Яремчук.

— Шумилин? Расчет получает.

— Какой расчет?

— А что? Получка скверная, скоро и мы за тем пойдем! — угрюмо ответили стволовые.

Яремчук чуть не бегом кинулся к касиру.

Шумилин уже подписывал ордер. Яремчук тронул его за плечо.

— Ты чего это?

Шумилин поднял голову, узнал парторга.

— Ухожу! — сердито сказал он. — Надоело. Кругом одна буза.

— Брось дурить. Пошли в шахту.
 — А ребята собрались?
 — Все тут. Тебя ожидали.
 — Получите деньги! — предложил кассир.

Шумилин нерешительно взглянул на него.

— Нам не к спеху! — крикнул кассир у Яремчук и увел Шумилина.

В шахте стволовые увидели воочию: работать шахтерам было тяжело. Порода завалила все ходы и выходы, в забой пробирались на животях.

— Вывезем! — обещали стволовые.

С партячейкой и администрацией по всем вопросам Яремчук договорился — о вывозе породы с шахтной площадки, о доставке на бетонный завод промытого гравия. Поставили наверху комсомольский контроль — для регистрации дефектов.

Рекордной нормой на шахте считалось — подать наверх 150 вагонеток породы, вниз — 25 вагонеток бетону. Работа на новых началах дала в первый же день 200 вагонеток наверх, 35 — вниз. Прошло еще несколько дней. Шахта читала в бюлетене: 300 вагонеток породы, 50 — бетону. Ермолаев не поверил глазам.

— Быть не может! Приписываете лишнее. Никогда не поверю, практически это дать не можете.

Комсомольцы встали на дыбы.

— Назначайте контроль.

Контроль был выделен секретно: кто именно ведет проверку, комсомольцы не знали. В этот день работа горела у стволовых. Шумилин, и думать забывший о расчете, превосходил самого себя: он действовал и руками, и ногами, работая лопатой, каблукотом отталкивая пустую вагонетку.

К концу дня Яремчук и техник зашли в кабинет начальника.

— Ну, что... — начал техник. Начальник прервал его, замахал руками.

— Ну вас к бесу. Знаю, знаю сам: 380 и 70. Что тут с вами, с чертями, сделаешь.

Шумилин вышел на первое место по метру как лучший стволовой.

10. Поединок

Тоннель кончали, когда произошла заминка.

Шурф, по которому спускали породу, засорился. При бетонировке залило его бетоном. Шейхудинову дали приказ — шурф прочистить. Он, было, сунулся туда, но сверху заливала вода, стоять приходилось по колено в грязи. Шейхудинов вылез наружу.

— Не могу! — сказал он. — Ничего нельзя сделать.

Работать при засоренном шурфе не было возможности.

— Надо лезть! — сказал Яремчук Бобров — сменный техник.

Яремчук молча указал на свою одежду — на нем не было резиновой спецовки.

— Я не про тебя! — ответил техник. — Пошли кого. Там опасно...

— Снимай твою! — предложил Яремчук.

Бобров быстро снял резиновую одежду. Яремчук переоделся.

В сопровождении своего помощника Васина Яремчук направился к шурфу.

Встретили шахтера Шупова.

— Ты куда, Ленька?

— В шурф.

На лице Шупова отразилось смятение.

— Бетон застыл. Обвалит.

— Дальше что?

— Я пойду.

— Зачем это?

— Не бригадирам же рисковать... — пошутил Шупов.

— У тебя дети. Ступай, обойдемся сами.

Пошли дальше. Навстречу попались девчата.

— А! Леня! Куда ты?

— Расчищу шурф.

— Леня! Завалит! Смотри, не вернешься...

— Когда не вернусь, прощайте...

Подошли к шурфу. Яремчук полез вовнутрь, вдруг высунулся.

— Бетон подсох. Это верно. Глубоко он там?

— Метров семь.

Яремчук задумался.

— Полезу. Ребята, вам вот что: когда обвалится, пойдет бетон, — лови меня за ноги и вытаскивай.

Он исчез в шурфе. Ребята, затаив дыхание, слушали глухие удары лома о бетон. Вдруг в шурфе что-то загремело. Бетон посыпался из шурфа, мелькнули ноги. Ребята кинулись к шурфу. Яремчука откопали. Он был без сознания.

На одной из вагонеток, на каких обычно вывозили породу, подняли в этот день стволы на-гора Алексея Яремчука. Врач установил перелом ноги в двух местах. Яремчука надолго уложили в гипс.

Бригадир выбыл из строя. Настроение в бригаде снизилось. Первыми подняли головы коммунисты.

— Брось, ребята. Хоть Ленку жаль, но это неважно. Темпов не сдадим. Не падать духом, будем, как один!

Временно, до выздоровления Яремчука, назначили бригадиром Вдовина.

Бригада была по человеческому составу уже не такой, какой сколотил ее некогда Яремчук. Люди росли, из организуемых сами становились организаторами. Козловский работал звеньевым бригадиром, Ковнера поставили с откидки на проходку, парторг Матвеев имел собственных выдвиженцев. Все коммунисты его группы работали звеньевыми. Коммунист Кауров при его помощи быстро овладел техникой и с места в карьер начал выявлять неполадки. Он первый указал бригадире на то, что на втором участке забетонирован лес крепления. Бригада подняла тревогу, расследовала факт и раз навсегда договорилась о правилах приема и сдачи работ. Новички попадали в крепкую обработку.

Имелся в партгруппе Матвеева рабочий Макаров — человек малограмотный, тихий. На собраниях он все больше отмалчивался. Матвеев взялся за него, стал указывать ему на интересные статьи в газете, поручал беседы с беспартийными, выделил партгором. У Макарова развязался язык. Он приобрел у рабочих авторитет, о чем ему раньше и не мечталось.

В ударной работе бригада обогатилась традициями. В шахту смена спускалась одновременно и загодя до начала работ. Окончат работу, выйдет смена из шахты, идет проверять, заготовлен ли для смежной смены лес. Случится — нет леса. Долго не думая, таскают сами, хотя рабочее время давно истекло. Бригада имела свои койки на шахте, подчас приходилось Вдовину, — лучшему ударнику бригады, — Никитину, Матвееву суток по двое не уходить домой. Условия работы ухудшились! Мимо шел бетон, теснота мешала шахтерам. Но бригада план сдала с превышением.

Происшествие с Яремчуком произвело на Яшу неизгладимое впечатление. Он любил Ленку любовью старшего товарища. Судьба Яремчука олицетворяла в себе для этого бывалого революционера пафос русской революции, открывшей самородкам из масс путь к большому человеческому расцвету.

Яша любил Яремчука. Но то, что произошло с Яшей после истории с шурфом, было больше, чем печаль, и возвышеннее, чем зависть. Поступок Яремчука, спокойствие, с которым он шел на смерть, потрясли Яшу. В прошлой своей работе лицом к лицу со смертью не раз мог оказаться и Яша. Но там смерть была патетична. Яремчук пошел на гибель будничную и деловитую. Новая проба человеческого качества возникла в представлении Яши. Он задавал себе вопрос: «А я? Пошел бы на это я?» Впервые он усомнился в себе. Во имя сохранения самоуважения Яше был необходим поединок между Яремчуком и им самим, — между природным бесстрашием бригадира и тренажем воли опытного подпольщика.

Рассказ Яши

«Мне было конечно далеко до чистки форнели. Мне было тяжело даже представить себе, как спустился бы я по шланге в совершенно открытую форнель. Но этот случай с Яремчуком странно подействовал на меня. Меня тянуло к форнели, очищенной такой

дорогой ценой. И когда она снова засори-лась, — на этот раз не бетоном, а кам-нями известняка, — я решил сам взять-ся за это дело.

Впервые на шанге соскользнул я в форнель, вооруженный ломом и лопатой, встал на комья известняка, застрявшего там, и начал подбивать почву под нога-ми. Сверху струями лилась вода, стояли дни оттепели, а форнель помещалась вблизи шурфа, по которому стекали внешние воды. Я находился как бы под водосточной трубой. Не помогла брезен-товая спецовка, я промок насквозь и от головы до пят облип грязной породой. Но я решил выдержать до конца. Долго долбил я ломом, пока известняк из-под моих ног не посыпался вниз. Мне по-везло, я соскользнул за ним и встал но-гами на вагонетку. Невредимым вылез я в нижнюю штольню.

Но при моем падении застрял в фор-нели лом, упершись поперек об ее стен-ки. Я знал, что значит забыть в фор-нели посторонний предмст. Когда Лень-ка пробивал однажды форнель, стоя внизу, слетел на него неожиданно кем-то оставленный в форнели лом и едва не проломил ему череп. Я вторично полез в форнель и вылез оттуда с видом по-бедителя. Жаль, что не увидел сам Ленька успехов своего неудачливого уче-ника».

Второй катастрофы не произошло. В поединке между природным бесстрашием и тренажем воли силы сторон оказались равны.

Бесстрашие Яремчука, так взволновав-шее Яшу, покоилось на том, что Ярем-чук не верил в смерть. В нем бил такой мощный родник животворящей бодро-сти, он жил так кипуче и полно, что са-мая проблема смерти не могла надолго занять его воображение. Если он стал-кивался с нею, она всегда вторгалась в его сознание как нечто нелепое, не-суразное и ненужное. Ничто в окружа-ющей его действительности не апел-лировало к смерти. Напротив, все вок-руг — и его партия, и его труд, и тон-нель, который рос под напором его кай-ла, — все это была сама ликующая, по-беждающая и утверждающаяся жизнь.

К Яремчуку в больницу наведывались шахтеры. Живейшую и исчерпывающую информацию о шахте можно было в лю-бое время получить у койки Яремчука. Полтора месяца пролежал бригадир при-кованным к постели, но шахта его не забыла. Старик-уралец писал: «Леня, у меня умер сын». Он был убежден, что и в болезни Леня не откажет ему в со-чувствии.

Из больницы Яремчук вернулся с кур-ортной путевкой в руках.

— Еду, ребята, — весело сказал он. — На поправку. Вот где отдохну.

— Мы тебя ждали, — ответил Хазан-ский. — Специально задержали работы на девятой-бис. Без тебя начальник шахты начать не хотел. Большие труд-ности. Сплошной пльвун.

Наутро Яремчук вышел на работу — в кесон.

2. ПЕВЕЦ ИЗ КАХАБ-РОСО

Роман Фатуев

Аул ждал имама: над плоскими кры-шами саклей вился сладковатый кизяч-ный дым, с навесов спадали ковры и сумахи, а улица и та дорога, по которой ехал имам, были посыпаны золой.

Старшины тухумов, кадий и все квар-тальные муллы вышли к воротам аула отдать имаму салам.

Старики в белых, как их бороды, ха-почах, в дорогих папахах, с четками в ру-ках сошлись на гетикане.

Молодежь, оседлав коней, ушла в горы.

Неожиданный и беспричинный приезд имама не сулил добра. Еще с шами-левских времен известно — в ауле будет больше виновных, чем правых, а суд над

кем бы то ни было всегда страшен: у кого, кроме богачей да кадия, сын, брат, зять не с партизанами?

Кто-то даст за них ответ?..

И вот теперь, показывая свою верность, каждый, кто остался из мужчин в ауле, вышел сюда — к дверям мечети.

Было известно: имам шел с Бетль-Кахабской долины, — туда и были устремлены все взоры.

Скоро с жилистых троп в сухое русло реки влилось его войско: впереди мюриды с зеленым острокопечным, на кривом шесте, знаменем, сади — караван вьючных коней, а посредине — он, Нажмуддин Гоцинский¹⁾ Мюриды то заезжали вперед, то возвращались назад, стреляли и джигитовали вокруг Нажмуддина, громко распевая слова «священно-го» гимна:

... К кому пойдем мы, кроме вас?

У нас никого нет, кроме вас!

От вас одних мы ждем блага..

Нажмуддин, во всем следуя Шамилю, перенял от него и эту, сочиненную им, песню.

¹⁾ Нажмуддин Гоцинский (из Гоцо) — сын шамилевского наиба Доного Магомы, провокатора и предателя восстания 1877 года в Дагестане, владельца 10 тысяч баранов, огромных альпийских пастбищ в горах и лучших кутанов на плоскости, — одна из ярких фигур горской контрреволюции. Играя на религиозном фанатизме горцев, он, поддерживаемый иностранными и русскими контрреволюционерами, об явил себя на так называемом втором горском съезде имамом Чечни и Дагестана.

Властный и честолюбивый, он мечтал сыграть в истории горских народов роль Шамиля, подражая ему во всем: в своих воззваниях, обращениях и песнях. Способный мутаалим, ученый арабист, неплохой стратег (Гоцинский был всадником губернаторского конвоя и наибом — начальником Койсубулинского участка), — обладая этими качествами, Нажмуддин готовился «войти в историю в чалме и в аба». Но «поднятый Октябрем горский народ раздавил ядоносную змею», — этот девятипудовый, ожиревший на чужой крови ублодок жестоко расплатился за свои фиглярства и двуличие.

Попытка завербовать для своего возвеличения и поднятия авторитета Махмуда, как известно, потерпела полную неудачу: Махмуд как был, так и остался свободным певцом.

Муллы, кулаки и тухумные старшины отдаленных аулов Чечни скрывали Нажмуддина Гоцинского до 1926 года, пока само население не передало его в руки правосудия.

Когда Нажмуддин поднялся на выгиб дороги, все увидели, как малочисленно и бедно его войско. Опережая наездников, бежал страшный волкодав-великан с широко раскрытой пастью и высунутым лиловым языком. Волкодав вертелся, визжал и выл, мелькая то под животами коней, то у стремян всадников.

Кахабцы знали: это тот волкодав — сторож нажмуддиновской отары, — который сейчас сторожит его самого.

Старшины тухумов отошли от аульских ворот и встали посредине дороги.

Один из всадников, завидя приближающихся аульчан, отъехал в сторону и свистом позвал к себе волкодава. Тот выскочил из кустов, весь залепленный конской пеной и колючками. Не слезая с коня, всадник защелкнул замок цепи на стальном ошейнике. Волкодав, сразу присмирив, пошел в ногу с конем.

Нажмуддин выехал вперед. Старшины, неся хлеб, соль и шашку, приблизились к нему. Нажмуддин, не видя среди кахабцев Махмуда¹⁾, нахмурился: он ждал, что певец выйдет ему навстречу с хамузом, — для встречи с ним он и ехал в Кахаб-Росо. Как всегда после длительного перехода, он ощущал острый приступ голода: одна мысль о том, что сейчас ему придется молиться, разговаривать с аульчанами, удручала и портила ему и без того мрачное настроение. Образ Шамиля, которому он дал слово следовать всей своей жизнью, встал перед

¹⁾ Махмуд из Бетль-Кахаб-Росо (Ак-Кента) — знаменитый аварский лирик, талантливый певец-импровизатор. Им создана новая, реалистическая школа, в противовес старой, арабской, — школа горской лирической песни. Личные переживания героя, любовь — главная тема его песен. Он первый нанес сокрушительный удар духовной и героической поэзии дагестанских горцев. Разрушив традиции арабско-персидских влияний, заменяя непонятные широкой массе арабизмы простыми, житейскими словами, не гнушаясь вводить в песни и русские слова, бытующие в народе, он явился одним из создателей аварского литературного языка. Он сыграл в развитии аварской литературы ту же роль, что в русской Пушкин.

Махмуд прославился не только как замечательный поэт, но и как бунтарь, разрушитель адатов старины и неотразимый Дон-Жуан. Встреча с Нажмуддином Гоцинским, о которой сразу же заговорила вся Авария, сделала из него легендарного героя.

ним. Нажмуддин вспомнил страницы из удивительной русской книги, которые рассказывали о возвращении третьего имама в Ведено, — это все так похоже на то, что происходит сейчас с ним. Вот оно почти осуществилось: он, сын шамилевского наиба Доного Магомы, Нажмуддин из Гоцо, — имам. Пятьдесят лет он ждал этого дня!.. Давно ли народ шел из Чечни, через неприступные Андийские ворота, к озеру Эйзенам, смотреть, как он, расстелив на озере бурку, совершит на ней полуденный намаз. О, тогда у его века хватил воображения паразит горцев чудом! Но чуда не было, как ни пытались говорить о нем его нукары, муллы и шейхи, — горы не верили!.. Тогда заговорили о его подарках, какие он раздаст неимущим, обездоленным и малолетним, затем — о его мудрости... О чем же говорить теперь?.. Нужных он задобрил, непокорных устрасил адом и огнем. Махмуд же, песни которого поет вся Авария, все еще оставался в стороне и потому был опасен. Такого человека нужно сделать другом. И вот он — имам — здесь, на его родине — в Бетьль-Кахаб-Росо.

Этот проходимец действительно возмнил себя человеком, призванным «воскресить умершие части божьего шарията» и вести «кавказские народы по уготованному великим Шамилем пути в рай».

Драпируясь священным аба¹⁾ и прикрываясь именем Шамиля, имеющим известное действие на фанатично-религиозных горцев, он звал к защите своих земель и кутанов, к созданию имамата — независимого мусульманского государства, к уничтожению всех гяуров — коммунистов. Хотя вскоре же сам понял, что воскрешение мюридизма в классовой борьбе, какая шла в то время в горах, это — нелепая мысль. Мюридизм, выданный к жизни Кази-муллою как средство обороны и объединения горцев под воинствующее зеленое знамя имама, погиб вместе с падением «шариатской монархии». И взяться его оживить, когда прошло уже столетия, когда люди ведут борьбу за социализм — это вещь

немыслимая! Это стало очевидно даже и тем, кто окружал его, не только ему самому.

Его возвышение становилось смехотворным, имамство — ненужным, а его вождения на мечетские земли и кутаны — опасными. Он сам уже просил не называть его имамом, а только пастухом, другом. Смирение — это новая одежда, в которую он облачил себя. Но, зная, что страх — лучший способ заставить повиноваться себе, он не переставал устрашать всех отступников от веры корана возмездием на земле и на небе.

Неистовый садист Узун-Гаджи отказался от него и ушел на плоскость — «вить веревки для студентов и вообще для всех людей, пишущих слева направо». Нажмуддин, лишившись своего века, вернулся после бездарного похода на Темир-Хан-Шуру в горы — искать «силы в праведниках».

Сонно покачиваясь в седле, разглядывая седеющую холку своего буланого иноходца, Нажмуддин думал и о том, как несходны их жизни — Шамиля и его, Нажмуддина, — и как разны их враги: Хаджи-Мурат и Узун-Гаджи. Теперь он уже не верил никому: горы и люди в горах всегда и для всех, а для него особенно, оставались тайной. Разве можно судить, что в горах внутри: золото или известь, сера или песок?.. Потому-то голубое небо в горах страшнее тучи, а новые друзья хуже старых врагов.

... В Кахаб-Росо все в'ехали в полном порядке: по правую руку Нажмуддина — Черный Магома, его неотступный телохранитель, чуть сзади, держа значок, — Гамзат, слева — Халилов, Аджигитов, а там — позади — все другие.

На гетикане подошел самый седой и самый почитаемый старшина и, взяв левой рукой повод нажмуддиновского коня, правую приложил к животу:

— Мир тебе! — сказал он так, словно Шамилю.

Пока Нажмуддин молился в мечети, на гетикан стеклись все жители аула. Он вышел, его встретили пеннем:

¹⁾ Священный хитон.

— Ля иллах иль алла!..

Нажмуддин грузно сошел с каменных ступеней мечети и тихо, глядя себе под ноги, пошел вверх, к сакам. Толпа расступилась перед ним, и пение стало надрывнее, беспорядочнее. Слышал, что это больше поют его люди, — он даже различал знакомые голоса, — и все же это волновало и бодрило его.

— Ля иллах иль алла!..

Дом, в который шел Нажмуддин, принадлежал Абдурахману Кадыру — старейшему из тухумов Кахаба. К тому же сын хозяина был старый кунак Черного Магомы.

Пройдя высокую арку с красивым, вделанным в середину ее, камнем, Нажмуддин вступил на гладкие, широкие плиты большого двора. Пес его, привязанный к железному кольцу коновязи, метался около узкой, аккуратно выложенной лестницы. Преодолевая тяжелую одышку, поднялся по лестнице и прошел в ту комнату, куда вела сумаховая дорожка.

Скоро здесь сошлись все: мюриды и старшины. Гоцинский грузно, подкошенной тушей, повалился на подушки и мутки, раскиданные на тахте. И только, когда сел, начал снимать с себя оружие: отстегнул шашку, освободился от портупей, тяжелый «смит» положил себе на колени.

Хозяин, Абдурахман Кадыров, внес белоснежную, хрустящую скатерть и сам принялся застилать ею хорошо выколотый ахтынский ковер. Магома кинулся было ему помочь, но он тихо отстранил его, давая понять, что он считает для себя честью служить гостю. Все вошедшие за Гоцинским у порога кунацкой комнаты сняли с себя сапоги и чуйки, остались в шерстяных цветных жубках. Никто, за исключением близких к имаму, не посмел сесть: стояли возле дверей, ожидая его неизбежных вопросов о людях и делах аула. Хозяин, оправляя края скатерти, все еще ползал на коленях по ковру, разглаживая складки и загибы, видимо, не зная, за что другое ему приняться.

Нажмуддин, окинув подозрительным взглядом стоящих, скрипуче проговорил первые, общие, приветствия и обраще-

ния и предложил садиться. После взаимных отнекиваний все расселись.

Вошел Халилов и сел поодаль на одинокий, совсем ненужный и лишний здесь стул, — он только-что расставил стражу и теперь был спокоен за охрану дома. Подозрительный и предубежденный против видимого радушия и гостеприимства, он внимательно следил за всем. Сейчас, видя неестественно быстрые движения хозяина, его безостановочно перебегающие с предмета на предмет пальцы, бросаемые исподлобья взгляды, он особенно насторожился. Омерзительная угодливость, совершенно не свойственная горцу, бросалась в глаза и другим: нужно потерять намус¹⁾, чтобы ползать так.

Наконец хозяин кончил возиться со скатертью; сутулясь и вжимая плечи, пошел к двери; приоткрыв ее, глухо бросил приказание. Тут же у порога появился медный таз и запотевший кованый кувшин. Хозяин перенес их к Гоцинскому, поставил перед ним. Гоцинский осторожно, словно святыню, снял с головы обвитую белой чалмой папаху и наклонил свое огромное, плоское лицо над тазом. На шее вздулись вены, лицо стало багровым. Брат хозяина, здоровенный рябой детина, приоткрыв коленом дверь, внес на огромном подносе целиком зажаренного барана. Острый, щекочущий запах чеснока и жареного мяса наполнил комнату.

Фыркая и отдуваясь, Нажмуддин ополоснул свое жирное лицо и, прежде чем прочитать молитву и благословить еду, обратился к хозяину:

— Почему нет Махмуда? Где он?..

За Абдурахмана, подавшись вперед, ответил один из старшин.

— О, эффенди Нажмуддин, ты сам знаешь, что Махмуд недостойн быть здесь!.. Потому и нет его.

Нажмуддин приподнялся.

— Что он, разве в горы ушел?.. — и побагровел от такой догадки.

— Нет, эффенди Нажмуддин, он в Кахабе...

— Зовите его сюда! — сбросив с колен «смит», крикнул Нажмуддин. — Пусть придет!..

¹⁾ Честь.

Толкаясь, целой ватагой люди кинулись за дверь. Магома, наклонясь, выслушал приказание имама и — вышел тоже.

Кунацкая сразу опустела и притихла; было слышно только, как дышит имам, — тяжело, с хрипом.

Тот старик, что ответил за Абдурахмана, понизив голос, сказал:

— Где найдешь Махмуда? У него ни саки, ни поля, ни сада... На свадьбу он приходит сам...

Нажмуддин одним взглядом заставил старика умолкнуть. Привычным жестом скотобойца он откромсал заднюю ногу барана и жадно начал ее обсасывать. Недоуменно все следили за ним, не смея прикоснуться к еде. Шлепая толстыми губами, он не ел, а сосал огромные куски мяса, складывая у согнутого правого колена кости. Наконец, словно очнувшись, произнес:

— Ля хауле-вала, наввата, илла билла¹⁾, — и, мирно обедая всех влажными глазами, указал на еду. — Ешьте!

Уступая первые места гостям, кахабцы тихо расселись кольцом вокруг скатерти. Взяв кусок мяса и горсть рису, каждый принялся за еду с таким видом, словно выполнял неотъемлемый ритуал.

Нажмуддин, поправив палаху, принялся сосать новый кусок. Обглодав кость, он осторожно положил ее в общую кучу и, как бы отвечая на свои мысли, проговорил:

— Ля хауле-вала...

Все мгновенно перестали жевать и чавкать, зная, эти слова — вступление к тому, что должен сказать имам, и потому каждый насторожился.

— Мне не нужно вам говорить, мудрые улемы, как эффенди Шамиль справлялся со всеми, кто не шел по пути праведников. Так буду поступать и я. Помните, что говорится в четвертой суре великой книги Мухамеда: «О, верующие! Сначала объявите священную войну близлежащим к вам гяурам, а потом идите на них войной». Так сделаем и мы... Мы сначала смирим тех, кто ближе к нам, кто был нашим и продался гяурам, кто стал отступником прежде,

чем пришли неверные... Этих сначала мы обратим снова в истинную веру, а потом пойдем дальше... Сделаем так, как сказано в девятой суре книги Мухамеда: «По истечении четырех священных месяцев убивайте неверных, где вы их застанете, заступите им дорогу, забирайте их в плен, пока они не разбегутся...»

Годинский плотоядно зашлепал пухлыми, сальными губами. В его коротких и толстых пальцах огромный бараний кусок, казалось, томился, истекая жиром. Сало струилось по ладоням, по волосатым, обнаженным по локоть, рукам, капало на штаны, ползло за рукава бешмета. Он, словно не замечая этого, дико вращал желтыми, в красных оплетах, белками, ожесточенно, по-звериному, рвал мясо. Все немо глядели ему в рот, замороженные не то тем, как он ест, не то тем, что он говорит.

— Имам Шамиль также сам объявил себя имамом, и, кто противился этому, кто не хотел его признать, того он уничтожал. Почему я должен поступать иначе? — больше себя, чем других, спрашивал Нажмуддин. — Имам Шамиль отлично знал, что он превосходит Гази Мухамеда своим умом, ученостью и силой. Знаю это и я: Узан-Гаджи никогда не возвеличится до меня, несмотря ни на какие свои коварные дела... Не заблуждайтесь относительно его силы, — для полной победы нужен еще и ум... Если такие найдутся в Кахаб-Россо, знайте: мы поступим с ними не иначе...

С улицы донеслись крики. Нажмуддин, опираясь на шашку, с трудом поднялся. Халилов, подхватив его под руку, повел к дверям. Как только Нажмуддин вышел на крышу навеса, на улице раздались пение:

— Ля иллах иль алла!..

И опять Нажмуддин слышал, что поют его люди, оперевшись дом Абдурахмана со всех сторон. Щуря заплявыши жиром глаза, он взглянул на ближайшие террасы саклей, на густолиственные деревья, на стебли белых минаретов, на глубокий провал улицы, — Махмуда нигде не было. Он оглядел пустой двор. В темной арке сидел Магома, держа за ошейник волкодава. Волкодав рвался, рычал, разбрасывая широкими лапами

¹⁾ Во имя всевышнего и всемилостивого.

землю. Для всех, кто стоял на крыше вместе с Нажмуддином, стало ясно: Махмуду готовится страшная встреча.

Звякнула щекотла. Властная рука распихнула калитку, и под нестройное, протяжное пение мужских голосов на ослепительно белые плиты двора вступил высокий горец, одетый в серую, каратинского сукна, черкеску.

Окинув косым взглядом разъяренного пса, он направился к лестнице крупными, легкими шагами танцора, постукивая ногтем о костяную рукоять кинжала. Его гордость — рыжая папаха, — казалась, полыхала на солнце.

Неприятель, которого Нажмуддин хотя бы через силу старался заглушить в себе, вспыхнула с новой силой: слишком молод, дерзок и непочтителен был Махмуд, единственный соперник ему в песнях. Сделав знак рукой Магоме спустить волкодава, он уже представил себе Махмуда униженным и осмеянным. Что может быть позорнее для горца, чем трусость?..

... Волкодав, спущенный с цепи, одним броском вылетел на середину двора. Все, хотя и ждали этого, невольно замерли. Пес с поднятой шерстью и ощеренной пастью летел навстречу вошедшему.

Магома, занеся плеть над головой, чтобы в нужный момент одним ударом прекратить его нападение и отозвать, кинулся за волкодавом. Но тот вдруг замер на полпути, начал пятиться назад, под арку. Чего испугался пес? Магома сразу не понял, и только, когда он ударился о его сапоги, увидел: Махмуд, упав на четвереньки, в упор глядя в налитые кровью глаза волкодава, медленно наступал на него. И вдруг, сорвав с головы папаху, бросил ее в морду псу. Пес, защищаясь, вцепился в нее клыками, испуганный и ошеломленный. Махмуд так же быстро вскочил на ноги и, схватив пса за шею, широко размахом перекинул его через ограду.

— Ва, удалец! — вырвался крик изумления у кахабцев.

Пока Махмуд выбивал о колено папаху, Нажмуддин вместе со своими мюридами вошел в комнату.

Пытаясь перескочить через ограду, пес злобно выл и рычал; Махмуд слышал,

как он скреб когтями камни, прядая и грузно ладая наземь. Магома вышел за ворота и свистом позвал его к себе. Когда пес вбежал, Махмуд уже входил по каменным ступеням лестницы в саклю.

— Ты меня звал, Нажмуддин? — пригибаясь у притолоки, спросил он, глядя на сидящих на ковре. — Я пришел...

На дерзкого певца из всех углов устремились порицающие взоры. Один старик поднялся и, держа правую руку на кинжале, проговорил:

— Ты — молодой. Войди и встань там и, пока не обратятся к тебе, молчи! — Старик ткнул крючковатым пальцем в угол. — Потерял честь и забыл обычай!

Махмуд, не сходя с порога, уперся плечом о косяк двери. Играя серебряным наконечником пояса, разглядывал сидящих. Нажмуддин, сидя на подушках, с трудом повернул в его сторону голову:

— Иди сюда и сядь здесь.

Он ударил ладонью по сальному муту, что лежал у него под локтем:

— Слышишь, Махмуд?

В усах Махмуда зазмеялась скрытая усмешка; не глядя на расступившихся мюридов и твердо ступая, прошел он к указанному ему месту. Старики с готовностью потеснились.

Нажмуддин сам взял кусок баранины и передал его Махмуду.

— Вай, баркалла! — воскликнул Махмуд, принимая его.

— Почему ты, Махмуд, без хамуза? — беря второй кусок баранины, спросил Нажмуддин.

— Мой хамуз не ест баранины, — ответил Махмуд, принимаясь обсасывать жир.

— Ты думаешь, я тебя позвал только для этого?..

— А для чего?

— Скажу после. Ешь, лей...

Нажмуддин подвинул ему кунар с бузой. Обхватив его горло обеими руками, Махмуд опрокинул содержимое в рот. Буза была такой пенистой, что облепила ему усы, губы, нос. Опустошив кунар, Махмуд отставил его назад, за спину; пену собрал в ладонь и вытер о подушку.

— Хорошая буза! — щелкнул языком Махмуд, принимаясь снова за баранину.

Хозяин с насильственной улыбкой пододвинул ему другой кунар. Махмуд разгрызал кости, со свистом высасывал из них мозг.

Старики, несколько ошеломленные расправой Махмуда с волкодавом, притихли, украдкой разглядывая этого красивого, усатого парня.

— Махмуд, — начал громко Нажмуддин, — я знаю: твои песни поет вся Авария и... мои тоже...

Махмуд учтиво наклонил голову.

— Твои песни — о любви, о прекрасной деве, о земных уладах; мои — призыв к священной борьбе с гяурами, о величии и милосердии пророка, о райских гуриях, ждущих на небе праведных, — такие песни, какие пел Шамиль... Пой и ты такие же, ты слышишь, Махмуд?..

— Слышу, Нажмуддин, — не переставая жевать, ответил Махмуд.

— Я тогда прикажу твои песни вывешивать на стенах мечетей, как вывешивались на стенах Коабы семь семерок лучших произведений шаиров-муаллаки. Это будет знаком их высшего одобрения. Тебе надобно знать, Махмуд, что коран осуждает прорицателей и поэтов. Это — заблудшиеся и находящиеся под властью сатаны люди... Одно из древнейших преданий гласит: «Для каждого человека лучше, чтоб тело его было наполнено гноем, нежели стихотворениями...»

— Ведь есть же другое поверье, что великий Мухамед сам был поэтом! — возразил Махмуд, оживляясь: ему никогда не приходилось слышать таких слов, какие говорил сейчас этот толстый человек, называвший себя имамом.

— И эффенди Шамиль тоже был им... Этот дар они имели от бога, другие же все — от дьявола...

— Но ты же сам, Нажмуддин, наверно хотел, чтобы я пел тебе свои песни, спрашивая меня о хамузе?

Нажмуддин растерянно молчал,ковыряя спичкой гнилые зубы.

Один из мюридов с голым лицом, — без бровей и ресниц, — с мохнатыми и длинными, как у обезьяны, руками, уставив

свой буйволиный взгляд на Махмуда, осуждающе зашлепал губами.

Нажмуддин снова откинул свое тучное тело на подушки, положив пухлые руки на большие и липкие, как бурдюк, штаны.

— Хочу твои песни слышать от тебя самого...

Махмуд, поглаживая живот, блаженно потянулся:

— Сытый я не пою. Прикажи им... — он показал на мюридов.

— Они поют только священные песни: мои и эффенди Шамиля.

— Тогда позови любого кахабца, и он споет тебе мои песни... Ты откуда сюда прибыл — из Кохиб-Росо? Ты и там, верно, слышал их... Куда ты теперь поедешь — в Хунзах? Если да, то и там ты услышишь... — и, переводя дух, добавил: — А вот Бетль-Кахаб-Росо твоих песен не слышало...

— О, я вижу: ты — настоящий аварец! Не даром других, равных нам с тобой, нет!.. Пей и слушай, что я скажу теперь. Ты служил царю и завоевывал чужие горы — Карпаты — для возвышения его. Теперь царя нет, теперь наши горы хотят взять гяуры-коммунисты, и ты должен защищать свои горы. Ты понял меня, Махмуд?

Махмуд молчал.

— Ты пой песни, возвышающие силы моего войска в священной войне с коммунистами! А ты, Махмуд, поешь о женщине, о которой стыдно мужчине и говорить. Помни: путь божий — путь войны... Каждый истинный мусульманин призван жертвовать своей жизнью и своим имуществом на распространение ислама!

— У меня, Нажмуддин, нет имущества, — возразил Махмуд.

Как бы не слыша, Нажмуддин продолжал:

— Я напомню тебе и вам всем слова из корана: «Указать ли вам торговлю, которая избавит вас от лютой муки?.. Вы верите в бога и его посланника: сражайтесь на пути божием, жертвуя вашим имуществом и вашими душами, — это лучшая для вас торговля, она несет вам выгоды не только на земле, но и на небе. Здесь вы приобретете в пять и в

десять раз больше, чем было у каждого из вас, а там, — Нажмуддин поднял вверх палец, — там воздастся в сто и в тысячу раз!..»

— Пусть торгуют те, у которых есть лавка и баранта...

Нажмуддин замолк, хорошо поняв, на что намекает певец. Хотелось ответить ему теми словами, какими написано воззвание, но это значит назвать Махмуда социалистом. Как можно, чтобы имам разговаривал с отступником от шариата? Завтра же об этом заговорят все горы! Неужели Махмуд не читал воззвания? А в нем сказано: «...Я слышу, что люди (сторонники социалистической свободы) говорят о моих землях и кутанах. Верно — у меня есть земли, перешедшие ко мне от отца согласно шариата. Мой отец не взял ни у кого силой эти земли: он купил их у мусульман, имевших на руках законные документы. Если есть человек, желающий у меня оспаривать землю, пусть придет, согласно шариата, с нужными документами, и я их ему отдам. Еще я слушаю, будто эти люди говорят, что я сторонник князей из-за своих земель...»

Нажмуддин мысленно прочел эти строки воззвания, не решаясь произнести хотя бы одну из них.

— У меня нет баранты, — повторил Махмуд.

Нажмуддин глухо икнул, потянулся за кунаром, — в нем пенилась густая, как буйволиные сливки, буза. Не наливая в стаканы, прямо из горла начал жадно пить ее, сильно выдавив кадык. Все сидели молча, не шевелясь.

Когда опорожнил кунар, бессильно опустил его возле себя, — поставить туда, где он стоял, на середину ковра, нехватило сил: откинулся на цветастый мутак. Глаза сразу заплыли жиром, нижняя губа вывернулась, отвисла, точно у запаленного буйвола. Хозяин дома, не разгибая спины, кинулся собирать разбросанные по ковру кости и бросать их на затянутый белым налетом сала поднос. Магома осторожно взял кунар и просунул его в щель; невидимая рука приняла кунар, и он исчез. Так же исчезли и стаканы, и куски чурека, и сам поднос. Хозяин взял ска-

терть за углы, чтобы не растерять крошек и остатков еды, свернул ее в ком и бросил к двери.

Нажмуддин с трудом разомкнул веки, заговорил снова:

— Наше дело правое и святое — оно не должно погибнуть! Наши отцы за него боролись под предводительством Шамиля, вы и ваши дети будете бороться под моим... И ты, Махмуд, тоже...

По лицу Халилова пробежала тень неудовольствия, он скосил глаза и с явным раздражением задержал ус. Слишком часто и помногу повторялись эти слова, — не пора ли меньше говорить и больше делать!.. Но их нужно было слушать, и слушать с благоговением и покорностью, так, словно это и есть та истина и откровение, за которыми идет он и все другие. Халилов замер в почтительном внимании, хотя тупело сознание, и хмель после сытного ужина, как доброе вино, клонил ко сну. Видимо, и сам имам устал — ему трудно было говорить, но он, пересиливая себя, продолжал:

— Истинные мусульмане не будут слушать тех, которые хотят продаться гураму, которым эта жизнь дороже, чем та, что в раю Мухамеда. Эти люди не имеют ни терпения, ни воли — они хотят все получить сразу, не рискуя собой и своим имуществом... У таких никогда не было ничего и не будет. Другие же, те, что взяли оружие и пошли на неверных, думают разбойничать по дорогам. Этим тоже не будет пощады, — клянусь вам всевышним! — мы сами их уничтожим! Пусть они не осмеливаются самовольно уходить от нас — дома их ждет неминуемая смерть!

Он говорил, не повышая и не понижая голоса, тоном жреца, утомленного долгим, надоевшим ему и другим, обрядом. Слова с минуты на минуту становились все тяжелее и обнаженнее, приобретая еще более жуткий смысл, чем они в себе таили. Потому-то и Магома, и Гамзат, и все другие испытывали какой-то мистический, непонятный страх, словно этот толстый, лоснящийся жиром человек держал «в залоге их души». Он пугал своим безобразием, своей ци-

ничной развязностью, своим наглым надругательством над человеческими чувствами.

— Я поступлю с ними так, как поступал Шамиль со своими врагами: выколю глаза, отрублю языки и уши! И так поступлю со всеми!..

И — вдруг ткнулся в подушку, захрапел сытым, лошадиным храпом.

Махмуд поднялся и, мягко ступая своими козлиными чувяками, пошел к

двери. Никто из приближенных Нажмуддина не решился остановить его. Только у ворот с хриплым лаем на него набросился пес, но, увидев на голове Махмуда рыжую папаху, поджал хвост и отошел в сторону.

И в тот же вечер Махмуд ушел в горы.

Махач-Кала — Москва.

Август 1934.

3. РЕКОНСТРУКЦИЯ ФАУНЫ

Николай Шкляр

1

Осень. По утрам ясно. Мороз до пяти градусов. Проходя по новой территории Зоопарка, мимо болота, я останавливаюсь и смотрю на грифов на Турьей горе. В прозрачном, стынущем воздухе их неподвижные фигуры четки. Отчетливо видно каждое перо. И формой тела, и линиями оперения, и каменной неподвижностью они напоминают вершину скалы, чуть тронутую резцом художника.

В Австралии сейчас весна, и австралийские птицы сохраняют свои биологические ритмы и живут по своему календарю. Австралийские черные лебеди свили гнездо на островке болота, снесли пять яиц и плотно сидят на гнезде по очереди, — самец и самка. Лебеди не слезают, хотя люди подходят к ним вплотную. В попугайнике готовятся к носке у австралийских попугаев и устанавливают дупла с гнездами. Зеленым волнистым попугайчикам поставили пятьдесят гнезд. В страусятнике австралиец страус-эму гоняет самку и уже несколько дней издает веселые звуки — «хрюкает». До этой поры он не подавал никакого голоса.

Над болотом порхают снежинки. Берега покрылись тонким льдом. А черные птицы сидят на гнезде.

Погода изменилась. Сегодня на болоте у черных лебедей просматривали яйца. Четыре яйца живые, из них

одно — проклевыш, пятое яйцо — неоплодотворенное.

Черных австралийцев убрали с болота. Яйца положены в воздушный инкубатор при $t^{\circ} + 37^{\circ} \text{C}$. Установлено дежурство. Я навещаю туда несколько раз в день. Ночью вывелись еще двое. Последыш задохся.

Часть болота покрылась льдом. Убрали фламинго. Стало пусто. Нет знакомых стройных силуэтов, напоминавших о далеких тропиках.

Начинается осенний ток у глухарей. Молодой глухарь токует, но слабо. Не «схиркает», а только «точит». Старый глухарь волнуется.

В наружную вольеру попугайника отсажены два охотничьих фазана: самец и самка, и пара каменных куропадок. Над ними ведется работа по изучению влияния на гельминтофауну грубых и смолистых, ароматических кормов. Приготовлена хвоя и свежие ветки.

Сегодня на острове зверей молодые волки разорвали старого, вырвали левую переднюю лопатку. Старого волка пристрелили.

2

Ноябрь. Молодежь возвращается с летних поездок. Вернулся из полугодового путешествия Михаил. Побывал на Памире. Ездил помощником зоолога с экспедицией Н. П. Горбунова: «Имел твердое задание научно-исследователь-

ского сектора Зоопарка: собрать материал по фауне Восточного и Западного Памира». Сделал не меньше 4.000 клм. Пришел по китайской и афганской границам Памира, по страшным «оврынкам» — каменным террасам, висящим на полукилометровой высоте над ревущим внизу Пянджем.

Вернулась с Камчатки Леля Ильина. Приехал Юрий из Туруханского края. Приехали кюзовцы из Приамурья, с Северной Двины, с Канина Носа. На карте у зеленого домика, где по заведенному стандарту «темной краской» отмечены места, обследованные кюзовцами, прибавится немало ярких, выразительных точек.

Сегодня я застал у Мантейфеля Мишу. В широкой меховой кара-киргизской шапке, в овчинном распахнутом на груди полушубке и в толстых, запыленных горных башмаках, он словно сейчас только овалился с высот Памира. За полгода вытянулся, стал шире в плечах, на обветренных щеках следы высокогорного солнца, а открытое лицо сияет. Полнота пережитого льется через край.

— Ах, дядя Петя! Разве все это рас-скажешь!..

И, не находя слов, он вскидывает руками, топает длинными ногами в тяжелых башмаках и от полноты чувств залезает пальцем в чернильницу.

— Дядя Петя! — Он наклоняется, подымает с полу связку тетрадок, перевязанных бечевкой, и кладет ее на стол. — Дневники! Тут все записано и зарисовано. А экологический дневник вы уже видели?

— Видел, уважаемый Михаил Петрович, — улыбается Мантейфель.

— Дядя Петя! Я к вам к первому. Я еще никого из своих не видел, пойду к ним!

— Ну, ну! Миша, тебе сколько лет?

— Двадцать, дядя Петя. На третий десяток перевалило!

Он поворачивается и уходит враскачку, огромными, «памирскими» шагами, походкой человека, начисто отвыкшего от потолка и от стен. И в самых дверях сталкивается с Георгием. Совсем не похожие друг на друга, они — старые,

закадычные друзья. Но здороваются они очень сдержанно. Это — стиль.

Мантейфель смотрит ему вслед и улыбается.

— Еще совсем теплый. Только-что из печки. А как вырос! У него, как у породистого щенка, конечности еще не сформировались. То препарат ногой спрокинет, то коленкой в шкафу стекло выдавит, то — выдали сейчас? — в чернильницу пальцем залез. Я и наладил «бабушкин метод». Занимаюсь, рассказываю и время от времени, не глядя: «Миша! Не делай этого!» И всегда в точку. У наших кюзовцев это в обычае вошло: «Миша! Не делай этого!» Это формула. Миши и нет вовсе... У него много неплохих работ. Работу по белке сейчас печатаем. Он побывал уже во всех подмосковных областях, был на Кавказе, а теперь попал и на Памир. А много ли европейцев бывало на Памире? И какие книги могут дать то, что он там пережил и нажил!..

Я вспоминаю книги, которыми мы увлекались в детстве и в юности: «Робинзон», «Гулливер», «Дон-Кихот», «Годы странствований Вильгельма Мейстера», «Уленшпигель». Все они рассказывают о странствиях. А недавно я прочел у Гегеля замечательные слова: «Без странствований не созревает ни одна индивидуальность».

— Да, — говорит Мантейфель, — больше всего они растут на этих поездках. Они не читают, а живут, воспринимают жизнь не с чужих слов, а видят собственными глазами, наблюдают, знакомятся, попадают в разные переделки, преодолевают всевозможные трудности, — и на этом организуются, растут. Теперь перед нашей молодежью стоит огромная задача: реконструкция охотничье-промысловой фауны Союза. Десятилетняя работа Зоопарка с молодежью привела нас к этой большой проблеме. И я думаю, что они неплохо с ней справятся...

Я слушаю... Он смотрит на меня и смеется.

— Вы — романтик. Вас волнует новый образ обновленной земли. А мы подходим к этой задаче по-деловому. Сейчас охотничье хозяйство дает нам ежегодно до восьмидесяти миллионов.

валюты, — за одни только звериные шкурки. А если подсчитать все остальное, мясо, пух, перо, жир, панты, мускус, — то доход этот не меньше ста миллионов. И вот перед нами народнохозяйственная задача. Этот доход можно, а значит, и нужно, увеличить в несколько раз. Десять лет тому назад об этом нельзя было думать. А сейчас для этого готовы все необходимые предпосылки: от национализации земли до обученных и достаточно подготовленных кадров молодежи. Целый ряд сложнейших вопросов остается еще без ответа. Мы только сейчас вплотную подходим к генетике и к эндокринологии; но вопросы этого порядка будут разрешаться на ходу, и тем скорее, чем энергичней мы примемся за дело реконструкции. Мы начинаем дело, требующее огромной продуманности и большой осторожности. Если мы станем расселять такого зверя, который опасен как очаг заразы, если мы поселим грызунов в районах виноградных и огородных хозяйств, если, поселяя одного ценного зверя, мы уничтожим другого, еще более ценного, нас по головке не погладят. Сейчас мы имеем опыт с ондатрой. Выпущенный под Архангельском североамериканский зверек вполне акклиматизировался и уже сейчас может служить объектом промысла. А вот придет с Демьянки Лева, расскажет, что там, на Оби и на Иртыше, с ондатрой делается. А ондатра — это мех, это мускус, это валюта!

— Вы хотите заселить промысловым зверем наши леса, степи, реки, болота?

— Даже пустыни, — улыбается Мантейфель.

— Об этом можно написать целую книгу.

— Вы видите, мы пишем ее жизнью.

В комнату вбегают Мирдза и Таня.

— Дядя Петя! Прибыли лоси из Свердловска, пять штук: две самки и три самца. Их встречать надо! Дядя Петя! Вы слышали, что сегодня в слоновнике вышло? Молодой бегемот проломал клетку и зашел за барьер к слону!

— Слышал. И слоны его не тронули.

— Да! И слоны его не тронули! Вот умники!..

Дядя Петя молчит, потом говорит очень серьезно:

— Непременно рассказывайте об этом случае во всех трамваях, на которых ездите, где давка.

Мы уходим под общий хохот. Я иду и думаю: «Наша жизнь — огромная, для всех открытая книга. Каждый день в нее вписывается новая интересная страница. А сейчас я стою перед целой новой главой: Реконструкция фауны».

3

В кинозале Дома ученых необычайнолюдно: дети, подростки, матери, отцы. Стоят на лестнице и на площадке, вверху. Мантейфель докладывает: «Как я стал натуралистом?»

На столе, перед экраном ручная волчица Каскырка. Рядом с ней, плечо в плечо, докладчик. Волчицу волнуют сотни непривычных запахов и звуков, но успокаивает присутствие Мантейфеля. Каскырка сидит чинно, поглядывает на слушателей, чуть шевелит бровью и ухом и вдруг порывисто кидает блестящий взгляд на Мантейфеля. Он, как жоак, ведет это огромное людское стадо, при нем ей спокойно, и потухшими глазами она медленно обводит аудиторию. Начинает Петр Александрович со слова к родителям:

— Матери и отцы нередко запрещают детям возиться с животными: «У них, Вовочка, и болезни, и глисты, и мало ли что?.. А все, что про животных интересно, можно и в книжке прочитать!..» А знают ли матери и отцы, что в детских и в так называемых «популярных» книжках о животных больше половины вранья? И все это вранье ребенок вынужден принимать бесконтрольно. Оно сходит за чистую монету и портит ему правильное представление об окружающей его живой среде. Дайте ребенку с самого начала его знакомства с миром правильную установку, пусть он непосредственно наблюдает живую жизнь. Сделайте так, чтобы у него было с чем сопоставить то, что он прочитает, тогда и к книжке у него будет не слепое, а сознательное, осмысленное отношение. Это первое. Второе — вот

что. У ребенка, который видит и наблюдает живую жизнь, слово никогда не оторвется от жизни, за словами будут стоять живые представления. Из такого ребенка будет складываться человек конкретного мышления, а не словесник, для которого слово часто становится фетишем. На этот фетишизм слов мы сплошь и рядом натываемся и в нашей науке. Человек пишет ученую статью или книгу и начинает с того, что пускает в оборот множество новых слов, мудреных терминов, за которыми ничего нового нет, — ни новых наблюдений и фактов, ни новых мыслей. А вот ко мне приходит приятель — голубятник-любитель. У него огромный запас ценнейших наблюдений по наследственности у домашних голубей, — результат его многочисленных опытов. Законы Менделя он наблюдал на практике, хотя имя Менделя услышал от меня впервые. А выражается он так: «Хоша они и схожи, а нет-нет, да и отрыгнет...» Или так: «Ну, а все ж таки я из их с годами эту дурь выбиваю!» И расскажет, в чем эта дурь, как именно он ее выбивает и что, по его мнению, должно быть дальше. У него большие знания по вопросам искусственного отбора и селекции, а терминов этих он не знает. Это не значит, что я против научной терминологии и фразеологии или за то, чтобы науку двигали голубятники, а не ученые, но нельзя двигать науку одной фразеологией или общими схемами. У приятеля моего, голубятника материал для интереснейшей книги и никакой фразеологии, а у ученого словесника ничего, кроме фразеологии, а книгу он написал и еще десятки напишет, а что толку?..

На лестнице, где стоит несколько пожилых людей ученого вида, движение и шопот. Кто-то говорит:

— Против книги?.. За кустарничество и доморощенный опыт?.. В наше время!

— Нет, не против книги, — отвечает Мантейфель, — а против плохой книги, это — первое. А второе, и самое главное, — против книжников в биологии, против словесно-описательных, беллетристических методов, за живое на-

блюдение, широко поставленный опыт и проверку на массовом производстве, за «живое созерцание, от него к абстрактной мысли, и от нее к практике», — за Ленина, за Дарвина и за тех искусных экспериментаторов, которые помогали ему обосновать теорию искусственного отбора. Да, — заканчивает он, — против книжников... А кстати, и против фарисеев, которые еще с библейских времен всегда выступали вместе с книжниками!..

Я перестаю на минуту слушать и с удовольствием думаю, что впереди предстоят бои...

— ... Несмотря на сотни «достоверных» описаний, — продолжает Мантейфель, — «художественных» рассказов, не менее «художественных» картин, свидетельства «очевидцев» и даже статистике, вопрос о том, нападает ли волк на человека, до сей поры остается открытым. Неоспорим тот факт, что бешеный волк нападает на человека и обычно бросается в лицо; не подлежит сомнению, что волки поедают замерзших, но даже голодный волк убегает от одного крика человеческого. Случай преследования крестьян, едущих в санях, объясняется либо присутствием собаки, либо видом и запахом лошади. Статистика царского времени насчитывала у нас в течение года до 1.200 человек, заеденных волками. Но характерно, что в большинстве случаев это были: урядники, становые, стражники, даже исправники. И не так трудно догадаться, что стояло за этой «волчьей ненавистью» к царским слугам...

В аудитории смех и шопот. Взрослые улыбаются. Девочка, сидящая рядом со мной, спрашивает: «Мама, кто это такие нарядники?» Каскырка настораживается, тянется к докладчику и порывисто лижет его в щеку. Дети смеются. Мантейфель продолжает:

— Но ясно одно: волку должна быть объявлена беспощадная борьба. Он будет одним из самых коварных вредителей в деле реконструкции фауны, которое мы сейчас начинаем. А для того, чтобы успешно бороться с врагом, надо хорошо знать его привычки, его характер, надо изучить его быт...

Мантейфель останавливается и треплет волчицу по шее.

— Волки круглый год живут семьями или небольшими сжившимися группами. По волчьему вою легче всего определить их логово и устраивать на них облавы. Все многочисленные способы истребления волков — ловля капканом, травля стрихнином, облава, охота с флажками, разные привады, уничтожение новорожденных...

Каскырка беспокоится и вдруг неожиданно кладет докладчику лапу на плечо и лижет его в ухо.

— Что, не нравится?.. — спрашивает Мантейфель.

Слушатели в восторге. Детские возгласы прерывают докладчика: «Дядя Петя! Что она вам сказала? Ей не нравится? Дядя Петя! Она хорошая! Надо их всех сделать такими хорошими!..»

Слушатели долго не успокаиваются. Какая-то старушка наводит порядок и энергично шикает...

Сегодня, вспомнив об этом докладе, Мантейфель говорит собравшейся около него молодежи:

— Бабушка у меня — серьезная старуха. Всю жизнь меня журит: «Вот и большой-то вырос, Петя, а все, как маленький, со зверушками возишься!» А побывала в Доме ученых с нашей Каскыркою — и сразу подобрела. Расшумелись ребята, слышу — кто-то на них шикает. Смотрю, а это бабушка моя порядок наводит. А сегодня утром наливает мне лишний стакан крепкого кофе с пенками и говорит: «Петенька, принес бы ты мне золотых рыбок и парочку попугайчиков-неразлучников!» А я ей отвечаю: «Бабушка, серьезный вы человек, а пустяками хотите заниматься. Ну что вам за охота с мелкотой возиться? Берите молодого тигра! А то, хотите льва? Продадем такой опыт: как изменяются инстинкты у хищников под влиянием строгой бабушки и христианского воспитания? Подобные опыты сейчас ставятся в широких международных масштабах».

Помолчав, он неожиданно заканчивает:

— На что строга бабушка, а и та стала наконец нас признавать. А за род-

ной бабушкой и чужие «дедушки» признавать начнут. Лиха беда — начать! А старозаветных «дедушек» в биологии еще немало. Но раньше придут к нам дети. У меня уже спрашивали: «В которую дверь надо идти в КЮБЗ?» Я им сказал: «Все открыты, и все широкие!»

4

Зима. Начаты опыты по скрещиванию домашней овцы с диким бараном. Наиболее интересных результатов ждут от скрещивания с архаром. Гулька улыбается и говорит: «Слон, не овца, — шестнадцать пудов!..»

На новой территории передрались бурые медведи. Их разливали водой из пожарной кишки, но ничего сделать не могли, и «Минька» насмерть загрыз «Урана».

На острове зверей медведица «Плакса» вырыла берлогу, залегла в нее и третий день не выходит. Трое молодых медвежат тоже вырыли себе берлогу и все время лежат в ней. Корм берут, но в загон не выходят. Школьники идут от медведей, смеются: «Как им есть не хочется? Ударно спят!»

В секции орнитологии идет каждодневная работа. Молодняк взвешивают, следят за рахитом и за витаминностью кормов. Подвергают корма облучению и действию ультрафиолетовых лучей, смачивают дрожжами и рыбьим жиром, подбавляют рубленую морковь, листья и цветы люцерны и клевера. Выращивают черных лебедей, наблюдают за действием прубых и смолистых кормов на глистов у подопытных фазанов и у каменных куропаток. Следят за страусами-эму, за их поведением, спариванием, за их гнездами, за состоянием яиц. Борются с паразитами, с крысами, причиняющими огромный ущерб птичьему молодняку.

Как только волнистым попугайчикам развесили гнезда, у них началось ухаживание, а со следующего дня и спаривание. Гнезда постепенно занимают парами. В самый разгар кладки яиц продали интереснейший опыт. В вольере волнистых попугайчиков убрали все

пятьдесят гнезд. Казалось бы, что на полу вольеры должно было оказаться множество яиц. На самом деле оказалось два-три. Кладка прекращается. Брачное настроение быстро исчезает. Яичники деградируют. Яйца рассасываются. Через несколько дней гнезда поставили на место — и носка возобновилась.

Наблюдения и опыты о роли гнезда, условий гнездования и всей его обстановки ведутся систематически уже несколько лет и дают материал для ряда существенных выводов.

Каждая кочка болота, имеющая углубление, обычно занимается уткой. Каждая круглая ямка, вырытая на берегу водоема, с бою берется кряквами. Иногда несколько самок несутся в одном гнезде. Когда лысухи нашли подходящий для гнезда материал, — затонувшие прутья, — они построили полуплывучее гнездо и второй год дают выводки. Болото Зоопарка с зеленой растительностью и с кочками явилось «внешним раздражителем» для красноголового нырка и шилохвости. Они впервые отложили на болоте яйца. Лебеди — кликуны и шипуны — не проявляют всех признаков брачного настроения, пока нет материалов для постройки гнезда или самого гнезда — большой конической кучи. Гуси-гуменники с побережья Ледовитого океана не гнездились в Зоопарке до тех пор, пока для них на берегу пруда не сложили кучи из камней. Черные австралийские лебеди, помещенные в этом году на болоте, натаскали стеблей осоки и травы, сделали на кочке большое коническое гнездо и снесли пять яиц. В зоопарках — это редкость.

Брачное возбуждение птицы — сложный комплекс. Подходящая обстановка для гнезда и работа над его устройством играют в нем существенную роль. Отсутствие гнездовой обстановки, в которой тысячи лет размножается птица, приводит к тому, что у нее нет нормального брачного возбуждения: самец плохо ухаживает за самкой, а у самки не зреют яйца. Птичья любовь требует соответственной обстановки и не допускает упрощения. Создайте подходящую

обстановку для гнездовья или поставьте самое гнездо, и этот «внешний раздражитель», действуя через глаз на соответствующие нервные центры, усилит секреторную работу организма, и она проявится в форме бурного брачного настроения и быстрого развития половых желез и их продукции: спермы и яиц.

Характер гнезда не безразличен. Птиц, гнездящихся только в дуплах, — дятла, синицу, поползныя, пищуху, скворца, мухоловку, — нельзя заставить откладывать яйца в открытые гнезда. Птица, несущаяся открыто, на деревьях и в кустах, не отложит яиц в дупле. Дуплянчюм необходима, как «внешний раздражитель», черная дырка в стволе, а живущим в открытых гнездах — подходящая развилка или сплетение ветвей кустарника. Мантейфель считает вероятным, что помещение гнезда на виду у птицы может повысить яйценосность наших домашних птиц, особенно непородистых, которые еще не утратили своих природных инстинктов. Сегодня, возвращаясь в беседе к этому вопросу, он по обычаю предостерегает от возможных «загибов»:

— Не думайте однако, что в вопросах акклиматизации весь успех можно отнести на счет какого-либо одного фактора. Акклиматизация — понятие комплексное, в него входит ряд слагаемых, столь же важных, как и «внешний раздражитель». Все эти слагаемые мы и должны знать и держать на учете, чтобы уметь управлять природой, и в частности нашей промысловой фауной. Но есть «узкие места», которым необходимо особое внимание. В наших примерах таким «узким местом» являлось гнездо и все факторы, с ним связанные. В Аскания-Нова никогда не гнездились краснозобые казарки, даже при многолетнем содержании их на больших, заросших растительностью, озерах. А почему? Да потому, что гнездятся они в неровных глинистых откосах и кручах тундряного, покрытого чахлой растительностью, рельефа. Создайте им эти, нормальные для них условия гнездования, уничтожьте это «узкое место», и они ждать не станут!

5

Третий день сидим с Мишей над его тетраджами. Составляем из его записей и рассказов Памирский дневник.

Вначале ему трудно. Воспоминания, как снежные лавины, надвигаются, громятся одно на другое, и он не может с ними справиться. Он волнуется, начинает об одном, вскакивает и говорит о другом. Ходит по комнате и вдруг останавливается, стоит и к чему-то прислушивается.

— А как поют караванщики! Садятся в круг и поют!..

Он садится на пол, подвернув под себя ноги, закрывает глаза, раскачивается и поет.

— А как архары спускаются с гор на водопой!

Он прислушивается, щурится и, прижавшись к книжному шкафу, откуда — из-за скалы — показывает на дверь, на горный склон, откуда спускается стадо архаров:

— В тридцати шагах от нас! Вприпрыжку, высоко подняв головы!.. Ну, можно ли в них стрелять?

Садится и безнадежно качает головой.

— Нет! Разве можно все это рассказывать? А тем более записать?

И мы молчим. Я смотрю на лавины, в которых барахтается Миша, и жду. И движение стихий затихает. Он уже не скидывает руками и не срывается со стула. Тогда мы начинаем разбираться в его рассказах, приводим их в некоторый порядок, устанавливаем связи. И дело уже не кажется таким безнадежным. Я задаю вопросы.

— Да, — отвечает он, — Николай Петрович находил золото на всех памирских реках: на Бартанге, на Язгулеме, на Ванче. Сидит и моет песок. Часами! «Смотрите! И тут золото!» А в горах Шульгана найдены залежи ляпис-лазури — ладжуара. Драгоценный синий камень. Я видел его в нашем «Эрмитаже». И легенда рассказывает... Там, что ни шаг, то легенда, например о зверях...

Мишины рассказы — как пески памирских рек. Их надо промыть. И вот я сижу и мою. Миша уходит от меня поздно, во втором, в третьем часу ночи. Он

осторожно идет по темным комнатам, мимо спящих, и взволнованно шепчет:

— Завтра я опять приду к вам, и опять будем вспоминать. Я теперь только вижу, как мало я записал о людях и как надо было записывать.

Я провожаю его и выхожу на двор. Свежими глазами смотрю на знакомые деревья в саду. Зимнее московское небо кажется похожим на синий памирский камень.

Утром я встаю и сейчас же сажусь за работу. Еще раз промываю все, что было намыто за вечер и за ночь. Я сижу за работой целый день, не замечаю времени. Дни идут, как часы. Я ищу слов простых и прозрачных, как песня караванщика Иргашвея...

«—О чем ты поешь, Иргашвей?

— Я пою о том, что я покинул родной кишлак. А жена моя — осталась одна. Жена моя светлая и веселая, как эта река. Она журчит и поет целый длинный день. А дочка моя — Кыз-бала — как этот ручеек, она играет с камешками и с рыбкой и собирает урючки... А караванщик Иргашвей стоит здесь один, как этот сохнувший тополь. И жажда томит меня...»

За два с половиной месяца экспедиция прошла по Восточному Памиру и вступила в Западный. На автомобилях, на лошадях и пешком пройден огромный путь — около 1.500 км. Скачки температуры убийственны, огромная высота нарушает работу сердца и легких и разрушает нервную систему. Но исследовательская работа не прерывается ни на один день. Живая жизнь, от глетчерных блох и сороконожек под камнями до медведей и барсов, обследована с предельной полнотой. Экологические записи сменяются таблицами исследований желудков, списками копытных, хищных, грызунов, птиц, рептилий, амфибий. Записи пестрят характернейшими зарисовками. Найдены новые виды, описаны миграции.

Я не собираюсь давать оценку научным достижениям зооотряда. Меня интересуют пути развития и роста юного биолога.

Дальнейший путь еще труднее. Западный Памир поражает своим суровым

рельефом. Пяндж и его притоки образуют глубокие, узкие каньоны—ущелья с отвесными берегами и скалистыми, трудно проходимыми гребнями, высотой до 4.500 метров. Путь идет по висящим на скалах, ненадежным настилам и террасам — «оврынкам». Некоторые из них почти непроходимы, требуют ремонта на ходу, опромной осторожности и навыка; срываются, летят в пропасть и гибнут лошади, ежеминутно подвергаются опасности люди, но исследовательская работа продолжается.

Миша рассказывает:

— В горном пейзаже, в красоте садов Западного Памира есть что-то древнее, библейское. Сходство подчеркивается и характером населения. На Западном Памире нет киргизов, здесь иранцы. Тонкие смуглые лица, белые длинные одежды из домотканного сукна, редкой красоты женщины. Художник Н. Котов зарисовывает величественные фигуры, спокойно стоящие в тени плодовых деревьев, и издевается над моими ловушками, какжанчиками, тушками, черепами и желудками: «Миша, разве в раю ставят мышеловки?.. Миша! А к какому виду относится обыкновенные херувимчики: головка и два крылышка?» — «*Cheruvimus vulgaris!*» — «Миша! Я уверен, что, попади вы в рай к самому господу богу, вы непременно поставили бы мышеловку под кипарисовым престолом!» — «Да, — отвечаю я, — и поймал бы там здоровую крысу, которая каждый день подгрызает липовые ножки!..» — «Липовые! — хохочет Котов, — Миша! Я изучал латынь. Эта крыса называется не «Mus», а «*Mens critica!*»

6

Ранняя весна. Круглые, ватные, сырые облака. Между ними темносиние глубокие провалы неба. В полдень первая капель. К вечеру виснут с крыш прозрачные сосульки. Заливаются по дворам горластые петухи. На деревьях, над черными шапками старых гнезд, хлопчут грачи. По-весеннему кричат вороны, по-весеннему чирикают воробьи, поправляют старые гнезда. Вчера в Зоопарке в первый раз по-весеннему зазвез-

нела синичка: «Зинь-зинь-вер!..» У белок начался гон. Олень марал и изюб сбросили рога. У австралийских динго уже большие щенки. Охотничий инстинкт выражен у них с предельной яркостью. Мантейфель собирается освежить кровь нашей гончей, скрестив ее с динго.

Сегодня зайцы при осмотре подняли крик. От заячьего крика стоящие рядом лоси пришли в страшное беспокойство. Это — рефлекс лесного зверя. Крик зайца, попавшего в зубы хищнику, предостерегает и огромного лося, и он стремится уйти подальше. Фауна леса — единый, сложно переплетенный комплекс.

У павиана гамадрила был сильный припадок. Наблюдалось выделение слюны. Припадок длился пять часов и носил эпилептический характер. Павиан пал, не приходя в сознание. Из уха павиана немедленно была взята кровь и сделаны посевы. На следующий день на культурах обнаружен рост стрептококков.

Линька у овец, верблюдов, зубро-бизонов в полном разгаре.

Сегодня оттепель. Огромный бурый медведь «Борец» вдруг начал мять снег и стаскивать снежные комья в ров. Когда снежная гора у самой середины стены достаточно выросла, «Борец» стал утрамбовывать ее ногами. Время от времени он становился на задние лапы, нюхал воздух и протягивал вверх передние, примериваясь, много ли еще осталось до верха стены. Работу «Борца» во-время заметили и на облюбованном им месте, внизу у стены, взорвали несколько безопасных бомб. Это напугало зверя, и попытки строить гору во рву, чтобы выбраться на волю, прекратились.

В этом году сделана попытка приучить медведя-самца к медвежатам. На воле бурая медведица, перед тем как принести потомство, обычно уходит от самца как можно дальше и забирается в глухую лесную чащу. Происходит это потому, что самец не терпит новорожденных детенышей и может их растерзать, особенно в брачный период. В этом году «Борца» оставили в одном загоне с беременной самкой «Плаксой». Когда у «Плаксы» появилось потомство, — три

медвежонка, — «Борец» не раз пытался добраться до них. Но «Плакса» была настороже. Осторожно отстранив детенышей, она яростно накидывалась на «Борца», который вдвое больше и сильнее ее, осыпала его бешеными ударами и заставляла отступить. Пятясь на задних ногах и старательно закрывая голову лапами, «Борец» уходил от грозной супруги. Так повторялось изо дня в день. В результате этого систематического воспитания у «Борца» сложился своеобразный условный рефлекс. Когда медвежата вылезают из берлоги и приближаются к своему терроризованному ежедневными побоями отцу, он не только не накидывается на них, но опрометью бежит прочь и, поглядывая в сторону свирепой супруги, заранее закрывает голову лапами. Опыт «реконструировал» весь привычный комплекс отношений. Семья живет в мире, в одном загоне, строго соблюдая «экстерриториальность». Характерно, что главенство в распоряжении кормами все-таки принадлежит отцу.

7

Сегодня в Доме ученых заговорили о гибели шимпанзе.

— Говорят, что гибнут и лоси!.. О Зоопарке говорят тогда, когда там кто-нибудь гибнет. А почему не говорят об его повседневной огромной работе, о той школе, где растет новый биолог и которой скоро десять лет? Кто сейчас работает на Камчатке, в Туруханском крае, в Васюганье, на полярных зимовках, на Юге, в Ленкорани? — Питомцы московского Зоопарка! Их работа интересует крупнейших европейских ученых...

Вечером в зеленом домике доклад Калабухова. Я уйду раньше, чтобы поговорить с Мантейфелем. У стола много народу. Я сижу и жду. Над столом висит копия известной репинской картины. Кошевой атаман Иван Сирко со всем коштом запорожским пишут ответ на высокопарно-грозную грамоту султана Мухаммеда IV. У многих любителей старины хранятся в разных вариациях и письмо султана, относящееся к концу XVII века, и изумительный по своему вольному духу, остроумию и непереда-

ваемо соленому языку ответ запорожцев.

«... Ты, шайтан турецкий, проклятого чорта брат и товарищ и самого люцпера секретарь! Який ты чорта лыцарь!.. Вавилонский ты кухарь, македонский колесник, александрийский козолуп!.. Похваляешься, что ты царь над царями, властелин над властелинами, необыкновенный рыцарь, никем не победимый, а можешь ты, брат солнца и луны, наместник божий... на ежа сесть?..»

Текст ответа популярен среди кюбзовцев. Особенно с той поры, как старый друг Зоопарка, художник В. А. Ватагин, нарисовал под репинской картиной колючего ежа.

— Петр Александрович, — подзадерживаю я Мантейфеля, — почему в Доме ученых хорошо знают о смерти «Петьки», а не знают о работах Зоопарка по реконструкции фауны? Каковы планы? Как идет подготовка? Каковы перспективы? Разве систематикам не надо зарнее купить по бутылке красных чернил, чтобы вносить в свои фолианты все неожиданности, перед которыми поставит их реконструкция фауны? Зачем создавать очередь за красными чернилами?..

Мантейфель молчит. Потом показывает на репинскую картину над головой и говорит:

— В сущности, вы меня спрашиваете: «Який же ты чорта биолог, ежели ты ...на ежа сесть не можешь?»

Молодежь дружно хохочет.

— Я об этом думаю, — говорит Мантейфель. — Рано или поздно это надо сделать. Садиться на ежа придется. Когда это сделать? Какого числа и месяца? Надо спросить у товарищей.

И товарищи из кюбзовской Сечи отвечают словами запорожской грамоты: «Числа не знаем, бо календаря не маем, мисяц у неби, год у книзи, а день такий у нас, як и у вас...»

Экскурсовод так раскатисто хохочет, что препараты трясутся.

— Ну, — кончает Мантейфель, — а теперь пойдемте слушать Калабухова! Работа эта бьет и по механическому упростиельству, и по виталистическим сказкам. Нам надо прочно связаться с

экологической лабораторией и дать ему хорошую нагрузку... Кстати, — говорит он мне, — познакомьтесь поближе. Калабухов — один из основателей Кюбза, молодой ученый, заслуживающий серьезного внимания; его работы привлекли внимание известных европейских и американских биологов: Бэкстона из Лондона, американцев: Джонсона, работающего по спячке, Эли, Расмуссена, итальянского зоолога Монтероссо...

Мантейфель роется в груде книг на столе и вытаскивает книжку на французском языке с ушастым зверьком на обложке и надписью «Le Sahara».

— Вот одна из последних работ Бэкстона, где он останавливается на работах Калабухова по спячке. А ведь Николаю Ивановичу двадцать пять лет!..

8

В зеленом домике полно доотказу. Пришли и самые большие члены КЮБЗ — и Тамарка с Татуськой. Открыта фортка. Никто не курит. Сергей Яковлевич шутит:

— Научно-исследовательские институты обслуживаются не менее чем пятью источниками энергии, и в том числе и сжатым воздухом. В виду явных избытков спертго воздуха предлагаем поделиться с любым из институтов!

— В докладе Калабухова столько свежего воздуха, что можно поделиться и свежим! — отвечает Мантейфель.

Калабухов кмурится и подходит к доске. Голос стихает, и мы слушаем доклад о замечательных работах по «анабиозу», заинтересовавших биологов Европы и Америки.

— Представления о возможности анабиоза в смысле воскрешения в конце XIX века являются настолько общепринятыми, что в энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона вы можете прочесть об анабиозе, как о «замечательном явлении» не только у инфузорий и коловраток, но «иногда даже у замороженных лягушек и рыб». От мнимой смерти или омертвения это состояние отличается тем, — пишет автор заметки, — что «тогда как там (то-есть при мнимой смерти) все-таки остается хотя не-

значительный признак жизнедеятельности, здесь нельзя заметить ни малейшего проявления жизни; дыхание и пищеварение прекращаются при этом совершенно, но при оживлении возобновляются и продолжают затем совершенно правильно». При таких условиях в 1912 году происходит сенсационное «открытие» П. И. Бахметьева. Бахметьев проводит ряд опытов по замораживанию не только насекомых, но и млекопитающих, а именно летучих мышей, печатает статью под заглавием «Как я нашел анабиоз у млекопитающих» и утверждает, что насекомые и летучие мыши могут оживать после полного замерзания жидкостей в их теле. Он сравнивает замороженный организм с часами, маятник которых остановлен и которые могут быть пущены в ход в любой момент¹⁾.

— Представления о возможности анабиоза в указанном смысле мы находим и в ряде работ наших современных исследователей²⁾. Представления эти противоречат усвоенным нами понятиям о жизни, как о непрерывном процессе обмена веществ, о безостановочной ассимиляции и диссимиляции живого вещества, противоречат точке зрения, которая обоснована физиологическими, биологическими и биохимическими исследованиями и завершена обобщением Энгельса: «Жизнь — это форма существования белковых тел, существенным моментом которой является постоянный обмен веществ с окружающей их внешней природой и которая прекращается вместе с прекращением этого обмена, ведя за собою разложение белка»³⁾.

Исследования Бахметьева вызвали ряд серьезных возражений. Так, по вопросу о возможности анабиоза после полного замерзания столкнулись две точки зрения, и вопрос этот оставался нерешенным. Вопрос же о том, что происходит в организме животных до замерзания, при переохлаждении, прекращаются ли там начисто жизненные процес-

¹⁾ «Природа», № 5, стр. 616. 1912 г.

²⁾ Лазарев. — «Современные успехи биологической физики». 1927 г.

³⁾ Фр. Энгельс. — «Диалектика природы». 1932 г. Партиздат.; стр. 29.

сы и можно ли говорить об анабиозе в этом случае, оставался совершенно невыясненным. Предстояло решить оба эти вопроса. Для ответа на них лаборатория экологии при Зоологическом институте МГУ и предприняла в течение последних трех лет ряд исследований. Каким методом вели мы наши исследования и как старались обеспечить их от ошибок, которые были допущены Бахметьевым?

Докладчик щурится и, опершись на стол, оглядывает слушателей. Соседка моя глубоко вытягивает воздух и подвигается к столу. Я оглядываю аудиторию. Напряженность общего внимания поражает. Кажется, будто слушает один человек. Докладчик продолжает:

— Биологи-материалисты в борьбе с витализмом нередко перегибают палку и грешат старыми грехами. Мышление по аналогии, игнорирование различий, отрицание существенных для данного комплекса причин и специфических закономерностей, отвлечение от своеобразных особенностей живого существа, выработанных в процессе эволюции, и отсутствие того, что немцы называют «Wirklichkeitsgefühl», то-есть обостренного чутья действительности, — вот семь смертных грехов старого французского материализма XVIII века, блестяще представленного Гольбахом в его «Systeme de la nature». Великий Гете, поэт, чувствовавший бесконечное разнообразие живой жизни, не любил книги Гольбаха и называл «Систему природы» мрачной книгой, окрашивающей весь мир в один серый, монотонный цвет. Мы далеко ушли от этой старой, безжизненной, абстрактной философии, которую Гегель сравнивал с ночью, когда все кошки серы. Биолог нашего времени при всем уважении к построениям Гольбаха, которые для своего времени были прогрессивны, считает своей первейшей обязанностью детальное изучение биологических процессов, конкретное объяснение их качественного своеобразия и установление высших закономерностей, перед которыми механические законы, сохраняя свое значение, отступают на задний план. И надо сказать, что мы, кюбзовцы, оказались наиболее приспособленными к такой именно работе.

Зоопарк воспитал в нас чувство обостренного интереса к каждому живому существу со всем его биологическим своеобразием, заострял нашу наблюдательность не на сходстве живых существ, а на их различиях, мы с детства научились ненавидеть всяческий антропоморфизм и выросли на уважении к «биологическим мелочам».

— Мы с Гете, а не с Гольбахом! — заявляет Таня.

— И это очень хорошо! — отвечает докладчик. Старик часто говорил изумительные вещи. К сожалению, мы мало их знаем. Послушайте вот эту ироническую фразу Мефистофеля, — чорт выстукает тут, как изрядный диалектик!

Живой предмет желая изучить,
Чтоб ясное о нем понятие получить,
Ученый прежде «душу» изгоняет,
Затем предмет на части расчленяет
И видит их, — да жаль: их связь
Тем временем исчезла, унеслась!

Здесь великолепно осмеян порок мертвого аналитического метода, когда исследователь наблюдает разрозненные части и забывает о связи целого. Замените «душу» понятием «комплекс», и вы получите памфлет, не потерявший остроты и в наши дни... Вот на такой методологической закваске и замесили мы наше исследовательское тесто.

— На кюбзовской закваске! — еставляют несколько голосов.

— На гетевской! — перебивает Таня.

— На кюбзо-гетевской! — мирит кто-то под общий смех.

— А теперь, товарищи, перейдем к нашим пчелам!..

Напряженная тишина. Калабухов стоит у доски, чертит таблицы, графики, кривые, и перед нами с редкой наглядностью проходят сложные, остроумнейшие опыты по оцепенению пчел. Мы слушаем, как впадают в оцепенение пчелы-одиночки и целые группы, узнаем о роли предварительного подкармливания и голодания, о влиянии плотности пчел, сидящих вместе, на процесс оцепенения и на продолжительность жизни в этом состоянии, о влиянии быстрого и медленного охлаждения, о наркотизировании

пчел, о роли возраста и пола и наконец об изумительной картине замерзания пчел, которое наступает не просто и не сразу. Кристаллизации льда в теле пчелы предшествует предварительное ее переохлаждение, доведившееся в опытах до $-9,2^{\circ}$. После переохлаждения в тельце пчелы наблюдается резкий температурный скачок кверху, и только после скачка происходит замерзание. Создается впечатление, что организм пчелы перед замерзанием напрягает в борьбе за жизнь все свои силы.

Таблицы, графики и кривые приводят к неопровержимому выводу: кристаллизация льда в теле пчелы оканчивается смертью. Тело замерзшей пчелы, в котором начисто прекращаются процессы обмена, превращается в труп. Анабиоз после полного замерзания жидкости в теле пчелы невозможен.

— Ошибка Бахметьева, — заканчивает Калабухов, — заключалась в допущенных им неточностях при определении процента замерзания воды и в том, что, работая с насекомыми, которые всегда подвергаются переохлаждению, Бахметьев «по аналогии» распространил свои выводы и на других животных и в частности на летучих мышей...

— Нет, ему не сесть на ежа! — замечает кто-то. Дружный хохот...

Калабухов переходит ко второму вопросу, и мы слушаем о том, что происходит в организме пчелы в состоянии переохлаждения и наблюдаются ли там, и какие именно, физиологические процессы...

— Итак, — повышает голос Калабухов, — мы получили точный ответ на оба наших вопроса. При полном замерзании пчелы анабиоза нет, так как нет возврата к жизни, а при переохлаждении анабиоза нет, так как жизнь и не прекращалась.

— «Анабиоза», как такового, — кончает докладчик, — то-есть воскрешения из мертвых, не существует, товарищи! Это сказка, долго державшаяся в науке. Об анабиозе можно говорить лишь в условном смысле, то-есть как о пониженных процессах обмена, протекающих при низкой температуре, которые могут быть восстановлены до нормы.

Аудитория молчит. Лица сосредоточены. Некоторые что-то записывают. В этой тишине углубляется, зреет научная мысль, пускают корешки щедро посеянные зерна.

— Николай Иванович! А что скажут коловратки, тихоходки и утрицы? — спрашивает моя соседка.

Калабухов широко улыбается.

— Правильно! Коловратки и компания еще не сказали своего последнего слова. Но дело и тут кроет изменliness. Данные по изучению «скрытой жизни» в семенах растений говорят о том, что всхожесть сохраняют лишь те семена, в которых сохранилось до 10 — 15 проц. влажности и где еще продолжают жизненные процессы. Всхожесть семян из египетских гробниц — сказка, отвергнутая наукой. Это бросает свет и на анабиоз у коловраток. Теперь мало доказывать, что они оживают, надо доказать, что перед оживлением они были мертвы. А это до сей поры не доказано... Товарищи! Работа нашей лаборатории по анабиозу вызывает интерес у европейских и американских биологов. На днях я получил письмо из Югославии, где доктор Гелинео, высоко оценивая эту работу, выражает сожаление, что у нас мало работают по физиологии холода... И в самом деле, кому же, как не нам, следует взять эту работу в свои руки? Осваивая наши полярные просторы, мы и в вопросах биологии и физиологии холода должны чувствовать себя, как дома! Поставим дело так, чтобы по всем вопросам холода зарубежная наука обращалась к нам, как к специалистам!

Калабухова атакуют...

После доклада мы идем вместе с Мантейфелем.

— Поговорите с Калабуховым об его работах на противочумных станциях. Он провел там три лета и одну зиму. Через его руки прошли сотни зараженных чумой сусликов. Нужна была огромная организованность человека и ученого, чтобы выдержать эту марку. Он выяснил пути, способы и время заражения чумой через сусликов. Его выводы имеют практическую ценность и заслужили широкое признание. Вот там-то, на чуме, и научился он заливать пальцы кол-

лодином, — улыбается Мантейфель и, помолчав, прибавляет: — и тому мужеству, которого требует наука от своих работников!

9

Сегодня я застал у Мантейфеля, ходоков из Уссурийского края. Прибыли в Москву защищать своего зверя: соболя, кабана, тигра. Их двое. Оба — охотники «по крупному». Сидели у стола в ватных пиджаках и в меховых шапках. Старший — смуглый, улыбочивый, а помоложе — рыжий, суровый. Его рыжеватую, под масть, шапку я принял было за густую шапку волос, так прочно и кругло сидела она на его бритой, как после болезни, голове. Вокруг стола сидела и стояла молодежь, и по глазам было видно, что рассказы увели их куда-то очень далеко. За мною вошло в комнату еще несколько человек. Рыжий повернулся к двери, и я увидел его маленькие, лесные, «дремучие» глаза.

— Все твои ученики, Петр Александрович? Обучаешь, значит, их звериному обычаю?

Мантейфель улыбнулся.

— Волк кормит детей отрыжкой. Вот так и я. Ну, а скажите, как вы капканы ставите, на широком шагу или на мелком?

Старший, ясноглазый, заулыбался, и глаза стали еще яснее.

— Обязательно на широком или за колодиной, на разбеге, где ему прыгнуть. Ежели на мелком шагу поставить, остановится, покрутит носом и обойдет стороной. Потом человечьим пахнет, избой.

— А какой добычей кормится ваша дальневосточная огромная куница, харза?

— Мингуза, по-нашему? А она давит кабарожек. Загоняет либо на лед, либо на скалы. Губит и соболя, и белку, и енота. Вредный зверь. А пользы от него мало. Шкурка дешевая.

Оглядев ребят, рыжий спросил:

— Все они у тебя тут, Петр Александрович?

— Далеко не все. Их у нас больше ста человек.

— Ну, что ж, посылай по череду к нам, партиями, что сами знаем, тому и их научим. Пора кончать. Доскажу эту историю. Ну, ворочаюсь домой, спускаюсь к реке, а навстречу мне через реку белочка плывет. Меж льдинок с трудом пробивается, намокла, устала. Я ей на берегу дорогу загородил. И что ж ты думаешь? Она прыгает мне на плечо и давай драться со мной. Дурочка! Ей бы через меня, да в гору, да в лес, так нет, драку со мной затеяла. Белка была «ходовая». Много шло об эту пору. Идет издалика, и никакими мерами в это время белку не остановишь. Махонький зверек, а какая сурьезная! Придавил ее, под рукой и уснула, и тут же на колонка приманку поставил. Случается, в пещерах под скалами сено находим сухое. Собирает тоже зверюга.

— А это «сенокосцы», — говорит Мантейфель, — собирают сено на зиму. На солнышке растрясет его, а в дождик — в пещерку. И так соберет, чтобы все было, что ему надо: и веточки, и клеверок, и ни одной ядовитой травинки. Нам так не собрать. Ежели на лошади поедешь, то корму в таких пещерах наберешь достаточно, лошадь покормишь.

Гости раздумчиво покачивают головами.

— Слушаю я тебя, Петр Александрович, — говорит рыжий, — живешь ты в городе, а про каждого зверя больше нашего знаешь и, видать, понимаешь, что к чему.

— Вот то же нам и вологодские медвежатники говорили. Мы там с Гринбергом и с Салминым жили. Целый день по лесу с ружьем, спали в шалаше. А мужики ихние все нам не верили. «Какие они охотники? Обязательно беглые!» При нас и к леснику в избу не заходят. А без нас придут, спрашивают: «Ну, как, дядя Хведор, твои гости?» — «Да ничего, — скажет, — дурного от них не видим, народ ученый». — «Ученые? Подожди, они тебя научат!» Пришли как-то двое к леснику, а мы у него в избе. Взошли с ружьями. Сели. Ружей из рук не выпускают. А мой «зауэр» на стенке висит... «Ежели ты охотник, почему ты первым делом зверя не

стреляешь?» — «А он мне сейчас не нужен!» — «Как же так не нужен? Второе дело, ежели ты по медведю, почему к нам в деревню не идешь? Мы — коренные медвежатники. Мы бы тебе рассказали весь медвежий быт». — «А что вы мне рассказать можете, когда вы сами ничего не знаете?» — «Мы-то не знаем!» — «Вы. Ну, скажите, чем медведь сейчас, осенью, питается?» — «Чем питается?.. Петра, чем он питается?» — «Муравьями». — «Неверно». — «Мало ли чем! Сотами пчелиными!» — «Опять неверно!» — «А ты с ним обедал, что ли?» — «А вот смотри, — говорю. Вытаскиваю из мешка кал медвежий, свежий. — Ну, смотри! Это что?.. — Размял рукой. — Видишь?» — «Вижу. Гречка-а! Ба-а! Ды мы гречи тут отроду не сеяли!» — «Ты не сеял, а он собирает». — «Да что ты! Петра! Гречка! Откуда?» — «А вот поверти мозгами... Может, он у вас в потребиловку записан? Или от господ бога? Это — болотная гречиха — «рачья шейка». На болотах растет, — высокий стебель, листья сидят редко, цветы в красный широкий колос собраны, а к осени семена поспевают, такие же, как у гречихи». — «Да ну-у!» — «Не веришь? Дядя Федор, ты соседних медведей гречихой не угощаешь? Ну, своими глазами видите! Это — кал медвежий, а это в нем гречиха! Вот пошли своих ребят на болото, они тебе тоже наберут на хорошую кашу. А попробовал бы посеять на потных местах, глядишь, может быть, и урожай бы собрал, — ночных заморозков не боится»...

— Задумались: «Видать, и правда, вы ученые. Ты что ж, в Москве самый наибольший будешь по звериному делу?» — «Куда там! У нас такие есть дошлые. И мне, пожалуй, бока намнут. Хоть и я не из последних». — «Доходите, значит, до всего по книгам?» — «Не только по книгам. Видел, откуда я гречу взял? Это вернее книги». — «Вот какие вы люди! Петра, а мы сумлевались. Мы от молодых ногтей медвежатники, и отцы наши, и деды. Я больше сорока медведей убил, товарищ мой не меньше, всю жизнь в лесу, а, видать, ты больше нашего знаешь!»

— Ружья в сторону отставили. Стали знакомиться. И первым делом моего «зауэра» со стены сняли. Стали рассматривать. Поверили наконец, что мы люди ученые и что в охоте кое-что понимаем.

— Как же не поверить? — сказал рыжий. — Своими ушами и мы слышим. Своими глазами и мы видим! — Он оглядел кругом комнату: — А вот показать бы нашим людям твоих штраусов да бегемота. Неужто и у нас по Союзу разведешь штраусов? Дело хорошее. Сколько мяса в нем?

— Во взрослом самце до трех пудов хорошего мяса, а по кормам он выгоднее всякой домашней птицы.

— Чего только человек не сделает, ежели руки развязаны! Глядишь, не только фабрики, заводы, — города новые построены, а деревья новые на нашей земле вырастут, травы, штраусы разные забегают!

— Мы не только страусов чужеземных, мы и своих диких зверей в работу берем. Вот для езды по таежным местам лося хотим приспособить, это потрудней страусов будет.

— Не плохое дело. Зверь неутомимый, могучий, длинноногий и в снегу не завязнет.

Принесли фотографии, отобрали: тигра, льва, бегемота, кенгуру, оранга и страусов-эму. Гости внимательно их разглядывали.

— А с деньгами у вас как? На дорогу хватит? — спросил Мантейфель.

Не отрываясь от фотографий, рыжий сказал:

— Посчитать надо. А видать, рублей сто прихватить придется.

— Я захвачу завтра.

— Ну, что ж, твои ребята к нам приедут, в долгу не останемся.

Мантейфель собрал фотографии, свернул в трубочку, вынул из кармана носовой платок, оторвал от него ленточку, перевязал и отдал старшему.

— Это вам от Москвы подарок!

— Вот за этот подарок тебе спасибо! На стену повесим. Придут смотреть и старики, и молодые, и бабы. Про штраусов им расскажем.

— Молодых учиться посылайте непременно!

— А ты к нам своих присылай. Ну!..

Стали прощаться. Молодежь загудела, направляясь к выходу. Я задержался с Мантейфелем, чтобы получить обещанные материалы.

— Видели? Настоящие тигроловы. Они тут рассказывали, как двухгодичных тигров живьем берут. Рыжий в Алма-Ате сыпняком хворал. Я их тут сегодня обедом кормил. Ну, и аппетит!.. А вы спросите, зачем они в Москву приехали. Ведь соболь, ценнейший зверь, в ряде хребтов Дальневосточного края сейчас почти окончательно выбит. А преступное истребление изюбра в неза-

конные сроки не имеет никакого оправдания. Очень удивились, когда я им прочитал записку в Госкомитет по охране природных богатств о незаконной охоте на изюбра и о катастрофическом положении с соболем... Надо охранять и кабаней молодняк! Ну, насчет старой «тигры» — дело посложнее. Ну, да они вам сами расскажут.

Я вышел и застал их еще во дворе, окруженных натуралистами. Спрашивали, на каком трамвае ехать и в какую сторону: против солнца или от солнца. Мы познакомились, и я тут же записал их адрес. Был поражен их лицами, достоинством обращения и серьезностью разговора.

За рубежом

1. Н. КОРНЕВ—Гембеш. 2. А. ЮРЬЕВ—По „Счастливой Аравии“ 3. Международная хроника

1. ГЕМБЕШ

Н. Корнев

Рис. худ. Бор. Ефимова

Шовинизм и подготовка войны, как основные элементы внешней политики, обуздание рабочего класса и террор в области внутренней политики как необходимое средство для укрепления тыла будущих военных фронтов, — вот что особенно занимает теперь современных империалистических политиков». Так говорил вождь нашей партии тов. Сталин на XVII съезде и тут же отметил: «Неудивительно, что фашизм стал теперь наиболее модным товаром среди воинствующих буржуазных политиков. Я говорю не только о фашизме вообще, но прежде всего о фашизме германского типа, который неправильно называется национал-социализмом, ибо при самом тщательном рассмотрении невозможно обнаружить в нем даже атома социализма» («Вопросы ленинизма», издание 10-е, стр. 545).

Таким фашистом именно германского типа является глава венгерского правительства Юлиус Гембеш, привлечший к себе, в связи с последними событиями в Венгрии, внимание всего мира. Недаром Гембеш имеет на редкость хорошую прессу в национал-социалистической Германии. Германские фашисты видят в нем если не ученика Адольфа Гитлера, то во всяком случае политика, идущего по его стопам. Уже это одно делает фигуру Гембеша весьма любопытной.

Когда несколько времени назад в венгерской правительственной партии по наущению бывшего министра-президента Бетлена началась фронда против Гембеша, германская печать поспешила оповестить своих читателей, что речь идет «о разногласиях между старым и молодым поколением», между изжившим себя жонсерватизмом и «бурно мчащимся движением вперед молодежи». Бетлен был немедленно представлен германскому фашизму как венгерское издание Гугенберга. Отсюда следовал вывод, что в лице Гембеша мы имеем венгерского Гитлера. С особым удовлетворением привела германская печать речь начальника отдела печати венгерского министерства Анталя, интимного друга Гембеша. Антал заявил, что будто бы во всей Европе послевоенное поколение приняло уже давно на себя руководство политическими судьбами народов и только в одной Венгрии это молодое поколение «вынуждено томиться в передних общественных мнениях». Гембеш, заявляя далее его пропагандист, является именно таким представителем молодого поколения, и его пребывание у власти обозначает, что новое молодое поколение «положило свою визитную карточку на стол венгерской политики». Руководящей линией политики Гембеша является убеждение, что основанием для занятия правительственных должностей

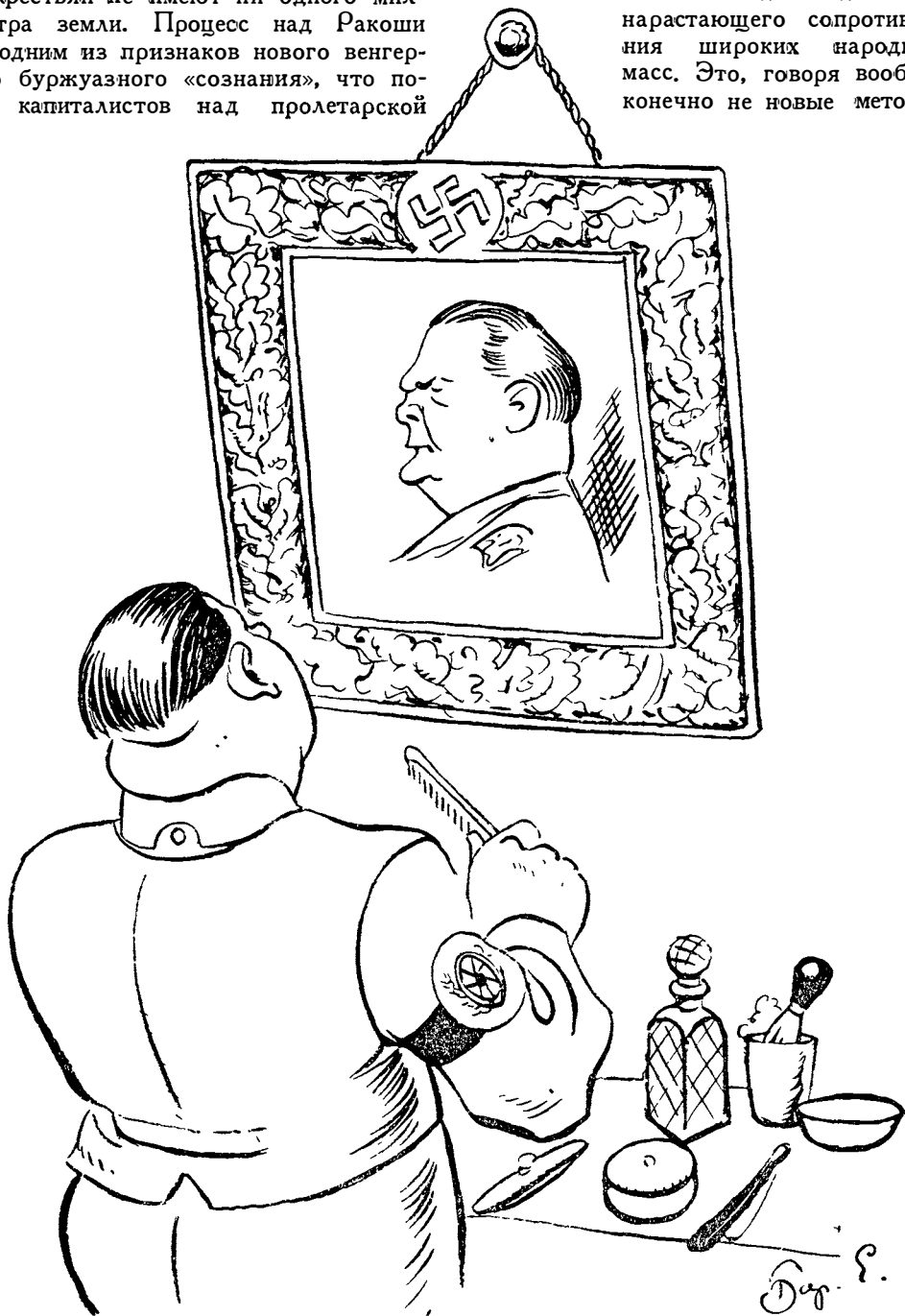
должно быть не высокое рождение или владение большим состоянием, а «осознание потребностей и вожделений всего народа». Одновременно с этим выступлением официального пропагандиста Гембеша состоялось выступление его неофициального пропагандиста, главного редактора газеты «Новая Венгрия», Милотая, который потребовал исчезновения из лагеря активных политиков Венгрии и сдачи в исторический музей всех либералов, всех капиталистов (?!), всех феодалов и всех расово-чуждых элементов: «Будущее за той молодежью, которая вдохновляется идеями Муссолини и Гитлера. Будущее за теми, кто не обращает особого внимания на старые государственные установления и конституционные правила и обычаи». Так как сомнительно, чтобы кто-либо в мире не был убежден в фашистском естестве Бетлена, против которого, очевидно, направлены все «новые слова» официальных и неофициальных пропагандистов Гембеша, то приходится тут же сказать, что эти слова имеют только один смысл: они обозначают, что Гембеш под лозунгом программы реформ стремится организовать в Венгрии массовое фашистское движение, создать массовую фашистскую организацию. Только с помощью такой массовой организации надеется этот ученик Гитлера (а не Муссолини) направить в русло контрреволюционного движения недовольство городских и главным образом деревенских средних слоев, чтобы затем при помощи этой массовой или псевдомассовой фашистской организации подавить революционное движение не только в рабочем классе, но и среди батраков и бедняков-крестьян.

Появление Юлиуса Гембеша в роли такого организатора массового фашистского движения, да еще в противопоставлении Бетлену, политику старого консервативного направления, становится еще более понятным, если мы вспомним, что венгерская буржуазия рассматривала поражение пролетарской диктатуры всегда в исключительно абсолютных категориях. Венгерская буржуазия никогда не хотела считаться с тем, что Советская Венгрия погибла вследствие

особых, специфических условий. Она всегда в утешение себе и буржуазии всего мира утверждала, что поражение венгерской коммуны было поражением принципа пролетарской диктатуры, доказательством абсолютной ее невозможности. Пролетарское государство не может быть осуществлено, оно нежизнеспособно, — утверждала венгерская буржуазия. Советская Венгрия, в изображении отечественной буржуазии, была лишь эпизодом, не могущим никак повториться. Вернувшись с помощью иностранных интервентов снова к власти, буржуазия считала, что время ее восстановленного господства должно исчисляться тысячелетиями, и эта цифра была названа венгерской контрреволюцией задолго до того, как ее же назвал в Германии будущий учитель Гембеша, Адольф Гитлер. Венгерская буржуазия стала править с помощью испытанного террора, лишь слегка укутанного туманом некоего «христианского социализма». В действительности речь шла о грубом зоологическом антисемитизме, насаждении солдатских поселений, жалкой карикатуре на аграрную реформу, порожденную воспоминаниями не то о столыпинской «ставке на кулака», не то об аракчеевских военных поселениях. Но на проверку оказалось, что на одних штыках долго держаться нельзя, что виселицы и массовые каторжные приговоры не создают даже кладбищенского спокойствия. Всеобщий капиталистический кризис крепко и больно ударил по Венгрии. В одном только сельском хозяйстве Венгрия насчитывает три четверти миллиона безработных. Миллион становится полным, если сюда прибавить четверть миллиона безработных в промышленности. Этот миллион (а вместе с семьями—три-четыре миллиона) людей голодают в буквальном смысле слова, ибо Венгрия не знает даже намека на социальное обеспечение. Торговля и ремесла хиреют. Аграрная «реформа» привела к тому, что крупное землевладение играет теперь в Венгрии еще большую роль, чем до мировой войны. Земельный вопрос стоит в Венгрии острее, чем в какой-либо другой европейской стране. Согласно официаль-

ным венгерским статистическим данным, около трех тысяч помещиков владеют шестью миллионами гектаров земли, в то время как мелкие крестьяне владеют всего полутора миллионами га, а 700 тысяч крестьян не имеют ни одного миллиметра земли. Процесс над Ракоши был одним из признаков нового венгерского буржуазного «сознания», что победа капиталистов над пролетарской

диктатурой была вызвана все-таки не абсолютными, а случайными, привходящими условиями и обстоятельствами. Венгерская буржуазия находится в поисках новых методов управления страной, новых методов подавления нарастающего сопротивления широких народных масс. Это, говоря вообще, конечно не новые методы.



Юлиус Гембеш распускает парламент, в котором его партия имела большинство. Он хочет получить какое-то новое подтверждение своей власти, ибо он находится во главе венгерского правительства уже два с половиной года. Он хочет завоевать, собственно говоря, нечто такое, чем он фактически давно уже владеет. Его учитель Гитлер в своих последних речах неоднократно упоминал о том, что и в Германии «национал-социализм должен снова завоевать страну». Многим это несколько странно на первый взгляд утверждение германского «фюрера» казалось непонятным. Гембеш нечаянно конечно поясняет туманные высказывания своего «старшего брата»: фашизм, в особенности фашизм германского типа, чувствует себя, как в стране завоеванной, оккупированной с помощью грубой военной силы, и знает, что население этой завоеванной страны не перестает пассивно, а некоторые круги, рабочий класс в первую очередь, активно сопротивляются завоевателю. Гитлер в Германии, Гембеш в Венгрии чувствуют себя приблизительно так, как чувствовал себя германский генерал-губернатор во время империалистической войны в Бельгии или, скажем, в Польше. Гембеш думает, что он нашел правильный подход к населению оккупированной страны: он хочет провести некую кудую «демократическую» реформу. Он хочет несколько расширить состав избирателей. Ах, как это напоминает демократические трюки германского генерал-губернатора в оккупированной Польше! Но нельзя все-таки отказать Гембешу в некоторой оригинальности: будучи, по существу, фашистским диктатором, он считает необходимым только теперь целиком и полностью развернуть всю свойственную национал-социалистам демагогию. Он считает необходимым и целесообразным в борьбе за контрреволюционные позиции притворяться, что выступает против руководящего отряда венгерского монополистического капитала, против помещиков-аристократов, помещиков-феодалов. Гитлер выступал в свое время против «капитала грабящего в отличие от капитала творческого», из-

брав мишенью своего «социализма дураков» (так называл Бебель антисемитизм) банки и универмаги. Восточно-пруссских и померанских аграриев Гитлер не трогал. В сугубо аграрной Венгрии, очевидно, создание массового фашистского движения невозможно без демагогии, направленной против помещиков-феодалов. Гембеш опирается на венгерскую джентри, на класс средних помещиков, из которого он и сам происходит и который в его лице заключает блок с кулацким крестьянством в лице пресловутого Тибора Экарта.



Биография Адольфа Гитлера полна, как известно, вопросительных знаков. Многое в ней до сих считается весьма сомнительным и, во всяком случае, неустановленным. Объясняется эта нарочитая таинственность и недоговоренность тем, что биографии фашистских «вождей» большого и малого калибра подвергаются беспрестанным пересмотрам и переделкам, смотря по запросам демагогической агитации и требованиям фешенебельного тона правящих кругов. «Творимая легенда» играет во всех фашистских биографиях большую, иногда решающую, роль. Играет она такую роль и в жизнеописаниях ученика и последователя Адольфа Гитлера, организатора массового фашистского движения в Венгрии, Юлиуса Гембеша. Официальный его биограф, придворный венгерский поэт Франц Герчек, утверждает, что Юлиус Гембеш родился в семье бедного сельского учителя. Поэт сам признает, что жизнеописание сына бедного учителя, сделавшегося затем венгерским министром-президентом, есть «сказка для взрослых детей». Гембеш, — утверждает дальше его биограф, — является доказательством того, что «в Европе наблюдается возрождение вождизма, ибо возвышение нынешнего руководителя Венгрии является плодом его сильной воли и внутренне осознаваемого призвания быть служителем нации» (знакомые нам слова, которые можно найти в любой фашистской биографии Гитлера). Поэтому необходимо перенести место ро-

ждения Гембеша в бедный, скромный домик сельского учителя в Мурге, небольшом, населенном почти исключительно немцами-колонистами, местечке, — чтобы иметь возможность сказать, что германское влияние играло значительную роль в формировании характера и жизненных воззрений Гембеша с самого раннего детства. Верно во всяком случае то, что мать Гембеша, Анна-Мария Вейтцель, действительно происходила из немецкой кулацкой семьи и что Гембеш поэтому с самого первого дня своего рождения считает себя носителем неких пангерманистских идей в национальной Венгрии. Воспитание, полное пангерманистских, стало быть, империалистических, влияний вселило в Гембеша еще в дни его молодости убеждение, что националистические и шовинистические вождения во всяком случае не связаны границами распространения языка и культуры. Но поэт-биограф здесь в своем увлечении «сказкой для взрослых детей» несколько увлекается и саморазоблачает свою «творимую легенду» о происхождении Гембеша. Ибо все, что он говорит в объяснение «мистицизма венгерского патриотизма», является лишь доказательством, что Юлиус Гембеш — только типичный представитель венгерской джентри.

Ибо именно венгерская джентри, в отличие от венгерской аристократии, давно породнившейся с аристократией других стран и посему якобы растерявшей свои «национальные идеалы», является в изображении венгерских империалистов хранительницей этих идеалов, хранительницей вождений о восстановлении венгерской великодержавности. Впоследствии именно Гембеш, уже в военном училище, бросит упрек учителю истории, назвавшему в числе великих держав только Австрию и забывшему упомянуть о Венгрии. Но такое приверженство национальным идеалам отнюдь не обозначало конечно, что джентри должна была отказываться от тех карьерных возможностей, которые заключались в армии или государственно-административном аппарате двуединой монархии, вовсе не являвшейся в представлении венгерской

джентри «тюрьмой народов». Молодой Гембеш решает сделать военную карьеру. Если бы он был сыном аристократа, то ему было бы очень легко сделать такую карьеру. Сыну безызвестного сельского учителя сделать военную карьеру почти невозможно. Поэт-биограф хвастает, что в солдатском ранце Гембеша не было маршальского жезла, и даже утверждает, что отец Гембеша не согласен был с его выбором карьеры и хотел, чтобы сын стал учителем. В действительности же именно отец Гембеша, вовсе не учитель, а зажиточный помещик, толкнул его на путь военной карьеры, и сын его, Юлиус, родился не в бедной хижине сельского учителя, а в родовом помещицьем имении (в 1886 г., в венгерском комитате Тольна). После кратковременной солдатской службы сын помещика становится быстро офицером, правда, лишь скромным поручиком в маленьком хорватском гарнизоне. Здесь он ведет ту монотонно-скудную жизнь армейского офицера, которая нам известна по описаниям ряда австрийских и венгерских писателей да еще по бесчисленным австрийским опереткам, в которых остроумная музыка смягчает пошлость и тривиальность приключений офицеров маленьких гарнизонов.

Гембеш — не офицер-аристократ, рассматривающий маленький гарнизон как временную ссылку или страду, но и не армейский служака, примиряющийся со своей судьбой. Он молодой и очень энергичный карьерист. С самого начала он ставит себе задачей выбраться из маленького гарнизона, но не в большой город вообще (верх идеала — Вена или Будапешт), а в военную школу, откуда можно попасть затем в военную академию и генеральный штаб, т.е. на путь настоящей большой карьеры. Он обращает на себя внимание начальства своим усердием и прилежанием. Товарищи по полку и гарнизону не любят его: они быстро угадывают его холодный, расчетливый карьеризм, чуждающийся даже традиционных приключений офицерской молодежи. В этом венгерце есть что-то от прусского службиста. Гембеш попадает в венскую военную школу; добившись здесь своей заветной

цели, он быстро ориентируется в обстановке и понимает обреченность двуединой монархии. Еще поручиком он требует в докладе перед товарищами образования совершенно самостоятельной венгерской армии. Этот полунемец понимает, что настоящую большую карьеру можно сделать только ставкой на сверхнационализм, на сверхшовинизм, ибо, как известно, и без таких крайних выступлений венгерская бужуазия отнюдь не принадлежала к жертвам «тюрьмы народов», а была одним из самых свирепых тюремщиков других, действительно угнетенных, народов Австро-Венгрии. Из военной школы и академии генерального штаба Гембеш попадает в штаб корпуса, сначала в Аграм, затем в Темесвар. Здесь он учится искусству дипломатической интриги, которая была столь популярна в австро-венгерском генштабе. Он быстро становится мастером не только специфически балканских интриг, но и в еще большей степени мастером генштабистских интриг, подготавливающих кровавую развязку в империалистической войне.

Наступает «великая» война, о которой так мечтал австро-венгерский генштаб. Капитан Гембеш получает тяжелые ранения на фронте, ибо он будто бы с первых же дней войны стремится и попадает на фронт. Так утверждает поэт-биограф. Но и здесь нашего летописца приходится поправить. Гембеш, одетый в мундир с багрово-лиловыми отворотами генштабиста, не был ни одного дня настоящим фронтowym офицером: его ранит шальная граната, залетевшая в тыл. Эта граната способствовала дальнейшему возвышению «героя». Рана дает возможность уйти с фронта, ибо даже тыл фронта — все-таки фронт, где, с одной стороны, опасно, а с другой — нельзя принимать участия в большой ипре. Раненый Гембеш посылается на лечение в Будапешт и оставляется в военном министерстве. Служба в Аграме и Темесваре до мировой войны дает Гембешу репутацию специалиста по балканским вопросам. Он провозглашается таковым в венгерском военном министерстве, куда он является, кроме того, еще с репутацией пламенного венгерско-

го патриота, сторонника совершенно независимой венгерской армии. А какое военное министерство не хочет быть независимым?! В военном министерстве Гембеш встречает своих старых друзей по военной школе и генштабу. Это — представители венгерских офицеров-политиканов, офицеров-интриганов, которые уже теперь, во время империалистической войны, начинают играть заметную роль и которые будут играть еще более видную роль после окончания мировой войны во всяких контрреволюционных организациях. Эти офицеры затем станут инструкторами Гембеша при создании массового фашистского движения по германскому образцу.

Но, очевидно, у будущего организатора массового фашистского движения в Венгрии не особенно большие военные способности. Даже поэт-биограф молчит об его каких-либо особенных заслугах в венгерском военном министерстве и не может никак объяснить, почему к концу войны Гембеш служит в армии все в том же чине капитана, в котором он вступил в мировую войну? Впрочем, и Гитлер во время войны дослужился только до чина ефрейтора. Такова уже судьба всех фашистских диктаторов: генеральские эполеты они получают в войне против «внутреннего врага».

После окончания мировой войны, в тот момент, когда венгерская буржуазия призывает против советского правительства Венгрии иностранных интервентов, Гембеш находит подходящую для себя роль. Он является правительственным венгерским комиссаром при вторгающейся в Венгрию румынской армии. Этот эпизод в официальной биографии Гембеша обходится красноречивой фигурой умолчания. Послевоенная политическая карьера Гембеша в изображении его биографов сразу начинается с описания его роли как руководителя контрреволюционной организации «Мове». Зачем делаются в биографии такие прыжки? Только потому, что сам герой делал некоторые прыжки, о которых теперь лучше не говорить. Быль молодцу не в укор! Гембеш был сторонником революционно-демократического правительства Михаила Ка-

роль. Именно это правительство посылает Гембеша в качестве военного атташе в Аграм, в один из важнейших тогда для венгерского правительства наблюдательных пунктов на Балканах. Но правительство Кароли не долго продержалось. Гембеш и не думает падать вместе с ним. Именно тогда, вернувшись не в Будапешт, а в Вену, он организует ту самую контрреволюционную организацию «Мове», венгерскую организацию «защиты родины», о которой шла речь выше и в которой Гембеш собрал всех своих венгерских и австрийских коллег по генштабу и военному министерству, соратников не столько по фронтовым боям, сколько по гештабистским интригам.

В качестве военного атташе правительства Кароли Гембеш держал себя в Аграме выжидательно-пассивно. В качестве представителя офицерской контрреволюционной организации он развивает в Белграде бурную активность, умоляя об югославской военной интер-

венции против советского правительства Венгрии, призывая в свою страну тех самых сербов, которых он будто так ненавидел в качестве австро-венгерского патриота и генштабиста. Когда иностранные интервенты помогают «патриотической» контрреволюции свергнуть в Венгрии советское правительство, правительственный комиссар при одной из интервенционистских армий (правда, не сербской, а румынской) становится членом правительства белого террора, обосновавшегося в Шегедине. Но представители одной из великих держав, а именно Франции, требуют удаления из правительства военного министра Гембеша. Они ему не доверяют. Гембешу приходится уйти. Ненависть к Франции станет затем одним из руководящих стимулов его внешней политики. Кто смеет утверждать, что мотивы личной мести играют здесь какую-то роль? Разве например смеют что-либо подобное утверждать про польского министра иностранных дел Бека, который некогда был военным атташе в Париже и расстался тогда со столицей Франции и французской армией отнюдь не по своей собственной инициативе?

Гембешу приходится на время, таким образом, несмотря на торжество венгер-



ской контрреволюции, удовлетвориться меньшей ролью, чем роль военного министра. Он активно участвует в организации контрреволюционного восстания в Западной Венгрии и затем, после воцарения Хорти и Бетлена, появляется в парламенте в качестве представителя мелких сельских хозяев. В самый, что называется, нужный момент своей гражданской политической карьеры вспоминает он о своем происхождении из джентри.

Но Юлиус Гембеш все-таки уже один из руководящих политиков Венгрии. Правда, у власти находится граф Стефан Бетлен, типичный венгерский политик старой реакционной школы. Однако человеком, пользующимся особым доверием главы государства Хорти, является Гембеш, в особенности после того, как он организует сопротивление реставрационным попыткам Карла Габсбургского и выигрывает битву при Бубаэрс. Кто теперь вспоминает, что во время не этой второй, а предшествовавшей ей первой реставрационной попытки Карла Габсбургского Гембеш был, собственно говоря, сторонником возвращения Габсбургов на «трон их предков», был отъявленным легитимистом. Все удовлетворены тем, что один из руководителей контрреволюции на «данном отрезке времени» — противник Габсбургов, и стараются не помнить о прошлом во имя настоящего.

Гембеш проводит, с позволения сказать, парламентские выборы, придающие царящему в Венгрии после падения советской власти белому террору некую видимость легализованной власти. Именно Гембеш, а никак не Бетлен, является фактическим организатором «унифицированной» правительственной партии, этого сборища решительно всех течений в венгерской реакции и контрреволюции. Венгерская контрреволюция под влиянием Гембеша сплетает весьма тесные связи прежде всего с германскими контрреволюционерами: не даром убийцы Эрцбергера, Шульц и Тиллесен, ищут убежища в гостеприимном доме Юлиуса

Гембеша. Симпатии Гембеша к ныне правящим в Германии кругам имеют, стало быть, весьма почтенную давность.

Тогда, в 1921 — 1922 гг., эта слишком явная связь Гембеша с германской контрреволюцией служит для министра-президента Бетлена поводом для отмежевания от своего коллеги по правительственной партии. Это конечно не отмежевание, а размежевание, предоставление Гембешу руководства «опозиционной» партией «защитников расы». Размежевание происходит отнюдь не потому, что Бетлен в какой-либо мере либеральнее, прогрессивнее или умереннее Гембеша. Оба они фактически одного, а именно контрреволюционного, фашистского, поля ягоды. Но Венгрия, в которой господствует самый разнузданный белый террор и огромный антисемитизм, не пользуется особыми симпатиями в так называемых западно-европейских «демократиях», т.е. среди великих держав. Проигравшая в качестве составной части блока центральных держав мировую войну Венгрия несет тяготы Трианонского договора, является яблоком раздора между империалистическими державами, их жертвой и опекаемым существом. Бетлен пытается использовать межимпериалистические противоречия, в особенности конечно противоречия между Францией и Италией. Своему правительственному режиму Бетлен старается придать налет парламентарности, и переход Гембеша в оппозицию только облегчает эту игру в «демократию». Гембеш организует новое фашистское движение под лозунгом «Венгрия, проснись», т.е. движение ультрашовинистического толка. В Венгрию возвращаются его старые друзья по генштабу, военному министерству, белогвардейским отрядам, словом, все те, которые не решились появиться даже в торжествующей после разгрома советского правительства реакционной Венгрии. Развивается самая бешеная антисемитская агитация, одним из результатов которой является введение ограничения приема евреев в средние и высшие школы.

Связи с контрреволюционными организациями Германии, с убийцами Эрц-

бергера и Ратенау, являются естественной прелюдией к связям с германскими национал-социалистами. Несколько преждевременно придумывают бывшие коллеги Гембеша и нынешние его коллеги по партии «расовой защиты» план захвата власти одновременно в Австрии и Венгрии: в Австрии должны устроить государственный переворот штурмовики Гитлера, в Венгрии должны помочь захватить власть Гембешу австрийские национал-социалисты. Еще до прихода Гитлера к власти Гембеш фактически преследует ту же политику, которую он осуществляет теперь: соединение Австрии с национал-социалистской Германией и теснейшая дружба с этим фашистским государством особого образца. Во время процесса об убийстве Тиссы выясняются все подробности этого заговора, выясняется, между прочим, наличие в Венгрии национал-социалистской организации, не только контуры, но решительно все подробности которой списаны с германской национал-социалистской организации. Эта венгерская организация носит название: «Венгерская культурная лига». Ее фактическим руководителем является «фюрер» Адольф Гитлер. Разве приходится в таких условиях удивляться тому, что в 1933 г., как только Гитлер становится главой германского правительства, Юлиус Гембеш, тогда уже венгерский министр-президент, садится вместе с одним из своих интимнейших друзей в поезд Будапешт — Вена — Мюнхен и является к Гитлеру с официальным визитом — к удивлению не только всей Европы, но даже самой Венгрии, руководящие буржуазные круги которой не могут понять, откуда у Гембеша такая национал-социалистская прыть и скоропалительность. Национал-социалистский германский биограф Гембеша прибавляет к описанию появления Гембеша перед «пресветлыми очами» Адольфа Гитлера очень ценное замечание, которое следует запомнить: «Не удивляйтесь Гембешу. В нем первичные инстинкты венгерской расы, и это является счастьем нации». Германский биограф считает, что для Гембеша решающим моментом в его действиях является инстинкт, «который выдвигает

его в первые ряды руководящих европейских политиков». Инстинкт Гембеша («счастье венгерской нации»!) германский биограф противопоставляет «высокоаристократическому, всегда холодному и недостижимому рутинеру» графу Бетлену, представителю «политического интеллекта и дипломатических тонкостей». Для умеющих читать причудливые национал-социалистские письма это обозначает, что Гембеш является мужем доверия национал-социалистской Германии.

Прежде чем стать министром-президентом Венгрии «оппозиционеру» Гембешу приходится кое-что претерпеть. Помимо разоблачения того заговора, о котором шла речь выше, было еще дело о подделке французских франков, которого никак не удалить из истории современной Венгрии. Где-то в архивах для будущих историков хранятся документы, доказывающие, что и в этом деле германские и венгерские национал-социалисты работали рука об руку. Будущие историки, вероятно, мало интересуют Гембеша. Его интересуют современность, а современная Венгрия не думала и не смела притянуть в какой-либо мере к ответу Гембеша, его друзей и сторонников. Гембеш в какой-то из своих речей говорит, что «венгры являются представителями народа-аристократа». А разве аристократы где-либо и в какие-либо времена давали себя связывать какими-либо ограничительными и запретительными понятиями? Цинизм (быть может, вежливее было бы сказать: скептицизм) Гембеша во многом напоминает скептицизм Шлейхера, которого вообще Гембеш во многом напоминает. Надо отдать Гембешу справедливость: он терпеливее Шлейхера, он умеет ждать, и в его ожидании есть умение выйти на авансцену высокой политики тогда, когда ему самому это кажется нужным и целесообразным, когда приходит время появления из-за кулис Шлейхера, в отличие от Гембеша, всегда выталкивали из-за кулис. Он, с одной стороны, не умел ждать самим собой назначенного срока, с другой стороны, давал другим диктовать момент появления его на политической сцене.

Гембеш назначает такие сроки всегда сам. Хотя, быть может, это только кажется так, ибо Гембеш преуспел, а один из его германских прототипов расстрелян по указке другого, как мы увидим дальше, германского прототипа Гембеша, а именно Геринга.

Во всяком случае в 1928 г., т.е. как раз в то время, когда в Германии начинается серьезный подъем национал-социалистской партии, Гембеш возвращается в правительственную партию и становится сначала стас-секретарем военного министерства, а потом и военным министром. Одновременно он из капитанов производится сразу в генералы. В этом смысле он делает карьеру не своего «учителя» Гитлера, а именно своего любимого германского героя, Геринга. В 1932 г. Гембеш становится министром-президентом в качестве руководителя правительства «сильной руки». Его национал-социалистский (германский) биограф утверждает, что Гембеш принял бразды правления в «момент всеобщего падения духа, экономического и финансового развала». Гембеш усматривал свое главное задание в том, чтобы «вернуть нации доверие к самой себе». Это после того, как больше десятилетия правил Бетлен в качестве представителя самой решительной реакции. Гембеш почти ежедневно появляется перед микрофоном и оповещает Венгрию о том, что «в стране должен развиваться новый национальный ритм». Гембеш раз'езжает по всей стране. Он добивается в своих речах осуществления «концентрации душ», под которой подразумевается почему-то единение душ рабочих и крестьян, аристократии и средней буржуазии, — конечно «в интересах нации». В Венгрии в общем происходит то, что спустя несколько месяцев происходит в Германии: ежедневно и ежечасно глава правительства рассказывает стране и народу, на каких основаниях, на основании каких идеологических и политико-философских (но отнюдь не практических) лозунгов страна превратится в рай земной, в страну кисельных берегов. Опять «сказка для взрослых детей». Программа Гембеша заключает в себе девяносто пять пунктов (гитлеровская

программа имеет всего только 25,—какое убожество и скарденничество!), и в отличие от гитлеровской программы, никак не подлежащей изменению и дополнению, программа Гембеша была затем дополнена несколькими пунктами, очевидно для округления числа. Эта программа является «программой национальной самоцели». Выражение опять-таки несколько непонятное, но национал-социалистский биограф Гембеша раз'ясняет нам, что «национальная самоцель» соответствует германской «унификации», «тоталитарности», т.е. стрижке всех и вся под одну национал-социалистскую гребенку, приведению всех и вся к одному гитлеровскому знаменателю.

Адольф Гитлер, придя к власти, имел огромную массовую фашистскую партию. Именно потому он и получил от своей буржуазии власть, что создал массовое фашистское движение. С Гембешем дело происходило наоборот: он пришел к власти по стопам своего консервативного предшественника, графа Бетлена, и самый приход его к власти был признаком того, что венгерская буржуазия не может править старыми реакционно-консервативными методами, даже «украшенными» всякими жесточайшими гонениями на рабочее движение. Показательно, что Гембеш не сразу перешел к открытому применению массового фашистского движения как основы и поддержки своего правительства. Он прибегает к организации этого движения только теперь, после двух с половиной лет раздумия и выжидания, что является доказательством обострения политического кризиса в одном из опаснейших уголков Европы. Еще одно доказательство гениальной прозорливости товарища Сталина: победу фашизма «надо рассматривать также как признак слабости буржуазии». С точки зрения венгерской буржуазии, заслугой Гембеша является то, что он все-таки два с половиной года назад приготовил тот костяк, тот остов, вокруг которого может теперь развиваться массовое или псевдомассовое фашистское движение в Венгрии.

Гембеш кричит перед микрофоном каждый день о необходимости «честной политики и честного хозяйства», но в действительности он занимается не столько проблемами этого «честного хозяйства», сколько проблемой организации новой фашистской партии. Он собирает, как говорит опять-таки его национал-социалистский биограф (см. «Körpe der Welt-politik»), «молодых, энергичных людей», и из этих молодчиков в буквальном смысле слова образует Гембеш гвардейские отряды партии «национального единения», которая «борется за душу нации». Во имя этой борьбы в трех тысячах городов, сел и местечек Венгрии образуются сторожевые посты этой партии, и в этих сторожевых постах не трудно конечно узнать подражание германским штурмовым отрядам. Однако только отлучает эту партию и эти штурмовые отряды от германского образца: эмблемой их является не свастика, а колесо, украшенное колосьями. Странный символ!

«Мирозерцание Гембеша, являющееся духовной основой его политики,— поучает нас его германский национал-социалистский биограф, — вращается вокруг провозглашения нации превыше всего». Нация является для Гембеша (биограф трогательно наивно подчеркивает тут: все равно выступает ли Гембеш публично, или беседует с глазу на глаз!) «центральной осью всего мышления». Советский читатель вздохнет с некоторой грустью, ибо ему, вероятно, надоели эти общие (к тому же на редкость пошлые) слова и словечки фашистских идеологов, преподносящих эти свои откровения с невероятным глубокомыслием. «Деятельность в интересах нации является первичной,— говорит Гембеш,— а деятельность в интересах государства происходит лишь через деятельность в интересах нации». Опять-таки не очень-то понятно или не очень-то оригинально, но поскольку национал-социалистский биограф Гембеша тут же свидетельствует, что венгерский министр-президент ближе по духу германскому национал-социализму, чем итальянскому фашизму, то, очевидно, мы имеем дело с

идеологией, знакомой нам по выступлениям Гитлера или по писаниям Розенберга. Однако тут же выясняется, что каждый фашистский режим имеет все-таки свой собственный «миф XX века». Ибо германский популяризатор венгерского национал-социализма подчеркивает указание Гембеша на то, что каждая страна имеет свои идеи и что посему Венгрия не может слепо перенимать чужие идеи и формы. Как будто бы это слышать несколько неожиданно после столь интимных связей с германскими контрреволюционерами и фашистами, как будто бы несколько странно после столь рекламированного паломничества Гембеша к Гитлеру почти немедленно после прихода «учителя» к власти.

Но объяснение этим несколько неожиданно появившимся «венгерским особенностям» мы находим опять-таки в германской печати, в ее высказываниях по поводу последнего правительственного кризиса в Венгрии, закончившегося реорганизацией правительства Гембеша и назначением новых выборов в парламент. Интересно послушать, как один из руководящих органов германской буржуазии, «Берлинер берзенцейтунг», рисует положение, создавшееся в Венгрии вследствие сопротивления Бетлена и его друзей «реформам», которые намечает Гембеш в порядке организации массового фашистского движения. «Спротивление Гембешу шло главным образом из рядов правительственной партии, — повествует берлинский национал-социалистский орган, — в то время как самые сильные оппозиционные группы в парламенте, партия мелких сельских хозяев под руководством Эккарта и христианско-социальная партия Вольфа все больше сближались с Гембешем, чтобы помочь осуществлению задуманных правительством конституционных, социальных и экономических реформ. Старые консерваторы и либеральные экономические круги, которых поддерживали легитимисты (т.е. сторонники Габсбургов), выступали совместно против программы реформ Гембеша для того, чтобы защитить свои подвергающиеся опасности по-

зиции. Вокруг графа Бетлена (в качестве противника Гембеша) сплотились владельцы крупных латифундий, которые боялись аграрной реформы (слушайте!) и переселенческой программы Гембеша, — сторонники вчерашнего дня из среды правительственной партии, которые боялись ущерба своих исторических прав при введении тайного голосования, и являлись воплощением реакции (слушайте, слушайте!). Здесь были будапештские банки, которые заинтересованы в прекращении антисемитских тенденций и в сохранении своего руководящего влияния в венгерском народном хозяйстве...» Читаешь этот действительно потрясающий список врагов Гембеша и поистине глазам не веришь, ибо Гембеш является здесь в роли великого национального реформатора, борющегося за интересы очевидно широких народных масс против небольшой кучки «вчерашних людей», промышленников, аграриев и банкиров. Но во-время вспоминаешь, что именно так в национал-социалистской печати до прихода Гитлера к власти изображались его противники из кругов «буржуазной реакции» (этот термин, как мы видели выше, «Берлинер берзенцейтунг» не забыл упомянуть при описании венгерских событий). Стало быть, все в порядке, Гембеш и есть венгерский Гитлер, и руководящие круги венгерской буржуазии, прежде чем дать ему мандат на организацию массового фашистского движения, боятся, как некогда германские буржуа, демагогические издержки этого движения. Для венгерских аграриев, банкиров и промышленников слова Гембеша о «буржуазной реакции» звучат конечно менее страшно, чем слова «металл» и «жупел» для замоскворецкой купчихи. Недаром в отличие от «Берлинер берзенцейтунг» другая германская газета, а именно принадлежащая известному химическому концерну «ИГ-Фарбен», а потому смеющая некое свое суждение иметь, «Франкфуртер цейтунг», пишет по поводу преобразования правительства Гембеша: «В Венгрии теперь очень много говорят о том, что новое правительство обозначает сдвиг вправо и поэтому

ропуск парламента также надо рассматривать именно в этом смысле». Совершенно правильно франкфуртская газета не видит в правом курсе Гембеша никакого противоречия тому, что «Гембеш подготавливает в рамках своих реформаторских предложений осуществление новой политической системы». Орган химической промышленности, изготавливающей ядовитые газы для новой империалистической войны, подчеркивает с особым удовлетворением заявление Гембеша о том, что «новый мир можно построить только на новых идеях». Но каковы эти новые идеи? Эти новые идеи Гембеша обозначают, что «Венгрия должна вернуться к старым венгерским идеям, должна вернуться к старым патриархальным условиям, когда господа (как любопытно это выражение: господа) и крестьяне составляли одну общую семью и из самой венгерской почвы исходило сознание единения и единомыслия». Цитируя Гембеша, «Франкфуртер цейтунг» утверждает дальше, что этими новыми идеями «Гембеш пытается освободить венгерскую нацию от связывающих ее пут». Ах, и господин Гитлер любит говорить о том, что надо сделать Германию «внутренне свободной». В концентрационных лагерях «воспитатели», т.-е. палачи заключенных «марксистов», любят с издевкой говорить о том, что они выбивают из попавших к ним в руки жертв «внутреннего подлеца», т.-е. решимость выступать на фронте классовой борьбы. Читатель видит, что в «новых» идеях Гембеша слышится глубокая старина или, на худой конец, германская современность.

Глава венгерского правительства поэтому совершенно прав в своем возмущении в своей программной речи, произнесенной по радио 8 марта 1935 года, когда его обвиняют в наличии у него революционных идей. Волнение, вызванное выступлениями Гембеша, выразилось в двух, как он говорит, диаметрально противоположных направлениях. «Одна часть врагов реформы (Гембеша) выступала с самыми фантастическими обвинениями, заявляя о радикализме, революционных наклонностях и стремле-



нии к перевороту, в то время как он (Гембеш) уверен и даже исполнен самой священной веры в то, что великие творения создаются не с помощью революции, а лишь с помощью планомерных, осторожных, считающихся с самыми разнообразными интересами, мероприятий». «Гембеш утверждает, что эта часть противников его реформ хотела дискредитировать своими обвинениями в революционности его реформы перед венгерским (буржуазным конечно) общественным мнением. Другая часть противников Гембеша пыталась, как он говорит, дискредитовать его идеи тем, что она требовала расширения реформ в невозможном объеме, пыталась, как выражается венгерский ученик Гитлера, «перевести реформы на рельсы нереальности».

Это возмущение Гембеша пред'являемыми ему обвинениями в революционности очень любопытно. Мы должны признаться, что именно это возмущение заставило нас вообще заинтересоваться

политическим обликом нынешнего главы венгерского правительства. Возмущение Гембеша, его отмежевание от «революции» на первый взгляд противоречит как будто утверждению национал-социалистской (германской) печати, что в лице Гембеша мы имеем перед собой фашиста именно германского толка. Ведь по национал-социалистским летописям приход Адольфа Гитлера совершился в форме национальной революции. Конечно мы знаем, что национал-социалистские календари и здесь безбожно врут, ибо Гитлер пришел к власти потому, что германская буржуазия ему оную вручила. Но в национал-социалистских кругах принято говорить о революции, о революционных методах, о революционном духе и т. д., причем вся эта псевдореволюционная фраза конечно должна помогать сокрытию контрреволюционной сущности. Гембеш же, как видел только что читатель, как будто от этой псев-

дореволюционной фразы отказывается. Этот отказ нельзя понимать в том смысле, в каком смысле было в свое время понято заявление Гитлера об «окончании революции в Германии». Гембеш только теперь ищет путей к организации массового фашистского движения для укрепления своей диктатуры. Было бы странно начинать организацию массового фашистского движения с такого, отвратительного «революционные» методы демагогической агитации, утверждения. Но именно так Гембеш и поступает.

Он так поступает потому, что совершенно прав в своем утверждении об особенностях венгерских условий. Он не хочет в Венгрию механически перенести германский (или итальянский) опыт. Мы знаем, что фашизм во всех странах имеет совершенно однородное классовое содержание, что однако не исключает наличия существенных различий в формах проявления и организации фашистского движения и фашистской диктатуры. Мы имеем тип «унифицированного», или «тоталитарного», фашистского государства в Германии, Италии и Австрии, но мы имеем, к примеру, в Польше, Венгрии и Югославии фашизм отнюдь не «унифицированного», «тоталитарного» типа. В отличие от Германии, Италии и Австрии, где парламент полностью устранен, где социал-демократия нелегальна (весьма существенный признак «тоталитарности»), в Польше не только имеется парламент, но и вырабатывается новая конституция, в Югославии ведутся переговоры между политическими партиями, которые, стало быть, существуют, и наконец в Венгрии имеется налицо движение в пользу реформ Гембеша. Венгрия склоняется к польскому типу фашизма. Но дело в том, что реформы Гембеша и есть попытка создать в Венгрии нечто среднее между германским и польским фашизмом, ибо Гембеш к польскому типу фашистского государства (с парламентом и социал-демократией) присоединяет германскую организацию массового или псевдомассового фашистского движения.

Германская «тоталитарность» прельщает Гембеша уничтожением свободы

действия для революционного рабочего движения. Она прельщает его возможностью диктаторски разрешать исключительно внутри самой буржуазии все материальные вопросы, все вопросы власти (недаром Гембеш в своей программной речи по радио говорит о том, что его программа реформ представляет собой одно гармоническое целое, из которого никак нельзя вынимать отдельные составные части). Именно в этом смысле Гембеш, несмотря на свои стремления к парламентским реформам, повторяет за Гитлером известные лозунги в пользу уничтожения того, что фашисты называют «партийной системой», угрожающей гибелью государству, что фашисты называют «всеобщей анархией», «расхлябанностью», «мягкотелостью» и т. д. Наконец Гембеша в «тоталитарности» прельщает то, что в Германии называется «северным сословным порядком», в Италии «романским порядком», а в Венгрии «венгерским патриархальным порядком», словом, все то, что якобы уничтожает — по фашистской доктрине — «марксизм» и «всякие пагубные влияния и последствия Французской революции». Но «тоталитарность» по германскому образцу имеет для Гембеша значительные отрицательные, с его точки зрения, стороны.

«Тоталитарность», уничтожая парламентаризм и социал-демократию, уничтожает все предохранительные клапаны. Лозунг «уничтожения всех партий» приводит фактически к тому, что фашистская диктатура остается, что называется, с глазу на глаз с коммунистической партией. Иными словами: сама фашистская диктатура своей «тоталитарностью» приводит к тому, что масса становится ясна роль коммунистической партии как единственного противника фашистской диктатуры. Отсюда «тоталитарность» фашистского государства между прочим приводит к необычайному разбуханию, а стало быть, и дороговизне государственно-административного аппарата, тем более раздражающего мелкую буржуазию, что она одновременно при «тоталитарности» лишается не только фактически, но и юридически права на участие в управлении государством.

Надо было поэтому создать суррогат массового мелкобуржуазного движения под сенью парламентских реформ, т.-е. воспользоваться только теми идеями «тоталитарного» фашистского государства, какие в данный момент выгодны. Венгерская буржуазия не хочет и не может брать на себя риск полной реорганизации фашистского строя в сторону его «тоталитарности». Отсюда возмущение Гембеша, отвергающего обвинение в «революционности». Отсюда некоторые проблески юмора в его выступлениях, ибо сам он напоминает известную невесту в гоголевской «Женитьбе», пытающуюся слить воедино в одном облике нравящиеся ей черты отдельных женихов. Важнее то, что разочарование национал-социалистским аппаратом власти и стремление некоторых германских буржуазных кругов создать новый предохранительный клапан вместо уничтоженного социал-демократического может привести к тому, что, быть может, Гитлеру придется учиться у Гембеша. Может быть, поэтому Германия так интересуется развитием происходящих в Венгрии событий.



Желание Гембеша создать в Венгрии строй, который был бы чем-то средним между германским и польским строем, имеет и большое внешнеполитическое значение. В этом внешнеполитическом значении последних венгерских событий и роли в них Юлиуса Гембеша и заключается второй момент, который заставляет нас внимательнее присмотреться к главе венгерского правительства, к организатору не то подлинно-массового фашистского движения в Венгрии, не то его суррогата. В области внешней политики программой Гембеша всегда было стремление к соглашению с Австрией, направленному против Чехословакии и Югославии и находящемуся под покровительством итальянского империализма, поддерживающего ревизионистские стремления Гембеша. Но решающим моментом является то обстоятельство, что у Гембеша акцент во внешнеполитической программе все более пере-

носится с этого ревизионистского, свойственного всей шовинистической венгерской буржуазии, стремления на установление интимнейших связей с Германией Адольфа Гитлера и Польшей Иосифа Пилсудского. Вместе с фашистской Италией должен получиться, по замыслу Гембеша, священный фашистский союз, в котором маленькая Венгрия и ее руководитель должны играть роль инициаторов и посредников. Национал-социалистский биограф Гембеша подчеркивает: «Что касается борьбы за власть в Придунайском бассейне, то венгерская внешняя политика всегда понимала ключевой характер придунайских позиций. Это стало в особенности очевидно тогда, когда в Вене отказались, в отличие от старой установки Зейпеля, от комбинаций с Германией и стали защищать антиревизионистский фронт и условия, созданные Сен-Жерменским договором... Отсюда получается стремление Гембеша добиться соглашения между Берлином и Веной». А питающий некоторые симпатии к самым разнообразным фашистским течениям и их представителям в Европе небезызвестный французский журналист Жорж Сюарец пишет в своем очерке о Гембеше: «Для того, чтобы понять роль Гембеша в политике своей страны, необходимо отметить, что он является страстным поклонником Германии и гитлеровских методов». Французский журналист не забывает отметить, что когда его ввели в кабинет Гембеша, то ему пришлось прочесть в ожидании главы венгерского правительства номер венгерской газеты, утверждавшей, что во Франции собираются осуществлять в борьбе против германского империализма союз не только с Советским Союзом, но, если это понадобится, и с обитателями луны. После прочтения этого номера венгерской газеты филофашистский французский журналист, пользующийся, кстати сказать, большой популярностью в Германии, не удивился тому, что «генерал Гембеш старается показать, что он физически напоминает не столько Муссолини, сколько Геринга». Вот как рисует французский филофашист Гембеша: «Львиное лицо, жестокий и пронизыва-

ющий взгляд, исключительная выдержка, лаконичность в выражениях, резкость в отдельных словах... Он ведет Венгрию на буксире Германии, он ведет ее даже на буксире Польши, и он считает, что он взял свою страну на буксир стран, которым надо подражать». Вспомним о подлинном облике Геринга и оценим характеристику французского журналиста, ибо умение с помощью комплиментов говорить неприятности — характерная особенность французов. Несмотря на неожиданно звучит однако следующее утверждение французского журналиста: «Генерал Гембеш дает своим современникам уроки наивысшей скромности. Когда он не выступает в роли Муссолини, он выступает в роли Геринга, но он никогда не выступает в роли Гембеша. Разве он так хорошо изучил себя, что он убегает от своей собственной личности с таким собственностью?» Характеристика несколько двусмысленная и становящаяся понятной только во внешнеполитическом аспекте, т.е. если подходить к Гембешу как к представителю идей и замыслов Геринга в Придунайском бассейне. Приближение венгерской фашистской системы к германской имеет, стало быть, явно оперативное значение в подготовке германским фашизмом новой империалистической войны. Английский национал-социалист, небезызвестный Освальд Мосли, поклонник Гитлера и Муссолини, заверял американского журналиста Никебоккера, что всеобщий мир и благоволение среди людей будут обеспечены только тогда, когда фашистская, да еще к тому же именно национал-социалистская, система воцарится во всех европейских странах. В действительности же

развитие любой фашистской системы в направлении германской «тоталитарности» свидетельствует о подготовке к военной развязке внутренних и внешних противоречий.

Недаром национал-социалистский биограф Гембеша цитирует его большую речь «к нации», произнесенную 14 января 1934 года. Кто умеет переводить фашистские слова на язык политики, тот не смутится поэтическим красноречием этой речи: «Венгерские братья! Я — странник на полном терний пути и ношу в моем ранце веру в венгерское будущее. Когда я с паломническим походом в руках взял на себя руководство венгерским правительством, я сказал себе, что воды венгерской жизни оставили свое русло. Я взошел на плотину и закрыл все ее прорехи для того, чтобы разлив воды не мог уничтожить плодотворную венгерскую работу. Я знаю, чего я хочу. Я вижу будущее венгерской нации. Я вижу пути, которые к нему ведут, и я знаю, что плотины стали крепки и воды венгерских потоков должны вернуться в то русло, которое для них предназначил сам бог. Когда все будет сделано, тогда нам нечего будет дальше держать караулы на плотинах. Тогда придет черед больших планов и великих лозунгов». Можно конечно сказать генералу Гембешу: «Мой друг, не говори красиво». Ибо всем понятно, поскольку Гембеш любит подражать Герингу, что осуществление его поэтических образов о больших планах и лозунгах мыслимо только на путях новой империалистической войны.

2. ПО „СЧАСТЛИВОЙ АРАВИИ“

А. Юрьев

... Ходейда. Загромычала тяжелая якорная цепь, и пароход стал в открытом море, в четырех-пяти километрах от берега. Ближе не подпускают подводные рифы. Красное море — море рифов.

На низком пустынном берегу смутно белеющей полосой виднеется знойная Ходейда. Здесь — главный порт Йемена. Лет двадцать пять тому назад это была безвестная арабская деревушка. За четверть столетия отвоевала она

торговое первенство у маленького городка Мокки, расположенного также на берегу моря, километрах в полтораста к югу от Ходейды, и давшего имя всемирно-известному аравийскому кофе «мокко».

Был декабрь. В эту пору море здесь сильно волнуется.

С берега приближался самбук,¹⁾ Преодолевая волны, он с трудом добрался до борта парохода и встал, уцепившись за него баграми. Опустив огромный треугольный парус, самбук как бы сразу потерял всю свою силу и жизнь. Беспомощный качался он теперь на гребнях волн у спущенного трапа. Морской шторм порывисто бросал его то вверх, то вниз.

Нужна особая ловкость, чтобы в эту бурную погоду сойти с парохода в самбук. Улучив момент, когда высокая волна подняла лодку в уровень с площадкой трапа, я спрыгнул на ее качающееся дно, едва удержавшись на ногах. Молодой полуголый араб-лодочник, улыбаясь черным лицом с ослепительно белыми зубами, подхватил меня, и я сел на скамью под высокой мачтой. Двое других лодочников, таких же босоногих и белозубых арабов, с привычной ловкостью развязали канаты и подняли реи. Грузно развернулось широкое парусное полотнище, и самбук ожил. Качнувшись от сильного порыва ветра, он сразу оторвался от парохода. Опытный араб-рулевой умело овладел положением. Лодка с надутыми парусами быстро неслась по морю, легко скользя с гребня на гребень. Как в ореховой скорлупе, бросаемой с волны на волну, сидел я в лодке, отдавшись на волю арабских моряков. Порывы свежего ветра умеряли тропическую жару. Силуэтом, уже далеко позади, темнел оставленный нами итальянский пароход. Минут через сорок мы были у берега.

На краю моря стоял неказистый домишко — резиденция портовой полиции и таможенного надзора. За ней, вдоль пыльной и песчаной набережной, вытянулся ряд высоких белых каменных зда-

ний в четыре-пять этажей. Выступающие вперед, потемневшие на солнце балкончики, опущенные в окна деревянные жалюзи, плоские, с низкими барьерами крыши, арабская орнаментика построек, пестрая суетливая полуголая толпа на набережной, всюду шмыгающие черные ребятишки, груды мешков с товаром на открытом берегу, наконец изнуряющий зной и насыщенный доотказа морской влагой воздух, — такова с первого взгляда Ходейда.

Наш самбук подошел к узкому каменному молу. Группа арабов, портовых рабочих, ожидала на каменных плитах мола. Обернутые всего лишь небольшим куском грубой холстины, в выцветших повязках на головах, они все разом прыгнули в воду и быстро притянули самбук к каменной стенке.

Лишь только я сошел на берег, представитель портовой полиции, изможденный молодой араб в тонком чесучовом пиджаке, спросил у меня паспорт. Получив документ и предупредительно пообещав мне вернуть его сегодня же, полицейский чиновник поздравил меня с прибытием в «счастливую» страну имама и пожелал всяких милостей от аллаха.

Через несколько минут я был уже среди советской колонии, в большом пятиэтажном доме на набережной, где помещается советское торговое агентство.

Прямо перед окнами — вся портовая жизнь. В десяти-пятнадцати саженях от берега качаются на волнах несколько самбуков с грузом фиников. Оголенные от парусов крепкие мачты мотаются на ветру в каком-то замысловатом танце. Идет выгрузка фиников. Грузчики, еле прикрытые куском серой материи вокруг бедер, проворно переносят через воду липкие мешки на песчаный берег. Набегающие волны щедро окатывают соленой водой заморские фрукты на спинах грузчиков.

На больших самбуках привозят эти фрукты из далекой персидской Басры, обогнув почти весь Аравийский полуостров. Много недель длится этот путь. Бури и непогоды Персидского залива, капризные ветры Индийского океана и

¹⁾ Большая парусная лодка.—Прим. автора.

изнурительный зной Красного моря сопровождают рискованные «финиковые» рейсы. Ежегодно тысячами тонн ввозится этот продукт в Йемен. Финики — обычная повседневная пища прибрежного населения Красного моря. Подобно своему турецкому собрату, питающемуся горстью маслин, арабский бедняк удовлетворяется десятком-другим сухих фиников и куском лепешки из дурро.

Крупные океанские пароходы не заходят в Ходейду. Лишь итальянцы, ревниво оберегая свои «экономические интересы» в Аравии, установили раз в месяц заход сюда небольших пароходов, совершающих регулярные рейсы из Массауа¹⁾ в Занзибар²⁾ и обратно. Иногда факультативно в Ходейду заходят мелкие суда для выгрузки керосина. Империалистический великобританский капитал, цепко держась за Красное море, услужливо снабжает его порты нефтепродуктами. Трехсот-четырехсоттонные суда англо-индийской фирмы Коваджи и ее конкурента, французской фирмы Бесса, развозят с рафинированных заводов в Суэце и Порт-Судане керосин в аккумуляторных ящиках с тщательной выжженным рисунком газели или морской раковины.

Ходейда с населением в пятнадцать тысяч человек ежегодно принимает в своем порту не более ста — ста двадцати судов. Из них две трети падает на долю английского флага. Общий годовой тоннаж прибывающих в Ходейду судов достигает не более девяноста тысяч тонн. Девяносто восемь процентов всего грузооборота страны проходит через Ходейдинский порт. Этот порт — главнейший нерв, связывающий арабскую страну с внешним миром.

Йемен — дружественное нам арабское независимое государство, король кото-

¹⁾ Порт итальянской колонии Эритрея на западном берегу Красного моря. — Прим. автора.

²⁾ Порт на одноименном острове, находящемся под британским протекторатом, у восточных берегов Экваториальной Африки. — Прим. автора.

рого, имам Яхья, в 1928 году подписал с Советским Союзом договор о дружбе и торговле. Страна — с феодально-теократическим строем. Светская и духовная власть — в руках короля, объединившего в длительной борьбе с турецким султанским владычеством и с английским империализмом шафиитские прибрежные и зеидитские горные племена Йемена, бывшего вилайета Оттоманской империи. Опираясь на эти воинственные племена и пользуясь разгромом султанской Турции в империалистической войне, имам Яхья утвердился как независимый владыка Йемена.

Воля и законы иеменского короля осуществляет в Ходейде наместник Тихамы — прибрежной полосы Красного моря — принц Хасан, младший сын имама Яхьи. Обширный дворец принца, обнесенный белой стеной, сейчас стоит пустым на одной из окраин города. Наместник — у отца в столице. В Ходейде — его помощник, местный губернатор. В высоком пятиэтажном доме на набережной расположена его резиденция. Цветные стекла в узорчатых окнах, широкая, плоская крыша с какой-то куполообразной вышкой, резные деревянные балконы на вторых и третьих этажах, арабский стиль здания, — таков здешний губернаторский дворец.

На площадке каменного крыльца в строгой позе замер босоногий часовой с винтовкой. Замызганная лестница ведет в канцелярию губернатора. Нужно пройти узкий коридор с унылыми посетителями, чтобы, поднявшись на второй этаж, попасть в приемную. Отсюда открыта дверь прямо в кабинет губернатора.

Администратор Ходейды встретил нас, поднявшись из-за письменного стола, где, кроме весьма скромных чернильницы и пресс-папье, никаких других атрибутов власти не было. В белом бешмете и светлой шелковой чалме, с изрытым оспой лицом и живыми веселыми глазами, он приветливо протянул нам руку, приглашая садиться на простые стулья у стола. В кабинете в таких же белых чалмах и халатах находилось еще двое чиновников. Я и мой спутник, прекрасно знающий арабский

Восток, товарищ Искандер, любящий дело наш советский работник, по приглашению губернатора сели. Как всегда в таких случаях, по исконному восточному обычаю, наша беседа ограничилась осведомлением о нашем здоровье, о проделанном нами путешествии, о погоде, закончившись взаимными дружескими пожеланиями всяческих успехов в делах.

Каждую пятницу, день мусульманского праздника, торгово-чиновничья Ходейда участвует во главе с губернатором в торжественной демонстрации, как бы олицетворяя порядок, власть и силу арабской национальной буржуазии города. В нарядно-пестрых праздничных одеждах пышное шествие направляется от губернаторского дворца к городской мечети. За шествием в парадном порядке следует военный гарнизон.

После молитвы в мечети праздничная процессия направляется обратно к дому губернатора по пыльной набережной, в окружении многочисленной пестрой толпы взрослых и детей. Процессия движется под нестерпимо палящими лучами солнца. Военный оркестр исполняет походные марши. Три-четыре медных трубы, пара старых барабанов, хрипящий кларнет, полувосточные-полуевропейские звуки музыки, турок-капельмейстер, — все эти остатки бывшего деспотизма султанской Турции над жаркой Аравией прославляют теперь по жестокой иронии истории независимость арабского Йемена.

Солдаты, построенные в колонны, представляют чрезвычайно своеобразную картину. Босоногие, в пестрых чалмах, одетые в черные безрукавные жакеты и цветную клетчатую материю, обернутую, как юбка, вокруг ног, идут по знойной набережной, хотя и не совсем стройно, с гордо поднятыми суровыми лицами молодые арабские аскеры. Тяжелые разнокалиберные винтовки вразброд колышутся на их плечах. Кожаные пояса и патронташи через плечо дополняют воинственный вид защитников независимости Йемена. В желтых и черных европейских ботинках и поношенных цвета хаки военных мундирах идут впереди командиры, в большинстве

случаев турки, перешедшие на службу Йемена.

Стройный отряд зараников замыкает военное шествие. Немногочисленное и очень воинственное арабское племя, зараники подняли в 1929 году восстание против имама. Укрепившись в городе Бейт-уль-Факих, они захватили доступы к морю и порт Моху на его берегу. Вольное, свободолюбивое племя не захотело подчиняться насилию феодальных чиновников, бесконтрольно выколачивающих налоги. Долго и мужественно боролись зараники с войсками имама. Эту внутреннюю арабскую распрю пытался использовать английский империализм в целях ослабления и подрыва независимости Йемена. Борьба зараников с имамом оказалась неравной. Зараники были разбиты. Много их курчавых голов с варварской жестокостью было выставлено на высоких колях по улицам Ходейды как доказательство торжества победителей.

И сейчас еще за стенами тюрьмы в Ходейде много сидит мужественных повстанцев, закованных в кандалы. Их часто можно видеть группами на пути в городской госпиталь, куда их вводят для перевязки натертых кандалами ран. Жестокая расправа неограниченного владыки «Счастливой Аравии» заставила племя зараников подчиниться и проявить лояльность.

Теперь, после кровавого «замирения», зараники получили «право» участвовать в праздничных военных шествиях. Их отряд, замыкая сегодняшней парад, заметно выделяется среди остальных солдат. Крепкие, с красивым телосложением и бронзовой, блистающей на солнце кожей, зараники мерно шагают необутыми ногами по горячему песку. Вооруженные винтовками, они бросают смелый взгляд из-под высоких остроконечных соломенных шляп. Часть из них составляет конницу, или, точнее, «верблюдицу». Легко и красиво сидят они на высоких спинах верблюдов, крепко упершись левой ногой в шею животного.

Тут же следом три мула тянут на длинных постромах каждый по пулемету. Эта «артиллерия» красочно до-

полняет все своеобразие праздничного шествия.

Парад закончен. Именитое купечество и крупные чиновники идут на губернаторский обед. Простой люд расходится. Его место теперь в чайхане, на базарных площадях, на перекрестках улиц, на рифовых камнях у берега моря. Всюду пестрые группы праздных арабов в длинных белых рубахах и цветных «юбках». Редко кто из них выйдет для праздничной прогулки за стены города. Горячий песок, чахлый колючий кустарник да сухие пучки острой травы, — эти неприветливые окрестности Ходейды не привлекают горожан.

Лишь привычные к суровым пустыням бедуины раскинули свои конусообразные хижины из частокола и листьев в двух-трех километрах от городской стены. Тут же на выжженной солнцем песчаной равнине десяток верблюдов набирается скудной пищи для многодневного перехода через пустыню.

В городе, на базарной площади, верблюдов навьючат ящиками с керосином, со спичками, мешками с сахаром, тюками мануфактуры. Животных выведут за городскую стену. Черные, спаленные солнцем, бедуины поставят их гуськом и привяжут каждого заднего животного длинным поводом за хвост идущего впереди. Через полчаса этот караван будет виден на фоне пустынного горизонта лишь медленно движущейся четкой цепочкой.

Большая финиковая роща, в тридцати километрах от города, будет первым убежищем, чтобы передохнуть каравану от жаркой духоты и мучительной влажности воздуха. На несколько десятков километров тянется роща по окружности. По приказу какого-то влиятельного шейха она была насажена лет семьдесят тому назад. Длинными рядами тянутся деревья. Они требуют тщательного ухода. Примитивная система орошения в виде неглубоких канав, идущих от дерева к дереву, держится на пяти-шести колодцах, вырытых в глубоком песке. Сейчас сезон прошел. Урожай фруктов собран. Орошение заброшено. Роща представляет пустынный унылый вид. Лишь какой-то старик

бродит в грязном рубище между пальмами, собирая сухие листья и ветки.

Караванные пути — единственные пути сообщения, связывающие горный Иемен — «Джебель» — с низкой приморской полосой — «Тихамой». Верблюд, осел и мул представляют здесь всю транспортную систему. Иемен — страна без дорог, без лошадей, без машин. Перевозка товаров и передвижение населения внутри страны прежде всего упирается в заботу о прискании верблюдов и ослов. Это — единственная вьючная сила для перевозки кладей. Страна насчитывает не более чем пятнадцать-двадцать тысяч верблюдов. Основная сила — низкорослый и выносливый арабский осел. Мулы — «продукт» импортный. Их ввозят из Абиссинии и пользуются ими исключительно для верховой езды по нагорным скалистым тропам.

Наш отъезд в Санаа, столицу Иемена, не мог состояться в намеченный нами день именно из-за отсутствия в Ходейде ослов и мулов, привычных для горных переходов. Необходимо было ждать прибытия в Ходейду очередного каравана с товарами из горных деревень, чтобы выбрать из него идущих в обратный путь животных.

Санаа расположена на высоте двух тысяч четырехсот метров над уровнем моря, в неприступных горах. Двести километров труднейшего пути отделяют столицу от моря. На этом пути лишь начальный участок от Ходейды и последний участок перед Санаа, километров по тридцать, возможно проделать на легковом форде. Вся остальная дорога — горная тропа, проходима лишь вьючными животными.

Весь путь продолжается три дня, с двумя ночевками в горных деревушках. Сооруженная арабами год тому назад автомобильная дорога, соединяющая столицу с Ходейдой в обход горных массивов, хотя и сокращает весь путь до двенадцати часов, но она настолько несовершенна, что без риска поломать машину ею пользоваться нельзя.

Прошло дня два, пока пришли с гор животные. Их привели профессионалы-погонщики, хитрые и ленивые старики-арабы, десятилетиями, из поколения в поколение, занимающиеся этим промыслом. Проводники отлично знают любую горную тропу, кратчайшим путем соединяющую селения, на многие сотни километров отстоящие друг от друга.

Имам Яхья, крепко охраняющий независимость своей страны, считает бездорожье горных районов отличной защитой от вторжения врагов. Великобританский империализм, много лет пытающийся подчинить своему влиянию неприступный горный Йемен, именно вследствие отсутствия дорог не постеснялся применить лет шесть тому назад воздушную военную бомбардировку, чтобы удержать за собой примыкающие к Адену¹⁾ шесть провинций Йемена.

Еще при господстве турок, за несколько лет до империалистической войны, со стороны французского капитала была сделана попытка провести железную дорогу от Ходейды до Санаа. Уже тогда эта попытка встретила сильное сопротивление со стороны влиятельных шейхов горного населения Йемена. Разбросанные на пустынном берегу моря, в нескольких километрах от Ходейды, ржавые рельсы и сейчас еще напоминают об этой неудаче европейского империализма закрепиться экономически в Йемене. Все последующие шаги европейских и американских капиталистов получить концессии на проведение удобных дорог от моря в горные районы страны неизменно отклонялись феодально-теократическим владыкой.

Имам Яхья отлично понимает, что удобные пути, ведущие в сердце Йемена, тысячелетнюю Санаа, представляют при современной политической обстановке на Аравийском полуострове не что иное, как прямой путь к порабощению страны империалистами-колонизаторами.

Наш отъезд в Санаа пришлось еще дня на два отложить. Заболели погон-

щики. Не в состоянии выполнить в один день ворох прибыльных «финансово-торговых» поручений от своих горных сородичей, флегматичные и хитрые погонщики предъявили нам весь медицинский факультет болезней не только у себя, но и у столь же флегматичных ослов и мулов. Цель — оттянуть, насколько возможно, день отъезда. Лишь после длинных «дипломатических» переговоров нашего деликатного Искандера с проводниками-погонщиками нам удалось закончить сборы в два дня.

Перед отъездом караванов в горы проводники обычно получают денежный аванс. Наши проводники идут в контору советского торгового агентства, где в картинной обстановке происходит расчет. Серебряные талеры, или реалы, как их иначе называют, — очень громоздкая монета, в сорок копеек на наши деньги. Для хранения небольшой суммы, в несколько сот талеров, требуются огромные шкафы и сундуки. При подсчете арабы садятся на пол, подогнув под себя ноги, раскладывают монеты стопочками около себя, подсчитывают, что-то бормоча себе под нос, и бросают деньги в маленькие полотняные мешочки...

И вот — момент отъезда. Навьюченные чемоданами, походными кроватями и корзинами с провизией, ослы и их «собратья», мулы, под широкими, как кресла, кожными седлами, выходят на рассвете в дальний путь

Мы втроем, — я, предприимчивый Искандер и деловитый Андрей, работник торгового агентства в Ходейде, — выезжаем несколькими часами позднее на «выносливом» форде, единственной в городе машине.

Дребезжащий и разбитый фورد быстро мчит нас по утрамбованной песчаной дороге, вдоль по морскому побережью. Дорога скоро сворачивает в сторону, вглубь пустыни, скрыв за песчаными холмами белостенную Ходейду. Немилосердно жжет солнце. На небе — ни облачка. Горячий воздух насыщен липкой влагой. Металлические части машины нагреты тропическими лучами до невозможности к ним прикоснуться. Кругом сыпучие пески. Скоро они превра-

¹⁾ Английская территория на юго-западном углу Аравии с торгово-военным портом того же наименования. — Прим. автора.

щаются в высокие дюны. Еще неубранные тощие посевы местных хлебных злаков по сторонам дороги почти наполовину засыпаны песком.

Как вырезанная, красиво выделяется на горизонте, на высоком песчаном холме, дикая газель. При нашем приближении она стрелой бросается в сторону и бесследно исчезает.

Минуем какую-то деревушку в десятке шалашей из кривых кольев и сухих листьев. Белизной сверкнули зубы на черных лицах жителей, с любопытством провожающих нашу машину.

Последние пески пустынной Тихамы. Впереди — Джебель, горный Иемен.

Изменчивые непрочные пески Тихамы и непоколебимые гранитные скалы Джебея нашли своеобразное отражение в политическом положении населения Иемена. Близость к морю смесила арабскую кровь кочевых и полукочевых племен низменной Тихамы с африканской кровью суданских, сомалийских и абиссинских племен. Нет поэтому у иеменского имама полного доверия к жителям прибрежной морской полосы, и он лишил их права иметь и носить за поясом излюбленное арабское оружие — острый кинжал. Этой привилегией пользуется только население горных районов страны, являющееся непоколебимым и верным оплотом власти арабского владыки.

Впереди нашего пути уже видны на фоне неба резко очерченные горные хребты. Они быстро вырастают в скалистые хребты по мере нашего продвижения вперед. Дорога, превратившись в широкую долину, уходит куда-то в горы.

Из-за крутого холма вынырнул первый горный поселок, деревня Баджель. Мы сразу попадаем на шумный базар. Он весь загроможден деревянными ящиками с бидонами керосина. На ящиках трафаретная надпись латинским шрифтом: «Нафтасиндикат». Это нас убеждает, что наш советский керосин пользуется большим успехом и в значительных количествах продвигается в горные селения Иемена.

Развьюченные верблюды картинно расположились посреди пыльной ули-

цы, загородив ее узкий проход. Нас окружает большая толпа арабов, еле пропуская вперед машину. Встревоженные верблюды порывисто встают, уступая нам проезд. С криком, шумом и гамом бегут за нами голые остроглазые чернокожие дети.

У многих из этой детворы во рту какие-то гуттаперчевые свистульки с надувающимися смешными рожицами-фигурками. Мы изумлены. Откуда в этой глухой арабской деревеньке появилась столь неожиданная здесь, явно капиталистического происхождения, эта детская безделушка? Раскосые глаза и азиатские иероглифы, откровенно обозначившиеся на раздувшейся фигурке во рту ближайшего малыша, неожиданно раскрывают весь секрет. В погоне за рынками и в бешеной конкуренции с европейской колониальной торговлей японский империализм уже проник в глухие углы Аравии не только со своими дешевыми тканями, но и с теми гуттаперчевыми безделушками, образцы которых доставляют сейчас забаву арабским ребятишкам.

Крутой поворот скрывает от нас «завоеванную» японским капиталом деревню. Далеко впереди, вздымаясь к небу, движутся какие-то песчано-желтые высокие столбы-колонны. Чредой, друг за другом, крутятся они по долине вдоль горных хребтов. В памяти всплывают читанные в детстве описания аравийско-африканских пустынь. Смерчи. Да, это они. Именно такими запомнились они на картинках этих описаний. Вот они, вихрем взвиваясь с земли, быстро кружатся, забирая огромные столбы песка, движутся по долине, исчезают на глазах и вновь появляются в другом месте, поднимаясь на десятки метров ввысь. Серые, темнобурые голые каменные вершины преграждают им путь.

Дорога становится хуже. Камень. Овраги. Колючий кустарник. Голые корявые деревья. Пересекаем какую-то пересохшую каменистую речку. На крутом берегу деревня — Обал. Здесь, как и в предыдущей деревне, сейчас шумный базар. Незамысловатые товары разложены прямо на земле у дороги. Крики ребят. Суетня. Верблюды, мулы,

ослы перемешались с людьми. Наша машина медленно лавирует между запыленными кусками тканей, между посудой, крупами, овощами и разным хламом, живописно разбросанным на придорожных камнях. Галдящая толпа арабов сует по базару. Мальчишки бегут за машиной, соревнуясь в быстроте бега. Они что-то кричат, протягивают руки, скалят белые зубы. Мы с трудом выбираемся из этой живой аравийской гуши.

За деревней дорога превращается в ухабистое каменистое ложе. По склонам оврагов дикие олеандры с толстыми, пухлыми стволами, лишенные листьев, мелькают яркорозовыми цветами. Трудно умещается в голове представление о привычном для нас морозном декабре и цветущих здесь по открытым горам олеандах!

Среди раскаленных на солнце камней, диких колючих акаций, цветущих олеандр, пыльных низких кустарников добираемся мы до последнего пункта нашего автомобильного пути, до деревни Ходжель. Здесь уже ожидает наш караван: четыре осла и три мула.

Прежде чем отправиться в дальнейший путь, мы наскоро размещаемся в доме местного телеграфа, чтоб позавтракать. Высокая, из дикого камня, постройка в два этажа, с широкими просветами вместо окон и крутой каменной лестницей, не имела никакого внутреннего устройства и убранства. Комната с телеграфным аппаратом где-то внизу. Верхние же комнаты служили обычно «гостиницей» для случайных проезжающих.

Телеграфист, расторопный арабский парень, узнав, что мы советские люди, долго нас приветствует, восхваляя добрые качества советского телеграфного аппарата, недавно здесь установленного.

Приехавший с нами из Ходейды в качестве помощника шофера Хасан, суется за приготовлением кипятка, смешит нас своей фигурой, одетой в какой-то старый европейский фрак с отрезанными фалдами. Это обстоятельство напомнило нам о некоторых своеобразных сторонах иеменской экономики.

С давних пор Иемен ввозит из Англии наряду с манчестерской бязью некоторое количество старой поношенной одежды, заметную долю которой составляют фраки с плеч distinguished английских лордов и прочих джентльменов. В заботе о поддержке торговых сношений с Аравией практичные британцы считают небезвыгодным поставлять в далекую арабскую страну поношенные фраки, выполнявшие свою роль в фешенебельных салонах и дипломатических кабинетах Лондона. Дальнейшая судьба этой «прозодежды» уже не интересует джентльменов с лондонского Сити. «Недипломатичные» арабы отрезают фалды, как лишний придаток у фрака, используя его как рабочую одежду в прохладных долинах горной Аравии. Наш Хасан служит этому живым примером, наводя нас на веселые размышления о превратностях судьбы джентльменских фраков.

Отпустив машину обратно в Ходейду, осмотрев караван, мы садимся в широкие удобные седла на наших мулов. Погонщики выводят на дорогу навьюченных ослов, и мы трогаемся в трехдневный горный переход.

В начале пути животные идут беспорядочно, обгоняя друг друга, не слушаясь проводников и седоков. Но скоро наш караван выравнивается, выстраиваясь гуськом. Тихим, ровным шагом двигаются животные.

Долина осталась позади. Густая тропическая растительность надвигается на нас из тесного горного прохода. Дорога превратилась в каменную тропу. Она уводит нас в горы. Кругом хаотическое нагромождение исполинских скал и камней. Становится темно. Заходящее солнце быстро скрывается за высоким хребтом. Тропа поднимается все выше. Как силуэты, всюду кругом встают перед нами скалистые вершины.

В темноте стало трудно различать обстановку. Караван входит в какую-то узкую щель между отвесными каменными стенами. Мулы уверенно тянут вперед. В темноте мы можем ориентироваться в этом горном лабиринте, лишь изредка перекликаясь, предавшись воле привычных животных. Поводья опущен-

ны. Без понуканья мулы знают горную тропу. Только скатывающиеся куда-то вниз из-под копыг животного камня нарушают ночную тишину.

Внимание невольно останавливается на удивительных нравах и качествах мула. Необычайно бережно и уверенно выбирает он след тропы в темноте между камнями. Не слушая повода в руках седока, своим мулым чутьем он знает, куда поставить ногу. Полагаясь на мула, начинаешь дремать. К этому располагает удобное мягкое седло...

Высоко в горах исчезла тропа. Мы едем по сдавленному горными теснинами, каменистому сухому руслу какой-то речки. Здесь, в период дождей, сверху стремится бурный водяной поток, унося с собой по узкому речному ложу груды сучьев и камней.

Черной громадой на темном фоне неба еле различается новый исполинский хребет. Ночная темень мешает нам двигаться вперед. Мы останавливаемся. Слезает с животных. Зажженный фонарь осветил вокруг небольшое пространство. Мы осматриваемся и убеждаемся, что каменная тропа превратилась в широкую дорогу, высеченную по склону хребта. Пешком двигаемся за понуро шагающими мулами и ослами при свете фонаря. От его света мрак сгустился еще больше. За нами движутся причудливые тени. Проводники подхлестывают тонкими ветками животных, часто понукая их каким-то гортанно-проглатывающим возгласом.

Ночной воздух дает приятную прохладу. Синие звезды на темном небе своей необычайной яркостью странно напоминают декорацию ночной сцены оперы «Князь Игорь» в Большом театре. Поднимаясь все выше и выше, зигзагами идет крутой подъем. Скалы и пропасти чередуются то с той, то с другой стороны дороги.

Высоко где-то мелькнул впереди слабый свет. Признак близкого жилья. Уставшие, предвкушаем мы скорый отдых. Еще один поворот по крутому подъему, и мы достигаем ночного убежища Усель.

Это не более как простой постоялый двор, расположенный в низком камен-

ном сарае. Никаких других построек нет. У стены расположился ранее нас прибывший караван верблюдов. Тут же на соломе, закутавшись в черные кофты, спят их проводники.

Сойдя с мулов, мы едва пробираемся внутрь сарая между телами спящих арабов и меланхолически жующих челюстями верблюдов. Земляной пол, отсутствие окон, черные закоптелые стены, дырявый потолок — таков наш первый ночной приют на пути в столицу короля «Счастливой Аравии», имама Яхьи.

Скучный свет фонаря освещает наш скромный ужин. Старая, завернутая в грязные цветные рубища, арабская женщина, хозяйка «буфета», принесла нам в большом глиняном кувшине кипяток. Наш арабист, незаменимый в таком путешествии, скромный Искандер, красочно переводит нам жалобы старой арабки на тяжелую жизнь горных крестьян. Нищета. Отсутствие денег. Высокие налоги. Плохие урожаи. Болезни и изнурительный труд.

По соседству с людьми, верблюдами, мулами и ослами мы расставляем походные кровати и скоро засыпаем.

Суровая величественная природа и бедное, живущее в лачугах из дикого камня, население. Тяжелый труд земледельца и огромные налоги в казну феодала владыки. Две трети урожая владельцу шейху за аренду земельного участка, и оставшейся трети уже нехватает на годовое пропитание семьи. Эти стороны прежде всего раскрываются в экономике иеменского населения.

Нынешний Иемен когда-то у античных греков слыл за богатую и цветущую страну, «Счастливую Аравию». Длительное соперничество египтян, абиссинцев, римлян и греков за господство над этой горной плодородной страной, многовековая борьба феодалов за власть на суровых высотах Иемена, бешеная погоня за лакомым куском со стороны алчных капиталистов превратили этот некогда цветущий угол Аравийского полуострова в бедную арабскую провинцию, лишь непреклонной

волей и свободолюбивым духом горного населения отстоявшую свою независимость в последние десятилетия. От прежней героической эпохи арабского Йемена история оставила нам лишь одно звучащее глубокой иронией название: «Счастливая Аравия».

Рано утром просыпаемся мы на другой день. Еле начинает светать. Всюду густой туман. Выходим из нашего «отеля».

Перед глазами — величественный вид. Высочайший хребет, как зубьями исполинов, устремляясь вершинами ввысь, закрывает полнеба. Сзади, справа и слева такие же великаны-хребты. В каком-то гордом молчании стоят они в утреннем тумане.

На одном из острых гребней высится ряд полуразвалившихся зданий-крепостей. Сказочными замками рисуются они на фоне неба, выделяясь на ясном горизонте четырехугольными и круглыми башнями и зубчатыми стенами. Их постройка уходит в глубину веков, к эпохе седого феодализма, воздвигнувшего эти крепости-дворцы для могущественных феодалов, населявших когда-то эти неприступные жилища. Под защитой таких «горных гнезд» легче было средневековым хищникам осуществлять свое «право» на грабеж «черни», жившей, как и сейчас, в приземистых, прокопченных каменных сараях. Разоренный народ временами, в ту феодальную эпоху, в гнев поднимался с кинжалами за поясом по скалистым уступам до зубчатых стен «дворцов» на борьбу со своими угнетателями.

Солнце уже высоко, когда мы покидаем горный Усель. Оставив ослов с проводниками позади, медленно поднимаемся мы по узкой каменистой тропе. Извиваясь между скал, тропа открывает все новые и новые вершины. Здесь — подлинная красота во всем величии горной природы. Сверкающее золотом утреннее солнце обливает бесконечную даль синих отрогов ярким, слепящим светом. Туман сгущается в причудливые молочно-белые облака. Необычайный горный простор и чистый прозрачный воздух!..

Еще выше по тропе горное утро раз-

вертывает новые изумительные пейзажи. В туманной мгле тонут вдали голубые скалистые хребты с розовыми вершинами. Внизу под нами, из груди белых облаков, выступают мрачные пики исполинских массивов. Всюду — какой-то первозданный хаос, холодное величие космоса, непокорная власть суровой горной стихии, победное торжество солнца!

Горная тропа уводит все выше и выше. Уверенно шагают мулы, осыпая мелкий щебень по крутым откосам. С невысоких деревьев на каких-то тонких ниточках спускаются оригинальные кувшинообразные гнездышки. В них живет малюсенькая тропическая птичка колибри. Кое-где зеленеют квадратными пятнами хлебные поля. Исполинские лестницы-террасы покрывают пологие склоны гор.

Экономия каждый удобный клочок земли, горный Йемен с величайшим искусством и огромным трудом приспособлял из века в век, из поколения в поколение горные участки к обработке для посевов. Система террасовых хозяйств — преобладающий здесь способ земледелия. Как широкие ступени лестницы, тянется по склонам гор терраса за террасой.

Мы поднимаемся на широкое плато, с которого открывается все своеобразие горного Йемена. Кругом, куда ни глянь, до самых глубоких долин, зеленеющие дуррой, пшеницей, ячменем и маисом широкие террасы. Тысячелетия насчитывают эти искусственные гигантские лестницы, обработанные силами многих поколений. Простым щебнем укреплены стенки этих лестниц. Местами они пришли в разрушение. У населения нет средств и желания исправлять рассыпающиеся террасы. Непосильные налоги разоряют земледельцев. Многие из них бросают обработку полей и «переключаются» на другие занятия: погонщики мулов, верблюдов и ослов, грузчики в портовых городах, рабочие на «отхожих промыслах» в восточно-африканских колониях, весь этот люд — в большинстве случаев бывшие земледельцы — крестьяне из горных поселков Йемена.

По глубоким долинам зеленеют кофейные плантации. Кофе — главная экономическая база Йемена. Основное занятие горного арабского населения — культура кофейного дерева. Кофейное зерно — важнейший продукт вывоза, обеспечивающий Йемену равновесие внешне-торгового баланса. От четырех до пяти тысяч тонн этого ценного продукта вывозится ежегодно из Йемена.

Крупные арабские торговые фирмы на каменных для кофейных плантаций условиях скупают в горах сырое зерно и увозят верблюжьими караванами в Ходейду. Здесь сотни женщин и детей за нищенскую плату очищают и сортируют зерно в складских пыльных помещениях. Опытные арабы-специалисты составляют различные «смеси» кофейного зерна и упаковывают его по «товарным маркам».

Представители греческих и итальянских фирм принимают ароматный продукт в крепко зашитых двойных мешках из волокон африканской агавы. С больших самбуков мешки грузятся на пароходы, и дорогой товар уходит в крупнейшие европейские центры как знаменитое аравийское кофе «мокко».

И теперь некоторым почтенным джентльменам в дорогих фраках так приятно, сидя в дипломатических апартаментах за чашкой этого ароматного напитка, решать судьбы того народа, представители которого, одетые иногда по злой насмешке истории в те же фраки, правда, без излишних придатков, в изнурительных условиях культивируют этот аравийский продукт.

Над зеленеющими в долинах кофейными плантациями висят многоэтажные темносерые дома-крепости. Здесь они так часто попадаются. На фоне далекого горизонта стоят они, как бы срощенные с серым массивом горных вершин. Иногда тропа вплотную подводит к этим свидетелям былого феодального могущества, идет вдоль замшелых полуосыпающихся стен, вновь поднимается к следующим, высоко впереди маячащим «крепостям», оставляя пройденные внизу, на широких уступах скал. Как декорации к великой исторической битве ве-

ков, остаются позади пяти-шестиэтажные странные «небоскребы».

Свежий воздух и прозрачность горизонта свидетельствуют о значительной высоте, на которую мы поднялись. Где-то внизу, у подножия природы, остались покинутые нами горы. Теперь они почти закутаны облаками. Шаг за шагом по каменистой тропе несут нас спокойные мулы в широких кожаных седлах-креслах. От осторожных мулиных шагов осыпаются с тропы в глубокую пропасть острые камни.

Впереди на гладкой небольшой площадке виднеются две верховые фигуры на мулах. Они остановились и ждут нас, чтобы иметь возможность при встрече раз'ехаться, пользуясь случайной площадкой у скалы. Тропа здесь настолько узка, что двум животным невозможно разойтись без риска скатиться в пропасть.

Мы под'езжаем к площадке. Пожилой араб приветствует нас, желая счастливого пути. Мы отвечаем тем же приветствием. Вторая фигура, закутанная с головой во все черное, сидит на муле верхом, держа в руке обыкновенный дождевой зонт, защищая себя от палящих солнечных лучей.

Наши проводники узнают во встречном арабе богатого купца из ближайшего горного селения. Он едет скупать кофе. Закутанная фигура — его жена. В Йемене лишь в состоятельных семьях женщины носят чадру, закрываясь во все черное. Женщины-работницы не придерживаются этого обычая и ходят с открытыми лицами, одеваясь в цветные платья.

С повторными взаимными приветствиями мы пропускаем друг друга через площадку, раз'езжаясь каждый в свою сторону по тропе, которая снова стала еле проходимой для одного мула.

Долгий, утомительный путь вновь фиксирует внимание на характерных привычках мула. Мул не станет обходить стороной лежащий на пути крупный камень. Никуда не сворачивая, мул с удивительным упрямством тянет вперед, не слушаясь седока. Осторожно он перешагивает через камень, не коснувшись его ни одним копытом. Мотая го-

ловой, он настойчиво «прет» по узкой тропинке, по краю головокружительной пропасти.

На второй день, перед вечером, мы достигаем перевала. Здесь — оживленный торговый пункт горного района, селение Менака. Миновав водяной цементированный бассейн у городской стены, мы въезжаем в город под любопытными взглядами спящих по улицам арабов. Почти у всех у них за широким поясом разукрашенные серебром кинжалы в кожаных футлярах.

Горный иеменец не мыслит своего существования без кинжала. Это оружие — его гордость, сила и слава. При всяких обстоятельствах жизни арабское население горного Иемена не расстается с этой реальной эмблемой его политической самостоятельности. Нам встречались дети десяти-двенадцати лет с кинжалами за поясом. На улицах мы видели оборванных нищих в ожидании милостыни, не расстающихся с сунутыми за пояс кинжалам.

Недавняя война Иемена с Ибн-Саудом, королем соседнего арабского государства Саудии, предоставила возможность воинственным горным селениям Иемена показать свою отвагу и готовность бороться с кинжалом в руках за свои неприступные горные жилища. Говорят, что в этой войне кинжал иеменского араба не уступал по меткости поражения врага ибнсаудовским пулеметам, хотя и снабженным, по словам проницательных арабских журналистов, великобританской маркой.

Шумная Менака широко раскинулась по горному плато. Тесными длинными переулками едем мы по селению, смешавшись с большим караваном верблюдов. На каждом из животных восемь ящиков керосина, по четыре с той и другой стороны. Эта керосиновая ноша — «хемл», как называют арабы, — обычный, «стандартный» груз горных караванов.

На базарной площади мы встречаем новый караван, уже развьюченных животных. Они заняли всю площадь, расположившись на ней в живописнейшем беспорядке. На ряду с советской маркой «Нафтасиндикат» на этот раз на керо-

синовых ящиках попадает английская марка «Шелл» с четким контуром галтели.

Английский капитал умеет приспособляться к колоритам экваториальной экзотики. Красивая газель — любимое арабами животное. Ее изображение на товарных ящиках, по мысли авторов марки, должно способствовать увеличению среди населения спроса на товар именно с этой маркой. Однако, не довольствуясь этим мирным путем «завоевания» отдельных участков Красного моря, английский империализм иногда, как мы видели выше, прибегает к более откровенным методам на своих завоевательных путях, применяя открытую воздушную бомбардировку.

После долгого лавирования по узким переулкам Менаки мы останавливаемся у большого каменного дома. Так же, как и в деревне Ходжель, попадаем на телеграфную станцию. Нас встречает арабский молодой телеграфист. Он проводит нас в маленькую комнату, где на столике, накрытом потертой черной клеенкой, стоит телеграфный аппарат. Корректный телеграфист спешит предупредить нас, что аппарат прислан из Москвы, установлен здесь два года тому назад и работает превосходно. Вместе с довольным телеграфным чиновником мы радуемся успехам советской технической помощи, оказанной дружественному государству.

Бережно закрыв аппарат клеенчатым футляром, телеграфист приглашает нас разместиться в соседней комнате, извиняясь, что ничего другого не сможет нам предложить.

Небольшое оконце на потолке, заманное чем-то белым, плохо пропускает свет. Вдоль стен — деревянные нары, устланные старыми пыльными коврами и подозрительной чистоты подушками. Вместо стола посредине этой темной мурьи установлен деревянный ящик из-под бисквитов. От дорожной усталости мы валимся на нары.

Скоро телеграфист приносит обед из совершенно неожиданного меню: горячий куриный суп, «пылкая» жареная баранина, яйца, аравийские зеленокожие

апельсины и свежие бананы с горных иеменских садов.

Мы сегодня же торопимся двинуться дальше. Ленивая и хитрая природа арабских проводников-погонщиков скоро убедила нас, что это не так легко. Проводники категорически отказались ехать сегодня дальше, ссылаясь не только на свою усталость, но и на утомление животных. Близость ночи также должна была послужить, в глазах арабских «авгуров», веским аргументом против сегодняшней поездки.

Протесты арабских проводников, по словам нашего, хорошо знающего их лукавую натуру, Искандера, надо понимать только как «хитрое» средство заставить нас повысить условленную ранее плату за прогон животных и получить традиционный «бакшиш». Мы решаем «не сдаваться» и готовы сменить и проводников, и животных в расчете на то, что наши «протестанты» не захотят уступить конкурентам хорошую «клиентуру».

В поисках новых мулов и ослов прошло целых пять часов. Чувствовалась явная стачка наших проводников с менакскими «ослятниками». Мы вспоминаем арабскую поговорку — «поспешность от дьявола», и считаем совершенно бессмысленным проявлять свое негодование и возмущение перед флегматичным спокойствием этих сынов арабского аллаха. Только после длительных «дружественных» бесед тактичного и настойчивого Искандера с представителями местной власти нам удается получить новых мулов и ослов с их новыми хозяевами.

Лишь вечером приводят нам новый караван: четыре навьюченных осла и два оседланных мула. Мы пешком трогаемся по деревне, чтобы встретить заповдавшего третьего мула.

Навстречу нам стремглав несется верховой всадник. Быстро соскакивает с седла и предлагает нам своего животного. Мы распределяем мулов и садимся в седла. Только-что приведенный мул срывает момент нашего отъезда. Подсевшим на него третьим нашим спутником, товарищем Андреем, мул метнулся в сторону, вихрем закужился

по улице, капризно брыкаясь задними ногами. Неоднократные попытки обуздать животное не привели ни к чему. Мы вынуждены отказать от «необузданного» мула.

Его хозяин, желая показать нам хорошие качества своего животного, вскакивает на него верхом, мчится вскачь по дороге, скрывается из виду и таким же сумасшедшим галопом возвращается к нам, быстро остановив мула и соскакивая с него. Араб настойчиво предлагает животное, уверяя нас в его совершенствах. Осмотрев внимательно животное, мы обнаруживаем на его спине, под седлом, кровавые садины и болячки. «Хитрость» араба не удалась. Мы категорически отказываемся от большого мула, решая идти с двумя первыми.

Стало быстро темнеть. Над голыми вершинами проносятся облака, кутая, как в вату, черные скалы и плавно перекатываясь через них. Мы — на высоте двух тысяч трехсот метров над уровнем моря. Медленно начинаем спускаться с горы. Арабы-проводники ведут следом животных. Не отстает и владелец большого мула, держа его за длинный повод. Подгоняя животное прутиком, неудачливый араб последний раз крикливо предлагает нам попытаться сесть на его мула.

Наш Андрей, опытный верховой ездок, сделал эту попытку. Он вскочил на мула и в ту же минуту был почти сброшен пронзительно завизжавшим животным, как стрела, устремившимся вверх по горе с поднятым трубой хвостом. С криком и руганью араб бросился за своим сокровищем.

С тропической быстротой надвинулась ночь. Сделалось совсем темно. Мы решаем двигаться дальше, условившись пользоваться двумя мулами поочередно. С зажженным фонарем мы сходим по широкому спуску.

Это — не дорога, а буквально каменная лестница с бесконечным рядом острых ступеней, ведущих куда-то вниз. в глубокую темень, вдоль высоких гранитных скал. Привычные животные спокойно шагают, мерно постукивая копытами.

Впереди проводник освещает дорогу фонарем. Держа в поводу своего мула, я следуя за проводником, еле приравливаясь к острым широким ступеням этой бесконечной лестницы. Высокий и гибкий Искандер деловито отмеривает лестницу своими большими сапогами. В кожаном длинном пальто, сосредоточенный Андрей ушел куда-то далеко вперед. Два с половиной часа спускаемся мы с менакших высот до глубокой сырости долин.

Независимый Йемен, располагая такими труднопроходимыми путями сообщения, не испытывает однако большого неудобства, считая, что тесные горные тропки и скалистые, бесконечно длинные лестницы хорошо служат естественной защитой своей столицы.

Острый кинжал, выносливый мул, еле проходимая тропа, высеченные в скалах ступени и отважный воинственный дух горных селений, — этими средствами обороны прежде всего укрепляет свою политическую самостоятельность Йемен.

У развесистой акации, уже в долине, мы делаем короткий привал, освежаясь набранной в термосы менакской водой. Ровная песчаная дорога идет по заросшей кустарником долине. В тропической ночи трудно различать предметы. Вдоль дороги тенями тянется колючий кустарник. Сухая речушка глубоким оврагом лежит вдоль дороги. В воздухе мягкая влажность и тепло. Исключительным блеском мигают с неба южные созвездия.

Глубокой ночью мы достигаем деревни Айз. Это название носят три низких здания из дикого камня, служащие постоялым двором.

Мы не рискуем разместиться внутри предложенного нам сарая, настолько там грязно и все покрыто сажей. Расставив на открытом воздухе складные походные кровати, мы валимся на них, как убитые. Тут же, у жалких каменных хибарок, бесформенными горами лежат в темноте верблюды, тюки с товаром, черные бородатые арабы. Обычная картина ночлега в горах Йемена.

Холод рано разбудил нас на другое утро. Постель пропитана влагой от

ночной сырости. Мы быстро поднялись на ноги. Поодаль, у огня, — черные тени. Арабы снаряжают караван. Мы согреваемся горячим чаем. Нас мало смущает пахнущая навозом вода. Пересыпанные арабскими поговорками веселые шутки Искандера помогают нам легко приспособляться к быту иemenских арабов.

Через всю половину неба тянется вверх бледной полосой зодиакальный свет. Звезды продолжают еще сверкать в торжественной утренней тишине. С востока потянуло свежестью. По мере того как становилось светлее, перед нами открывалась красивая горная долина. Чувствовалась прохлада. Мы одеваемся, кто во что может. Верблюжий караван уже ушел. Наши мулы и ослы ожидают нас готовые к походу. Расплачиваемся за ночлег. Снова в пугь.

Бодро шагают животные в утренней свежести. Дорога, ставшая вновь каменной, уводит куда-то опять в горы.

Часов в одиннадцать утра добираемся до Сук-эль-Хамиза. Горная деревня, широко разбросанная по крутым откосам. Здесь — остановка на отдых. Узкая каменная улочка-лестница между беспорядочными нагромождениями жилищ приводит нас к высокому зданию.

Сойдя с мулов, мы с трудом разминаем ноги. Старая бойкая арабка ведет нас по крутой лестнице куда-то вверх дома. Маленькая чистая комнатка. Два квадратных миниатюрных оконца. Какая-то монастырская келья, однако без стола и стульев. Стены ярко выбелены. Их белизна скоро дает нам возможность рассмотреть путешествующих там космополитических жильцов — клопов.

Уставшие, мы растягиваемся на полу, на цветных половиках, очень живо напомнивших нам домотканые половички наших приуральских деревень.

После завтрака выходим на воздух. Над деревней парят белые орлы. Красиво держась в прозрачном воздухе, они описывают плавные круги и медленно уплывают куда-то ввысь, исчезая над серыми каменными возвышенностями.

На одной из вершин два крылатых хищника-стервятника сторожат рассыпавшийся верблюжий скелет.

По склонам гор стада овец и баранов пестрят на пыльной чахлой траве. Кое-где зеленеют квадратами хлебные посеи.

Жителей деревни почти не видеть. Они — в горах, на пастбище, за сбором сучьев, за возкой камня. Лишь полуголые ребятишки бегают по каменистым улицам.

Скудость природы, бедность деревни и ее обитателей бросаются в глаза. Полуфеодалная страна, где все — в руках богатых шейхов и влиятельных областных губернаторов, живет под гнетом поборов и непосильных налогов.

Из-за отсутствия средств у населения нет возможности поддерживать и расширять дорожную культуру кофейных деревьев. Крестьяне предпочитают теперь разводить более выгодное и менее прихотливое растение — «кат». Небольшой кустарник, листья которого употребляются поголовно всей Аравией, как наркотическое средство. Как нет в горах Йемена ни одного араба без острого кинжала, так не найдется ни одного жителя во всем Йемене, который не жевал бы одурманивающей «кат».

Деревня Метна — последняя остановка перед Санаа. Семи-восьмичасовые переходы, не сходя с мула, дают себе чувствовать. Здесь располагаемся на ночлег, с трудом найдя помещение. Араб-домохозяин уступил нам комнату, переместив куда-то спавший здесь отряд вооруженных аскеров.

На другой день, рано утром, трогаемся в последний переход до столицы имама Яхьи. Мы быстро идем пешком вперед, оставив животных, медленно шагающих по широкой открытой дороге.

Солнце только-что поднялось, осветив ушедшие вдале горные пейзажи. Долина раздвинула синеющие горы далеко в стороны. Дорога превратилась в широкое гладкое шоссе.

Мы останавливаемся и садимся на подошедших мулов.

Уже чувствуется близость большого города. Навстречу все чаще и чаще попадают жители пригородных деревень.

Мужчины в бараньих дубленых кофтах-безрукавках, с обязательным кинжалом за поясом, тянутся по дороге верхом на мулах или ослах. Следом идут в длинных платьях женщины, неся на головах куски сухого кизяка. С их плеч картинно спускаются большие черные платки с широкими красными каймами.

Дорога спускается вниз. В легком тумане лежит впереди обширная долина. За ней, на горизонте, синева далеких гор сливается с прозрачным голубым небом.

Где-то там, в этой дымчатой долине, лежит древняя Санаа, уже за тысячу лет до христианской эры ставшая столицей какого-то Минейского царства.

Еще два-три поворота шоссе, и перед нами раскрывается сердце независимого Йемена. На просторной гладкой равнине раскинулась Санаа. Высокие дома и минареты перемежаются с зелеными пятнами садов. Белизна каменных стен ярко выделяет город в утреннем воздухе.

Мы быстро спускаемся по извивам хорошо утрамбованного шоссе. На одном из поворотов нас встречает машина. Товарищи из советской колонии в Санаа заботливо выслали ее нам навстречу. Оставив животных на попечение проводников, мы садимся на старый фورد, единственный, как нам сообщили, в Санаа представитель автотранспорта. До города каких-нибудь пять-шесть километров. Дребезжащий фордик мчит нас по прямой дороге к городским стенам.

Белые, коричневые, обмазанные глиной, высокие каменные дома встают перед нами, лишь только мы под'езжаем к городским воротам.

Старый босоногий привратник протягивает нам для приветствия руки и пропускает внутрь. У старика уже заранее имелось распоряжение властей пропустить нас в столицу. Без специального разрешения имама ни один европеец не может проникнуть в древний город.

Проезжаем еврейское предместье. Пыльные улицы ведут к немощеной площади. На нас с любопытством смотрят представители предместья — босоногие евреи. В длинных черных или клетчатых синих рубахах, с висящими до ушей

вьющимися пейсами, они очень напоминают почтенных библейских персонажей.

Еще несколько тесных, пыльных переулков, и мы под'езжаем к зданию советского торгового агентства. За глиняной стеной поднимается шестиэтажный дом с вычурными арабскими украшениями на фасаде.

Сойдя с машины, мы проходим через калитку во двор. Выстроившаяся в ряд группа арабов с широкой улыбкой пожирает нам руки. По высокой ступеням мы входим внутрь здания, в сопровождении встретивших нас товарищей из советской колонии.

Приведя себя в порядок после дороги, мы сразу попадаем в «арабское окружение», спустившись в нижнее помещение. На полу устланной коврами комнаты, за чашками кофе, картинно расселась группа местных влиятельных купцов. Одетые в полосатые или белые шелковые халаты и широкие жилеты, в расцветочных тюрбанах на голове, они чинно занимали места вдоль стены.

Расспросы о нашей торговле, о товарах, их качестве и ценах сразу определили нам влиятельных гостей. Перед нами были представители столичной торговой буржуазии, близко стоящей к правящей головке.

Идем осматривать город. Базар. Обычная восточная картина. Тесные переулки оглашаются шумом, гамом, криками толпы, создающей невероятную сутолоку. Мириады мух носятся над лотками с незатейливой арабской снедью. На прилавках товары, расставленные с элементарным вкусом для привлечения покупателей.

Узкие проходы между рядами лавок то и дело создают «пробки», через которые шмыгает босоногая арабская детвора. Однообразные торговые ларьки с незатейливым товаром тянутся в ряд, как выставочные клетки. Смуглые, загорелые лица арабов, громко разговаривающих у прилавков, скрытые за густым черным покрывалом женщины, крикливые ребятишки, — вот основной колорит санаанского базара.

За высокой каменной стеной, в центре города, — дворец короля, имама

Яхьи. Пяти-шестиэтажное здание, бывшее во времена оттоманского владычества резиденцией турецкого губернатора, превращено ныне в дворец владыки Йемена.

У пробитых в толстой стене ворот — строгий часовой с винтовкой. Тут же, у стены, прижалась к своим ослам кучка землеробов-крестьян. Ждут пропуска во дворец.

Нас троих, только-что прибывших в город, забедующего торговым агентством в Санаа и его секретаря, всех нас пятером пропускают через ворота во двор, после короткой беседы с начальником караула.

В глубине двора широкая лестница двумя разворотами поднимается к высокому крыльцу дворца. На площадке крыльца слуга-араб энергично машет нам рукой. Его жесты явно говорили: «заворачивай назад!» Оказалось, жест, принятый было нами как отрицательный, у арабов имеет обратное значение.

Мы поднимаемся по лестнице. Проходим полутемным затоптанным коридором. У голых стен жмутся трое каких-то арабов. Налево комната с простым голым каменным полом, где, по обычаю арабского этикета, нас просят снять ботинки. В следующую комнату, где уже находился имам Яхья, мы входим по узкому коврику в одних носках, без обуви.

При входе в кабинет короля прежде всего бросились в глаза благообразные седобородые арабы, чинно сидящие на полу, вдоль стены, на богатых ковриках. Этот «совет старейшин», в цветных шелковых халатах и белых чалмах на седых головах, с богатыми кинжалами у поясов, как маги в восточной сказке, устремили на нас взоры, лишь только мы появились.

Имам Яхья сидел у противоположной стены, по восточному обычаю также на полу, на ковре. Перед ним — на очень низких ножках кабинетный письменный стол, с чернильным мраморным прибором и свитками бумаг. Яхья всем нам поочередно протянул руку в знак приветствия и показал на коврики против себя. Мы садимся, поджимая под себя ноги, на указанные места.

Пожилой, с заметно одутловатым широким лицом, обрамленном наполовину поседевшей короткой бородой, имам Яхья еле заметно нам улыбнулся, показав свои белые зубы и остановив на каждом из нас живые карие глаза.

На нем были белый и синеполосатый шелковые халаты с широчайшими рукавами. На голове — зеленая чалма. Два кинжала, оправленные в усыпанные драгоценными камнями кожаные футляры, торчали из-за широкого серебряного пояса. Необычайное спокойствие отличало всю эту красочную восточную фигуру.

Рядом с имамом в той же позе разместились его министры и советники. Справа — красивый и мужественный премьер-министр, кади Абдалла эль Амри. Он разбирал ворох бумажных свитков, грудой лежащих перед ним на полу. Мы догадывались, что это были просьбы и ходатайства подданных короля. Премьер быстро прочитывал содержание каждого свитка, тут же определяя степень его важности: одни свитки, которых было меньше, он передавал королю, другие, их было большинство, он небрежно откидывал в сторону.

Небольшие окна с разноцветными стеклами, сделанные под потолком, придавали всей длинной и узкой комнате какой-то монастырско-музейный вид. В стене, в маленькой нише, стопка книг. Рядом, в противоречие со всей восточной обстановкой, — телефонный аппарат-вертушка советского производства. На столе, перед королем, — три «вечных» пера в богатой оправе. При нас слуга принес и подал ему четвертое!

Аудиенция продолжалась минут двадцать. Имам Яхья вновь протянул всем нам руку после того, как мы поднялись, выйдя из непривычной для нас восточной позы.

Обувшись в соседней комнате и удволев торжественно просящие глаза арабского слуги обычным «бакшишем», мы тем же путем направились к воротам.

Во дворе познакомились со случайно встретившимся министром почт и телеграфа. Это был выходец из Сирии, в чем обличало его круглое красивое чернорубое лицо. Он щегольски был одет

в арабско-европейскую «смесь»: шелковый синеполосатый халат при желтых франтоватых ботинках и белая чалма на голове при очках в черепаховой оправе.

Имам Яхья, не выезжая во всю свою жизнь далее Санаа и ее окрестностей и никогда даже не видев моря, хорошо понимал, что управлять независимым государством в современных условиях нельзя без знакомства с жизнью европейских держав и без информации о «движущих пружинах» их внешней политики. Он также увидел, что нужно уметь не только разговаривать с европейскими дипломатами, но и авторитетно поддерживать соответствующий дипломатический этикет.

Поэтому-то в числе его советников, на ряду с умным премьером Амри Абдаллой, — так же, как и король, не знающим европейской жизни, — имеется, кроме «бывалого» сирийца, искушенный в дипломатических тонкостях турок Рагиб-бей.

Бывший когда-то турецким губернатором провинции Йемен, он впоследствии вступил в дипломатическое поприще, проделав длительную карьеру в европейских кабинетах Парижа, Петербурга и Вены. Когда Йемен стал самостоятельным государством, Рагиб-бей сменил блестящие салоны европейских столиц на скромный кабинет министра иностранных дел у иеменского короля, имам Яхья.

Направляя внешнюю политику к обеспечению своей независимости, Йемен вместе с тем не оставляет забот по поднятию своего внутреннего экономического благосостояния.

Вот почему при нашем визите к премьер-министру, кади Абдалле эль Амри, последний живо интересовался возможностями получения советской помощи в вопросах устройства дорог, мостов, ирригации, постройки красильных фабрик, посева хлопка и т. д.

Санаа — город подлинно арабский. Единственная в мире столица без иностранцев, если не считать четырех-пяти советских работников вместе с их

семьями да двух-трех представителей итальянских и немецких торговых интересов. Этот неполный десяток европейцев и составляет всю иностранную колонию столицы Йемена, с ее населением в двадцать пять тысяч человек.

Центральные части города в дневные часы всегда полны народа. Жители столицы в большинстве случаев пешком, иногда лишь верхом на муле или осле, двигаются в различных направлениях по пыльным немощеным улицам. Много нищих, слепых, калек. Еще больше — бойких и остроглазых детей. Кое-где, у домовых калиток, прижались к стене, закрыв чадрой лица, женские фигуры в накинутых на плечи больших черных платках с неизменной широкой красной каймой.

Степенные купцы группами останавливаются при встречах на перекрестках. Среди них попадаются весьма колоритные типы.

Вот — один. Он весь густо, как провинциальный кутила на сельской ярмарке, обернут разноцветными материями. Таким он представляется в четырех-пяти широких цветных халатах, одетых один на другой. Его костюм, кинжал за поясом, черная борода и большие на выкате глаза делают его похожим на какого-то сказочного восточного чародея. Он так же неожиданно исчезает в толпе, как и появляется.

Вот — другой. Он весь в пыли, только-что приехал с гор. Заботливо отряхает свой белый халат, ухватившись за рукоятку кинжала. Его мул лениво шагает рядом. Купец приехал из отдаленного района. Вечером он в советском агентстве жадно интересуется товарами из «Москова». Керосин, спички, сахар, мука, ткани — вот объекты, возбуждающие интерес торговца с гор.

Вот еще один. В сверкающих шелках он степенно движется через площадь, держа в руке длинные полы дорогих халатов. Позади босоногий арабченок ведет богато оседланного мула. Купец сошел с седла, чтобы приветствовать какого-то влиятельного шейха, только-что выехавшего верхом на муле в сопровождении свиты из ворот большого каменного дома.

За глиняной стеной, во дворе того же дома, арабский батрак в унылой монотонности поднимает из колодца ведро за ведром холодной воды для полива фруктового сада.

Старый, кряжистый араб, в достойных кисти художника «классических» морщинах на лице, сворачивает за угол запряженную тощим волом допотопную арбу с какими-то тяжелыми мешками.

Евреи из городского предместья предлагают проходим свои искусные кустарные изделия.

Необычайная столица! Своеобразная страна!

Здесь правит суверенный король, никогда не видавший в своей жизни ни пароходов, ни поездов, ни европейских зданий. Его министры ездят к нему во дворец верхом на крепких мулах. Страна, которой правили в не столь далекие времена губернаторы оттоманского деспотизма, ставшие теперь министрами независимого правителя этой страны.

Хитрость и корысть уживаются здесь рядом с восточной любезностью и тонкой деликатностью.

Страна, где вся торговля — в руках влиятельных правителей областей и где купцы — лишь ловкие посредники между обедневшим населением и авторитетными «верхами».

В этой стране растет наилучший в мире кофе, и здесь же культивируется дикое растение «кат», одурманивающее поголовно все арабское население.

Столица, в которой среди суетливой многотысячной арабской массы затерялся какой-то десяток иностранцев.

Древнейший город, где жители достают из колодцев воду при помощи сооружений, система которых близка к библейским временам.

Страна, которую усиленно стараются подчинить себе те, кто считает ее независимость единственным препятствием на империалистических «путях в Индию».

Страна, где свободолюбивые племена восстают против своего владыки и, с геройством отдавая сотни голов своих

отважных храбрецов на позорные колья победителей, теперь «усмиренные» маршируют на военных губернаторских парадах.

Страна, столица которой отрезана от мира неприступными высотами и книга судеб которой до сих пор еще открыта на полуистлевшей странице феодального строя.

Своеобразная столица! Необычайная страна!

И тем не менее непреложный марксов закон экономического развития и здесь действует в том же самом направлении, как и во всех других столицах и странах. И здесь арабские трудящиеся массы уже научились не только понимать двуликую политику своей буржуазии, но и хорошо разбираться в «тонкой дипломатии» империалистических держав, когда дело идет о независимости арабской земли.

3. МЕЖДУНАРОДНАЯ ХРОНИКА

Приход к власти германских фашистов, этого крайнего крыла воинствующего германского империализма, не мог не нарушить равновесия сил, сложившегося в послевоенный период. Германские фашисты открыто провозгласили своей задачей новый передел мира путем войны. В течение двух лет своего пребывания у власти они подготовили внутривнутриполитическую и военно-материальную базу и перешли во внешнеполитическое наступление. Быстрый рост германских вооружений не мог не вызвать тревоги в других странах. В опубликованной английским правительством «Белой книге» от 5 марта 1935 г. говорится:

«Если довооружение Германии будет продолжаться в нынешних темпах, то возрастут опасения, уже имеющиеся у соседей Германии, и мир окажется под угрозой. Британское правительство приветствовало мирные заверения правителей Германии, но оно не может не признать, что не только состояние германских сил, но и дух, в котором воспитывается германское население, усиливает общее чувство беспокойства».

В течение марта—апреля германский фашизм переходит от слов к делу.

11 марта германское правительство в необычной для международных отношений форме, а именно в форме интервью, которое Геринг дал корреспонденту газеты «Дейли мейль», оповестило об учреждении военной авиации. Тем самым Германия односторон-

ним актом аннулировала статью 198 Версальского договора, в которой говорится: «Военные силы Германии не должны включать в себе никакой военной или морской авиации».

15 марта французское правительство опубликовало следующую декларацию:

«Положение Франции коренным образом изменилось вследствие того, что после ухода Германии из Женевы вооружение этой великой соседней державы осуществлялось в различных формах и в широких размерах вопреки 5-му разделу Версальского договора. В момент, когда численность германской армии значительно возросла ввиду одностороннего акта, на который ни Франция, ни английское правительство не дали своего согласия, Франция не может, не подвергая опасности свою оборону, примириться с тем, чтобы численность ее армии упала ниже уровня, предусмотренного законом 31 марта 1928 г.».

Палата депутатов большинством голосов уполномочило правительство удлинить на 6 месяцев срок службы новобранцев апрельского призыва. Новобранцев же дальнейших призывов, вплоть до 1939 года, задерживать на военной службе на один год. Другими словами, французское правительство ввело двухлетний срок воинской повинности.

16 марта последовал дальнейший акт германского правительства, аннулирующий 5-й раздел Версальского дого-

вора. Статья 173 Версальского договора устанавливает, что «всякого рода всеобщая обязательная военная служба будет отменена в Германии. Германская армия может строиться и комплектоваться только путем добровольного найма». Статья 160 того же договора устанавливает, что «германская армия не должна насчитывать более 7 дивизий пехоты и 3 дивизий кавалерии. Общий численный состав армии государств, образующих Германию, не должен превышать 100 тысяч человек, включая офицеров и нестроевых». Германский закон от 16 марта вводит всеобщую воинскую повинность и устанавливает контингент армии в 36 дивизий.

20 марта французский совет министров принял следующее решение: 1) утвердить текст ноты протеста германскому правительству по поводу его последних мероприятий, 2) одобрить переговоры с Англией и Италией о процедуре совещания трех держав, 3) поставить вопрос о германских вооружениях перед советом Лиги наций, 4) уполномочить Лавала принять приглашение о поездке в Москву.

21 марта французское правительство обратилось в секретариат Лиги наций с требованием созвать экстренное заседание совета Лиги наций для обсуждения положения, создавшегося в связи с нарушением Германией Версальского договора.

23 марта французская палата депутатов одобрила текст франко-итальянского соглашения от 9 января, которое положило начало не только франко-итальянского сближения, но и сближения между Италией и странами Малой Антанты.

23 марта в Париже велись переговоры между членом английского правительства Иденом, французским министром иностранных дел Лавалем и товарищем итальянского министра иностранных дел Сувичем по поводу предстоящей поездки Идена и Саймона в Берлин. На этом совещании, согласно официальному коммюнике, были подчеркнуты «полная солидарность» и «единство взглядов». По настоянию

Франции и Италии берлинские переговоры Саймона были ограничены «чисто информационными задачами». Решения, которые могли бы обязать правительства этих трех государств, отложены до тройственной конференции в Стресе.

24 марта правительственное германское информационное бюро опровергает польские сообщения о протесте польского правительства против германского закона от 16 марта.

В тот же день итальянское правительство призвало в ряды армии запасных рождения 1911 года. «Реджима фашиста», комментируя это решение итальянского правительства, писало: «Если Германия думала, что своей выходкой она наплевала на римские соглашения, то она плохо рассчитала».

24 марта в Берлин прибыл Саймон и Иден для переговоров с германским правительством об его отношении к англо-французской декларации от 3 февраля. Эта декларация предусматривала замену раздела 5 Версальского договора новым соглашением о германских вооружениях при условии, что Германия примет участие в Дунайском, западно-воздушном и Восточном региональных пактах о взаимной помощи и вернется в Лигу наций.

23 марта было подписано в Токио соглашение о продаже КВЖД.

25 марта японский министр иностранных дел Хирота в своей речи заявил:

«Особо радостным нужно считать то обстоятельство, что завершением переговоров о КВЖД на Дальнем Востоке сделан крупный вклад в дело поощрения мира именно в момент, когда положение в Европе характеризуется напряжением... Между СССР и Японией имеется еще много неурегулированных вопросов, однако, поскольку предполагается, что переговоры о них будут вестись в духе примирения и дружбы, которым характеризовались переговоры о КВЖД, можно надеяться, что урегулирование этих вопросов не встретит трудностей».

25 марта в Праге был подписан советско-чехословацкий торговый договор.

26 марта берлинские переговоры Саймона и Идена с Гитлером закончились. Германия отказалась от какого-либо участия в Восточном пакте о взаимной помощи, предлагала гарантию неприкосновенности французской территории и отказ от какой-либо агрессии на Западе взамен за предоставление ей свободы рук на Востоке — по отношению к СССР. Английская печать приводит заявление Саймона, что во время переговоров «выявились очень серьезные разногласия».

28 марта в Москву приехал Иден. В течение 28 марта Иден вел беседу с тов. Литвиновым. 29 марта Иден был принят товарищем Сталиным и товарищем Молотовым и имел с ними беседу, продолжавшуюся около часа. 31 марта Иден выехал в Варшаву. В опубликованном сообщении о московских переговорах говорится между прочим:

«Как г. Иден, так и беседовавшие с ним гг. Сталин, Молотов и Литвинов были того мнения, что в нынешнем международном положении более чем когда-либо необходимо продолжать усилия в направлении к созданию системы коллективной безопасности в Европе, как это предусмотрено англо-французским коммюнике от 3 февраля и в согласии с принципами Лиги наций.

В беседах с г. Иденом гг. Сталин, Молотов и Литвинов подчеркнули, что организация безопасности в Восточной Европе и намеченный пакт взаимопомощи имеют своей целью не изоляцию или окружение какого-либо из государств, а создание гарантии равной безопасности для всех участников пакта, и что участие в пакте Германии и Польши приветствовалось бы как наилучшее решение вопроса.

В результате исчерпывающего и откровенного обмена мнениями представители обоих правительств констатировали, что в настоящее время нет никакого противоречия интересов между обоими правительствами ни в одном из основных вопросов международной политики и что этот факт создает прочный фундамент для развития плодотворного сотрудничества между ними в деле мира.

Они уверены, что обе страны, в сознании того, что целостность и преуспеяние каждой из них соответствует интересам других, будут руководствоваться в их взаимных отношениях тем духом сотрудничества и лояльного выполнения принятых ими обязательств, которые вытекают из их общего участия в Лиге наций».

2 апреля Иден прибыл в Варшаву. Переговоры в Варшаве выявили, что Польша категорически отклоняет участие в Восточном пакте о взаимной помощи.

2 апреля польское правительство пригласило Лавала прибыть в Варшаву.

4 апреля Иден посетил Прагу, где вел переговоры с Бенешом.

6 апреля на выборах в Данциге национал-социалисты собрали 60 проц. всех голосов. Поскольку фашисты добились квалифицированного большинства в данцигском сейме и демонстрации «единства» всех немцев, проживающих вне пределов Германии, поскольку фашисты придали выборам характер плебисцита, их исход следует расценивать, как неудачу.

8 апреля официально сообщалось о том, что на конференции в Стрезе участвовать будут: французский премьер-министр Фланден, английский премьер-министр Макдональд, Муссолини, Саймон, Лаваль и Сувич.

9 апреля между Лавалем и полпредом СССР во Франции Потемкиным достигнуто в принципе соглашение по вопросу о проекте франко-советской конвенции о взаимной помощи, которая должна быть подписана в Москве во время визита Лавала.

11 — 14 апреля — конференция в Стрезе.

В принятых в Стрезе декларациях говорится о «совместной линии во время обсуждения на сессии совета Лиги наций французского меморандума о германских вооружениях». Говорится о «необходимости продолжать переговоры, имеющие целью обеспечить безопасность в Восточной Европе», о необходимости сохранения независимости и целостности Австрии. Участники Стрезы осудили «метод одностороннего растор-

жения договорных обязательств, примененный германским правительством». Затем представители Англии и Италии в особой декларации «торжественно подтверждают все обязательства, которые падают на них, согласно Локарнского договора» и наконец в заключительной декларации Англия, Франция и Италия подчеркивают, что «их политика имеет целью коллективную защиту мира в рамках Лиги наций» и что эти державы «в полном согласии готовы применять все надлежащие меры против одностороннего расторжения договоров, могущего создать опасность для мира в Европе». Они заявляют, «что будут действовать на основе тесного и сердечного сотрудничества».

16 — 17 апреля заседала чрезвычайная сессия совета Лиги наций, обсуждавшая французский меморандум. Резолюция была внесена от имени Франции, Англии и Италии и принята единогласно при воздержавшемся представителе Дании. Польский министр иностранных дел Бек, выступавший против резолюции во время прений, голосовал за нее. В принятой резолюции совет Лиги заявляет, что «Германия изменила лежащему на всех участниках сообщества народов долгу уважать подписанные ими обязательства». Совет осуждает всякое одностороннее расторже-

ние международных обязательств. Затем совет Лиги наций образовал комитет для выработки предложений, которые «придадут уставу Лиги наций большую действенность в деле организации коллективной безопасности и в частности уточнят экономические и финансовые меры, которые могли бы быть применены в случае, если бы в дальнейшем какое-либо государство, член или нечлен Лиги, создало опасность для международного мира, расторгая путем односторонних действий свои международные обязательства». И наконец совет рекомендует продолжать начатые переговоры, «имеющие целью содействовать заключению в рамках Лиги наций соглашений, которые, учитывая обязательства, вытекающие из устава Лиги, представлялись бы необходимыми для достижения целей обеспечения мира, намеченных программой от 3 февраля».

17 апреля между т. Литвиновым и Лавалем во время переговоров в Женеве достигнуто соглашение о конвенции о взаимной помощи между Францией и СССР.

Единодушное голосование совета Лиги наций и соглашение, достигнутое между т. Литвиновым и Лавалем, вся международная печать расценивает, как крупнейшие события последнего времени.

Наука и техника

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В. Е. ЛЬВОВ

1. Атомы жизни

Когда две подземные галереи, подвешенные с разных концов, сходятся в одной точно рассчитанной точке, шахтеры пожимают друг другу руки.

Сегодня мы, физики, жмем руку нашим товарищам биологам! Штольня, прокладываемая физикой в глубочайшем подпольи материи, ведет от протона и нейтрона к атомному ядру, от ядра к атому, от атома к молекуле. Буровая скважина биологов, рассекая живую ткань на клетки, дробит клетки на клеточные ядра, клеточные ядра — на еще более мелкие образования и рано или поздно должна наконец дойти до молекулы.

Разумеется, мы не хотим сказать, что, достигнув этого пункта, биология «сведется» к молекулярной и атомной физике, превратившись в один из ее отделов. Жизнь есть процесс особого (не сводимого к одним лишь физико-химическим явлениям) качества. «Жизнь есть форма существования белковой молекулы» (Энгельс). Но именно потому, что жизнь есть особая форма движения особой (белковой) молекулы, — именно поэтому она, жизнь, и сможет быть познана до конца лишь в результате доведения работы биологов до молекулы.

Свидетелями этой смычки двух шахт, прокладываемых в недрах живой материи, мы и являемся в переживаемый

исторический момент! Не дожидаясь, пока наши товарищи биологи дадут свой комментарий к великому событию, мы поделимся со своей стороны нашими соображениями на этот счет.



Сообщения, полученные из ряда научно-экспериментальных центров Европы и Америки и, в первую очередь, из Института генетики Академии наук СССР и Института прикладной биологии при Наркомздраве в Москве, говорят о том, что исследователям этих институтов удалось расщепить мельчайшую составную часть живого клеточного ядра на куски, в каждом из которых находится по одной или, самое большее, по несколько штук молекул.

О том, какие последствия будет иметь это открытие для науки о жизни, видно из следующих обстоятельств.

Всем известен факт наследственности. Наследуются из рода в род и из поколения в поколение цвет волос и глаз, окраска кожи и форма носа, внутренние и внешние, телесные и психические особенности, и притом как со стороны отца, так и от матери. Да, наследственность существует. И, как бы ни был сложен и качественно своеобразен весь ее, взятый в целом, механизм, первое звено в этой удивительной цепи

должно начинаться со строения живой материи.

На самом деле, рождение каждого живого существа происходит, как известно, в результате слияния двух мелких, видимых только под микроскопом, комочков вещества, называемых яйцом и спермием¹⁾.

Объем яйца и спермия редко превышает миллиардную долю кубического сантиметра, то-есть приблизительно в миллион раз мельче булавочной головки. Яйцо является частью организма матери, сперматозоид — отца. На фундаменте одной-единственной материнской и одной-единственной отцовской клетки, внутри которых нет никаких других вещей, кроме составленных в определенном порядке молекул, атомов и электронов, и происходит развитие нового живого существа...

Отсюда именно с величайшей наглядностью становится очевидным тот кардинальный факт, что вся сумма начальных причин, вызывающих развитие зародыша в том, а не в ином направлении, должна быть заранее упакована внутри каждой отдельной отцовской и материнской клетки. Должна быть связана со структурными особенностями вещества в ней.

К ним, к особенностям этим, к узору молекул и атомов, к строению матери и внутри одной-единственной клетки, и должна была рано или поздно подойти история великой проблемы²⁾. Так, наблюдая за сооружением здания, мы обращаем свое внимание прежде всего на кирпичи, свозимые к месту постройки.

¹⁾ У некоторых растений и животных размножение происходит с помощью одного лишь яйца, разрабатывающегося без участия спермия (так называемый партеногенез).

²⁾ Я подчеркиваю, что эта структурно-материальная, или — на языке биологов — цитологическая, сторона дела является лишь одним и отнюдь не единственным из аспектов всей проблемы наследственности. Однако аспект этот является основополагающим, поскольку изучение всякого природного процесса любого качества должно быть начато с ознакомления с участвующим в нем материальным субстратом.

Кирпичами, закладываемыми в фундамент зародыша, являются — как сказано — яйцо и сперматозоид.

На строение их из еще более мелких кирпичиков давно уже намекали следующие факты.

2. В садах Брюнна...

Лето 1858 года. Холмы Богемии. Крестьяне, проезжающие мимо обширных плантаций, принадлежащих августинскому монастырю в Брюнне (сейчас — Брно в Чехословакии), часто замечают прилежного монаха, склонившегося над грядками и всё что-то подсчитывающего в объемистой своей записной книжке... Грегор Мендель, человек с умом и темпераментом натуралиста, по странной иронии судьбы заброшенный в душное обиталище ряс и капюшонов, натакаливается в эти дни на удивительное открытие, столь основательно забытое потомством, что через 40 лет¹⁾ оно воспринимается как нечто совершенно неожиданное и открывающее эпоху в науке о жизни.

... Исторический опыт. Мендель скрещивает желтый и зеленый сорта гороха. Два экземпляра подобраны так, что не отличаются ничем, кроме окраски своих стручков. Оба принадлежат, кроме того, к заведомо чистой (в отношении окраски) породе, то-есть весь ряд предков зеленостручкового гороха (тщательно прослеженный на много поколений) обладает всё тем же зеленым, а предки желтого растения — желтым цветом.

Вооружившись пинцетом, аббат переносит пыльцу (мужские половые клетки) желтого гороха на «зеленый» женский пестик.

С интересом разглядывал Мендель помесьные, гибридные побеги... Что получится тут? Выдет ли потомство со стручками желтого или зеленого, или какого-нибудь другого цвета, или, мо-

¹⁾ Печатный труд Менделя, опубликованный в 1860 г. в «Известиях Брюннского общества натуралистов», не обратил на себя никакого внимания и только в 1900 г. был разыскан Бэтсоном и Панетом, предавшими его широкой гласности.

жет быть, сразу нескольких цветов?

Результат знает сейчас каждый юный пионер-мичуринец в любом уголке нашей страны.

Гибридный горох оказался с чисто желтыми стручками. Потомство вышло целиком в желтого, а не в зеленого родителя. Почему так?

Разберемся в этом. Кусок вещества (клетка пыльца), заложенный в фундамент зародыша со стороны желтого родителя, содержит очевидно внутри себя причину, вызывающую развитие этого зародыша в направлении желтой окраски. Частица другого вещества (яйцеклетка пестика) скрывает в себе причину, приводящую к окраске зеленой. Обе причины, будучи поставлены рядом в зародыше, дают в сумме желтый цвет. Действие «желтой» причины, другими словами, оказывается намного сильнее действия причины «зеленой»¹⁾, и конечным результатом оказывается желтый стручок. Положение в общих чертах ясно. Но самое важное остается впереди.

Получив первое поколение гороха, Мендель скрещивает дальше сами желтые помеси между собой.

Странное зрелище. Наряду с желтыми особями на грядках второго поколения то здесь, то там проглядывают зеленые стручки. Зеленый цвет, подавленный в первом поколении, прорывается опять наружу во втором! И, что самое важное, соотношение между числом особей одного и другого цвета — во всех

¹⁾ Чисто-химически говоря, можно представить себе здесь дело например так, что количество желтого, вырабатываемого в стручке, красителя настолько превышает продукцию красителя зеленого, что зеленый цвет тонет в желтом и суммарная окраска оказывается желтой.

В целом ряде случаев, однако, как например при скрещивании белой разновидности садового цветка, называемого «ночной красавицей», с красной разновидностью того же цветка, потомство в первом поколении получается смешанного, розового, цвета. Действие обеих красящих причин в мужской и женской клетках оказывается, очевидно, в этом случае одинаково сильным. И красный цвет, будучи «разбавлен» пополам белым, дает в сумме розовую окраску.

без исключения опытах—остается одним и тем же. Желтых экземпляров всегда получается в три раза больше, чем зеленых.

Полный глубокого смысла, многоговорящий результат.. Что означает, на самом деле, появление, казалось бы, навсегда исчезнувшего, зеленого цвета снова во втором поколении?.. Очевидно только то, что кусочек матери, содержащий задаток к зеленому окрашиванию, будучи вложен в зародыш первого поколения, не теряется там, но служит равноправным строительным материалом для клеток... Другое дело при этом, что задаток сей до поры до времени никак не проявляет себя и остается как бы скрытым (потому что его действие, как мы видели, перевешивается действием «желтого» задатка).

Но если так, если присутствие «зеленого» (содержащего задаток к зеленому окрашиванию) вещества в первом поколении является фактом, тогда некоторая часть из многочисленных половых клеток может оказаться построенной здесь только из «зеленого» вещества и не содержать в себе ни капли вещества «желтого». И тогда при скрещивании двух желтых гибридов во втором поколении должны наблюдаться случайные встречи и слияния чисто «зеленой» (по своему составу) клетки отца с чисто «зеленой» же клеткой матери. Результатом такого слияния будет окрашенный в зеленый цвет потомок. Это и наблюдается в действительности!

Но живые существа проявляют себя, как известно, не одним, а весьма большим числом разнообразных признаков. Так, у садового гороха одни экземпляры имеют высокий, другие низкий стебель. У одних поверхность горошин гладкая, у других морщиниста. И спрашивается: как будет обстоять дело при скрещивании пород, отличающихся не одним, а сразу несколькими признаками?..

Что получится, скажем, при оплодотворении высокорослого и желтостручкового гороха с горохом, обладающим низким стеблем и стручками зеленого цвета?

Ответ на это дал Грегор Мендель.

Женские клетки высокорослого и желтого гороха, будучи плодотворены мужскими клетками гороха зеленого и низкого, производят всегда¹⁾ потомство со сплошь желтыми и горошинками и только с высокими стеблями. Пока ничего нового. «Желтый» задаток, поставленный рядом с «зеленым», попрежнему дает перевес желтому цвету, и точно так же задаток высокорослости, взаимодействуя с фактором низкого роста, пересиливает его.

Но дальше? Результат скрещивания самих гибридов между собой? Второе поколение? Что тут?

Как низкорослость, так и зеленый цвет, подавленные в первом поколении, всплывают опять и опять в поколении втором. Причем около $\frac{9}{16}$ из общего числа рождений неизменно приходится на высокие и желтые, $\frac{3}{16}$ на высокие и зеленые, $\frac{3}{16}$ на низкие и желтые и $\frac{1}{16}$ на низкие и зеленые экземпляры.

Как могло это произойти? Как могло случиться, что совершенно различные по своему качеству наследственные задатки (в данном случае высота стебля и цвет стручка) оказываются обладающими свойством заново сочетаться между собой во втором и в последующих поколениях?

Как могли в частности от желтого и высокорослого «деда» и от зеленой и низкой «бабки» произойти низкорослые и желтые внуки и внучки?

Ведь если бы один и тот же кусок передаваемого от поколения к поколению клеточного вещества содержал во всей своей массе задаток и к определенному окрашиванию, и к определенной высоте роста, тогда определенный цвет всегда «тянул» бы за собою на буксире и определенный рост. Тогда желтизна была бы неотделима от высокорослости, а зеленый цвет от низкого роста! И во втором поколении должны были бы появляться только желто-высокие или низко-

зеленые и никакие другие разновидности потомков!

Между тем в действительности, как видим, дело обстоит не так. Признак высокого роста оказывается отнюдь не всегда сцепленным с признаком желтого цвета, но во втором поколении он явно «отщепляется» от него и «прилипает» к признаку зеленой окраски. «Низкий рост» в свою очередь «откалывается» в этом поколении от «зеленого цвета» и примыкает к цвету желтому. Признаки перетасовываются всеми возможными способами, как масти и фигуры в колоде карт.

Из всего этого следовал только один вывод.

Наследственное вещество клеток гороха является отнюдь не сплошным, вещество это является не однородным, но состоит по меньшей мере из двух дискретных, двух обособленных в пространстве кусков, — грубо говоря, из двух «половинок», могущих отделяться друг от друга и сочетаться заново в самых разнообразных комбинациях! Внутри одной из этих «половинок» должен заключаться задаток цветности, а внутри другой — фактор высоты роста.

И тогда при скрещивании разноцветных и разнорослых родителей в фундамент зародыша закладываются четыре частицы вещества четырех разных качеств. В результате же группировки этих четырех веществ по два в самых разнообразных сочетаниях среди половых клеток взрослых особей первого поколения должны оказаться и такие, которые будут построены из «половинок» соответствующих цвету отца, но росту матери. Достаточно будет теперь — при дальнейшем скрещивании самих гибридов — одной такой «перепутанной» мужской клетке встретиться случайно с «перепутанной» же клеткой женской, чтобы тотчас же получился и «перепутанный» потомок второго поколения — с цветом деда, но ростом бабки.

Что и требовалось доказать!

Общее число особенностей строения тела у высших животных и растений

¹⁾ Расы конечно и тут предполагаются чистыми в отношении обоих признаков (т.е. весь ряд предков у каждого родителя имеет одинаковый цвет и одинаковую степень рослости).

исчисляется однако сотнями и тысячами единиц. Мы должны, таким образом, предвидеть, что вещество клеток состоит из множества мельчайших, в тысячи и десятки тысяч раз меньших, чем самые мелкие клетки, зерен, каждое из которых каким-то образом связано с развитием и выявлением одного определенного анатомического и физиологического признака у будущего потомства.

Всевозможные комбинации этих зерен в момент зачатия и предопределяют ход наследственности.

Это не означает, как ясно, что потомство живого существа, носящего в себе клетки с тем или иным ассортиментом «зерен», обязательно проявит себя соответственными признаками уже в первом поколении. Мы видели, что для достижения подобного результата необходим счастливый (или, судя по обстоятельствам, несчастный!) случай такой встречи родительских клеток, при которой не происходило бы подавления действия данного задатка другим, ему сопряженным и сильнее действующим...

Это — первое. А во-вторых, заранее неправильно было бы предполагать, что ключ к развитию каждого отдельного телесного или психического признака скрывается в одном, и только в одном, мельчайшем зерне материи внутри зародышевой клетки. Что существует, скажем, некое зерно, скрывающее в себе «задаток формы носа», и другое зерно, «ведающее» цветом глаз, и третье, связанное только с курчавостью волос, и т. д., и т. п.

Мы еще увидим ниже, что каждый телесный признак у взрослого существа возникает в результате совместного действия очень многих внутриклеточных зерен...

Гвоздь вопроса состоит однако в том, что присутствие или отсутствие (или даже, как мы увидим, простая перестановка во внутриклеточном пространстве) одного из этих предполагаемых зерен может оказаться решающей для проявления или не проявления

одного определенного признака у будущего зародыша.

В этом, и только в этом, смысле и следует, очевидно, заранее говорить о сосредоточении, скажем, «задатка цвета глаз» или «фактора формы носа» в одной определенной части клетки.

И вот эти, прямо и непосредственно предсказываемые из гениальных опытов брюннского садовода, мельчайшие материальные частицы, на которые должна дробиться клетка и с каждым из которых связано развитие по преимуществу какого-нибудь одного наследственного признака, датчанин Христиан Йогансен и окрестил в 1902 году крылатым словом «гены»...

«...В том же смысле, в каком химик допускает существование невидимых атомов, а физик — электронов, в этом же смысле изучающий наследственность генетик принимает невидимые элементы, ... заложенные в наследственном веществе клеток и называемые генами»¹⁾.

Невидимые атомы... Но химики в сотрудничестве с физиками давно уже взвесили, измерили и раздробили на мелкие кусочки атом! Физики выделили, сфотографировали, ощупали со всех сторон электрон. Очередь за биологами!

И первая же, вставшая перед ними на следующий день после великого предсказания, задача, — задача чисто физическая по своему методу и духу, задача, являющая полную аналогию со штурмом атома и атомного ядра физиками, — эта задача заключалась в следующем.

Конкретно, в реальности — под микроскопом или на фотографической пластинке — разыскать, рассмотреть, прощупать те точки, те участки живого вещества внутри клеток, где сосредоточены отдельные гены... Расщепить, иначе говоря, клетку на все меньшие и меньшие кусочки до тех пор, пока перед исследователем не окажется крупинка материи, содержащая один ген.

¹⁾ Т. Х. Морган. Теория гена. Русск. перев. Ю. А. Филипченко «Сеятель». 1927 г. Стр. 5.

Достигнув этой цели, наука оказалась бы, во-первых, обладательницей ответа на вопрос: что же представляет собою, фактически, самый ген (т.-е. с какими особенностями строения материи передается наследственность). И, во-вторых, научившись как угодно переставлять и заменять крупишки с отдельными генами внутри половых клеток, человечество получило бы неограниченную власть над наследственностью: возможность выведения новых пород живых существ, превосходящую всё, что уже достигнуто Бербанком и Мичуриным...

Великая цель!

Так физика, раздробив атомное ядро на протоны и нейтроны и комбинируя эти последние заново во всё более и более разнообразных сочетаниях, получает химические элементы новых качеств, неслыханные и невиданные в природе.

И началась охота за геном.

3. Повесть о хромосоме

Рассматривая в микроскоп единичную клетку, вырезанную из любого участка тела животных и растений, наблюдатель отчетливо обнаруживает, что в студенистую беловато-серую массу так-называемой протоплазмы всегда вкраплен более темный, твердый и резко очерченный комочек, именуемый ядром и примерно в 100—1000 раз более мелкий, чем сама клетка. Поперечник клетки, в среднем, колеблется около 10^2 — 10^3 сантиметра¹⁾. Поперечник ядра = 10^3 — 10^4 сантиметра.

В мужских половых клетках (сперматозоидах) ядро образует головную часть клетки, и, как давно знают цитологи, только эта головка сперматозоида и проходит в момент оплодотворения сквозь оболочку материнской яйцеклетки, сливаясь с ней и давая начало зародышу.

Важный шаг сделан! Путеводная нить к гену явно ведет нас к клеточному ядру. На самом деле: раз головка сперматозоида является единственной части-

цей материи, поступающей в фундамент зародыша со стороны отца, и раз эта головка тождественна с клеточным ядром, тогда выходит, что гены заключены в ядре и нигде больше!

Круг охоты сужен. От всей клетки, от объема поперечником в 10^3 сантиметра мы перешли к еще в тысячу раз меньшему объему клеточного ядра.

Надо было делать второй шаг.

Направив линзу сильного микроскопа на ядра клеток, взятых, скажем, из тела самки плодовой мушки, заглянем в окуляр. Примечательная картина!

Белковое вещество внутри ядра не является сплошным, но ясно распадается на восемь вытянутых в длину жгутикоподобных телец, еще примерно в 20—30 раз меньших по диаметру, чем само ядро, и сгруппированных в четыре, отличающиеся по внешнему виду, пары.

Хромосомы!¹⁾ Взглянем теперь на соответствующую клетку самца.

Опять 8 хромосом в ядре. Пересматривая их внимательно, слева направо и сверху вниз, обнаруживаем, что первые семь хромосом в мужском ядре ничем не отличаются (по крайней мере по внешнему виду) от первых семи хромосом женских. Но восьмая хромосома в ядрах самца явственно разнится своим «крючком», отличающим ее от палочковидной восьмой хромосомы самки.

Глубочайшей важности обстоятельство. Ведь пол (у двуполовых животных и растений) является, как ясно, одним из основных элементов в той сумме признаков, из которых складывается облик живого существа. И вот, каждая клетка особи одного пола — при ближайшем рассмотрении — оказывается не отличающейся от соответствующей ей клетки особи другого пола ничем, кроме «крючечка» на одной из внутриядерных хромосом. Но это и значит, что «ген

¹⁾ В отдельных случаях, впрочем, встречаются клетки-гиганты (например куриное яйцо).

¹⁾ По-гречески это означает: «цветные тельца». При обработке клеточных ядер под микроскопом карминовой краской хромосомы окрашиваются, а остальное вещество остается бесцветным.

пола» скрывается как-раз внутри той пары хромосом, по отношению к которой наблюдается несходство!

Эта хромосомная пара должна быть названа поэтому «половой» (обуславливающей пол) парой. Обе одинаковые хромосомы в половой паре женских клеток получили, в частности, специальное название «икс-хромосом». Отличающаяся же от них по своему внешнему виду одна хромосома в соответствующей мужской паре названа хромосомой «игрек». Замена одной-единственной, примерно в 10.000 раз меньшей, чем булавочная головка, палочковидной крупинки («икс-хромосомы») другим, непохожим на нее крючковидным зернышком (хромосомой «игрек») в клеточном ядре зародыша является, в итоге, достаточной для развития зародыша в направлении мужского, а не женского пола.

Так обстоит дело не только у плодовой мухи. Как тщательно подтвердил под микроскопом еще в 1904 году англичанин Вильям Бовери, число ядерных хромосом и их внешний вид являются строго-постоянными и определенными для каждого животного и растительного вида. Горох имеет, для примера, 14 хромосом, червь «аскарида» — 4, человек — 48.

И во всех без исключения случаях наблюдается различие в одной определенной паре хромосом между двумя полами...

Это различие может выражаться в несоответствии между «икс»- и «игрек»-хромосомами, как у плодовой мушки. В иных же случаях диссиметрия проявляется в факте полного отсутствия одной из хромосом в ядре самца.

Так именно обстоит, между прочим, дело у человека. В то время как клеточные ядра женщины содержат по 48 хромосом, мужские клетки имеют их 47. Первоначальной причиной, обуславливающей проявление мужского пола в зародыше человека, является, таким образом, отсутствие 48-й хромосомы.

Двинемся дальше.

Картина расположения хромосом в клеточном ядре является, как сказано, симметричной картиной. Хромосомы располагаются по парам. Число пар строго определенное. Но что произойдет — спрашивается теперь — при слиянии мужской и женской половых клеток в момент оплодотворения? Не должно ли это привести к удвоению хромосомного комплекта (в первой же (а значит и во всех последующих) клетке зародыша? На самом деле, 8 хромосом, вложенные в зародыш со стороны, скажем, плодовой мушки — отца, слившись с 8 хромосомами яйцеклетки мушки-матери, дали бы в сумме 16 хромосом в зародыше.

И это удвоение должно было бы происходить в каждом поколении. Из рода в род количество хромосом в геометрической прогрессии стремилось бы к бесконечности!

Вот этот абсурдный результат и предотвращается благодаря следующему механизму.

В период наступления половой зрелости половые клетки испытывают сокращение имеющегося у них хромосомного комплекта ровно в два раза. Происходит это путем деления каждой (как мужской, так и женской) клетки. Деление, в самых грубых чертах, заключается в том, что клетка и ее ядро разламываются пополам, так что одна хромосома из каждой пары переходит в одну из половинок клетки. И вместо одной получаются, в итоге, две половые клетки, внутри каждой из которых имеется уже по половинному (по сравнению с обычным) набору хромосом¹⁾.

Слияние мужской половой клетки (спермия) с женской клеткой в момент зачатия восстанавливает в зародыше потомства нормальный парно-симметричный хромосомный комплект.

¹⁾ Наряду с этим первым делением происходит обычно еще и второе деление каждой из половинок в свою очередь на две части. В процессе этого второго деления хромосомы расщипываются по своей продольной оси на два куска, так что общее число хромосом тут не меняется.

Глубокий смысл симметричности и парности хромосомного строения клеточных ядер расшифровывается, таким образом, в том, что эта симметричность обеспечивает возможность формирования зародыша поровну из хромосом отца и хромосом матери.

Но это является решающим доказательством того, что гены сосредоточены нигде в ином месте, кроме как в хромосомах!

Действительно, в основе наследственности лежит, как мы видели, тот факт, что наследственность передается в одинаковой степени как со стороны отца, так и со стороны матери. И вот единственным вещественным субстратом, который фактически передается в равной порции в составе отцовских и материнских половых клеток, — таким субстратом и оказываются хромосомы...

4. Продолжение повести о хромосоме

Местоположение одного из генов, а именно гена, обуславливающего пол, уже выяснено нами: этот ген связан с «икс»-парой хромосом у самки и с игрек-хромосомой (или с отсутствием ее совсем) у самца.

Почему однако, скажем, у человека в среднем рождается 50 процентов мальчиков и 50 процентов девочек? На этот вопрос можно теперь ответить без затруднения.

Половые клетки мужчины до их созревания содержат, как мы помним, 23 пары хромосом плюс еще одну непарную икс-хромосому. После созревания, в результате деления, эта икс-хромосома отойдет в одну из половинок клетки, а в другой половинке икс-хромосомы не окажется вовсе. Зрелые клетки, непрерывно вырабатываемые половыми железами мужчины, оказываются — в итоге — состоящими поровну из двух сортов: одни клетки содержат икс-хромосому, другие же являются в отношении нее «пустыми».

Женские же половые железы (чьи клетки в незрелом виде содержат 24 пары хромосом) — напротив — да-

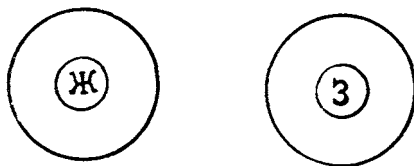
дут после деления клетки только одного сорта, а именно с икс-хромосомой.

И при встрече женской яйцеклетки с мужским спермием получится равное число шансов: встретить «пустой» или «полный» (в отношении икс-хромосомы) спермий. Если выпадет «пустышка», зародыш останется с одной непарной икс-хромосомой и разовьется в мужчину, если же в яйцо проникнет спермий с икс-хромосомой, то в зародыше окажется пара икс-хромосом, и получится пол женский¹⁾.

Столь же наглядно разъясняется механизм и всех прочих численных закономерностей, полученных Менделем, для наследования любого признака.

Возьмем прежний пример с желтым и зеленым горохом.

Учитывая, что «гены цветности» находятся в одной определенной паре хромосом, получаем следующие схемы строения мужских и женских половых клеток-



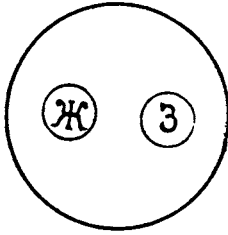
Ядро желтого отца

Ядро зеленой матери

(Значками (ж) и (з) обозначены «желтая» и «зеленая» хромосомы; остальные хромосомы, чтобы не загружать чертежа, не нарисованы вовсе).

¹⁾ Тот факт, что мальчиков все же рождается несколько (на 0,3 — 0,5 проц.) больше, чем девочек, повидимому, свидетельствует о том, что притяжение, испытываемое со стороны яйцеклетки «пустым» спермием с 23 хромосомами, несколько интенсивнее притяжения 24-хромосомного спермия. А это обстоятельство, как можно предполагать, зависит, в свою очередь, от различия электрического заряда 23- и 24-хромосомного спермия. Замечательные опыты по разъяснению этой загадки велись в последние месяцы проф. Н. К. Колцовым в Москве, и к этим опытам нам еще придется вернуться в ближайших «Обозрениях».

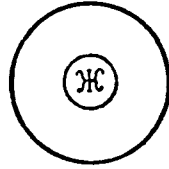
После оплодотворения и слияния клеточное ядро зародыша имеет вид:



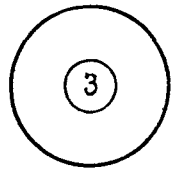
Ядра желтого потомства
1-го поколения

Зародыш развивается далее во взрослую особь, причем ее половые клетки начинают делиться пополам: одна «цветная» хромосома отходит в одну половинку клетки, другая — в другую. И каждый из полов в первом поколении оказывается тогда обладателем двух сортов половых клеток — в равном

количестве того и другого сорта.



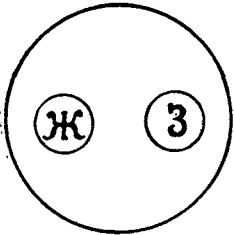
Один сорт ядер
половых клеток
1-го поколения.



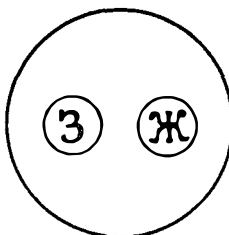
Другой сорт ядер
половых клеток
1-го поколения

Раз так, тогда при многочисленных скрещиваниях самих гибридов между собой будут наблюдаться четыре равновероятные возможности. Мужская клетка с «желтой» хромосомой может встретиться с «зеленой» женской клеткой, «зеленая» женская хромосома имеет возможность очутиться в одной паре с «желтой» мужской, «желтая» мужская может сочетаться с «желтой» женской и наконец «зеленая» хромосома одного родителя имеет шанс соединиться с «зеленой» другого.

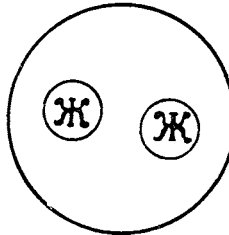
Ядра второго поколения.



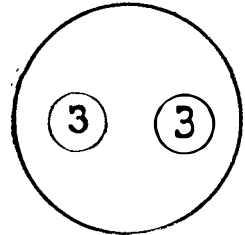
Вариант 1-й



Вариант 2-й



Вариант 3-й



Вариант 4-й

Вспоминая теперь, что ген желтого стручка гороха при встрече в зародышевой клетке с геном зеленого цвета «доминирует» над ним, то-есть дает в сумме желтый эффект, видим, что первые три варианта должны приводить к желтой и лишь четвертая — к зеленой окраске. Вероятность получения зеленого цвета во втором поколении оказывается в итоге в три раза меньше вероятности рождения желтых особей.

Число зеленых потомков во 2-м поколении должно относиться, другими словами, к числу желтых (при достаточном большом числе опытов), как 1 : 3! ¹⁾.

Аналогично получается при сочетании многих (желтый и высокий, зеленый и низкий горох) пар признаков.

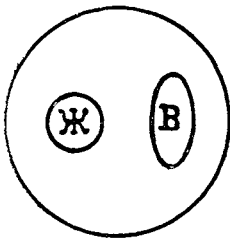
«Гены роста» заключены теперь в одной паре хромосом, а «гены цвета» — в другой.

шени белой и красной окрасок у «ночной красавицы» (смотри примечание на странице 212), возможные сочетания «цветных» хромосом во втором поколении будут:

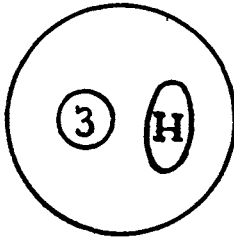
КК КБ БК ББ

(К — обозначает хромосому с «красным» геном, а Б — с «белым»). «Менделистическая формула» наследственности для второго поколения, в этом случае, следовательно, должна иметь вид: 1 : 2 : 1.

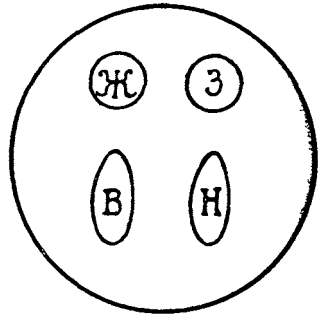
¹⁾ В случаях так-называемой «промежуточной наследственности», как например, при сме-



Ядро половой клетки желтого и высокого отца.



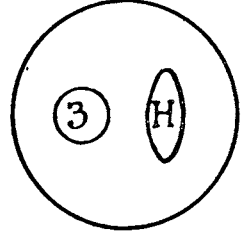
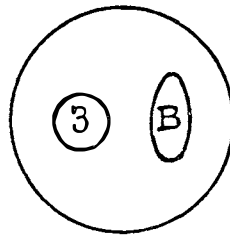
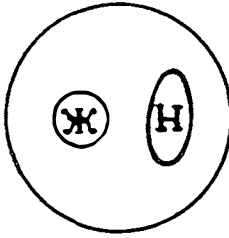
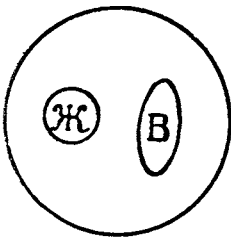
Ядро половой клетки зеленой и низкой матери.



Ядро зародыша¹⁾.

Учитывая затем, как всегда, что при делении хромосомы расходятся по «половинкам» ядра совершенно независимо друг от друга в каждой паре (то-есть имеется столько же шансов, что «зеленая» хромосома пойдет «налево», а

«желтая» — «направо», как и наоборот), — учтя это, выводим, что в первом поколении у обоих полов окажутся в равном количестве половые клетки четырех сортов:



И тогда, при спаривании гибридов, налицо 16 возможных и равновероятных вариантов сочетания четырех сор-

тов половых клеток по два в зародыше второго поколения.

Ж В з В
Ж В Ж н
Ж В з н
Ж В Ж В

з В Ж н
з В з н
з В Ж В
з В з В

Ж н з н
Ж н з В
Ж н Ж В
Ж н Ж н

з н Ж В
з н з В
з н Ж н
з н з н ²⁾

Девять из этих 16 комбинаций (подчеркнуты в таблице одной чертой) приведут, как ясно, к потомству с желтым цветом и высоким ростом, 3 — дадут желто-низкое, 3 — высокоросло-зеленое, и только одна комбинация (подчеркнута двумя чертами) создаст зеленое и низкое потомство.

В соответственном отношении расположатся и вероятности получения каждой комбинации, а значит, и числа потомков в урожае второго поколения: 9 : 3 : 3 : 1. Что и требовалось доказать!

В основе сочетания признаков — в

итоге — лежат сочетания хромосом. Пользуясь сравнением одного из крупнейших генетиков современности, Рихарда Гольдшмидта, можно сказать, что меха-

¹⁾ На рисунке выделены теперь две пары хромосом: «круглые», условно принятые за вместилище генов цветности, и «продолговатые», связанные с генами роста.

²⁾ Буквами «Ж», «В», «з» и «н» сокращенно обозначены хромосомы с соответствующими генами. Большие буквы при этом генам с преобладающим (так наз. «доминантным») действием, малые же буквы отвечают генам, чье действие уступает (так наз. «рецессивные гены»)...

низм наследственности расшифровывается в своей материальной основе, как механизм «вытряхивания двух мешков». Мешки набиты одинаковым ассортиментом мелких предметов разной формы и разного материала. Из обоих мешков вытряхивается наугад по одному предмету каждого наименования. Кучка вытряхнутых вещей собирается вместе.

Мешки — половые клетки отца и матери. Предметы — хромосомы.

Вытряхнутая кучка — зародыш. Регулируемые математической теорией вероятности законы сочетания предметов по принципу объективной случайности, — эти-то законы и суть законы наследственности...



Резиденция гена — хромосома. Но число хромосом в ядре клеток, как мы видели, невелико, достигая немногих десятков штук. Отдельных же наследственных признаков и соответствующих им генов — тысячи и десятки тысяч...

Значит, внутри каждой хромосомы упакован не один, а огромное количество генов. Значит, геном, то-есть элементарной частицей материи, обуславливающей наследственность, является не сама хромосома, а какая-то мельчайшая ее дробь. Значит, дорога к разгадке гена ведет внутрь хромосомы.

Первый и величайший в истории борьбы за живую матерню шаг по этой дороге сделал в 1911 году Томас Хант Морган.

5. Вглубь хромосомы

Вопрос был ясен. Если внутри одной и той же хромосомы заключено несколько генов, то среди многочисленных признаков, присущих каждой животной и растительной природе, должны быть такие, к которым уже не применимы законы Менделя, законы случайных сочетаний признаков во всех возможных комбинациях. Ведь в основе этих случайных комбинаций, мы помним, лежат случайные встречи разных

хромосом, «вытряхиваемых» из организмов отца и матери наугад — в клетку зародыша.

Теперь же речь пойдет о тех признаках, чьи гены упакованы в футляры одной хромосомы. Эти гены не могут быть уже, очевидно, разобщены и должны передаваться пачками из тела родителей в тело потомства. А это, в свою очередь, равносильно тому, что, кроме признаков, свободно комбинировующихся («отщепляющихся» и снова сочетающихся) в разных поколениях, — должны существовать и группы сцепленных между собой признаков. То есть признаков таких, которые наследуются всегда вместе, но никогда порознь...

Есть ли что-нибудь подобное в природе?

В марте 1911 года героем дня в генетике впервые становится упоминавшаяся уже плодовая мушка (латинское название: «дрозофила меланогастер»), чье исключительное удобство для опытов с наследственностью заключается, во-первых, в большом разнообразии ее пород и форм и, во-вторых, в необычайно быстром размножении. Одно поколение в две недели!

Проделав тысячи и десятки тысяч скрещиваний дрозофил, Морган обнаруживает, что признаки этой мухи в действительности наследуются всегда группами. Если передается например по наследству желтый цвет тела, то вместе с ним обязательно, как правило, наследуется белоглазость, короткость крыльев и пр.

Любой признак из одной группы может как угодно (следуя численным законам Менделя) сочетаться в позднейших поколениях с новым признаком группы другой. Но те же признаки в пределах одной и той же группы, повторяю, оказываются привязанными друг к другу, как гири на одной цепочке.

Всех таких групп у крылатых своих питомцев Морган нашел четыре. Но число пар хромосом в ядре клеток дрозофилы под микроскопом тоже четыре! Значит, четыре ассортимента генов действительно упакованы здесь в футлярах

четырёх штук¹⁾ хромосом и вместе с каждой из них переходят неразлучно из поколения в поколение.

Но одна из четырёх пар хромосом у мушки-дрозофилы, а именно икс-игрек-пара, является, как мы припоминаем, парой, определяющей признак пола. И если в частности «ген женского пола» действительно упакован внутри икс-хромосомы, то одна из четырёх, открытых Морганом, групп должна быть сцеплена с женским полом. То-есть группа эта должна переходить по наследству только к самкам и никогда к самцам. Но одна такая группа (в составе ста с лишним признаков) и проявляется фактически, как показали опыты, только у женских экземпляров дрозофилы.

Точный адрес одной группы генов — икс-хромосома — найден. Все концы сошлись с концами.

Остаются еще три группы. Две из них, как выяснилось окончательно к 1925 году, насчитывают примерно по столько же генов, сколько и группа, связанная с икс-хромосомой: от ста до двухсот штук. Третья же (или четвертая по принятой классификации) группа включает не более десятка признаков.

Остается посмотреть в микроскоп. Из четырёх пар дрозофиловых хромосом на три пары почти одинаковой длины приходится одна пара исключительно крошечных размеров.

Великое открытие. Раз количество генов в разных группах примерно пропорционально длине разных хромосом, и раз коротким хромосомам соответствует меньший набор генов, раз дело обстоит так, это может означать только одно: гены «сидят» внутри хромосомы не как попало, но расположены цепочкой, друг за другом — в длину, подобно кускам мяса на вертеле или подобно бусам на шнурке — по выражению Моргана...

Но это было не всё.

В те сумрачные дни, когда массы людей в металлических шлемах, зарывшись в ржавую землю Фландрии, несли тя-

желую ношу войны, как-раз в эти дни гарвардский мудрец¹⁾ пристально всматривался в гекатомбы своих мушек...

Среди тысяч сухих трупиков, безмолвными фалангами выстроившихся за зеркальными стеклами инсектариев, несколько немногочисленных экземпляров являли странную и замечательную картину.

Четыре группы признаков, четыре группы генов, четыре пары хромосом, — сказали мы, — имеет мушка, называемая дрозобилой, и признаки каждой группы должны наследоваться только вместе и никогда порознь. В сцеплении друг с другом переходят в частности: пятно на брюшке, белый цвет глаз, черный цвет тела, раздвоенные крылья, жилки на крыле, щетинки в форме вилки... Гены всех этих признаков заключены внутри одной и той же (икс) хромосомы, и этим как будто сказано всё...

Но вот в одном из поколений Морган замечает мушку с белыми глазами, но не с раздвоенными, а с изогнутыми крыльями. Изогнутыми же крыльями (чей ген упакован в хромосоме № 2 вместе с геном пурпурового цвета глаз, пятном на груди, полосой на спине и т. д.), этой форме крыльев полагалось бы наследоваться вместе с пурпуровыми глазами, пятном на груди, полосой на спине и пр., и пр.

Признаки (и гены) явно перепутались местами.

И так почти в каждом ряду поколений — по несколько, правда редких, странных, непостижимых случаев. Загадка. И вот единственный мыслимый ответ на нее.

Если наследственность мушек иной раз «перепутывается» таким образом, что некоторые признаки оказываются попавшими в «чужую» группу, — это может означать только то, что и соответствующие хромосомы оказываются как им-то образом перепутанными в родительских половых клетках.

Но как может это произойти? Геннально-смелая гипотеза, выставленная

¹⁾ В половой клетке.

¹⁾ Морган — питомец и профессор известного университета в Гарварде (США).

в эти (1914—1924) годы Морганом, отвечала так:

Объем клеточного ядра ничтожно мал. Хромосомам там почти что «негде повернуться». И в известный нам уже период деления половых клеток и расхождения хромосом по половинкам ядра вполне возможны случаи, когда движущиеся и переплетающиеся друг с другом хромосомы, сталкиваясь, разламываются на куски так, что верхний, скажем, конец одной хромосомы оказывается прицепившимся к нижнему отрезку другой, и наоборот... Генное зерно (или несколько зерен) из «своей» хромосомы попадает тогда в «чужую». Признак одной группы — в последующем потомстве — припутывается, в свою очередь, к группе другой. Происходит то, что называется кроссинговер¹⁾.

Вот этот, замечательнейший в истории науки о живой материи, прогноз, оправдавшись — как мы сейчас увидим — на опыте, и мог быть справедливо поставлен на один уровень только с такими событиями, как разработка модели строения атома Н. Бором или как проверка кольцевого строения молекулы бензола, нарисованного в свое время Кекуле и Бутлеровым на острие пера...

Модель атома датчанина Бора дает примерную картину расстановки электронов внутри атомов и позволяет подсчитать их расстояния от атомного ядра.

Открытие великого американца с таким же успехом позволило наметить расстановку генов внутри каждой хромосомы, и не только наметить, но и

¹⁾ Крылатое motto «Crossing-over» (буквально: «перекрест» — перекрест хромосом и перекрест признаков), брошенное в науку Морганом, давно уже вошло во все культурные языки мира и не требует более перевода.

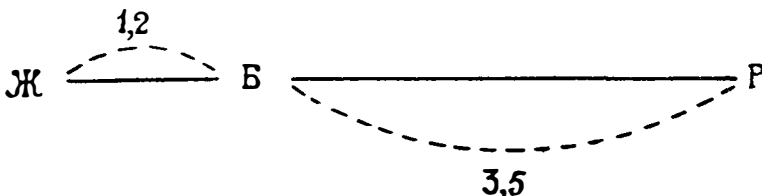
измерить сравнительные расстояния между ними.

Дело обстояло именно так. Чем ближе друг к другу расположены два каких-нибудь гена вдоль оси хромосомы, тем реже должно, очевидно, наблюдаться явление раздельного наследования соответствующих признаков. Ведь для того, чтобы при столкновении двух хромосом один ген, принадлежащий одной хромосоме, мог оказаться «отломанным» от другого, находящегося в той же самой хромосоме гена, надо, чтобы линия разлома прошла во всяком случае между местами нахождения обоих генов. И, с другой стороны, если эти гены находятся очень близко друг к другу, то гораздо больше шансов, что они окажутся в одном и том же, нежели в разных обломках хромосомы.

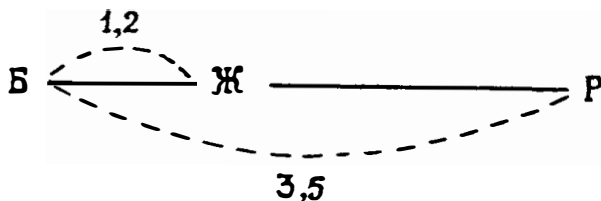
Для примера рассмотрим три мушиных признака: желтизна крыльев, белый цвет глаз и раздвоенность крыльев. Все три признака — в одной группе. Все три гена — в одной и той же (икс) хромосоме. Кроссинговер между желтыми крыльями и белыми глазами (то есть наследование белоглазия без наследования желтизны крыльев, и наоборот) встречается, как показала статистика десятков тысяч опытов Моргана, в 1,2% случаев. Кроссинговер же между белыми глазами и раздвоенными крыльями — в 3,5% случаев.

Ген желтых крыльев расположен, таким образом, вдоль оси икс-хромосомы почти в три раза ближе к гену белых глаз, чем ген белых глаз отстоит от гена раздвоенных крыльев. Но, спрашивается в таком случае, по какую сторону от гена белоглазия находится ген раздвоенных крыльев?

Расположены ли, другими словами, все три гена так:



или так:



(точки Ж, Б и Р обозначают — соответственно — местоположение генов: желтого цвета крыльев, белого цвета глаз, раздвоенной формы крыльев).

Пробным камнем для выбора между обоими этими вариантами должно было явиться исследование кроссинговера между желтыми и раздвоенными крыльями. Если верен вариант первый, то-есть ген «Ж» стоит от гена «Р» еще дальше, чем «Б» от «Р», тогда разрыв сцепления между признаками желтого цвета и раздвоенной формы крыльев будет наблюдаться еще чаще, чем кроссинговер белых глаз и раздвоенных крыльев...

В частности: так как, по первому варианту, длина ЖР равна $1,2 + 3,5 = 4,7$ условных единиц, то и кроссинговер между признаками «Ж» и «Р» должен наблюдаться тут в среднем в 4,7 процента случаев.

По второму же варианту длина ЖР $= 3,5 - 1,2 = 2,3$, и ожидаемый процент кроссинговера оказывается равен 2,3 процента.

Контрольный опыт был поставлен и привел к цифре 4,7! 4,7 процента мух, полученных при тысячах разнообразных скрещиваний, с точностью до одной десятой доли процента дали искомый эффект разрыва между признаками желтого цвета и раздвоенной формы крыльев...

Правильным оказался вариант первый. И точность количественного прогноза, точность предсказания тонкой игры наследственности на основе проникновения вглубь строения хромосомы, эта точность могла быть поставлена в сравнение с вычислениями, скажем, тончайшего расщепления спектральных линий, произво-

димыми физикой на основе строения атома.

... Новые тысячи опытов, новые гекатомбы мушиных трупов, и Моргану, и энергичной кучке славных его учеников: Стуртеванту, Бриджесу, Добржанскому, Пайнтеру, Мёллеру удастся вскоре разметить приблизительное местоположение свыше чем 400 известных генов плодовой мушки вдоль всех четырех ее хромосом. Аналогичная работа производится (хотя и с гораздо меньшей точностью) для генов кукурузы.

... Первые чертежи строения хромосомы составлены. Путь, как и в атомной физике, залег глубоко внутрь вещества. И хотя качество субстрата там (в атоме) и здесь (в хромосоме) неодинаково — основная диалектическая линия познания совпадает и там, и здесь... После победного проникновения вглубь материи переделка ее изнутри.

6. Генри Меллер начинает бомбардировку

Перетасовка генов между хромосомами, — сказали мы, — происходит время от времени сама собою в результате переплетения и разломов хромосом в узком ядерном пространстве клетки. Последствия такой перетасовки известны: внезапное появление новой породы с новым, выпадающим из Менделевского наследственного ряда, сочетанием признаков, — кроссинговер.

Кроссинговер, то-есть самопроизвольные перекручивания и разломы хромосом, в естественных условиях наблюдаются однако редко. Они разыгрываются к тому же как игра об'ектив-

ных случайностей, они находятся вне контроля и зависимости от воли человека... Но что может помешать воспроизвести любой кроссинговер искусственно? Что может помешать вторгнуться внутрь ядра с тем, чтобы, дробя хромосому на мельчайшие куски, собирать затем заново эти куски?... Собирать, получая по заранее выработанному плану новые формы живых существ...

Таких помех, очевидно, нет и быть не может. Пользуясь бомбардировкой быстрыми и массивными частицами, физики давно уже, как мы знаем, приобрели незаурядный «артиллерийский» опыт по расщеплению и перестройке таких миниатюрных мишеней, как атом и атомное ядро. Хромосома же, как никак, в десять тысяч раз (по диаметру) крупнее атома.

Настала, следовательно, пора вручить наш испытанный арсенал, наши протонные, нейтронные, рентгеновые и гамма-пушки нашим друзьям генетикам... Настал исторический момент решающей координации сил физики и биологии для объединения штурма недр живой материи.

Этот момент настал. И 23 апреля 1927 года, в первый раз в истории науки, любимый ученик Моргана, доктор Генри Мёллер, направляет на мушку дрозофилу «сосредоточенный» рентгенов луч.



Недели проходят в ожидании публикации Меллера. Она появляется наконец, эта публикация ¹⁾, и белая книжечка журнала «Сайнс» переходит с волнением из рук в руки. Надежды превзойдены результатом.

Фотографии и (зарисованные под микроскопом) рисунки клеточных ядер потомства облученных мух, полученные Мёллером скоро после появления его исторической статьи, говорят красноречивее слов. Разломанные, перевернутые, перемешанные хромосомы... Спек-

такль был ясен. Пронизывая насквозь родительские половые клетки, быстрые и массивные частицы (фотоны), из которых состоят рентгеновы лучи, ломали, дробили на своем пути хромосомы, и вот эта «каша» перевернутых (вверх дном клеточных ядер, будучи вложена в фундамент зародыша, и оказывалась в точности воспроизведенной в клетках взрослого потомства. Это потомство рождалось впрочем более или менее жизнеспособным лишь при скрещивании облученного самца с необлученной самкой, и наоборот. При бомбардировке же рентгеновыми лучами обоих родителей чаще всего развитие зародыша не происходит вовсе или приводит быстро к его гибели. Строение зародышевого вещества нарушается тут слишком сильно. При рентгенизации же одного из родителей строительный материал зародыша оказывается «испорченным» лишь наполовину, и из оплодотворенных яиц сплошь и рядом развиваются живые, удивительные монстры.

Их разгадка тут же, под микроскопом...

Рядом с отцовскими хромосомами обычной формы (если рентгенизации подвергалась мать) наблюдатель видит изуродованные материнские хромосомы. Одни из них укорочены, причем отломанный кусок прилип к другой хромосоме. У других оторванный конец утрачен вовсе... Целая цепочка материнских генов, следовательно, либо отсутствует в теле потомства полностью, либо оказывается заброшенной «не в ту хромосому».

И — в общем итоге — резко изменяется не только внешность потомства, но нарушается и вся их наследственность в дальнейших поколениях.

Эту наследственность можно тщательно проследить и (пользуясь законом Менделя и кроссинговером) узнать: какие именно гены содержатся в утраченном или переместившемся хромосомном куске?

С другой стороны, посмотрев в микроскоп, можно прямо измерить длину отломанного куска. Карты сравнительных расстояний между генами могут быть проверены, в итоге, непосредствен-

¹⁾ «Science». 66. 1927.

ным промером длины разрушенных рентгеном хромосомных обломков.

Генеральная проверка эта была проведена американцами в 1930—33 гг. Она привела в общем к изумительному совпадению косвенных предсказаний кроссинговера с данными микроскопии¹⁾.

Новые открытия оставались впереди.

Изучая картины разрушений, причиняемых рентгеном в ядрах мушинных клеток, Генри Мёллер останавливает свое внимание на странном эффекте...

Вывранный лучами кусок хромосомы иногда оказывается случайно прилипшим снова к «своей» хромосоме, но не в том месте, где он нормально находился раньше, а в другом... Иногда же обломок возвращается на свое прежнее место, но в перевернутом «кверху ногами» положении. Эта хирургическая операция должна конечно сказаться на сравнительной частоте кроссинговеров (так как все расстояния между генами оказываются сбитыми наново). Но операция эта, казалось бы, никак не может повлиять на внешний вид промадного большинства мух в первом и в следующих поколениях... Ведь в самом количестве генов ровно ничего не меняется тут. Часть из них выстроилась лишь в другом порядке. Так стайка птиц, сидящих на телеграфном проводе, остается прежней стайкой и после того, как некоторые птицы перелетели с одного места проволоки на другое.

Казалось бы так. Но на деле совсем иначе. Мельчайшая перетасовка кусков в пределах одной хромосомы оказывается уже достаточной для того, чтобы наложить печать на потомство. Непредвиденным образом меняются цвет, форма, размеры, очертания... Некоторые особи рождаются мертвыми, другие бесплодными... Замечательный эффект. Раз телесные признаки изменяются от простой перетасовки генов внутри одной хро-

мосомы, это означает, что каждый признак формируется в результате действия не одного, а сразу всех генов. Ведь все они были и остались в полном своем комплекте. Что же изменилось? Изменилось взаимодействие между генами.

Так, перетасовка одного-двух атомов в пространстве внутри молекулы, меняя количественное взаимодействие между атомами, является достаточной, чтобы изменить качество вещества.

В химии этот основной диалектический закон именуется «изомерия». В генетике—«эффект положения» (position effect)...

И, наконец последний шаг.

У определенной серии бомбардированных Мёллером мух отсутствовали вообще какие бы то ни было изменения в хромосомном наборе. Рентген, казалось, пощадил их. Но необычайные изменения наступали и в их потомстве.

Опять новые, внезапно появляющиеся признаки. Среди потомства, скажем, двух мух из чистой розовоглазой породы оказывались налицо особи с белыми глазами. Откуда бы им взяться? Ничто не нарушено по внешности в хромосомах. Ни один ген не сдвинут с места. Дело идет, следовательно, теперь о воздействии рентгена на внутреннее строение самих генов. Речь идет о превращении одного гена в другой. О так называемых мутациях. Мутации, то есть внезапное появление новых генов, новых животных и растительных пород, наблюдаются, как известно, и в естественных условиях. Их наблюдал знаменитый де-Фриз. С ними сталкиваются практики-животноводы. Одну мутацию примерно на каждые 100.000 рождений мух отмечает аккуратно в своих записях Морган.

Ключ к мутации— внутри гена. Все нити ведут к гену.

Но сам ген еще невидимка...

В самом коротком из поддающихся различению под микроскопом кусков хромосомы содержится, как показали работы Меллера, не меньше 10—15 генов. Анализ хромосомных карт дрозофилы, с другой стороны, показывает, что

¹⁾ Обнаруживавшиеся в некоторых случаях несоответствия расстояний между генами на реальных хромосомах по сравнению с картами Моргана объясняются, повидимому, различной прочностью (различной сопротивляемостью на разлом) вещества хромосомы в разных ее участках.

кратчайшее расстояние между двумя соседними генами составляет примерно $\frac{1}{7.500}$ длины всех четырех карт.

Но соединенная длина четырех реальных хромосом в половых клетках дрозофилы не превышает 0,0005 сантиметра. Верхняя граница для линейных размеров одного гена вычисляется отсюда: 0,0000007 сантиметра. Это находится, к сожалению, далеко за пределами возможностей микроскопа (0,00002 см).

Значит, нечего и надеяться увидеть и отщепить один ген? Нет безвыходных положений для материалистического естествознания! Нет крепостей, которых не могло бы оно взять. И эта крепость берется с бою в перживаемый исторический момент.

7. Находка гена

Поздней осенью 1931 года Генри Меллер с несколькими сотнями мух в багаже переплывает Атлантику и становится во главе «отдела мутаций» при Ленинградском (теперь Московском) институте генетики Академии наук СССР.

Страна воинствующего материализма принимает в свои ряды передовых людей международного научного фронта. В добрый час! Генри Мёллер — наш гость и друг, — мы жмем ему руку!

В сотрудничестве с одной из тех, кого выдвинул в науку Октябрь, в сотрудничестве с Александрой Алексеевной Прокофьевой, пользуясь базой советской лабораторной техники, американский ученый доводит поиски гена до конца.



Уже несколько ранее ряд исследователей и среди них коллега Мёллера по Техасскому университету, Томас С. Пайнтер, обращает внимание на тот странный факт, что клетки слюнных желез насекомых содержат в себе набор хромосом необыкновенно больших раз-

меров. Достаточно сказать, что в слюнной железе обыкновенного комара каждая хромосома почти в 100 раз длиннее и примерно во столько же раз толще по сравнению с хромосомами других комариных клеток. То же — у мухи дрозофилы. Но если увеличено целое, то увеличены и его части. В слюнных хромосомах-гигантах должны быть упакованы и гиганты-гены. Гены эти, как показывает ориентировочный подсчет, должны приближаться уже к границе видимости в микроскопе, хотя, может быть, и не достигать ее...

И Генри Мёллер раздвигает эту границу. Советская оптика подсказывает ему решение. Предел увеличения, даваемого микроскопом, кладется, как известно, длиной световой волны. Если размеры рассматриваемого предмета значительно короче световой волны, она просто перекачивается через предмет, не изменяя своего хода. Самый коротковолновый из лучей видимого света имеет длину волны, равную 0,00004 сантиметра. Луч фиолетовый. Дальше идут невидимые уже глазом, но сильно действующие зато на фотографическую пластинку ультрафиолетовые волны с длиной до 0,000005 см. Освещая поле зрения микроскопа ультрафиолетовыми лучами и фиксируя получающееся изображение на фотопластинке, и можно раздвинуть увеличительные возможности микроскопа от 4 до 10 раз...

Рассчитанный на ультрафиолетовые лучи микроскоп должен быть снабжен однако не стеклянными, а кварцевыми линзами. Стекло поглощает большую часть ультрафиолетового света, а кварц прозрачен для него. Одним из первых в мире государственный оптический институт в Ленинграде осваивает кварцевую микрооптику, и Мёллер и Прокофьева без задержек получают ее.

В тот момент, когда пишутся эти строки, первые ультрафиолетовые микрофотографии проявлены уже исследователями.

Важное зрелище ожидало их.

Казавшаяся ранее сплошной и однородной лента каждой слюнной хромосомы оказалась теперь сотканной из мно-

жества цилиндриков («дисков»), словно нанизанных на одну нитку.

Предсказанная теоретически Морганом «цепочка бус» была воочию перед глазами наблюдателей! Но это было не всё.

При более пристальном рассмотрении каждый цилиндрик вырисовался на фото не сплошным, а состоящим из пучка продольных волокон, уложенных вдоль оси хромосомы, наподобие папирос в портсигаре...

Сходную картину, почти одновременно с Мёллером и Прокофьевой, описывает д-р Кальвин Бриджес¹⁾ (ближайший сотрудник Т. Х. Моргана, работающий в Калифорнийском технологическом институте и в лабораториях Карнеги в штате Нью-Йорк). Привлекая другое образное сравнение, Бриджес уподобляет хромосому «электрическому кабелю, состоящему из пучка отдельных жил-проводов».

Наконец, столь же филигранно-тонкое, дающее, может быть, наиболее точное описание всего того, что можно «выжать» из микроскопии хромосомы, дает в самые последние дни наш выдающийся био-физико-химик проф. Н. К. Кольцов в исследованиях, проведенных в Институте экспериментальной биологии при НКЗ РСФСР.

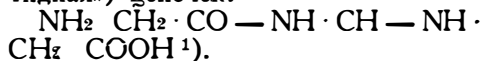
Н. К. Кольцов (работающий, в отличие от Прокофьевой, Мёллера и Бриджеса, с клетками слюнных желез не мухи дрозофилы, а комара) не только подсчитывает число отдельных продольных жилок или волокон — их 16 в каждой хромосоме, — но и различает зернистое строение внутри самих волокон. Каждое такое волокно, называемое Н. К. Кольцовым «генономой» («генной нитью»), не поддаваясь окрашиванию в своей основной толще, оказывается включающей в себя резко окрашиваемые зерна, именуемые «хромолями» (или «хромомерами»). Зерна эти, будучи расположены на малых расстояниях друг от друга, рядом, во всех генонах, и сливаются для глаза в сплошные полосы («цилин-

дрыки» или «диски»), исчерчивающее хромосому поперек ее.

Толщина каждой из «геноном» — по измерениям Бриджеса, Мёллера и Кольцова — приблизительно равна толщине одной белковой молекулы. Сами же генономы расшифровываются в таком случае как вереницы из отдельных белковых молекул, связанных, наподобие сосисок на шнурке, в один линейный ряд!

Химия белковых соединений учит нас, на самом деле, что частицы многих из этих веществ отличаются не только гигантскими (в 1000 и больше раз превосходящими другие молекулы) размерами, но имеют сильно вытянутую форму. Так, в частности, построены молекулы так называемых «аминокислот», представляющие особую цепочки из многих десятков штук атомов, выстроившихся вдоль одной прямой.

Вот для примера одна из таких («пептидная») цепочек:



Длина её — около 0,00000003 сантиметра. Поперечник же одного хромиольного зерна (равно как и расстояние между двумя соседними зёрнами на «генономе») — 0,000002 сантиметра. 0,000002 см. примерно в 70 раз больше, чем 0,00000003 см. Отсюда можно предположить, что отдельные структурные части хромосомы представляют собою не что иное, как цепочки из 70 — 80 штук аминокислотных молекул, вытянувшихся звено за звеном в одну прямую линию...

Углубление внутрь живой материи достигло рубежа молекулы. Поиски гена приблизились одновременно к своему историческому концу.

Уже д-ру Пайнтеру в работах 1934 г. удалось уточнить местоположение 18 определенных генов дрозофилы, «прикрепив» эти гены к 18 определенным поперечным «бусинам» (цилиндрикам или «дискам») соответственных хромосом.

¹⁾ Буквы N, H, C и O обозначают соответственно: атомы азота, водорода, углерода и кислорода.

¹⁾ «Science News Letter», 1934.

Но вот сами эти «бусины», как мы только что видели, оказываются расчленены теперь Мёллером и Прокофьевой, Бриджесом и Кольцовым на «продольные жилки». И, повидимому, уже не остается более сомнений, что каждая из этих жилок является футляром для одного гена.

Спор идет пока лишь о том: тождественны ли гены с окрашиваемыми зернами, или же они (гены) локализируются в бесцветной части хромосом между зернами...

И в том, и в другом случае на долю одного гена приходится цепочка, составленная не более чем из сотни белковых молекул, нанизанных вдоль оси хромосомы.

Дробя живую материю на всё более и более мелкие зерна с тем, чтобы докопаться наконец до гена, биология после десятилетий героической работы держит, как видим, в своих руках невидимку. Вот он, ген!

И эта крупинка, это зернышко, этот таинственный ген биологов — при ближайшем рассмотрении — оказывается старой знакомой молекулой физиков и химиков.

Пути физико-химии и биологии закономерно скрестились в глубоких недрах материи, скрестились, как отмечалось в самом начале и как это гениально предвидел Энгель 60 лет назад...

И сущность гена, в итоге всех итогов, близится к разъяснению в том смысле, в каком ее давно уже расшифровывал ряд исследователей, и в том числе проф. Н. К. Кольцов. А именно: индивидуальность гена есть, в конечном счете, индивидуальность строения белковой молекулы. То-есть, нарочито приближенно говоря, разные гены суть молекулы (или фрагменты более крупных атомных «решеток») с разными «узорами», разными пространственными сочетаниями атомов...

Если 1.000, скажем, штук атомов внутри определенного звена цепочки молекул в хромосоме расставлены в одном шахматном поряд-

ке, получается, для примера, одна форма носа. При изменении же расстановки тех же атомов (а также при выпадении или прибавлении к «узору» новых атомов) — другая форма...

Гениальное открытие Мёллером возможности превращать один ген в другой путем бомбардировки хромосом рентгеновыми лучами дает прямое подтверждение сказанному. Действительно, как знают физики, действие рентгеновых лучей на всякую материю заключается в том, что эти лучи, отрывая электроны из оболочки атомов, приводят к выпадению или к перегруппировке отдельных атомов, превращая одну молекулу в другую. На языке генетиков тот же факт звучит, как превращение одного гена в другой.

Ближайшей задачей генетиков, — задачей, которую они смогут выполнить только в теснейшем сотрудничестве с физиками и химиками, — является, следовательно, выяснение химической формулы каждого гена. Сколько атомов и каких именно и в каком взаимном порядке образует тот или иной ген?

Все эти соображения, — повторяем, — не означают, что с предстоящим вскоре окончанием работ по выяснению физико-химической природы гена весь процесс передачи наследственности от родителей к потомству окажется узнанным до конца.

Действительно, после того, как определенный набор отцовских и материнских генов оказывается вложенным в фундамент зародыша, требуется еще разъяснить: каким же образом эти гены влияют на развитие зародыша в направлении тех, а не иных признаков. Сам Морган давно и очень четко внес ясность в это положение.

«Процесс выявления генов в зародышевой плазме весьма отличается от процесса изучения влияния этих факторов на развитие организма. Нет оправдания для смешения этих двух проблем»¹⁾.

¹⁾ Т. Х. Морган. Структурные основы наследственности. Перев. под ред. В. Н. Лебедева. ГИЗ. 1923.

И в другой книге:

«Общераспространена иллюзия, что каждый признак является результатом действия одного только гена... Изучение эмбриологии (часть биологии, занимающаяся строением и развитием зародышей. — В. Л.), напротив, показало, что каждый орган тела является конечным результатом и завершением длинного ряда процессов... То, что мы видим, есть конечный эффект, а не тот момент, в который этот эффект совершается. Все гены принимают участие в формировании каждого органа тела. Это может означать только то, что все они производят какие-то химические вещества, необходимые для нормального хода развития. Если теперь один ген изменился так, что он производит некоторые вещества, отличные от тех, которые производил раньше, конечный результат может быть задет ими. И если это изменение коснется преимущественно одного органа, то сможет показаться, что один ген сам по себе произвел этот эффект. В строго причинном смысле это верно, но в действительности этот эффект производится только в связи со всеми другими гена-

ми. Другими словами, все они, как и раньше, принимают участие в создании конечного эффекта, который стал теперь иным лишь постольку, поскольку один из них стал иным...¹⁾).

Проблема гена оказывается, таким образом, сложнее, чем ее представляют механисты и упрощенцы.

Но основной факт остается фактом.

Если жизнь в целом — возвращаясь к словам Энгельса — есть особая форма существования белковой молекулы, то и наследственность жизни расшифровывается закономерно, как эстафета этих, особого качества молекул, передаваемых из организма в организм в течение миллионов лет, — до тех пор, пока не исчезнет последнее живое существо на планете!

В этом открытии — основной результат героического рейда, совершенного сейчас биологией в союзе с физикой в глубокие недра живой материи.

Приветствуем этот союз!

¹⁾ Thomas Hunt Morgan. Theorie of Gene. Русск. перев. под редакцией Ю. А. Филиппенко. Изд. «Сеятель». 1927. Стр. 273.

Литература и искусство

1. А. ЛЕБЕДЕВ, М. ЛИСЕНКО — Художник Ф. К. Лехт. 2. Е. МЕЛИКАДЗЕ — Густав Курбь. 3. Е. В. ЖУРАВЛЕВА — Выставка Б. Н. Яковлева. 4. Письма Стендаля о литературе

1. ХУДОЖНИК Ф. К. ЛЕХТ

А. Лебедев, М. Лисенко

Фридрих Карлович Лехт родился в 1887 г. в г. Тарту (б. Юрьев) в семье бедного эстонского садовника. Отец будущего художника вскоре после рождения сына переехал на службу в Псковскую губернию, в одно имение. Склонность к искусству пробудилась у Лехта еще здесь, в этом помещичьем имении. Первыми пособиями для рисования служили иллюстрированные журналы по садоводству, выписываемые отцом. Мальчик старательно и упорно перерисовывал почти все находящиеся там картинки. Однако это уже скоро перестало его удовлетворять, и он зарисовывал самые разнообразные предметы и явления окружавшей его обстановки прямо с натуры. «Рисование было моим самым сильным желанием» — пишет Лехт в своих воспоминаниях. Часто за недостатком бумаги он брал уголь и рисовал прямо на белых стенах оранжереи.

Спустя несколько лет службы в имении отец переезжает в поисках новой работы в г. Порхов. Это дает Лехту возможность поступить в 1897 г. в трехклассную школу. Отец работает в Порхове поденно маляром и стекольщиком, а через год снова находит место садовника и уезжает из города, оставив сына заканчивать школу. В 1900 г. в поисках работы вся семья переезжает в Петербург. Здесь для будущего художника

начинается самостоятельная жизнь, полная лишений и постоянной борьбы за кусок хлеба. В Петербурге Лехт проходит тяжелую двухгодичную школу рабочего подростка в садоводстве Эйлера. Жестоко эксплуатируемый, работая за ничтожную плату по одиннадцати часам в день и не имея даже свободных воскресных дней, Лехт был вынужден почти забросить рисование. Но неотступное тяготение к искусству заставляет его искать себе такую работу, которая давала бы возможность заниматься рисованием. Наконец в 1902 г. он поступает в качестве ученика в фотографию Оцупа. Работа у фотографа дает ему возможность посещать два раза в неделю вечернюю нормальную школу при училище Штиглица. Вечерняя нормальная школа давала подготовку для поступления в среднюю художественную школу. Уже здесь проявились способности будущего художника: он быстро выдвинулся в число первых учеников, несмотря на то, что имел возможность ходить на занятия довольно редко. Фотограф Оцуп оценил способности мальчика по-своему: рассчитав лаборанта, он взвалил всю работу последнего на Лехта. А вскоре, придравшись к какому-то ничтожному проступку мальчика, Оцуп запретил ему вообще посещать рисовальную школу. Таким образом, проработав около 8 месяцев в фотогра-

фии, Лехт, не желая оставить искусство, снова был вынужден броситься на поиски работы. Существовая впроголодь на случайные заработки, он не пропускал теперь ни одного занятия в школе. После длительных поисков работы Лехт поступает учеником к рисовальщику и резчику по дереву — Абрамову. Нужны были исключительная сила воли и громадный интерес к искусству, чтобы не быть сломанным этими тяжелыми жизненными условиями и не бросить рисования. Новая работа дает Лехту возможность в 1904 г. перейти сразу во второй класс школы Общества поощрения художеств. Имея большое тяготение к живописи, Лехт однако вынужден был избрать скульптурный класс, так как работа у Абрамова давала ему возможность уделять для занятий вечера. В школе же вечером занимались только по скульптуре. Но, несмотря на это, Лехт, хотя и изредка, старался посещать занятия по рисунку пером у Афанасьева и по пейзажу у Писемского, а затем у Рылова, оставившего заметный отпечаток на творчестве Лехта. Скульптуре обучался у Баха и у Андриолетти. За время пребывания в школе Лехт много работает над лепкой с натуры. Но его не удовлетворяют школьные программы, и он просит дать задание для свободной творческой композиции. Ему дают тему «Каин и Авель». Эта тема кажется Лехту настолько далекой и ненужной, что он оставляет ее без внимания. Вскоре он получает вторую тему — «Труд», которая привлекла его внимание и получила творческое оформление. Эта первая самостоятельная работа Лехта является одной из самых интересных скульптур его раннего периода. Лехт, так рано испытавший всю тяжесть непосильной работы, стремился в скульптурном эскизе «Труд» (1906 г.) аллегорически выразить свое понимание этой темы. Три подобнаженные фигуры тянут огромный камень, лежащий на бревнах. Непосильный груз заставляет людей напрячь все мышцы тела. Две первые фигуры нагнулись вперед, они надрываются от тяжести груза и падают от усталости. Третья, задняя фигура еще пытается



Художник Ф. К. Лехт

преодолеть тяжесть: прочно укрепившись ногами, она тянет изо всех сил тросс. От всей группы веет безнадежностью и тоской. Здесь нет ни нотки радости, ни нотки веры в будущее, здесь нет и активного желания борьбы. Печать покорности лежит на всем. Художник передал прекрасно напряженное движение группы — контрастом стремительно наклонившихся, согнувшихся фигур и подчеркнутой тяжести камня. В скульптуре в обобщенной форме художник передает образ реальной действительности в том ее виде, в каком эта окружающая действительность ему представлялась. Эта работа была выставлена на отчетной выставке в Школе поощрения художеств и приобретена известным коллекционером Боткиным.

В 1909 г. Лехт кончает школу Общества поощрения художеств и держит конкурсные экзамены в Академию художеств. Он поступает в академию по классу скульптуры. Первые 1½ года Лехт работает над композицией барельефа под руководством Залемана. Залеман, будучи типичным представителем академического искусства, давал Лехту темы исключительно из библии

и мифологии. На экзаменах Лехту была задана тема барельефа: «На реках вавилонских сидели мы и плакали». В основном академически разрешая эту тему, Лехт попытался ввести в нее реалистические элементы. Пейзаж, служивший фоном разворачивающегося действия, был разрешен реалистически. От Залемана Лехт переходит под руководство Беклемишева и занимается круглой скульптурой. За время пребывания в Академии художеств Лехт дает целый ряд самостоятельных работ, которые он делал обыкновенно, не пользуясь натурой. Все скульптуры этого периода («Футбол» — 1911 г., «Толстой», «Памятник Танскому» — 1912 г., «Римлянка» и др.) несут в себе типичные академические черты. В 1913 г. Лехт получает похвалу от совета академии за исполненный с натуры этюд «Старика-пастуха». В 1914 г. Лехт кончает академию и сдает свою дипломную работу «Похищение сабинянки», свидетельствующую о полученной художником большой академической культуре. Интересно, что эту работу Лехт лепил главным образом на основе прекрасного знания анатомии, почти не пользуясь натурой. В «Похищении сабинянки» должна быть отмечена свойственная многим работам Лехта динамичность, стремительность, передаваемая художником на академическом языке. Следует отметить прекрасный, четкий рисунок скульптурных форм. Работа как бы подводит итог академической учебы Лехта.

С самого начала империалистической войны Лехт мобилизуется чертежником на авиационный завод, где он и работает до 1918 г. Работая на заводе, Лехт в то небольшое свободное время, которое оставалось от службы, занимался живописью. Занятия живописью были для него до 1914 г. случайными, хотя он еще с 1909 г. выставляет свои пейзажи на «осенних выставках» в Пассаже. С 1914 г. живопись становится для Лехта ведущим видом искусства, и он почти все свое свободное время отдает ей, выставляя свои работы на выставках «Общины художников».

В пейзажах этого периода особенно сильно чувствуется влияние Левитана.

На пейзажах Лехта лежит печать своеобразной левитановской грустной лиричности. В период империалистической войны пейзажи Левитана с их пессимизмом и меланхолией были особенно созвучны настроениям некоторого слоя русской интеллигенции, стремившегося уйти от острых социальных вопросов в своеобразное созерцание природы. Мы видели еще в ранних лехтовских работах («Труд»), в основном разрешенных в академическом стиле, известное своеобразие, состоявшее в том, что академические композиции, по самому своему существу «строгие» и «холодные», разедались наличием ноток пессимизма, ноток грусти, наличием мотивов, глубоко лирических. Поэтому «левитановские», если так можно выразиться, настроения этого периода (1909 — 1916 гг.) есть лишь дальнейшее развитие тех настроений, которым подвержен был художник уже давно. Он был явно неудовлетворен окружающими социальными отношениями, но в то же время не видел и реальных путей, реальных дорог для выхода из существующего положения. Академия и годы академической учебы не заглушили в художнике недовольства окружающей жизнью, но помогли изолировать его от влияния революционной среды Петербурга.

Большим, но еще не достаточно понятным явлением была для него Февральская революция. Лехт активно участвует в Февральской революции. С первых дней Октябрьской революции он оказывает содействие большевикам. В его мировоззрении происходит коренной перелом. В это время Лехт все еще работает на авиационном заводе, где большевиками была развернута большая агитационная работа. Большевицкое влияние помогает Лехту пересмотреть все свои представления об окружающем. В этот период Лехт начинает освобождаться и от академических, и от левитановских влияний. Тогда же он ясно осознает и классовую сущность искусства, и его задачи в условиях диктатуры пролетариата.

Этот перелом в мировоззрении Лехта позже получает творческое выражение между прочим и в интересной скульптуре

«Февральская революция» (1923 г.). На первом плане в лице трех фигур художник символично показывает пролетариат и крестьянство, как основную движущую силу революции, а за их спиной буржуазию, торгующуюся за будущие барыши, которые она предполагала извлечь из революции, совершенной ру-

тарем партийной фракции, председателем комиссии по чистке АХРР и т. д.

С первых дней революции и до настоящего времени Лехт вел и ведет большую общественную и партийную работу, борясь за создание пролетарского реалистического искусства. Крепко спаянный с жизнью страны, Лехт от-



Ф. Лехт. — Вид Берзениковского химкомбината со стороны Камы.

ками трудящихся. Эта символическая скульптура свидетельствует ярко об определенном сдвиге в искусстве и мировоззрении Лехта.

В 1919 г., когда контрреволюция окружала кольцом Страну советов, Лехт добровольно идет в ряды Красной армии и в том же году, на Восточном фронте, вступает в коммунистическую партию. После окончания гражданской войны Лехт работает в органах Наркомпроса (зав. художественным отделом Главнауки, замдиректора Третьяковской галереи), директором, театра им. Станиславского и т. д.

В 1923 г. он вступает в ряды АХРР и ведет там огромную работу, будучи избран членом президиума АХРР, членом центрального совета АХРР, секре-

кликается своим творчеством на требования сегодняшнего дня. Лехт был одним из первых художников, безоговорочно ставшим на защиту Октябрьской революции и отразившим в своем искусстве ее пафос и героизм. Уже в первую годовщину Октябрьской революции Лехт оформляет здание Рождественского совета в Петербурге. В эти годы, будучи сильно загружен административной и общественной работой, он мало уделяет времени искусству. Но, несмотря на это, в тех небольших работах, которые он исполняет, обнаруживается сильный перелом. Тематика его творчества резко меняется. Лехт осознал необходимость ярко выраженного социального искусства. Интересно, что художник берется также за новые для себя виды искус-

ства, как например плакат (плакат к международному дню работниц 1921 г.); кроме этого, он дает ряд рисунков в газеты.

В пятую годовщину Октября Лехту поручается оформление Москвы. Художник разрабатывает весь план оформления, руководит его выполнением и сам работает над огромной скульптурой, изображающей рабочего, для Красной площади. Эта работа впервые ставит перед Лехтом новую проблему — создание монументальной скульптуры для украшения наших площадей и улиц. Скульптура дает художнику толчок к новым исканиям, к постановке новых творческих проблем. Идея произведения заключалась в том, чтобы дать фигуру рабочего, как символ, — образ победившего труда. Несмотря на большие трудности и неудобства в работе, статуя вышла очень удачной. А трудности были громадные: работа была проведена Лехтом прямо на площади, «в морозное время, когда для того, чтобы производить лепку статуи, приходилось работать под брезентом, отепляя окружающую атмосферу и отогревая на огне замерзшую воду». Рабочий изображен стоящим впереди наковальни с молотом в левой опущенной руке. В правой руке он держит фуражку и жестом приветствует демонстрантов. Эта работа свидетельствовала о наличии назревшего коренного поворота в творчестве Лехта. Здесь успешно преодолен академизм. В работе нет уже той нарочито подчеркнутой сладковатой красоты человеческой фигуры, которая характерна для академических работ. Но, с другой стороны, мы не найдем здесь и деформации и уродования человеческой фигуры, столь свойственных для формализма, с которым Лехт ведет борьбу. Мощная фигура стоящего рабочего, полная силы и бодрости, уверенности и радости, воплощает идею незыблемой и твердой пролетарской власти, выражает пролетарский оптимизм и настроение подлинного пролетарского праздника. Простыми, четкими, реалистическими приемами убедительно выражена идея скульптуры. Процесс перестройки художника, процесс преодоления академизма, не про-

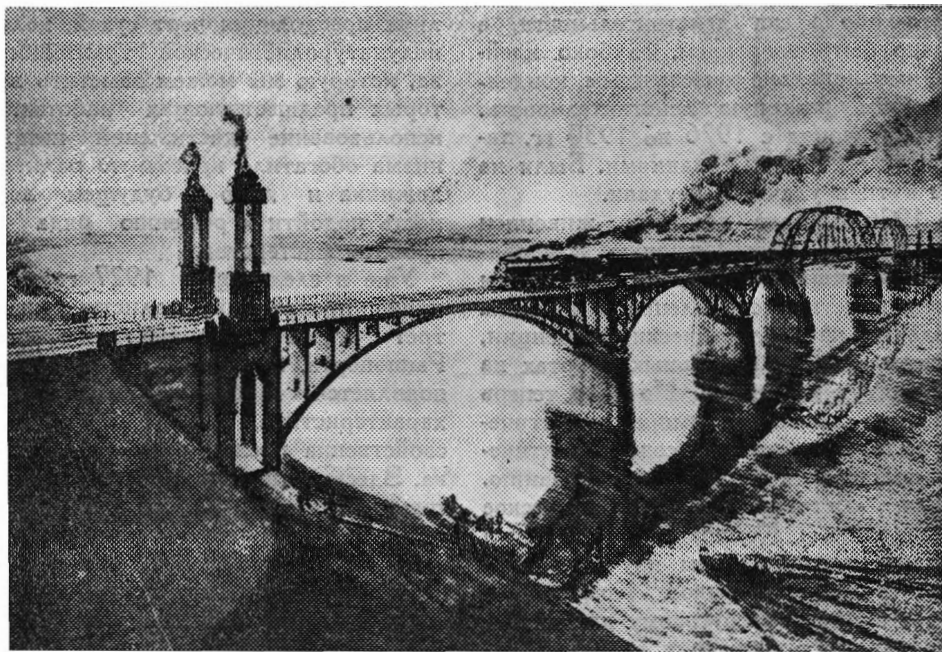
исходил легко. Наряду с такими реалистическими работами, как «Ленин-оратор» (1923 г.), как портретные зарисовки советских работников, он дает и такие рисунки как «I, II и III Интернациональ» (1925 г.), «РКП(б), РКСМ и пионеры» (1923 г.), которые еще свидетельствуют о рецидивах академизма. С некоторыми колебаниями в сторону академического натурализма («Памятник Бауману», 1925 г.) Лехт идет дальше по дороге к монументальной реалистической скульптуре (Фонтаны на Московском ипподроме. 1932 г.).

Тема скульптурного оформления фонтанов продиктована особенностями их местонахождения (ипподром). В центре большого круглого водоема на постаменте стоит фигура колхозницы, от нее по радиусам расположены корпуса сильных рабочих лошадей. Лошади изображены в момент трудового его напряжения; между лошадьми эффектно даны фигуры скачущих жеребят. Прекрасно решен образ колхозницы. Художник, найдя убедительный язык пластического выражения в скульптуре, героизирует и типизирует образ нашей свободной и сильной женщины, рожденной советской действительностью.

Путь Лехта как скульптора идет от позднего академизма к исканиям монументальной реалистической скульптуры. Значительно сложнее путь Лехта как живописца. От дореволюционных пейзажей, проникнутых «левитановскими» настроениями, Лехт, после революции, в связи с новыми задачами, стоящими перед искусством, переходит к новой тематике. Но новые темы первое время он решает в виде академических «барельефов», исполненных рисунком на бумаге. И потом, после целого ряда исканий и опытов, художник приходит к полноценной реалистической живописи, отображающей нашу действительность, борьбу и социалистическое строительство. Большая загруженность административной и общественной работой позволили Лехту лишь с 1925 г. уделять достаточное количество времени для занятий искусством. В 1925 году он получает творческую командировку в Башкирию на два месяца для зарисовки новой жизни и

быта этой ранее угнетенной царизмом национальности. В этой области Лехту открывается широкое поле работы и со всей определенностью ставится вопрос о необходимости новых творческих исканий. В живописи Лехт впервые подошел к изображению человека, к работе над социальным портретом.

Октябрем, это — полноправный член общества, хозяин страны, бодро, смело и уверенно смотрящий в будущее, которое он сам создает. Художник сумел в ярком образе отразить нового человека, новую жизнь ранее угнетенной национальности. Напряженный, сочный коло-



Ф. Лехт. — Проект скульптурного оформления Каширского моста.

Лехт тщательно наблюдает новых людей Башкирии и изображает их в большой серии портретов. Из командировки он привозит около пятидесяти работ, из них двадцать портретов. Портретные зарисовки Лехта обладают большой психологической остротой. В портретах при большом сходстве и точности изображения имеет место типизация. Особенно следует отметить два портрета, где художник достигает большого обобщения, — это «Комсомолец Тангатаров» и «Башкирская комсомолка». В «Башкирской комсомолке» дан образ девушки с энергично сжатыми губами, уверенным и умным взглядом. В руке сжата книга Ленина. Это не жалкое, забитое создание, влачившее в условиях царской России полуживотное, рабское существова-

рит, яркость и свежесть красок прекрасно способствуют выражению творческого замысла художника. В каждом портрете художник стремился вскрыть типичное. Но это не всегда еще достигалось художником. В некоторых портретах он чрезмерно увлекался декоративностью национального костюма и грешил мало оправданной погоней за тщательным копированием природы. Поэтому некоторые работы того периода иногда «отдавали» экзотикой и этнографией, за которыми пропадали социальная характеристика типажа («Башкирка в национальном костюме»). В этот период, несмотря на целый ряд прекрасных портретов, в творчестве Лехта имеется тенденция к протокольному пересказу действительности, стремление, свойственное

тогда многим художникам АХРР, выдвигавшего лозунг — «фиксировать» героическую действительность. Но в дальнейшем у Лехта все больше развивается тенденция к реалистическому отображению действительности, к синтезу большой социальной глубины.

Лехт ясно сознает, что художественное произведение не может быть осколком какого-либо куска действительности, а должно быть творением, глубоко идейным, эмоционально насыщенным, конденсирующим реальную действительность. Поэтому период с 1926 по 1930 гг. характерен большими исканиями. Были на этом пути и удачи, и неудачи.

В 1926 г. Лехт делает в живописи свою первую многофигурную композицию «Бетонщики». В этой работе мы можем заметить стремление художника преодолеть натуралистические тенденции, чувствующиеся в отдельных работах на предшествующем этапе. Но зато теперь художник, заимствуя импрессионистические методы работы, не совсем критически подошел к этому наследованию. Правда, «Бетонщики» — реалистическое произведение. Композиция картины основана на тщательном изучении процесса труда бетонщиков. Композиция развертывается по круговому движению, по направлению движения рабочих. На лево рабочие с носилками идут за материалом; навстречу им, в глубине, движутся рабочие с нагруженными носилками; в центре двое рабочих ссыпают материал и наконец направо несколько человек занято трамбовкой уже бетонированной мостовой. В картине с большим мастерством передана атмосфера напряженной работы. Хорошо дан этот нарастающий ритм движений. Но импрессионистический метод, своеобразно используемый художником, не дает возможности вскрыть процесс труда в реальных социальных условиях нашей действительности. Мягкая гармония цветов с игрой светотеневых и воздушных эффектов растворила четкость и определенность пластической формы. Фон картины трактуется абстрактно, привлекая глаз своими тонкими красочными нюансировками. Эта красочность и интерес художника к ней до некоторой степени

заслонили собой конкретное жизненное явление, а не помогли его глубокому отображению. В творчестве Лехта «Бетонщики» стояли особняком: больше мы не встречаем у него подобной работы; но было бы ошибочно расценивать ее как простую и непонятную случайность. Обращение к импрессионизму, как объекту наследия, помогло Лехту в его усилиях преодоления черт сухой, холодной, полунатуралистической трактовки образа, которую мы можем заметить в некоторых предшествующих работах. Это использование достижений импрессионизма обогатило красочную палитру художника и дало в будущем возможность подойти к решению ряда новых проблем мастерства.

Уже в следующем 1927 году Лехт пишет прекрасный реалистический портрет старого парижского коммунара Раппопорта. В портрете отца (1928 г.) появляется глубокая психологическая характеристика, которая не всегда была свойственна прежним работам художника. Здесь же налицо попытки новых цветовых исканий, говорящих зрителю опять-таки о большом интересе художника к импрессионизму. Но теперь можно уже говорить, что художник сумел критически использовать и переработать достижения импрессионизма. Сочность и свежесть красок уже не «растворяет» конкретного предмета, в данном случае — лица. Наоборот, красочные характеристики подчинены задаче создания эмоционально-насыщенного, глубоко психологического образа.

В том же году в картине «Крестьянин» Лехт дает образ старой деревни, удачно противопоставляя ему образ новой деревни, данной в картине «Коллективное хозяйство». В «Крестьянине» Лехт дал сильный и правдивый образ старой деревни. На фоне мрачного пейзажа понуро плетется лошаденка, таща за собой соху. Прекрасно дан образ забитого крестьянина, идущего сзади с опущенной головой и согнутой спиной. Придавленная, понурая поступь лошаденки ритмически согласована с шагом крестьянина. Художник как бы подчеркивает этим рабское, полуживотное существование крестьянина в условиях

царской России. В этих сгорбленных фигурах художник сумел создать образ большой эмоциональной и социально-психологической силы. В картине все изобразительные средства подчинены выявлению основной идеи. Пейзаж здесь используется как активный момент в раскрытии содержания: унылая бесконечная равнина с небольшой, одиноко стоящей группой деревьев, хмурое и неприветливое небо, покрытое тучами, создают еще больше настроение унылости, придавленности и беспомощности человека. Диагональная композиция заставляет следить за движением крестьянина в беспредельную даль. Собранность и органичность композиции, из которой нельзя выбросить ни одного куса, подчинение всех деталей картины выявлению центральной идеи свидетельствуют о росте мастерства художника. Простота и четкость трактовки темы не обедняет картины, а, наоборот, придает ей большую эмоциональную силу. В картине нет ни властной фигуры помещика или приказчика, нет и фигуры кулака, здесь не нарисованы противопоставляемые друг другу полуразваленные деревенские избытки и роскошные постройки барской усадьбы. И тем не менее зрителю становятся понятны все социальные условия обстановки, — настолько ярок этот скупой и лаконичный образ. В совершенно ином плане разрешен художником образ новой деревни. Мощная колонна тракторов вспахивает огромную целину. В трактористах дан образ нового крестьянина-колхозника — бодрого, сильного строителя новой жизни. Не власть природы над человеком, а власть человека над стихиями природы, — вот что ярко бросается в глаза в этой картине.

Эпоха первой пятилетки, эпоха грандиозного социалистического строительства потребовала от художника еще более тесной связи с нашими индустриальными центрами и колхозами. «Всекохудожник» организовал целый ряд командировок на новостройки и в колхозы. В 1930 и 1931 гг. Лехт командирован на строительство Березниковского химкомбината. Художник воспринял командировку как серьезную задачу, поставлен-



Ф. Лехт. — Башкирская комсомолка.

ную перед ним партией и правительством. Лехт быстро вошел в коллектив строителей гиганта, повседневно участвовал в производственной и культурной работе строительства и, работая по примеру лучших ударников, слился со средой энтузиастов социалистического труда. Он сумел возбудить к своей работе большой интерес среди работников строительства и добился самого активного содействия местной общественности, которая помогла ему усвоить новую обстановку и дать ценные указания и объяснения. Грандиозное Березниковское строительство во всех основных этапах своей истории было отражено художником в картинах и этюдах. В 1932 г., когда гигант был уже пущен. Лехт, прекрасно изучивший всю историю строительства, сжившийся с его коллективом, едет снова туда уже по своей инициативе, без командировки, чтобы довести до конца начатую работу. В результате этих двух поездок в Березники Лехт привозит свыше 100 ра-

бот, сделанных акварелью, цветной тушью, сангиной, карандашом «негро» и маслом. Большинство привезенных работ составляли этюды, не дававшие еще синтетического образа социалистического строительства, а фиксировавшие отдельные его моменты. Они носили характер предварительного материала, дальнейшая разработка которого привела к созданию законченных художественных произведений. В работах 1930 г. Лехт показывает отдельные корпусастроек, еще одетых каркасом строительных лесов. Он изображает также и остатки древних соляных варниц, кажущихся ничтожными пигмеями по сравнению с новым гигантом. В 1931 г., когда выявилась основная группа строителей, Лехт дает целую серию портретов ударников и героев строительства (портреты: изобретателя Сарапулкина, ударников — Ардуванова, Вотинова, Султанова, Антоновой и др.). Лехта увлекают также оформившиеся корпуса зданий, их интерьеры, загроможденные устанавливаемыми машинами. Большая напряженность и пафос труда прекрасно показаны в серии рисунков, посвященных работе ударных бригад («Установка столба», «Ударники механического городка»; «Бригада бетонщиков» и др.). В 1932 г. Лехт рисует огромную пятиметровую панораму всего комбината, начиная со старого, реконструированного содового завода и кончая новыми корпусами комбината (приобретена Свердловским клубом Наркомвнудела).

В 1933 г., на основе всего собранного материала по строительству Березниковского химкомбината, Лехт дает синтетический образ строительства в законченных произведениях — «Общий вид строительства в 1932 г.» и «Вид Березниковского химкомбината со стороны Камы».

В этих работах он синтезирует весь свой приобретенный опыт и как бы подводит итог своим творческим исканиям в области индустриального пейзажа.

Пейзаж для него теперь уже не средство передачи своих, глубоко индивидуальных переживаний. Если раньше природа служила ему предметом своеобразного созерцания и любования, то те-

перь — это поле проявления и приложения революционной воли и энергии победившего пролетариата. Если в сером, мрачном пейзаже «Древней солеварни» мы видим выражение какой-то беспомощности, затерянности, слабости человека перед силами природы, то в «Общем виде Березниковского строительства» перед художником стоит другая задача — передать результат огромной воли коллектива, преодолевшего громадные трудности.

Живописные элементы картины носят определенный смысловой характер, вскрывая мощь завода-гиганта и давая представление о напряженной героике труда рабочего класса.

Завод пущен. Об этом говорят широко раскинувшиеся вдали чистые корпуса зданий с дымящимися трубами. Об этом говорят и двигающиеся поезда (вагоны) и нагруженные телеги, пересекающие железнодорожные пути. В индустриальном пейзаже почти не показан творец и носитель индустриализации — пролетариат, но он чувствуется во всех огромных корпусах завода, пущенного в ход. Он невидимо для зрителя присутствует там и своей кипучей деятельностью, четко и уверенно направляет всю жизнь завода, заставляя работать его для утверждения нового, социалистического общественного строя. Яркий, звучащий колорит картины, беспредельная перспектива, насыщенная свежим, прозрачным воздухом и солнечным светом, говорят о радости труда. Показывая «Старый содовый завод», Лехт дает его в серебристо-серой мрачной гамме красок. Старый завод выделял массу газов, которые покрывали своим серым налетом всю окружающую природу и от которого чернели все здания. Этого нет на новом заводе, где утилизируются все отходы, улавливаясь специальными приборами. Поэтому здесь воздух чист и прозрачен. Бодростью, революционным оптимизмом веет от этой картины. Лехт, внимательно и терпеливо изучивший все особенности строительства, стремится наиболее правдиво передать его. И в целях наиболее правдивого показа он передает и те конкретные условия северной природы, среди которой разверты-

вается строительство. Для этого он специально работает над северным пейзажем и, изучив все особенности природы, переносит их в свои индустриальные пейзажи. Поэтому в его картинах так хорошо чувствуются и холодное северное небо с слоистыми облаками, и влажность холодного воздуха. Здесь творчество Лехта неожиданно раскрывается с новой стороны. Он умело справляется с трудной задачей показа воздушной перспективы с уходящими вглубь зданиями и богато использует широкие композиционные возможности. На основе десятков этюдов и прекрасного знания комбината Лехт сумел дать его общий вид так, что перед зрителем открывается максимум основных и наиболее характерных моментов панорамы.

Поездка в Березниковский химкомбинат является новым этапом в творчестве художника. Именно здесь он впервые в своей жизни столкнулся с проблемой индустриального пейзажа. Лехт свою работу над индустриальным пейзажем начал с графических рисунков, напоминающих своей математической точностью чертежи. В таком художественном претворении не всегда чувствовалось мощное биение нашей эпохи, не всегда чувствовалась коллективная воля нового человека, не было эмоций, была известная сухость. В этих «математически» точных рисунках он как бы осваивал новое для себя производство, знакомился с ним. И, пройдя этот этап освоения, Лехт шаг за шагом начинает реализовывать в полном объеме свои живописные и композиционные возможности.

Синтезируя свои достижения в огромных полотнах общего вида строительства, он изживает графическую линейность форм и то, свойственное некоторым прежним рисункам, несколько «пассивное» восприятие действительности. Здесь прорывается сила и пафос строительства.

Для отображения жизни и строительства транспорта в 1933 — 34 гг. Народный комиссариат путей сообщения вместе с Московским союзом советских художников привлёк художников к работе над транспортной тематикой. Ху-

дожники должны были показать реконструкцию железнодорожного транспорта, строительство новых железных дорог, героев-ударников, быт железнодорожников, подготовку кадров, полнотделды на транспорте и т. д. Лехт, получивший командировку на строительство Днепропетровского и Каширского железнодорожных мостов на магистрали Москва — Донбасс, за прекрасно выполненную по командировке работу был премирован НКПС и награжден почетной грамотой «Всекохудожника». Органически связавшись с работой строительства, являясь активным участником производственных совещаний, Лехт быстро ориентировался в обстановке и наметил темы своей работы. Лехт внес предложение по художественному оформлению мостов. «Мост советской стройки, — говорил он, — должен нести определенное отличие в своем образительном оформлении». Лехт предложил украсить строящийся мост по магистрали Москва — Донбасс «четырьмя скульптурными фигурами: шахтера, кессонщика, железнодорожного рабочего и инженера. Таким образом, мост, оформленный в художественном отношении, приобретает, помимо чисто утилитарного, еще и художественно-агитационное значение».

По поручению НКПС Лехтом был составлен проект оформления вновь строящегося моста на магистрали Москва — Донбасс.

Из командировок Лехт привез ценный материал в виде зарисовок, этюдов, эскизов и т. д., отражающих строительство Каширского моста и самого большого в мире железо-бетонного моста у Днепропетровска. Художник запечатлел самые разнообразные моменты строительства в превосходных рисунках цветной тушью и карандашом.

Он привез также целую серию портретов ударников и героев строительства (портреты главного инженера Киеня, кессонщика Евдачева и др.).

На основе собранного материала и тщательного изучения конструкции мостов написана большая картина «Мосты». На картине изображены два моста, мощные арки которых пересекают по

диагонали плоскость полотна. Изображая новый, недавно построенный мост на фоне старого моста, выстроенного бельгийскими капиталистами еще до революции, художник подчеркнул грандиозность новой социалистической стройки.

Два моста — это две эпохи. Грандиозный исполин первой пятилетки гордо возвышается над рекой. Он значительно превышает и размерами, и качеством сооружение капиталистической техники. Тут же рядом изображена подготовка к строительству еще большего третьего моста — моста второй пятилетки, в сравнении с которым мост бельгийского общества будет выглядеть пигмеем. Таким образом, «мосты» не просто индустриальный пейзаж, — это пейзаж большого социального обобщения. С исключительным мастерством передана мощь, грандиозность и сила нашей социалистической стройки. Голубовато-лиловые тона картины, слегка сдерживаемые теплыми тонами земли и ферм нового моста, придают всему пейзажу суровое и величественное выражение. Мосты, фермы, вода и небо, — такова скупая тема пейзажа, но как эмоционально насыщена эта прекрасная картина! Следует отметить большое умение Лехта передать в картине материальность предметов и особенно воды, а также блестящее умение строить перспективу. К недостаткам картины следует отнести то, что в ней нет должного показа строителя моста.

В настоящее время художник работает над другой картиной транспортной тематики — «В кессоне», отражающей процесс труда кессонщиков при строительстве мостов.

Прежде чем приступить к работе над этой картиной, Лехт тщательно изучает процесс работы кессонщиков. Он на месте зарисовывает характерные движения, сам спускается в кессоны, изучает условия, технику работы и затем делает три эскиза. Работая над самой композицией, в целях наиболее правдивого показа художник стремится дать портретное сходство кессонщиков и замечательного инженера Киеня, героически, с величайшим энтузиазмом работавших на этом строительстве. Характерно, что в эски-

зах и в самой картине «Кессонщики» художник изображает упорный, тяжелый труд рабочих глубоко под землей, в условиях многоатмосферного давления, светлыми радостными красками, подчеркивая этим ту обстановку энтузиазма, которая неизменно присутствует в советских кессонах. Интересно, что в истории советского и русского искусства картина «Кессонщики» будет первой, отображающей кессонный способ кладки устоев, несмотря на то, что этот способ существует с 1857 года. Кессонщики — подлинны герои нашего строительства, — они должны быть показаны нами, художниками, всей стране, — говорит Лехт. В «Кессонщиках» правдиво передан пафос нашего труда.

Если сравнить эту картину с первой многофигурной композицией Лехта, «Бетонщики» (1926 г.), то особенно сильно чувствуется движение художника вперед. Там — абстрактный фон, однообразные, затушеванные лица, без индивидуальной характеристики. Процесс показан «вообще», как бы вне времени и пространства. Здесь («Кессонщики») — правдивая характеристика труда в данных конкретных условиях и передача типичных лиц, сохраняющих черты индивидуального сходства.

Что мы можем выдвинуть художнику в качестве пожелания? Нам кажется, что Лехт должен прежде всего больше работать над отображением нового человека, человека нашей эпохи, человека новых взглядов на мир и новой психологии. В противном случае перед художником ясно стоит опасность — скатиться к техницизму, скатиться к обезлюженному индустриальному пейзажу. Не спасут здесь и индивидуальные портреты. Неплохо было бы для достижения этой задачи художнику больше работать в своих больших композициях, наряду с тематикой индустриального пейзажа и социалистического труда, также над отображением нового социалистического быта, над отражением жизни наших общественных организаций, над отражением жизни и быта колхозов, Красной армии и пр. У художника налицо все данные для того, чтобы успешно справиться с этими задачами.

Творческий путь Лехта типичен для многих наших советских художников, прошедших в молодости старую академическую школу. Октябрьская революция застаёт Лехта еще несформировавшимся художником, не выявившим индивидуальных черт своего творчества. Правильное понимание Октябрьской революции с первых же дней ставит перед художником вопрос о переработке своих художественных творческих установок. Он идет с большевиками; он ясно сознает классовую сущность искусства и уже в 1918 г. ставит свое творчество на службу рабочему классу. С тех пор художник прошел огромный творческий путь. Начав с академических скульптур и рисунков, Лехт пришел к сложным реалистическим композициям, отображающим нашу социалистическую действительность. Он путем долгой, упорной работы над собой преодолел остатки академизма в своем творческом методе и

сейчас идет в первых рядах наших художников в борьбе за социалистический реализм.

В своем искусстве, разнообразном по технике (скульптура, живопись, рисунок, графика), Лехт охватывает широкий круг тем современной жизни, реалистически их трактуя. Нигде он не переступает границы понятного, ясного и в этих рамках достигает прекрасных результатов.

Работы Лехта приобретены такими музеями, как Государственная Третьяковская галерея, музей Красной армии, Свердловский государственный художественный музей и др.

Во Дворце культуры в Березниках на основе работ Лехта развернута постоянная выставка по истории строительства.

Его работы получили широкое массовое распространение в различных изданиях и заслужили большое внимание со стороны трудящихся.

2. ГУСТАВ КУРБЭ

Е. Меликадзе

1

Творческая деятельность художника Густава Курбэ протекала в эпоху ожесточенной классовой борьбы. С одной стороны, буржуазия боролась против политического господства дворянства, с другой стороны, вскоре после первого мощного выступления рабочего класса, т.-е. после 1848 года, буржуазия с еще большим упорством повела борьбу против пролетариата.

Художник Курбэ — идеолог мелкой буржуазии. Мелкий буржуа никогда не доходит до отрицания основ буржуазного общества и ограничивается его поверхностной критикой. Таков он не только в своих экономических интересах, но и «в своей политике, в своих религиозных, научных и художественных воззрениях. Таков он в своей морали, таков во всем. Он — живое противоречие»¹⁾.

Однако Маркс неоднократно отмечал революционно-прогрессивное значение борьбы мелкой буржуазии. В частности он подчеркивал, что «Прудон сделал недурно, борясь с помощью фразы против французского фразерства»¹⁾. Курбэ всем своим творчеством и деятельностью представлял в изобразительном искусстве анархистско-революционное мелкобуржуазное направление. Всю свою жизнь он остался на позициях того класса, из которого происходил. В нем слишком сильно утвердился прудонизм. Несмотря на то, что стиль Курбэ установился в период между февральской революцией 1848 года и серединой 60-х годов, т.-е. когда пролетариат уже полностью проявил себя, как единственный до конца последовательный революционный класс, Курбэ не встал на сторону этого революционного класса.

¹⁾ К. Маркс. — «Нищета философии». Изд. 1931 г., стр. 29.

¹⁾ К. Маркс. — «Нищета философии». Изд. 1931 г., стр. 29.

Колебания Курбэ только иногда приближали его к позициям революционного пролетариата, но никогда он органически не соединял своего творчества с целями и задачами пролетарской борьбы.

Рассматривая творчество Курбэ, как творчество революционера, последовательно идущего от мелкой буржуазии к пролетариату, Г. Гидони заключает: Курбэ этот переход совершил «в значительной мере своей верой, своим подходом к искусству, как художник, как человек искусства», и к коммуне пришел «вполне последовательно»¹⁾. Вывод этот Гидони подкрепляет выдержками из высказываний реакционно-буржуазного критика Фурнеля, называвшего его политическим демагогом и тому подобными кличками. Свидетельство Фурнеля вовсе не доказывает того, что Курбэ был безоговорочным коммунарком. «Политическими демагогами» буржуазные критики величали людей самых разных политических направлений. Участие Курбэ в Коммуне, хотя и активное по линии искусства, было «блестящим парадоксом» его мелкобуржуазной революционности. На Коммуну Курбэ смотрел через призму мелкого буржуа, — это прекрасно понимала и сама Коммуна. В специальном, посвященном художнику листке она охарактеризовала его как политического деятеля, который ничем не связал своей судьбы с судьбой Коммуны, ничего особенного для Коммуны не сделал и не может поэтому отвечать за деятельность Коммуны наравне с другими коммунарами. Коммуна не ошиблась в своей оценке: Курбэ вышел из состава Коммуны до ее поражения. Подтверждение того, что художник примкнул к Коммуне как мелкобуржуазный анархист, мы находим в его письмах того времени. Коммуна, по мнению Курбэ, — какая-то стихийно «катыющаяся» свобода, свобода, идущая и развивающаяся сама по себе, в своем развитии не нуждающаяся ни в какой защите оружием, ни в какой крови, и наконец анархическая свобода для всякого и для всех. Одним словом, Коммуна для него была тем идеа-

лом свободы, какой можно было пред- ставить с позиций мелкобуржуазного анархиста-прудониста. Так была понята Коммуна многими представителями мелкобуржуазной идеологии. И по мере того, как для людей этой группы становился ясным пролетарский характер Парижской революции 18 марта, они или отходили от нее, или же переходили на позиции Коммуны. Курбэ не смог до конца преодолеть своих колебаний, — он вышел из состава Коммуны, но остался близким к коммунарам.

Возражая против тех, кто видит в Курбэ последовательного революционера-коммунара, нельзя согласиться и с теми, кто преуменьшает революционное значение творчества Курбэ. В недавно опубликованной статье Миллера проведена именно эта тенденция. По Миллеру, Курбэ будто бы не шел дальше протеста против отдельных представителей буржуазной власти. Само собой разумеется, подобная оценка не может способствовать правильному историческому определению «социальных взглядов Курбэ.

Курбэ для своего времени имел большое революционное значение. И не случайно, что буржуазное искусствознание систематически нападало на него.

Курбэ, по мнению буржуазного искусствоведа Гаузенштейна, ошибался, когда думал, что он стал великим живописцем, потому что руководился «социалистическим интеллектом». В противоположность этому наше искусствознание должно подчеркнуть, что Курбэ стал великим живописцем потому именно, что был «социалистическим интеллектом». В своем творчестве художник отразил ту линию, которая отрицалась буржуазно-идеалистическим искусством. Если бы он полностью и твердо встал на позиции пролетарской революционности, то огромное прогрессивное значение его художественной деятельности поднялось бы еще выше. Тогда он мог бы не только реалистически изображать «Каменотесов» или «Похороны в Орнате», но и сумел бы отчетливо показать классовую сущность каменщиков, социальную дифференциацию деревенского населения и т. д., то-есть мог бы подняться до реа-

¹⁾ Г. Гидони.—«Густав Курбэ», стр. 58—59.

листического познания закономерности развития окружающей его действительности.

Гаузенштейн, противопоставляя Курбэ-политика Курбэ-живописцу, заявляет, что «его интеллект был настолько незначителен, насколько мощно было его художественное дарование». «Очень выгодно, что политический интеллект не господствовал над художественным инстинктом...», и если бы живопись Курбэ «стоила не больше, чем перепаренный социализм в его голове, то плохо обстояло бы дело с его живописью... Его зрение было демократическим, — это тайна его мира форм. Зрение заменяет настоящему художнику все: разум, чувство, волю, желание, горе, веселье. Это микрокосм, в котором заключена вся полнота человеческой жизни»¹). Гаузенштейн бесцеремонно «выкидывает» за борт все революционное в творчестве Курбэ и рассматривает его творческое наследие как чистые формы, лишенные всякого социального смысла. Игнорируется то, чего так добивался сам Курбэ: «быть в состоянии передать идеи, нравы, явления эпохи согласно моему пониманию», быть «не только живописцем», но и «гражданином». Борьба буржуазного искусствознания против политического характера творчества Курбэ является лишним аргументом в пользу признания за ним революционного значения.

Мировоззренческие установки и творческое развитие привели Курбэ к Прудону. Еще в 1848 году он высказал положение относительно участия в уличных боях, вполне сходное с прудонистским взглядом на этот вопрос. Отвечая на опасения отца об его участии в уличных столкновениях, Курбэ писал: «Я не дерусь по двум соображениям; во-первых, потому что у меня нет веры в войну ружьем, и это не в моих принципах, — вот 10 лет, как я уже веду борьбу орудиями сознания. Я не был бы последовательным перед самим собою, если бы поступил иначе»²). В этой мелкобуржуазной брезгливости и неверии в успех

вооруженных методов борьбы проявляется прудонистское лицо Курбэ. Лишним доказательством прудонизма Курбэ может служить также его письмо к родным от 28 июня 1863 года, в котором он признается, что делает в живописи то, что Прудон делает в философии. На одинаковых мировоззренческих и политических установках и базировалась крепкая дружба этих двух людей — художника и философа. Оценка Прудона, данная Марксом в его письме к Анненкову, на мой взгляд, полностью применима к Курбэ. «Мелкий буржуа в современном передовом обществе, в силу самого своего положения, с одной стороны, делается социалистом, а с другой — экономистом, т.е. он ослеплен великолепием крупной буржуазии и сочувствует страданиям народа. Он в одно и то же время и буржуа, и народ. В глубине своей души он гордится тем, что он — беспартийный, что он нашел истинное равновесие, которое имеет претензию отличаться от обычной посредственности. Такой мелкий буржуа обожествляет противоречие, потому что противоречие есть основа его существа. Он сам — не что иное, как общественное противоречие, воплощенное в действие. Он должен оправдать в теории то, чем он является на практике, и Прудон заслуживает быть научным истолкователем французской мелкой буржуазии; это — действительная заслуга, потому что мелкая буржуазия явится составной частью всех грядущих социальных революций»¹).

Курбэ и является для нас одним из тех беспартийных, о которых говорит Маркс. Он — живое противоречие во всей своей деятельности. Для доказательства можно также напомнить об его отношении к получению орденов. Отказавшись принять орден от Наполеона III, Курбэ принял орден баварского короля со званием барона и орден мюнхенского короля.

В «Нищете философии», разбирая мелкобуржуазную сущность Прудона, сущность мелкого буржуа вообще, Маркс

¹) Гаузенштейн. — «Искусство и общество», стр. 191 — 192.

²) Тихомиров. — «Густав Курбэ», стр. 26.

¹) Письмо Маркса Анненкову. — Сборник писем под ред. Адоратского.

писал: «Он — живое противоречие. А если он к тому же, подобно Прудону, еще и остроумный человек, то он скоро научается играть своими собственными противоречиями и выкраивать из них по временам неожиданные, громкие, иногда скандальные, иногда блестящие парадоксы»¹⁾. Это блестящее определение мелкобуржуазной революционности не только целиком приложимо к Курбэ, но сама деятельность его есть живая иллюстрация этого положения Маркса.

II

Творческая деятельность Густава Курбэ делится на три периода: в первый период художник находится в плену у романтиков, второй, основной, период, по которому и знают Курбэ как художка, имеющего свое лицо, — это период реализма. Последний период в основном падает на годы после Парижской Коммуны, когда художник в тематике отходит вправо, пишет светских дам и вводит в свою живопись элементы классицизма.

В конце пятидесятых и первой половине шестидесятых годов в творчестве художника определенно наметился перелом: переход от изображения идейно насыщенных тем к более нейтральной тематике. С шестидесятых годов в творчестве художника основное место занимают до этих пор мало встречающиеся у него пейзаж и натюрморт. Однако реализм Курбэ остается главным и характерным методом большинства его произведений. Да и вообще о Курбэ в первую очередь можно говорить как о реалисте, критически смотревшем на развивающуюся перед ним действительность. Он объявил войну против всякого рода идеалистического истолкования действительности и правдиво изобразил многие живые куски действительности.

«Неотъемлемая честь Курбэ, — пишет Прудон, — заключается в том, что он первый из живописцев, подражая Мольеру и перенося высокую комедию из театра в область живописи, предпринял серьезный труд предостерегать, карать и исправлять нас, изображая нас

такими, каковы мы есть в действительности. Вместо того, чтобы забавлять нас сказками, льстить нам прикрашиванием, он дерзнул изобразить нам наш образ не таким, каким создала его природа, а таким, каким сделали его наши страсти и пороки»¹⁾. Произведения Курбэ для Прудона являются идеалом, потому что он сам не способен был подняться до требования такого реалистического изображения действительности, которое бы не только показывало, но и раскрывало перспективу развития, давало бы последовательное решение выдвигаемых проблем. Тем не менее у Прудона были все же объективные основания для подобной оценки потому уже, что Курбэ предметом изображения выбирал людей из неимущих и малоимущих классов. Не даром так резко нападала современная ему буржуазно-дворянская критика на картину «Каменотесы», где ярко изображено было незавидное положение тех, кто влачил каторжное существование. Курбэ замечал то или иное жизненное явление в его характерных проявлениях, но бессилён был проникнуть в существо этого явления, показать его внутреннее движение и перспективу развития. В картине «Каменщики» (1851 г.) движением фигуры молодого рабочего и напряженной работой старика удачно показан их тяжелый труд, но и только²⁾.

Вот почему можно согласиться со следующей оценкой Прудона творчества Курбэ: «Курбэ — художник-критик, аналитик, синтетик и гуманист есть выражение времени. Его произведения вполне согласны с «Позитивной философией» Огюста Конта, «Позитивной метафизикой» Вашеро и моим «Человеческим правом, или непреложной справедливостью».

Рассуждая о реализме Курбэ и натурализме Золя, Давид Соважо заклю-

¹⁾ Прудон. — «Искусство, его основание и общественное назначение», стр. 321.

²⁾ То же самое происходит во всем его творчестве. Таковы картины: «Семья», «Гамак» (1844), «После обеда», «Похооны в Орнане» (1850 г.), «Купальщица» (1853 г.), «Девушка с цветами», «Встреча», «Купающаяся девушка», «Ателье» (1854 г.), «Лежащая — обнаженная» (1862 г.), «Сон» (1864 г.) и др.

¹⁾ «Нищета философии». Изд. 1931 г., стр. 29.

чает, что «позитивная философия была главной вдохновительницей искусства, развивающегося у нас с 1851 года и существующего до сих пор. В живописи это искусство носит название «реализма», а в литературе его называют, к сожалению, «натурализмом», хотя, собственно, картина Курбэ и роман Золя,— в сущности, одно и то же»¹⁾. Давид Соважо на протяжении всей своей книги старается доказать, что реализм и натурализм — это рабы действительности: «Идеализм, так же, как и реализм, пользуется действительностью и черпает из нее пластический материал, который отливается им затем в форму своей собственной концепции. Разница только в том, что действительность составляет лишь одно из владений идеализма, между тем как для реализма она является единственным, и он прозябает там, как в бывшей вассальной провинции, не способной вследствие расчленения существовать своими собственными средствами», а поэтому, — заключает Давид Соважо, — «идеализм представляет собою широкое и естественное учение, потому что это доктрина золотой середины, которая соединяет в одно данные наблюдения с данными внутреннего опыта в той мудрой пропорции, которая известна классикам». В то время как «реализм — это система узкая, искусственная, которая может поддерживаться исключительно софистами, постоянными противоречиями, так как он желает итти против природы вещей»²⁾.

Смысл всех этих рассуждений Давида Соважо понятен без всяких комментариев. В его книге выражено мировоззрение идеолога буржуазии, отрицавшего в пользу качтовского идеализма и мистицизма все революционное и все положительное, что создано буржуазией в искусстве в лучшие годы ее развития. Вся его книга есть отрицание реализма вообще, и французского реализма XIX века в частности. Характерно, что из художников он обрушивается исключительно на Курбэ.

¹⁾ А. Давид-Соважо. «Реализм и натурализм в литературе и в искусстве». Русское изд. 1891 г. Стр. 161.

²⁾ Там же, стр. 326.

Всем буржуазным художникам и искусствоведам, потерявшим способность открытыми глазами смотреть на мир, потерявшим способность объективно познавать действительность, можно ответить восклицанием Прудона: «Вы, имеющие притязание рисовать Карла Великого, Цезаря и самого Иисуса Христа, сумеете ли вы нарисовать портрет вашего отца?» Заслуга Курбэ как-раз и состоит в том, что он хотя и недостаточно, но реалистически изображал развивающиеся вокруг него явления. По Прудону, «Курбэ — новатор, радикальный новатор, он еще сам себя хорошо не знает». Для своей эпохи Курбэ действительно был новатором.

В своем обращении к художникам Золя писал: «Делайте правдиво, я буду аплодировать, но особенно делайте индивидуально и живо, и я буду аплодировать еще сильнее». Он очень одобрительно отзывался о реализме Курбэ. И очень неодобрительно отнесся к тому, что Курбэ в последние годы своей деятельности в угоду официальному вкусу «сгладил острые углы», «стал более похожим на других». В другом месте он пишет: «Мой Курбэ, Курбэ для меня — просто личность. Художник начал копировать фламандцев и некоторых мастеров Ренессанса. Но его натура возмущалась, и он почувствовал себя захваченным всей своей плотью, — обратил внимание на материальный мир, который его окружал: к толстым женщинам, мощным мужчинам, роскошным и широко плодородным деревьям. Коренастый, сильный, он имел жгучее желание сжать в своих руках подлинную натуру; он хотел писать подлинное тело и подлинную землю»¹⁾. И дальше, рассматривая отдельные произведения, в частности картину «Купальщица», он писал: «Вот она, эта буржуйка — мясистая и богатая, деформированная салом и роскошью... вот она — такая, какой ее сделали ее глупость, ее эгоизм и ее кухня». Творческие методы художника Курбэ и писателя Золя были во многом схожи. Творчески оформившийся сравнительно

¹⁾ Эмиль Золя. — «Mes Haims». 1866 г. стр. 34.

позже, Золя был менее революционно настроен, нежели Курбэ. Это и обусловило в конце концов то, что он со всей резкостью отказался от признания социального значения реализма Курбэ и обрушился на книгу Прудона, назвав ее книгой «о смерти искусства и его социальной бесполезности». Отрицая учение Прудона об искусстве и социальное значение Курбэ, Золя тем самым выступил в роли либерала, смягчающего социальную заостренность творчества Курбэ.

III

В первые годы деятельности Курбэ испытал влияние Жерико и Делакруа. В своих многочисленных автопортретах этого периода он выступает перед нами как художник, соединяющий реализм с романтической иллюзорностью. «Автопортрет», «Автопортрет с Жозефиной» (1844 — 1845 гг.), «Раненый», «Автопортрет с черной собакой» (1844 г.) «Автопортрет с трубкой» и наконец картина «После обеда» являются характерными в этом отношении. «Курбэ был в то время замечательным лириком, умевшим читать Мюссе, восторгавшимся Жерико»¹⁾. В «Автопортрете с Жозефиной», где он изображает себя обнявшим молодую женщину, все проникнуто мягкой задумчивостью и редкой для его творчества трогательной нежностью, доходящей до романтической грустной мечтательности. Художник здесь делает упор на романтическое преобразование чувства любви. В картине «Раненый» художник главное внимание обращает на передачу внутренних, духовных переживаний раненого. Романтичность изображения в этом произведении усиливается контрастным сочетанием темных и светлых тонов в одежде, темным фоном деревьев, прорванного светлой полосой неба и брошенной слева шляпой. Не говоря уже об «Автопортрете с черной собакой», можно указать о налете романтического чувства и в картине «После обеда» (1850 г.). Но уже следующая картина, «Похороны в Орнате»,

показывает полное преодоление художником романтического влияния, к которому он больше никогда не возвращается. Картина «Похороны в Орнате», появившаяся в Салоне в 50-м году, нашла и горячих поклонников, и страстных врагов. Прессой картина была оценена как «дикая глупость, торжество всего вульгарного», как «просто недостойная и грубо-пошлая карикатура». Если враги обозвали Курбэ «шарлатаном», «певцом всего уродливого» и «грубым недоучкой», то защитники и единомышленники художника объявили его «правдивым художником-наблюдателем, обвинителем всего мещанского и человеком большого социального дела». В картине на фоне широкого воздушного пространства дано изображение десятка молодых мужчин и женщин, десятка стариков и старух, присутствующих на похоронах. При этом все фигуры индивидуальны и отличны друг от друга. Психологическая характеристика каждой из них полностью подчинена и оправдана темой картины. Стремление к обобщениям, желание подняться над единичным превращает сюжет картины — погребение — в историческое явление: в картине портреты деревенских аристократов и крестьян социально типизированы, на лицах мужчин и женщин ярко выраженное горе и сдержанная сосредоточенность. В картине переданы единство и компактность действия, подчиненность поз и движений одному настроению всех изображенных фигур. Все эти элементы придают произведению обобщенно-философский смысл.

Вслед за этим произведением следуют «Каменщики». Тема этой знаменитой картины — труд. К средствам внешней характеристики (рваная одежда и пр.) Курбэ прибегает здесь очень умеренно. Основной упор сделан на изображение внутренних переживаний тружеников. В этой картине, больше чем где-либо, Курбэ поднимается до социальной характеристики изображаемого. Ритмичность движений стоящего на коленях старика и молодого рабочего, переносщего в корзинке камни, усиливают образ трудового процесса. Позитивно изображая материальную действительность,

¹⁾ Мейер Грефе. — «Курбэ». Журнал «Аполлон», № 1. 1910 г.

Курбэ в этой картине однако не поднимается до показа тенденции развития, потому что изображаемое дано им, как самостоятельный, замкнутый в себе кусок, а не как часть широкого общественного процесса. Но самый уж факт реалистического воспроизведения на холсте напряженного трудового процесса двух каменотесов объективно играл огромную революционную роль.

В этом смысле интересно остановиться на картине «Женщины, просеивающие зерна» (1853—54 г.), где трудовой процесс крестьянок дан на фоне мирной обстановки крестьянского дома. Курбэ изображает своих крестьянок с особым пристрастием и любовью. Идиллия крестьянской жизни в картине подкрепляется изображением предметов, характеризующих зажиточное состояние (три огромные мешка, наполненные зерном, веялка и др.). Мальчик, смотрящий с большим любопытством на веялку, еще больше подчеркивает сказанное. Ритм трудовых движений и композиционная расстановка фигур создает впечатление легкости труда. Художник показывает социальную группу, которую он считает самым положительным явлением в современном ему обществе и которую он безусловно утверждает.

«Возвращение юре с конференции» (1863 г.) тоже насыщено большой социальной тенденцией. Не допущенная в Салон, картина эта тем не менее стала известной. Она завоевала внимание тем, что вызвала возмущение господствующих кругов, еще раз оклеветавших художника. В этом произведении Курбэ наносит сильный удар духовенству. Курбэ разоблачает его в лице деревенских юре. Он не только высмеял их, изобразив в пьяном виде, верхом на осле, в сопровождении пьяной кампании, но и показал их внутреннее и социальное убожество.

IV

Большая художественная сила Курбэ проявляется также в его пейзажах. В противоположность сентиментально-благодушным пейзажам Милле, в картинах, посвященных изображению природы,

Курбэ создает — по отзыву Золя — «кусочек природы, воспринятый и воссозданный сквозь призму темперамента». Изображаемые предметы Курбэ захватывают зрителя четкими, живыми формами. Природа живет в его пейзажах полной жизнью и изображена художником путем тщательного изучения. Реальный мир Курбэ переносит на холст со всей предметностью и напряженностью движения и дает полное представление о мощи, богатстве природы.

В этом можно убедиться уже при первом взгляде на «Оленей», на морские пейзажи, на «Деревья в снегу» (1863 г.), «Охотников в лесу» (1865) и на ряд других картин.

Цвет на этих полотнах, поскольку о нем можно судить по этюдам, имеющимся в СССР, не поверхностный и не натуралистический; он не подчиняется закону переливания свето-тени и не дает изменчивого легкого перехода тонов. В пейзажах Курбэ, не так, как у импрессионистов, освещение занимает подчиненное положение. В них совершенно отсутствует то, что так характерно для Милле, т.-е. сентиментальная личность.

Трактовка цвета в творчестве Курбэ является реакцией на цветовой прием классиков. В противоположность условно-приукрашенным цветам классиков, обусловленным идеалистическим мировоззрением, Курбэ дает цвет, подчиненный материальности и емкости предметов. Огромное прогрессивное и положительное значение живописности Курбэ заключается в том, что он основному средству живописи—цвету—придал высокопознавательное значение, живописность сделал свойством предметного мира, материальной массы, качеством видимых и познаваемых вещей, — материальной сущностью природы.

Курбэ-пейзажист не представляет одиноко стоящей фигуры. Художники барбизонской школы Дюпре, Руссо и другие имеют с пейзажами Курбэ много общего. Барбизонская школа оказала свое воздействие на Курбэ. Достаточно сравнить «Морской вид» Дюпре и картины на аналогичные темы Курбэ, или же пейзажи Дюпре и Руссо и лес-

ные ландшафты Курбэ, чтобы установить некоторую преемственность. Но Курбэ не остановился на том этапе реалистического толкования пейзажа, на каком стояли барбизонцы. Он оставляет их далеко позади себя.

В ряде пейзажей Курбэ природа показывается как объект, из которого человек черпает средства для существования. Так например, в картине «Бык и корова» легко угадать, что и это поле, и эти животные именно принадлежат человеку, что это богатство в руках человека. Среди полупейзажных картин попадают и такие, в которых Курбэ близко подходит к социальной характеристике трудовых крестьянских условий. В картине «Деревенская бедная» (1866 г.) изображено в духе барбизонцев поле, покрытое снегом, и идущая по нему бедная крестьянка. В сопровождении маленькой девочки она несет связку хвороста и ведет за собой козу. Художник тут ставит своей задачей показать не бесстрастную натуру и положение человека, а представителя определенной социальной группы на фоне природы.

Как в жанровых, так и пейзажных картинах у Курбэ видно стремление передать природу во всей ее жизненной материальности. В «Охоте на оленей» Курбэ со свойственной ему силой изобразил на первом плане страх и мучение умирающего животного. Чтобы пейзаж выглядел как определенное социальное явление, художник почти всегда вводит в него человека. Пейзаж охватывает в творчестве Курбэ больше половины произведений. Характерно, что после перелома, т.-е. в середине шестидесятых годов, Курбэ писанию пейзажей посвящает львиную долю своей энергии. Однако социальный конфликт, оттолкнувший его от создания жанровых, общественно заостренных картин, от писания живых людей, вовсе не делает его художником, отказавшимся от своего творческого метода. Взамен человеческого материала он продолжает и в пейзажах утверждать ту же материальность мира. Вот почему этот переход от актуальной тематики к нейтральной или полунейтральной не являет-

ся еще полной изменой художника своим идеалам.

V

Несмотря на известную ограниченность и однобокость мировоззрения и творческой деятельности, Курбэ все же для своего времени сыграл в живописи большую революционную роль. Картины его вызывали много разговоров, споров и шума. О нем говорила критика, о нем говорили современники-художники. Делакруа, остановившись перед реалистической картиной Курбэ в 1849 году, обращаясь к сопровождающим, сказал: «Видали ли вы что-либо подобное, столь сильное и столь неподражаемое? Вот новатор и революционер, он расцветает внезапно: это неизвестный». А Энгр, этот продолжатель традиции «классического» академизма и убежденный консерватор, тоже остановившись перед картинами Курбэ, восклицает: «Как он приблизился к природе, и как она балует своих любимцев! Он родился с качеством, которое встречается реже всего, и он заставляет его сверкать с первым ударом кисти. Но он ничего не дает сам, несмотря на то, что столько получает. Какое качество теряется! Какой талант приносится в жертву! Не правда ли, как это значительно и прискорбно. Но то, что он представляет собою, кроме чисто аристократического дарования — совершенно ничто. Этот новый революционер будет опасным примером». Писатель Шанфлери вспоминал впоследствии: реализм Курбэ — демократическое искусство, искусство, открывающее новый горизонт художественной деятельности.

Курбэ для своей эпохи выступил во всеоружии революционного реализма. Силу новой школы признали не только сторонники, но и враги нового направления искусства. Вся сила и неисчерпаемая энергия Курбэ была направлена, с одной стороны, против реформированного классицизма — академизма Энгра и, с другой, против романтизма Делакруа и его единомышленников. Ни Энгр со своим пристрастием к аллегории и древности, отвращением к «безоб-

разному» реальному и стремлением к воссозданию идеала греков, ни Делакруа со своим нарочитым невидением настоящего времени и исключительным исканием краски, живописной исторической драмы или экзотики — не могли удовлетворить революционную мелкую буржуазию. Этому классу нужно было искусство, соответствующее его социальным требованиям. Таковым и было искусство Курбэ. И, когда его называли художником-социалистом, он охотно принимал это и со своей стороны добавлял, что он «не только социалист, но, кроме того, демократ и республиканец, одним словом, сторонник всякой революции и, кроме того, реалист, т.е. убежденный друг правдивой правды». В соответствии с этим Курбэ развивает свои установки в предисловии к каталогу устроенной в 1855 году собственной выставки.

В этом знаменитом предисловии-декларации Курбэ направляет в первую очередь огонь против классиков идеализма в искусстве: «Тициан и Леонардо да-Винчи — мошенники». Если кто-нибудь из них вернулся бы на сей свет и пришел к нему в мастерскую, то он для борьбы против них «схватил бы нож». «Что касается господина Рафаэля, — говорит Курбэ, — он, разумеется, сделал несколько интересных портретов, но я не нахожу у него мысли. За это и любят его наши пресловутые идеалисты... Давид, говоривший ученикам: «Делайте правильные линии, а в них можете помещать какую угодно дрянь», был реакционером в живописи. Жерико в поисках пламенного и колоссального уклоняется от истины. Делакруа был бы великим живописцем, если бы распушенность и расхлябанность форм не доходила у него до фантастического. Одни, абстрактно-мыслящие, подавляют краску под предлогом идеальности и выдумывают теории, чтобы оправдать нищету своего таланта»¹⁾.

Также презирает Курбэ и академик: «Никогда не выйдет ничего хорошего из Академии. Я переплыл через традицию... академики в ней тонут».

Против них Курбэ выдвинул понятие реализма. Реализм он противопоставляет не какому-нибудь одному стилевому направлению, а всем основанным на идеалистическом мировоззрении стилям. «Сущность реализма не что иное, как отрицание идеализации», «реализм есть, по существу, демократическое искусство». Оно, по его мнению, должно быть подчинено передаче «нравов, идей и внешнего вида» эпохи. Поэтому Курбэ в первую очередь учится у тех художников, которые были реалистами и лучше всех остальных передали нравы и идеи своей эпохи. В числе этих имен встречается Веронез, Веласкес, Рембрандт и др. Последний, по мнению Курбэ, «очаровывает умных и оглушает глупых». Правда, увлекшись борьбой, Курбэ иногда впадал в другую крайность, например обьявлял историческую живопись шарлатанством, подчеркивал, что художник имеет право писать только то, что видел своими глазами, категорически отрицал значение в творчестве фантазии, утверждал, что «прекрасное, став реальным и видимым, само заключает в себе свое художественное выражение, и у художника нет права расширять это выражение». Подобные моменты в высказываниях Курбэ отражают то противоречие, которое было заложено в его понимании реализма; они, к счастью, настолько эпизодически и случайны, что не могут характеризовать ни его основных взглядов на реалистическое искусство, ни его творческую продукцию.

Свои теоретические установки Курбэ воплотил в таких произведениях, как «Каменщики», «Похороны в Орнае», «Женщины, просеивающие зерна», «Добыча», «Возвращение», и во многих портретах и пейзажах.

Основной недостаток мелкобуржуазного реализма Курбэ вовсе не делает его пассивно-созерцательным натуралистом, как это думают некоторые критики и как это утверждает Иоффе в своей «Синтетической истории искусства». Достаточно подойти исторически к анализу реализма Курбэ, как вся «философская» основа Иоффе рушится. Ему и некоторым другим нужно напом-

¹⁾ «Мастера искусства об искусстве», т. II.

нить, что от реализма Курбэ нельзя требовать того же самого, что мы требуем от социалистического реализма.

Курбэ воспроизводил действительность не пассивно, а критически. Одним из обязательных условий живописи и своего творчества он считал оценку изображаемого явления. Принципы свои он проводил не только в декларациях, но и в творчестве. Духом критического отношения к предмету изображения проникнуты все лучшие его картины. Говорить о Курбэ, как о натуралисте, никак нельзя, можно и должно говорить об ограниченности его критики и его буржуазного реализма.

В картинах Курбэ не заметно, как сказал бы немецкий искусствовед Фидлер, рабского подражания природе. Нет у него и загромождения картины деталями и преходящими мелочами (хотя обилие деталей не всегда может служить основанием для определения натуралистичности произведения). Курбэ всегда старается дать обобщенный, направленный в определенную сторону, характер предметов, старается дать им свое понимание, решение и оценку изображаемого.

Ценное наследие Курбэ входит в то сокровище, которое пролетариат получает от буржуазной культуры. Наряду с Домье Курбэ является вершиной французского реалистического изобразительного искусства. Советские художники, наследуя в первую очередь великих реалистов прошлого, серьезно должны работать над критическим освоением творческого наследия Курбэ. Буржуазия не смогла понять и продолжать путь Курбэ, путь социально-заостренного реалистического отражения действительности. Только художники пролетарского мировоззрения смогут понять, воспринять и дальше развить его реализм. Курбэ наш, к нему нужно подойти, как к одному из лучших представителей передовых художников, живших и творивших в условиях капиталистического общества.

Не могли, естественно, понять значение творческого наследия Курбэ и те французские художники, которые от романтизма все больше переходили к

кантовскому субъективному идеализму и неокантианству. Импрессионисты и кубисты не могли правильно оценить реализм Курбэ, несмотря на отдельные восторженные отзывы их по поводу той или иной картины художника.

Мимо Курбэ не мог пройти не только французский революционный художник, но и такой художник, такой гигант русского изобразительного искусства, как Репин. В тот период, когда Репин еще крепко стоял на позициях революционного разночинца-народника, он нашел в Курбэ родственные элементы. В письме к В. В. Стасову от 7 августа 1873 года Репин пишет: «Да, настоящего искусства до сих пор не было в пластике. Его не было и у французов, за исключением попыток Курбэ, которого теперь я глубоко уважаю как яркое начало».

Советские художники должны наследовать всю культуру, все искусство. И в первую очередь они наследуют тех художников, которые шли в первых рядах прогрессивных течений в искусстве. Среди таких художников Курбэ занимает далеко не последнее место. Это прекрасно понимают советские художники и не всегда понимают советские искусствоведы, ставя на первое место и на особое положение Сезанна, отразившего в своих произведениях кризисный период в истории буржуазного искусства, переход от подъема к упадку, к деградации. До сих пор для некоторых искусствоведов мерилом оценки того или иного произведения советского художника служит сезанновский цвет. Принципиальная непригодность этой мерки в расчет не берется¹⁾.

Художник Йогансон, говоря о том, у кого он учился и кто оказывал и ока-

¹⁾ Так например тов. А. Замошкин в своей статье, посвященной 25-летию художественной деятельности Е. А. Кацмана (см. каталог персональной выставки), в мировом изобразительном искусстве самым лучшим художником нашел только одного Сезанна. Он счел нужным обратить внимание художника на наследование «принципов вещественности и объемности предметов, пространства и цвета «Сезанна». Он не упомянул больше ни одного имени художника. Тов. Замошкин не желает понять, что изучение Рембрандта, Веласкеза, Рубенса,

зывает на него влияние, называет имена Репина, Сурикова, Курбэ, Рембрандта, Веласкеза и другие имена великих реалистов прошлого. Сезанна среди них нет¹⁾!

На каждой новой выставке работ советских художников мы видим, как все новые и новые имена становятся в первые ряды искусства социалистического реализма.

Этот рост происходит в условиях сильного отставания художественной критики, которая обязана не плестись в хвосте развивающегося в советском союзе искусства, а быть в авангарде этого развития. Только при таких условиях наша художественная критика оправдывает свое существование и получает должную оценку со стороны советской общественности.

3. ВЫСТАВКА Б. Н. ЯКОВЛЕВА

Е. В. Журавлева

Выставка картин Бориса Николаевича Яковлева, устроенная «Всекохудожником» в клубе «Каучук» (февраль—март 1935 г.), представляет собой интересное явление в области изо-

его развитию и о новых исканиях в области пейзажного жанра.

Творческий путь Б. Яковлева, выступившего на художественную арену после Октябрьской революции, свиде-



Б. Яковлев. — Уральский завод («Магнезит»).

бразительного искусства. Собранный на выставке материал далеко не полно характеризует творчество художника, но все же он дает яркое представление о

творчестве о глубоком и серьезном стремлении преодолеть старые традиции, разбить узкие рамки индивидуалистического восприятия природы, свойственные буржуазному искусству.

Курбэ, Делакруа, Репина, Сурикова и т. д. будет более полезным для советского художника, нежели изучение творчества Сезанна.

Основная и ведущая линия в творчестве Б. Яковлева—это линия обогащения новым социалистическим содержа-

¹⁾ Журнал «Творчество», № 3.

нием своего реалистического художественного мировосприятия.

Творческие командировки на нефтяные промысла в Баку (1929 г.), на Свирстрой (1931 г.), Нефтегорск (1932 г.), на Урал (1933 и 1934 гг.) — это последовательные ступени, отражающие в живописных реалистических образах социалистическую перестройку нашей страны.

Художественная продукция этих лет говорит о плодотворном стремлении по-новому осмыслить одну из основных проблем, стоящих перед художником-пейзажистом, — проблему взаимоотношений человека и природы.

Мощная социалистическая перестройка страны и небывалый подъем творческой энергии, по-новому столкнувшие человека с природой, не могли не найти своего отражения в советском искусстве, в частности в пейзаже.

Одним из проводников новых прогрессивных начал в советском искусстве явился Б. Н. Яковлев, активный деятель АХРР. Его картина 1923 г. «Транспорт налажен» являлась безусловно концепционной для ахрровского реалистического движения.

В борьбе с «левым» формалистическим искусством АХРР играл революционную роль, являясь первым историческим этапом на пути к овладению методом социалистического реализма.

Лучшие реалистические произведения, к числу которых безусловно принадлежит «Транспорт налажен», с очевидностью опровергали реакционные утверждения «левой» формалистической критики о том, что советские художники-реалисты находятся на низком художественном уровне, сводя все значение картины к одной лишь тематике.

Работы Б. Н. Яковлева, особенно его «Транспорт налажен», представляют собой пример серьезного и внимательного отношения к поискам выразительной реалистической формы. В этой картине сочетается острая, актуальная для своего времени тема с высоким живописным мастерством.

Отличительной особенностью Б. Н. Яковлева является исключительная способность эстетического восприятия и

переработки таких объектов действительности, которые у многих художников выступают в сухой и прозаической форме. Особенной высоты в этом отношении он достигает в цикле картин этюдов, посвященных Балтзаводу в Ленинграде (1930 г.). Так называемая «индустриальная тематика» отличается, за редким исключением, излишним рационализмом. Б. Яковлев подошел к своей теме «Балтзавод», как поэт. Он воспел в красках мощные подъемные краны, лесовозы, покрытые лесами здания, якоря и т. п., заставив зрителя понять и почувствовать огромную творческую силу нашего строительства, его подлинную романтику. Замечательны его «Подъемные краны», небольшая вещь, оправдывающая данное ей когда-то название «Симфонии кранов». На темном, ветрено-облачном небе высятся черные силуэты кранов, ритмически уходящие вдаль. Суровость и строгость сочетаются с тонким чувством восхищения перед их мощной и величественной красотой.

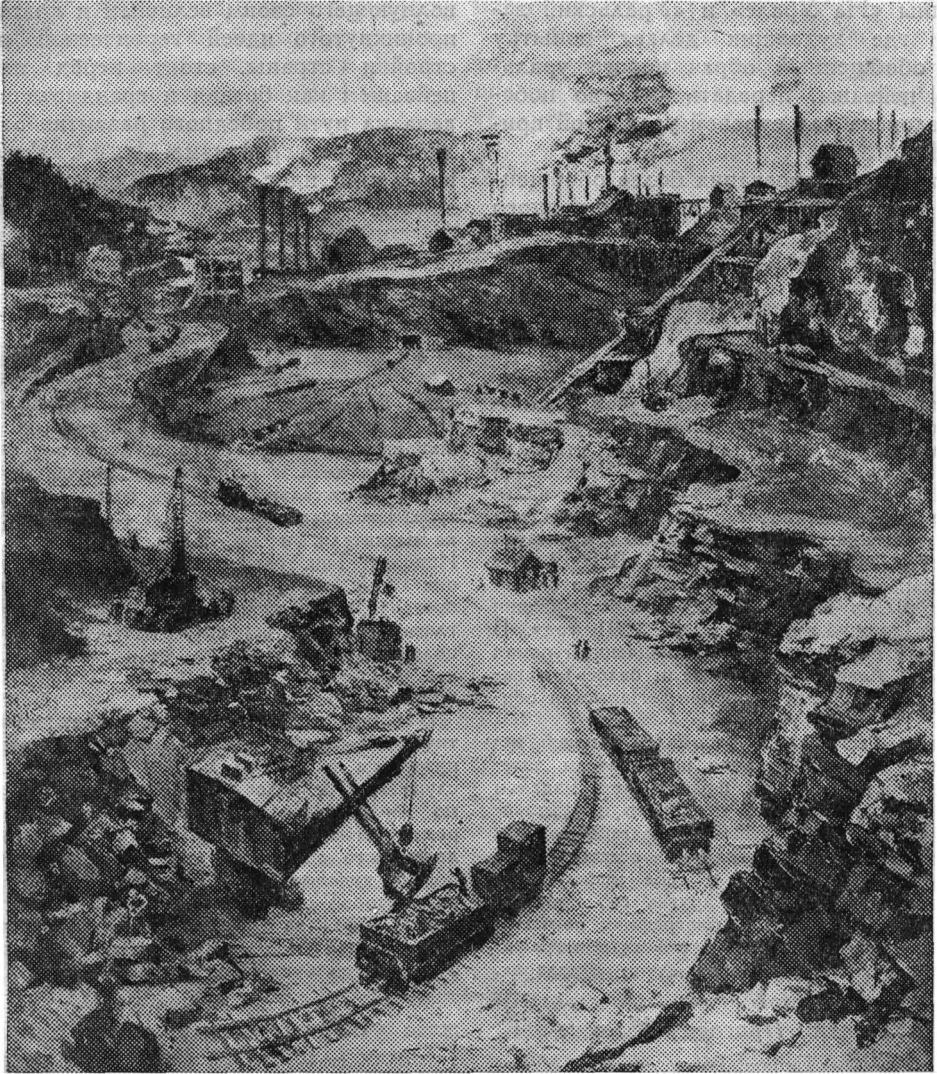
Знаменательным является тот факт, что Б. Яковлев уже в 1922 г., то-есть в год организации АХРР, отправляется с группой товарищей на московские заводы. Эта боевая творческая зарядка сохранила свою силу и до настоящего времени.

Б. Яковлев начал интересные поиски органического сочетания индустриального мотива с чистым пейзажем, то-есть по существу подошел к одной из интересных задач, стоящих перед нашими художниками — пейзажистами. Большую пользу дали Б. Яковлеву командировки на строительства в разные концы нашего необъятного Союза. Они обогатили художника ценнейшим материалом и воспитали в нем новое понимание и отношение к своим задачам как пейзажиста.

Если крымские пейзажи (1928 г.) говорят, что художник пленен красотой и яркой красочностью южной природы, то пейзажи Свирстроя и Урала свидетельствуют о том, насколько расширился и обогатился его кругозор. Картины стали эпичней и грандиозней по замыслу. Б. Яковлев охватывает широкие

пространства, где среди быстро бегущих рек, поросших лесами холмов, в ущельях гор вырастают гиганты содстройки. Основная доминанта пейзажей Яковлева—

ность трактовки предметов. У него — большая живописная культура, к которой он приобщился еще в период своего пребывания в Московской школе



Б. Яковлев. — Рудник (завод «Магnezит»).

это бодрое, победное, оптимистическое чувство, активно заражающее зрителя.

Оно звучит в его многочисленных этюдах, поражающих смелостью, остротой и непосредственностью цветового восприятия природы.

Б. Н. Яковлев — реалист, без малейшего намека на сухость и натуралистич-

живописи, ваяния и зодчества, у художников К. Коровина и Архипова.

Но эта живописная стихия сдерживается здоровым реалистическим мировоззрением.

Если в его работах 1933 г. («Сурамский перевал») чувствуется некоторая тенденция к излишней декоративности,

то его последние уральские вещи 1934—35 гг. (находящиеся в мастерской) говорят о больших достижениях художника как реалиста.

Особенно интересным являются его картины «На Урале» и «Уральский завод», где художник делает попытку дать обобщенный образ нового уральского пейзажа, передать чувство победы человека над суровой уральской природой.

Эти новые завоевания более обобщенного, синтетического, композиционного

пейзажа, наметившиеся еще в картинах Свирстроя, являются безусловно положительным моментом в творчестве Б. Яковлева.

Искания нового образа природы, волнующего своим величием и красотой, проникнутого идеей героической перестройки страны, стоят перед нашим пейзажем как боевая и грандиозная задача на пути победного развития социалистического реализма. Б. Н. Яковлев неуклонно идет вперед к решению этой задачи.

4. ПИСЬМА СТЕНДАЛЯ О ЛИТЕРАТУРЕ

(Перевод, предисловие и примечания Н. Славятинского)

Ниже напечатан перевод избранной переписки Стендаля по вопросам литературы, наиболее существенное, на наш взгляд, из того, что было помещено по этому вопросу в его трехтомной «Переписке» за годы 1829—1842. Это были годы наибольшей творческой активности Стендаля-художника. В 1830 году был напечатан его шедевр — «Красное и черное». В 1832 году написаны: «Жизнь Анри Брюлара», опубликованная только в 1890 году, и «Воспоминания эгоиста», опубликованные в 1891 году. В 1834 году он пишет свой незаконченный роман «Люсьен Левен» («Красное и белое») и наконец в 1838 году — роман «Пармская обитель».

Стендаль всю жизнь занимался теорией искусства. Его высказывания по вопросам литературы составляют во французском издании Шампион два больших, тщательно прокомментированных тома («Racine et Shakespeare», Paris, Champion). Они подлежат всестороннему исследованию, заключая в себе много интереснейшего материала. В других его произведениях, как например в биографиях композиторов Гайдна и Россини, в его автобиографических вещах, как «Жизнь Анри Брюлара»,

даже в романах и новеллах, не говоря уж о его искусствоведческих работах, как «История живописи в Италии», то и дело попадаются глубокие, хотя и выраженные подчас в нарочито-парадоксальной форме, мысли о литературе. Стендаль являет собой пример художника-мыслителя, и не даром такие люди, как Ипполит Тэн, охотно признавали, как много они были ему обязаны в своих теоретических построениях. Если с ним не всегда можно согласиться, хотя бы потому, что и сам-то он полон противоречий, то он замечателен тем, что, постоянно вызывая на возражения, будит критическую мысль.

В эпоху напряженных творческих и теоретических исканий нашей литературы многие с интересом и не без пользы для себя прислушаются к голосу старого реалиста, упрямо державшегося собственного пути и среди романтических декламаций тридцатых годов державшего оставаться простым и верным той правде художественного изображения, в поисках которой он стремился опереть свой творческий метод на теоретические достижения революционной материалистической философии французской буржуазии XVIII века.

1. Господину Просперу Мериме

Париж, 26-го декабря 1829 г., в пять часов вечера, без свечей.

Этим вечером, 26-го, ставятся новые оперы в Милане, Неаполе, Венеции, Генуе и т. д., и я прихожу от этого в ярость.

Ревность может убить любовь лишь в холодном сердце, в сорок лет, у человека отчаявшегося. Эта ревность врезает вас навсегда в сердце М... Эта кристаллизация может быть медленной. Вы мо-

жете ускорить ее на шесть месяцев (+ или —), сказав ей: «Уже три года, как я вас обожаю, но у меня всего тысяча семьсот франков ренты, и я не могу желить на вас. Я не хотел умереть, сойдя с ума». Ни больше, ни меньше. Дальнейшее развертывание предоставьте ее сердцу.

Это удачное словечко послужит мне переходом: не слишком ли вы развернули ваш роман?

Я думаю, что вы были бы более великим, но немного менее известным,

не напиши вы «Жакерии» и «Гузла», которые гораздо ниже «Клары Газуль». Но кто, чорт возьми, вас надоумил? Что касается славы, то литературное произведение — это лотерейный билет. «Африка» забыта, и Петрарка бессмертен лишь благодаря своим сонетам. Будем же больше писать. К тому же, после упражнений, которыми занимается наш друг Санд, писать для нас, бедных, это — величайшее удовольствие.

Что вы станете делать с тысячью франков? Поедете ли вы в Неаполь? Ведь это возможно. Отправитесь ли вы в Модону?

Если вы не торопитесь, забудьте роман на один год. Тогда вы сможете судить о нем. По крайней мере я, через полгода, всё забыл. Без сомнения, не один герцог хотел бы стать известностью за тысячу франков. Не одна честная женщина хотела бы иметь за них четвертое свидание с вами. Но где найти маклера для подобной сделки?

Если вы хотите поскорей проесть тысячу франков, прочтите мне ваш роман, потому что я, как и Курье, не в состоянии судить по рукописи. Я прослушаю его с удовольствием, от семи часов вечера до полуночи, в два или три сеанса.

Я был бы очень строг к вашему стилю, я нахожу его несколько вульгарным. J'ai eu du mal à faire, и т. д. вместо: J'ai eu de la peine à faire, и т. д. Для меня в литературе существуете лишь вы и г. Жанэн, автор диалога Дон-Мигуель и Наполеон (Фигаро, 19-го или 20-го декабря).

Если хотите, я сведу вас с г. Жанэном, Фигаро это будет на-руку! Но, по-моему, великие люди из Глоба завидуют вам. Я часто различаю в вас манеру рассуждать, напоминающую Мезоннета, id est красивую фразу вместо мысли, id est недостаток знакомства с Монтеस्कье и де-Траси—Гельвециусом. Вы испытываете страх перед длиннотами.

Это отдает водевильными вкусами 1829.

Вы и я или вы один, мы никогда не окажемся ниже произведения, которое вы мне называете. Какое благоразумие!

Там-то вы и найдете многие тысячи франков, и вы не подвергнетесь при этом и четвертой доле опасностей, которым вас подвергает ваш роман. Если он, не выше «Жакерии», ваше падение неизбежно.

Часто мне кажется, что в вас недостаточно деликатной нежности; а она-то мне и нужна, чтобы роман мог тронуть меня.

Шоппэн.

2. Господину Сент-Бёву

Прочитав за три с половиною часа под ряд «Утешения», пятница, 26-го марта 1830 г.

Если бы бог существовал, то я был бы этим очень доволен, потому что он заплатил бы мне раем за то, что я честный человек.

Итак, я ни в чем не изменю своего поведения и буду вознагражден за то, что я делаю именно то, что делаю.

Но одна вещь уменьшила бы удовольствие, которое я испытываю, мечтая о тихих слезах, вызванных добрым делом, — это мысль, что за это будет заплачено, в раю.

Вот что мне хотелось бы сказать вам в стихах, если бы я умел сочинять их так же хорошо, как вы. Меня шокирует, что вы, верующие в бога, воображаете, будто для того, чтобы предаваться отчаянию в течение трех лет из-за покинувшей вас любовницы, надо верить в бога. Подобно этому какой-нибудь Монморанси воображает, будто для того, чтобы быть храбрым на поле битвы, надо носить имя Монморанси.

Я верю, что вам предстоит сыграть большую роль в литературе, но я нахожу, что в ваших стихах еще много аффектации. Я хотел бы, чтобы они больше походили на лафонтеновские. Вы слишком много говорите о славе. Можно увлекаться своей работой, но Нельсон (прочитайте его биографию, написанную бесчестным Соути), Нельсон дал себя убить лишь за то, чтобы стать пэром Англии. Кто знает, придет ли эта слава? Вспомните Дидро, обещавшего бессмертие г. Фальконнэ, скульптору.

Лафонтен говорил Шанмеле: «Мы прославимся: я — за стихи, а вы — за чтение». Он угадал. Но зачем говорить об этом? Страсть целомудренна; зачем открывать такие интимные вещи? К чему имена? Это несколько цинично, крикливо.

Вот моя мысль, и притом вся мысль. Я думаю, что о вас будут говорить в 1890 г. Но вы напишете нечто получше «Утешений», нечто более сильное и более чистое.

3. Барону де-Марест

Париж, 1830 год.

Сообщаю вам, что я открыл сегодня великого, настоящего поэта, в читальне с платой в 6 су. Это г. де-Мюссе, автор «Испанских и итальянских новелл», посмотрите 227 и 228 страницы, а особенно «Порция», страницы 146 и 160.

«... Но он этому не верил», — вот как я исправляю последний стих.

4. Господину Сальвандоли, поэту и адвокату. Флоренция.

Чивита-Веккья, октябрь 1831.

Мне очень не хотелось бы, любезный соотечественник Боккаччо, задевать ваше национальное тщеславие. Во Флоренции со мной необыкновенно вежливы; зачем же оскорблять город, где так любезны? Но, с другой стороны, если я не искренен, то я впадаю в пошлый и ложный тон.

Итак, извиняясь перед вашим итальянским тщеславием, я осмелюсь сказать, что есть, как мне кажется, одно существенное условие для того, чтобы писать красивым итальянским стилем, а именно: высказывать только одну и, самое большее, две мысли на огромной итальянской странице, вроде страниц «Антологии». И потому, переводя на итальянский язык страницы, которые я вам посылаю, размазывайте их до бесконечности: делайте из одной четыре.

Иначе вы останетесь непонятным для читателя, привыкшего к несколько многословному стилю, когда автор, потвор-

ствуя лени читателя, берет на себя заботу все растолковать.

Вычеркните или, лучше сказать, не переводите того, что вы сочтете лишним. Смягчите то, что вам покажется преувеличенным. Словом, защищайте «Красное» так, как вам заблагорассудится; а моя статья — это лишь памятная записка прокурора в руках ловкого адвоката.

5. Господину Анри Дююю

Чивита-Веккья, 23 июня 1832 г.

Ваше любезное предложение очень меня тронуло. Я принял решение ничего не печатать, пока состою правительственным чиновником. К несчастью, мой стиль отличается тем свойством, что он оскорбителен для того вздора, который некоторыми кружками выдается за истину.

В свое время я имел несчастье оскорбить теплую компанию из «Глоба». Теперешние же кружки, которые мне неизвестны даже по имени, но которые, без сомнения, подобно «Глобу», добиваются успеха, повредили бы своими статьями той маленькой доле спокойного уважения, которым должен быть окружен правительственный агент.

Если бы все же нам пришлось заключать соглашение, то я не скрою от вас ужаснейшего препятствия: не будучи шарлатаном, я не могу обещать издателя ни одной статьи в прессе.

Если когда-либо у меня появятся другие намерения, то я буду иметь честь поставить вас об этом в известность. Действие романа происходит в Дрездене в 1813 году. Прежде, чем договариваться с кем-либо, я буду иметь честь предупредить вас, но я предполагаю молчать еще лет восемь или десять.

Примите, сударь, уверения в моем совершенном уважении к вам.

Ваш покорнейший слуга

А. Бейль.

6. Ромэну Коломбу

Палермо, 27 августа 1832.

Курье был вполне прав: большая часть семей высшей аристократии разбо-

гателя благодаря одной или нескольким распутницам. В Нью-Йорке это невозможно; но в Нью-Йорке зевают до того, что челюсти можно вывихнуть. Вот вам, например, род Фарнезе, разбогатевший благодаря знаменитой куртизанке, по имени Ваночча Фарнезе.

С того времени, как я закончил «Прогулки по Риму», мы часто беседовали о Павле III; я собрал кое-какие новости об этом почтенном архипастыре, и я поделился ими с тобой. Александр Фарнезе, как ты знаешь, вступил на папский престол 12-го октября 1534 года, шестидесяти восьми лет отроду, и умер 10-го ноября 1549 года.

Я заимствую рассказ о приключениях этого любезного человека из написанного наполовину на неаполитанском наречии, наполовину на плохом итальянском языке манускрипта, главное достоинство которого составляет наивность. Рассказы, найденные мною в нем, относятся к числу тех, которыми серьезные ученые обычно пренебрегают. А я спрошу их, что нам за дело теперь до индикта против венецианцев или до истории ста мирных трактатов, подписанных римской курией с Неаполем? Тогда как способ отомстить сопернику или пленить женщину, принятый в семнадцатом веке, вызывает интерес. Я прочел этот манускрипт, как роман; но его невероятно трудно перевести, а придать этому повествованию несвойственное ему приличие—дело нелегкое.

Чего только в нем нет, вплоть до магии. Надо сказать, что этот Александр Фарнезе был одним из самых счастливых людей шестнадцатого века, счастливых, по мнению людей, не забывает повторить несколько раз наш неаполитанский автор, который, мне кажется, был придворным и только с возрастом стал ханжой. Он не только грешит непристойностью, в которую впадает довольно-таки часто, но его повествование затемнено множеством непонятных рассуждений, большей частью заимствованных у Платона. Это было в духе того времени; кто может поручиться, что наше время не покажется столь же смешным через три столетия?

Я сильно сокращаю эту скандальную историю, которая в оригинале занимает не меньше четырехсот восьмидесяти страниц in quarto. Автор об'ясняет многие события действием магии; он наивен и верит в то, о чем рассказывает; но я не советовал бы читателю подражать ему в этом. Здесь надо искать не серьезности или исторической точности, а изображения обычаев и способов искать счастья в Италии примерно около 1515 года, в эпоху, когда эта прекрасная страна насчитывала среди своих граждан Ариосто, Маккиавели, Рафаэля, Микель-Анджело, Корреджо, Тициана и многих других.

Найдутся люди, которые осмелятся думать, что эта цивилизация не уступала той, которая составляет нашу гордость теперь, в девятнадцатом веке. Но у нас есть два прекрасных преимуществ: благопристойность и лицемерие.

Большое невежество судить о действиях современников Рафаэля по морали и особенно по манере чувствовать, которые свойственны сегодняшнему дню. В шестнадцатом веке придавали меньшее значение совершаемому убийству или же собственной смерти. Жизнь сама по себе, вне того, что делает ее счастливой, не считалась столь важным достоянием. Прежде, чем жалеть человека, терявшего ее, определяли меру счастья, которым он наслаждался. И при подобном расчете женщины занимали гораздо большее место, чем в наши дни: тогда отнюдь не считалось стыдом всем жертвовать ради них. Тщеславие и постоянная оглядка на то, «что об этом скажут другие», едва зарождались, и тогда, например, не принимали всерьез оказываемую государями честь. За ними вообще не признавали права устанавливать в обществе ранги. Когда Карл Пятый сделал Тициана графом, никто не обратил на это внимания, и сам Тициан предпочел бы алмаз в пятьдесят секинов. Я закончу эту картину напоминанием о крайней восприимчивости тогдашних людей к поэзии, о том, что малейшая сколько-нибудь остроумная фраза целый год занимала Рим. Отсюда столько знаменитых эпиграмм, которые кажутся теперь лишенными соли: мир был молод.

Наша преувеличенная стыдливость не имеет ни малейшего представления о той цивилизации, которая царил в ту эпоху в Неаполитанском королевстве и в Риме. Нужно обладать очень грубыми страстями, чтобы объяснить ее с достаточной ясностью. Но зато все наши окаменелые добродетели показались бы современникам Ариосто и Рафаэля полной нелепостью. Это потому, что тогда ценили человека лишь за то, что в нем было особенного, а особенным считалось не то, чтобы быть, как все люди; из этого видно, что дураки не пользовались успехом.

7. Графу ***

Аквила, 18 октября 1832.

Раз вы этого пожелали, я излагаю в письменном виде то, что я имел честь сказать вам вчера.

Чтение романов — это немаловажное занятие женщин во французской провинции. В маленьких городках Франции нравы очень чисты; каждая женщина следит за соседкой, и, бог знает, существовала ли когда-нибудь лучшая полиция. Стоит мужчине раз шесть побывать в доме, где находится молодая женщина, как среди соседей начинается всеобщее волнение, и наказания, налагаемые этой бдительной полицией, ужасны. Несчастливая женщина, живя в каком-либо городе Франции, насчитывающем до двадцати тысяч душ, подает повод к разговорам о ней (это сакраментальное выражение освящено «провинциальными недотрогами»), не получает приглашения ни на один из балов ее городка. Если она находит средство проникнуть в балльную залу, женщины демонстративно не разговаривают с нею; это презрение заставляет ее переживать крайний стыд и горе. А так как французский характер в силах все перенести, кроме публичного презрения, то каждый год некоторые из этих несчастных провинциалок, которых немного скомпрометировала в глазах их соседок любовь, самоубийством обрывают существование, ставшее невыносимым. А те, у которых недостает твердости, отправляются в де-

ревню и уж никогда в жизни не появляются на карнавальных празднествах.

Бывало, мужья, более снисходительные, чем публика их маленького городка, оказывали знаки большого уважения и любви к своим женам, которых сплетни и ханжество местечка объявляли виновными. Эти добрые мужья пытались вернуть своих жен из деревни; они появлялись с ними в местах общественных гуляний; в одну минуту все женщины покидали ту сторону гулянья, где несчастная изгнанница прогуливалась со своим мужем.

Таковы нравы, привитые французской провинции правительствами Людовика XVIII и Карла IX. Эти государи, хотя и очень мало склонные к галантности, особенно первый (он, говорят, был недостаточно способен к ней), были очень любезны, любили женщин, умели поговорить с ними и были очень далеки от той глупой преувеличенной добродетели, которая в их царствования так омрачила Францию. Можно, пожалуй, сказать, что этой скучной прюдери положил начало Наполеон, а «конгрегация» укоренила ее затем в нравах провинции. Она всюду ввела доносы и шпионство. Ее шефы хотели знать названия газет, которые читались в домах любого городка Франции, и они этого достигли. Они хотели знать, кто ежедневно бывает в этих домах, и они это узнавали; и все это даром, без всяких издержек, исключительно благодаря добровольному шпионству.

Вот те новые нравы во Франции, которые хотел изобразить госп. Лебарбье, автор романа «Обольщение и раскаяние». Но прежде, чем приступить к анализу этого произведения, я укажу на другое следствие моральных обычаев во Франции, ее «нравов», установившихся между 1806 и 1832 годами; можно сказать, что они совершенно не известны за границей, где все еще ищут изображения французского общества в рассказах Мармонтеля и романах госпожи Жанлис.

Все совершенно изменилось во Франции. Верную картину нравов провинциальных городов до революции можно найти не в «изысканных» рассказах Мармонтеля, а в прелестном маленьком

романе барона де-Безенваля «Сплин». Он показывает, как во Франции веселились перед 1789 г. Все биографии Наполеона начинаются описанием того прекрасного существования, каким он наслаждался в Валенсии (в Дофинэ), когда он был лейтенантом гарнизонного артиллерийского полка. Там было три или четыре дома, где принимали каждый вечер. А теперь ничего подобного; все печально и напыщенно в этих городах с населением от шести до восьми тысяч человек; приезжий был бы в таком же затруднении, куда ему девать свои вечера, как и в Англии. Мужчины привили себе вкус к охоте и сельскому хозяйству, а их бедные половины, не будучи в состоянии заниматься романами, утешаются, читая их.

Этим объясняется огромное потребление романов во Франции. Редко какая провинциалка не прочитает в месяц томов пять-шесть, а многие прочитывают по пятнадцати, по двадцати; и в каждом таком городке не меньше двух-трех читален. В них выдают романы по одному су за день. Если роман принадлежит перу знаменитого писателя, то он приносит библиотеке два, а иногда и три су в день. Если же он сопровождается гравюрами Тони Жоанно, модного рисовальщика, который, в самом деле, обладает весьма оригинальным талантом, и если роман усердно расхвален прессой, то хозяин библиотеки делит надвое каждый том романа и отдает каждую половину по три су в день. Но для того, чтобы успех был отмечен подобным образом, книга должна быть издана форматом *in octavo*.

Произведение, о котором я хочу рассказать, удостоилось чести быть выдаваемым читателям за три су, и, более того, оно было четвертовано.

Все женщины во Франции читают романы, но не все они стоят на одинаковой ступени образования. Отсюда вытекает различие, установившееся между «романом для горничных» (прошу извинения за резкость этого выражения, избретенного, как я полагаю, книготорговцами) и «салонным» романом.

Роман для горничных печатается, по большей части, *in-12* у г. Пигоро. Этот

парижский издатель перед торговым кризисом 1831 года заработал полмиллиона на том, что заставлял прекрасные глаза провинциалок проливать слезы. Потому что, несмотря на презрительное название «романа для горничных», роман Пигоро *in-12* (герой которого, будучи всегда совершенством, обладает восхитительной внешностью, безукоризненным сложением и большим (глазами навывкате) читается в провинции больше, чем издаваемый г. Левассером или г. Госселеном роман *in-8*, автор которого стремится к литературным достоинствам.

Есть писатели, написавшие по восьмидесяти томов романов, напечатанных в Париже, имя которых, будучи у всех на устах в Тулузе, Марселе, Байонне и Ажане, в Париже никому не известно. Таков, например, барон де Ламот-Лангон, автор романа «Префект» и двух десятков других романов. Господа Виктор Дюканж, Поль де-Кок и другие были бы, подобно барону де Ламот-Лангону, никому не известны в Париже, если бы они не превращали свои романы в драмы и мелодрамы.

В Париже, Руане и в нескольких городах на севере Франции, где образованность выше, чем на юге, роман для горничных никогда не попадает в салоны. В Париже не могут себе представить ничего более дрянного, чем эти всегда совершенные герои, чем эти несчастные, невинные, преследуемые женщины из романов для горничных.

Часто случается, что и в провинции читают роман для порядочного общества, роман *in-8*; но там большей частью не могут осмыслить его целиком. Провинция читает его скорее лишь ради выполнения долга, чем ради удовольствия.

Вальтер Скотт и г. Мандзони представляют единственные исключения; произведения этих двух великих художников читаются с одинаковым интересом и в провинции, и в Париже; пожалуй, с тем единственным исключением, что в Париже скучают за чтением первых частей романов Вальтер Скотта, наполненных местными подробностями и чересчур мало оживленных. Наоборот, эти подробности пленяют провинцию. В Пари-

же, читая Мандзони, со скукой следили за детальными описаниями миланской чумы 1628 года и за Untori, провинция же трепетала.

Сэр Вальтер Скотт, пожалуй, имеет во Франции сотни две подражателей; все произведения этих авторов нашли читателей; а некоторые выдержали по нескольку изданий и имели такой успех, что их читали даже в Париже.

В романах для горничных не придается никакого значения тому, что события нелепы, лишь бы в надлежащий момент герой мог блеснуть благодаря им; словом, это такие события, которые в насмешку называют «романическими». Женщины из среды мелкой провинциальной буржуазии требуют из ряда вон выходящих сцен, а средства, которые к этому ведут, несущественны.

Наоборот, парижские дамы, потребляющие книги in-8, чертовски строги к «экстраординарным» событиям. Как только происшествие доходит до того пункта, когда герой должен блеснуть, они бросают книгу, и герой становится смешным в их глазах.

По этим двум противоположным причинам трудно написать роман, который с одинаковым интересом был бы прочитан в буржуазных покоях в провинции и в парижских салонах.

Таково было отношение публики к роману в 1830 году. Гений Вальтер Скотта ввел в моду средние века; можно было быть уверенным в успехе, посвятив две страницы описанию окна той комнаты, где находился герой; две других страницы — его одежде, а еще две — форме кресла, в котором он сидел. Госп. Лебарбье, уставший от всего этого средневековья, от стрельчатых арок и одежд пятнадцатого века, осмелился рассказать о событии, имевшем место в 1830 году, и оставить читателя в полном неведении относительно покроя платья, которое носят госпожа д'Эспань и госпожа Сент-Анж, две его героини, — да, у него их две, вопреки всем правилам, существовавшим до настоящего времени.

Больше того: автор осмелился изобразить характер парижанки, которая любит своего любовника лишь постоль-

ку, поскольку она каждое утро боится потерять его. Таково действие огромного тщеславия, которое постепенно стало единственной страстью этого города, где люди так умны. В другом месте любовник может заставить полюбить себя, торжественно уверяя в своей пылкой страсти, в верности и давая своей красавице подтверждение этих прекрасных качеств. А в Париже, чем больше он убеждает свою возлюбленную, что он привязан к ней навсегда, что он «обожает» ее, тем больше он губит себя. Вот чему немцы никогда не смогут поверить; и, однако, боюсь, не прав ли Лебарбье, как художник. Жизнь немцев созерцательна и мечтательна. Что до морали, которая, по мнению красавиц, вытекает из книги Лебарбье, то вот она: «Молодой человек, раз вы хотите, чтобы вас любили, в эпоху цивилизации, когда тщеславие стало, если не страстью, то по меньшей мере чувством, не покидающим ни на одну минуту, каждое утро убеждайте женщину, которая накануне была вашей любовницей, что вы готовы ее покинуть».

Эта новая система, если она удержится, совершенно преобразит любовный диалог. В общем, до момента мнимого открытия г. Лебарбье, когда любовник не знал, что сказать своей милой, когда скука готова была овладеть им, он обращался к самым пылким изъявлениям своих чувств, к любовному экстазу, восторгам счастья и т. д., и т. д. Господин Лебарбье хочет показать бедным любовникам, что подобные речи, которым они не придавали значения, являются их гибелью. Следуя этому писателю, когда любовник заскучает подле своей возлюбленной, — а это во всяком случае может ведь произойти в этом веке, таком добродетельном, таком ханжеском, таком скучном, — то лучше всего, если он просто-напросто не будет отрицать свою скуку; эту случайность, это несчастье, как всякое другое.

Все это покажется очень простым в Италии, где естественность в манерах и в речах является «прекрасным идеалом»; но во Франции, стране аффектации, это будет большим нововведением.

8. *Господину Левассеру, книгоиздателю, Париж.*

Чивита-Веккья, 11 ноября 1832 г.

Меня очень тронуло любезное письмо, которое вы потрудились написать мне. По своей натуре, я не привязчив; люди по большей части наводят на меня скуку. И, следовательно, немало нашлось бы людей, которые рады бы повторять: «Он не интересуется своим делом; посмотрите, у него есть время писать всякий вздор». А что, если бы среди этого вздора попадались шуточки по поводу нелепостей, полезных людям могущественным? Позволительно, мол, писать обо всем, лишь бы только не касаться того, сего, третьего, десятого, а это направлено к тому, чтобы заставить нас возобновить традиции литературы времен Империи.

Так вот я написал роман, стиль которого, надеюсь, не в такой степени рубленый стиль, как в «Красном», — два больших тома или три маленьких. Если бы литература могла мне давать три тысячи франков в год, я выслал бы вам «Зеленого егеря»; потому что я предпочитаю удовольствие писать всякие безрассудные вещи тому, чтобы носить шитое золотом платье, ценою в восемьсот франков.

Я приобрел за очень дорогую цену старые, пожелтевшие манускрипты, которые восходят к шестнадцатому и семнадцатому векам. Они содержат на полудиалекте того времени, который я очень хорошо понимаю, маленькие истории, почти все трагического характера, страниц по восьмидесяти каждая. Я называю это «Римскими новеллами». В них нет ничего непристойного, как, скажем, у Таллемана де-Рео; это более мрачно и более интересно. Хотя любовь играет там большую роль, в глазах умных людей эти повестушки были бы полезным дополнением к истории Италии шестнадцатого и семнадцатого веков. Это нравы, породившие Рафаэлей и Микель-Анджело, которых с такой наивностью хотят получить при помощи академий и художественных школ. При этом забывают, что надо быть сильным духом,

чтобы водить даже искуснейшей кистью, и в результате вырашивают бедняг, обреченных на то, чтобы ухаживаниями за заведующим канторой добиться заказа на картину.

Виноват, я отклонился, я чересчур подражаю Пиндару. Не показывайте моего письма недоумкам, и поверьте, что я был бы в восхищении предложить вам произведение, которое, вашими талантами и попечениями, быстро дошло бы до хороших судей, чего мне всегда недоставало.

Я пишу сейчас книгу и делаю, быть может, большую глупость; это «Моя исповедь», она, примерно, в стиле Жан-Жака Руссо, только в ней гораздо больше искренности. Я начал с русской кампании 1812 года; меня рассердили всевозможные пошлости г. де-Сегюра, который хочет украсть большую орденскую ленту Почетного Легиона. Наряду с русским походом и императорским двором там описаны любовные похождения автора; это составляет прекрасный контраст (прекрасный означает здесь большой). Быть может, искренность этой рукописи делает ее чересчур скучной для печати.

Говорят, вы анонсируете «новый роман г. де-Стендаля». В час добрый! Если я получу в наследство три тысячи ренты, я пришлю вам «Зеленого егеря», которому очень польстит, что о нем объявляли в продолжение двух или трех лет. Этот роман можно назвать еще, если это вас больше устроит, «Премольским лесом». Вот и все, что я в состоянии сделать сейчас в области литературы.

9. *Господину Сеттону Шарпу. Лондон (сент. 1833).*

Париж, 22 октября 1833, прочесть в Лондоне, в первое воскресенье ноября.

Задача. Найти умного человека для составления статьи о «Любви».

Хорошо было бы поместить статью о «Любви» в *Edinburgh Review* или в *Quarterly*. Тема весьма прилична. Легко написать статью, которая ни в чем не задела бы сент. Вся трудность в том, что-

бы найти reviewer, который понял бы книгу.

Эта книга является монографией о болезни, называемой «любовь», это трактат «медицинской морали». Ничто не обращено к чувствам. Язык строгий и философский, как-раз такой, чтобы устранить всякие мысли сладострастного или идиллического характера, которые заглавие могло бы внушить какому-либо юному читателю.

Боэр,
книгоиздатель.

10. Госпоже Гольтье

Чивита-Веккья, 4-го мая 1834 г.

Я прочел «Лейтенанта», мой дорогой и любезный друг. Его надо целиком заново переписать, представив себе, что вы переводите книгу, написанную по-немецки. Язык его, по-моему, ужасающе благороден и напыщен; я безжалостно исчеркал всю рукопись. Не надо лениться, а вы пишете лишь для того, чтобы писать; для вас это забава. Весь конец второй тетради, там, где говорится о Версале, Елене, Софье, о комедиях в высшем свете, надо передать диалогом. В описательном повествовании все это чересчур тяжело. Развязка плоская. У Оливье такой вид, словно он охотится за миллионами; в действительности это великолепно, потому что зритель говорит себе: я пообедал бы у этого человека.

Читается отвратительно. — Я указал другую развязку. Как видите, я верен нашему условию; никакой пощады самолюбию. — Употребляйте пореже частицу «де» перед фамилиями и не называйте ваших персонажей по именам. Разве, говоря о Крозе, вы скажете Луи? — Вы говорите Крозе или должны так говорить.

В каждой главе надо повычеркивать, по крайней мере, по пятидесяти утрированных выражений. Никогда не говорите: жгучая страсть Оливье «к Елене».

Бедняга романист должен заставить читателя поверить в жгучую страсть, но никогда не называть ее: это нецеломудренно.

Подумайте затем о том, что у людей богатых нет уже больше страстей, кроме тех, что вызваны задетым тщеслабием.

Если вы говорите страсть, пожиравшая его, вы впадаете в стиль романов для горничных, издаваемых in-12 госп. Пигоро. Но для этого рода романов в «Лейтенанте» чересчур мало трупов, похищений и прочих вещей, столь обычных в романах дядюшки Пигоро.

Лёвен,
или
студент, исключенный из Политехнического Училища

Я остановился бы на этом заглавии. Оно объясняет дружеские отношения Оливье с Эдмондом. Характер Эдмонда или будущего академика — это самое оригинальное из того, что есть в «Лейтенанте». В своей сущности эти главы правдивы; но все портят преувеличенные выражения на манер покойного Демазюре. Расскажите всё это так, словно вы пишете мне. Читайте «Марианну» Мариво и «Тысячу пятьсот семьдесят два» Мериме, читайте так, словно вы принимаете лекарство, чтобы излечиться от страсти к провинциальному Фебу. Описывая мужчину, женщину, местность, беспрестанно думайте о ком-нибудь, о чем-нибудь, реально существующем.

Я всецело занят «Лейтенантом», и я скоро окончу его. Но как переслать вам обратно эту рукопись? Нужна оказия. Как ее найти? Попробую поискать...

11. Госпоже Гольтье

Чивита-Веккья, 8-го ноября 1834 г.

Не будете ли вы так добры, мой любезный друг, взять обратно «Лейтенанта»? Госп. Коломб пишет мне, что он ничего не может понять, что никто не требует рукописи. Я твердо уверен, что писал вам. Мое письмо окончит свой век в трубке австрийского капрала.

Если бы вы видели «Лейтенанта», вы спросили бы: в этом-то все дело? Стоило ждать целый год! Ведь все

сводится к тому, чтобы поставить: Приведите мне мою лошадь вместо: Приблизьтесь с моим скакуном. Прочитывая каждый день по двадцати страниц «Марианны» Мариво, вы поймете все преимущества точного описания движений человеческого сердца. Не делайте ваших персонажей чрезмерно богатыми, и пусть ваши герои всегда будут готовы совершить какую-либо неловкость; потому что и такие герои, как мы с вами, совершают неловкости. Мы бежим; дряблый человек еле движется, опираясь при этом на палку: потому-то он и не падает...

12. Ромэну Коломбу, Париж.

Рим, март 1836

Дорогой друг, дует божественный *venticello*, и я наслаждаюсь им и нежусь уже часа два на Пинчо. Пофилософствуем немного, и я отдохну.

Не находишь ли ты, что во Франции, и особенно порядочному обществу во Франции, недостает именно той страсти (любви), вокруг которой вращается большая часть литературы, развлекающей это порядочное общество? — Именно потому, что в нем очень много остроумия и ума для понимания этой любви, оно не может уже испытывать ее больше одного дня.

Вчера в небольшом кружке говорили на тему о смешном. Вот что сказал об этом Доминик:

«Можно утверждать, что век смешного позади; не потому, конечно, что уж больше нет смешных людей, а потому, что некому над ними смеяться. Человек, ставший посмешищем, тотчас, благодаря какому-либо подчеркнуто-красноречивому демаршу, окажется среди крайних представителей одной из двух политических партий, и в ту же минуту половина общества решит, что это своего рода маленький святой, человек превосходный, но оклеветанный крайними представителями противоположной партии. Во времена Мольера смешное состояло в неумении примениться к модели, заранее приобретенной всеми классами. В бо-

лее общей форме можно выразиться так. Смешное состояло в том, что, избрав дорогу для достижения какого-либо блага, попадали на ложный путь. И смех рождался тогда, когда какой-либо случай, другой ли человек, или шутка, открывали этому человеку, что он ошибся дорогой. А так как единственной страстью было тщеславие, то человек, который оказывался в положении, вызывающем унижительную, неприятную мысль, тотчас же становился смешным; а человек, который обнаруживал это неожиданным образом, вызывал взрыв хохота.

Когда аббат Сийес опубликовал свою знаменитую брошюру: «Что такое третье сословие?», он нанес смертельный удар родовой аристократии, но он создал, сам того не сознавая, аристократию литературную. В 1790 г. первые ложи французского театра были заполнены людьми, обладавшими большим или меньшим умом, но все они читали Мольера и «Эмиля» Руссо. Революция распахнула эти ложи перед людьми очень богатыми, очень ловкими в деле увеличения своего состояния и, в случае надобности, завоевания места префекта либо сборщика налогов, но, открывая «Эмиля», они засыпают.

В настоящее время в обществе ясно обозначились два оттенка. Взяв в руки перо, чтобы писать книгу, надо выбирать, нравиться ли людям, отец которых, купив издание Вольтера, читал его, или нравиться обладателям недавно нажитых состояний и тем, кто наживается.

13. Господину Арну Фреми, Париж.

Париж, 26 октября 1836 г.

Я очень доволен книгой, у автора ее всегда есть, что сказать, но это ужасный лентяй.

Если я стану вдаваться в подробности, то вы не влюбите меня; я напишу статью и представлю ее на ваше усмотрение.

В области стиля, как и во всем, можно одобрять лишь путь, который избран самим автором, потому что если бы он

считал его плохим, то выбрал бы другой. Судить в этом случае — значит выдавать свидетельство в сходстве, ничего более; а я полон медоверия.

Мне кажется однако, что существует стиль порядочного общества, это, примерно, стиль писем Вольтера. Существует также стиль демократический, который стремится произвести впечатление на лавочников, ставших миллионерами.

Этот стиль все утрирует, чтобы привлечь внимание упомянутых лавочников.

Если это так, то вот другой вопрос: можно ли писать для двух классов — людей *comme il faut* и лавочников-миллионеров?

Я этого не думаю. Роман впредь сможет нравиться лишь половине читающей публики.

Котонэ.

ПРИМЕЧАНИЯ

Письмо 1.

Проспер Мери́ме (1803—1870) — французский писатель с разносторонними дарованиями, замечательный новеллист. Его знакомство со Стендалем, который двадцатью годами был старше Мери́ме, началось в 1822 г. Примерно за год до настоящего письма Стендаля была напечатана историческая драма-хроника Мери́ме «Жакерия», 1828 г., в которой автор изображает восстание средневековых крестьян. До этого Мери́ме напечатал собрание будто бы иллирийских песен «Гузла», 1827 г. Жертвой его мистификации стали немецкий ученый Гергард, польский поэт Мицкевич и Пушкин («Песни западных славян»); кстати сказать, Мери́ме был превосходным по тому времени переводчиком пушкинской поэмы на французский язык. Стендаль высоко ценил некоторые новеллы Мери́ме и «Театр Клары Газуль» (1825 г.) — сборник антиклерикальных и в известной мере антидворянских комедий. «Кларой Газуль» Стендаль шутя называл Мери́ме. Роман, о котором говорит Стендаль в третьем абзаце и ниже, это — «Хроника царствования Карла IX».

«Африка» — латинская эпическая поэма Петrarки, за которую поэт был увенчан лавровым венком в Капитолии (римский кремль). Сюжет ее взят из истории Рима конца 2-й Пунической войны. Герой этой войны и герой поэмы — Сципион, прозванный Африканским.

Модона — город в современной Греции на месте древней Метоны.

Поль-Луи Курье (1772—1825) — либеральный публицист эпохи Реставрации, знаменитый памфлетист. Стендаль не раз сочувственно отзывался о деятельности Курье.

Две фразы по-французски это — два однозначных выражения, означающих: «мне трудно было это сделать» или «я потрудился над этим».

Жан-Эн Жюль (1804—1874) — плодовитый французский романист и довольно беспринципный критик-эклектик. Его злободневными романами, написанными в духе раннего натурализма, зачитывались у нас, в России, представители «натуральной школы» 40-х гг. и среди них Гоголь.

«Фигаро» был в конце двадцатых годов маленьким сатирическим листком, который находил читателей среди театралов и посетителей

некоторых кафе. В нем начинали работу многие видные деятели тогдашней литературы. В 1828 г. «Фигаро» был куплен известным писателем Латушем.

«Глоб» — журнал эпохи Реставрации и Июльской монархии, основанный в 1824 г., позднее — орган романтического движения во французской литературе.

Мезоннет — прозвище Лингэ, который, по словам Стендаля, был преподавателем риторки в лицее Генриха IV в 1811 г. В период Реставрации Лингэ был журналистом и личным секретарем герцога Деказа.

Монтескье (1689—1755) — один из основоположников европейского либерализма, автор «Духа законов», 1748 г., и сатирического романа «Персидские письма», 1721 г.

Детю де-Траси (1754—1836) — французский буржуазный философ-либерал, автор капитального труда «Идеология», положившего основу модной тогда науке «идеологии». Один из томов этого сочинения, озаглавленный «Логика», особенно ценился Стендалем.

Гельвеций (1715—1771) — французский философ-материалист. В 1758 г. вышла его книга «О духе», которая была осуждена на сожжение. Стендаль находился под сильным воздействием французских материалистов XVIII в. и в особенности Гельвеция, который был ему ближе других французских материалистов (с их по преимуществу метафизическим мировоззрением) вследствие сильно выраженного историзма в учении Гельвеция, характерного и для теоретических высказываний самого Стендаля.

Письмо 2.

Сент-Бев (1804—1869) — французский поэт и критик, один из вождей романтической школы. Сборник его стихов «Утешения» вышел в марте 1830 г., быть может, всего за несколько дней до письма Стендаля. Пророчество последнего осуществилось. Сент-Бев остался в литературе как критик, а не как поэт.

Монморанси — одна из древнейших аристократических фамилий во Франции.

Соути (1774—1843) — один из английских поэтов, так называемой Озерной школы. В своей первой поэме «Жанна д'Арк» он прославлял Францию в год войны Англии с революционной французской республикой. Впо-

следствии он изменил своему увлечению Великой революцией и превратился из радикала в консерватора, тори, равно как и другие представители когда-то радикальной Озерной школы. За это, повидимому, Стендаль и награждает правительственного поэта-лауреата эпитетом «бесчестный».

Нельсон (1758—1805) — английский адмирал, разбивший при Трафальгаре французский флот и убитый тогда же в бою.

Письмо 3.

Речь идет о первом издании стихотворных новелл А. де-Мюссе на экзотические — испанские и итальянские — темы («Contes d'Espagne et d'Italie»), вышедшем в 1830 г. Стендаль исправляет следующий стих Мюссе: *Mais le pêcheur se tut, car il ne croyait pas*, означающий: «Но рыбак замолчал, так как он не верил» (обещаниям обольщенной им маркизы, — не знавшей до его признания, кто он, — разделить его суровую жизнь). «*Mais il n'y croyait pas*» — исправляет Стендаль.

Адресат Стендаля, барон Адольф де-Марест, был одним из друзей писателя. Он выведен Стендалем в «Воспоминаниях эгоиста», под именем Люсенжа. Наиболее тесные отношения Стендаля с бароном де-Марестом падают на 1817—1831 годы.

Письмо 4.

В 1831 г. Стендаль был консулом в Чивита-Веккья, неподалеку от Рима. Адвокат Сальваньоло, много лет спустя, в 1848 году, был министром внутренних дел во Флоренции.

«Красное», упомянутое в конце письма, — это роман Стендаля «Красное и черное».

Письмо 6.

Ромен Коломб (1787—1858) — близкий друг и душеприказчик Стендаля, первый издатель собрания его сочинений.

Письмо 8.

«Зеленый егерь», или «Премольский лес» — первоначальные названия незакон-

ченного романа Стендаля «Люсьен Левен», вышедшего на русском языке под названием «Красное и белое».

«Римские новеллы», или повестушки, — маленькие «истории» («*Historiettes Romaines*»), — первоначальное заглавие нескольких новелл Стендаля, впоследствии названных им «*Chroniques italiennes*».

«Моя исповедь» (книга, впоследствии названная Стендалем «Жизнь Анри Брюллара») — автобиография писателя, в 1934 г. вышедшая на русском языке.

Письмо 9.

Сеттон Шарп (1797—1873) — англичанин-юрист, друг Байрона и Стендаля, с которым он состоял в долголетней переписке.

Это письмо, хотя и подписанное именем издателя второго издания книги Стендаля «О любви», написано собственноручно Стендалем.

Сап-т — специфически английское ханжество.

Письма 10—11.

Луи Крозе (род. в 1784 г.) — сверстник и близкий друг Стендаля, студент Парижской политехнической школы, с осени 1800 г. живший неподалеку от Стендаля.

Левен и т. д. — одно из заглавий неоконченного романа Стендаля, вышедшего на русском языке под заглавием «Красное и белое».

Мариво (1688—1763) — французский комедиограф и романист, один из ранних представителей буржуазного реализма. Его большие романы «Марианна» и «Удачливый крестьянин» замечательны тонким психологическим анализом поведения героев — мещан и крестьян.

Письмо 12.

Доминик, упомянутый Стендалем, — это он сам.

Письмо 13.

Арну Фреми, род. в 1809 г. — историк французской литературы и романист. Его роман «Фея Салона» вышел в 1836 году.

(Окончание следует).

Книжное обозрение

1. А. ГРИН. „Фантастические новеллы“ — Б. Анibal. Л. СОЛОВЬЕВ. „Поход „Победителя“ — Г. Тарпан. 3. Документ воинствующего идеализма — В. Е. Львов.

А. Грин.—«Фантастические новеллы». Под редакцией и со вступительной статьей Корнелия Зелинского. «Советский писатель». М. 1934. Стр. 595. Тир. 5.200 экз. Ц. 7 руб., перепл. 1 руб.

Немало читателей, не знакомых близко с творчеством Грина, предполагало, что он— писатель не русский. В этом убеждали имена героев его рассказов и романов, их сюжеты, напоминающие По и Стивенсона, и те места, где многие из них развертывались, — Зурбаган и Лисс. Однако на книгах Грина не было столь естественного подзаголовка «перевод с такого-то», а Зурбагана и Лисса никто бы не нашел ни на одной географической карте.

Автор и не был иностранцем. Если можно так выразиться, он сделал себя им. Грин, Зурбаган, Лисс, странные сюжеты и неслыханные имена действующих лиц, — все это плод поэтической выдумки русского писателя—Александра Степановича Гриневокого, не так давно умершего (1932).

Он представляет собой весьма своеобразное явление в литературе, и не только в русской. Если Кассиль, становясь взрослым, разрушил созданную им в годы детства Швамбранию и шел от нее к действительности, то Грин, наоборот, от действительности шел в свою собственную Швамбранию — «Гринландию», как ее называет в предисловии Зелинский.

Почти всю свою писательскую жизнь Грин кропотливо воссоздавал воображаемый, замкнутый в себе, мир, с воображаемыми городами и людьми, и только писательское мастерство спасло его произведения от ходульности и дурной театральности.

Сюжеты Грина в большинстве случаев необыкновенны. Это приключения на суше и на море, странные убийства, таинственные перевоплощения, соединение сказки с действительностью. Даже самый обыкновенный сюжет под его пером приобретает своеобразный экзотизм, и знакомое становится необычным, как будто автор смотрит на все сквозь очки, сдвигающие привычные соотношения и

расцветивающие окружающее незнакомыми красками.

Не только до октября, но и после, Грин не принимал действительности, он уходил от нее в свой воображаемый мир, подобно улитке, замыкающейся в свою раковину. Читая новеллы этого русского писателя, удивляешься тому, что величайшей революции для него как будто бы не существовало, несмотря на то, что она проходила на его глазах. Как индивидуалист, он постоянно противопоставляет сильного героя коллективу, невеждественному и грубому в его изображении. Грину близка мистика, болезненная мечтательность, экскурсы в область «потустороннего».

По всему этому его творчество социально нам чуждо, но у него есть чему поучиться, как у писателя,—интересной завязке, искусному развертыванию сюжета, своеобразной лаконичности во всем, точному и краткому языку.

Вступительная статья Зелинского намечает основные вехи биографии Грина и дает разбор его литературного наследства. Недостатки ее—растянутость изложения, расплывчатость определений и основной упор на сравнение Грина с Эдгаром По. Верно конечно, что Грин имеет общее с ним, но его творчество развивалось не только под воздействием автора «Приключений Артура-Гордона Пима», но также и Стивенсона, и целого ряда мелких англо-американских писателей, которые до революции во множестве переводились у нас «Миром приключений», «Аргусом» и другими журналами.

Подбор вещей в этом посмертном сборнике, претендующем подвести некий итог писательской работы Грина, прежде всего характеризует стремления и вкусы самого редактора. Подбор этот не плох, но при просмотре новелл первым возникает вопрос: почему все они огульно названы «фантастическими»?

Что например фантастического в такой новелле, как «Командант порта»? В ней перед нами портовый старичок, кочующий с корабля на корабль, чтобы поест и попить, этого старичка, иронически и любя, называют «ко-

мендантом». По смерти старичка его место безуспешно пытаются занять молодой, бесстыжий парень, для этой роли вовсе не подходящий.

Таких, совершенно не фантастических, но-вели мы насчитали более половины из числа собранных в книге. Экзотизм, столь характерный для Грина, еще не дает права называть их фантастическими—понятием, наиболее полно воплощенным Э. Т. А. Гофманом.

По-настоящему фантастической вещью можно назвать например «Крысолова»—повествование о таинственном (и невероятном!— Б. А.) перевоплощении крыс в любой человеческий образ.

«Крысолов»—мрачная новелла, развертывающаяся на фоне советской действительности 1920 года, наглядно свидетельствует о том, что Грин ничего, кроме разрушения и голода, в нашей героической действительности не видел. Да очевидно он и не хотел, и не мог видеть. В период глухой реакции, после 1905 г., уйдя в свой воображаемый мир, он так в нем и остался и, заблудившись между Зурбаганом и Лиссом, не нашел выхода к живым людям даже после Октябрьской революции.

Наиболее сильной вещью сборника является «Сто верст по реке». Фабула ее такова: герой осужден на каторгу, отсюда он совершает побег; пароход, на котором он едет, терпит аварию, тогда он, вместе со случайно присоединившейся к нему и ничего не подозревающей девушкой, продолжает свое бегство на лодке; их путешествие кончается тем, что девушка узнает его историю, дважды спасает от полицейских лап и устраивает побег за границу; в конце концов она выходит за него замуж.

Рассказ заканчивается такой фразой: «Они жили долго и умерли в один день». Точно такое же окончание находим в другой новелле—«Позорный столб». Оно характерно для Грина и говорит о том, что он вероятно все же чувствовал себя одиноким в своем воображаемом мире.

Из прочих вещей сборника отметим «Жизнь Гнора», завлеченного своим соперником по любви на необитаемый остров. Так как после Дефо занимательную робинзонаду дать трудно, Грин перенес центр рассказа на взаимоотношения соперников до и после злоключений Гнора на острове. Несмотря на это, тяжесть его злоключений автор дает почувствовать читателю. «Жизнь Гнора» написана с напряженной сдержанностью, присущей лучшим страницам Грина, но это произведение ослаблено однако «счастливым» концом, почти вычеркивающим восьмилетнюю робинзонаду героя.

Центральной по об'ему вещи сборника являются «Алые паруса». Автор называет ее «феерией», но по существу—это роман, занимающий свыше ста страниц. Тема его—воплощение сказки в действительности. Сама по себе она не нова и к тому же оформлена вяло. Уэллс например в коротеньком рассказе на ту же тему—«Человек, который мог тво-

рить чудеса»—разрешил ее занимательней и острее. «Алые паруса» в интересах читателя могли бы быть заменены двумя-тремя другими новеллами Грина, тем более, что его литературное наследие рецензируемым сборником далеко не исчерпывается, хотя он и дает понятие об основных этапах творчества этого своеобразного писателя.

Б. Анибал.

Л. Соловьев. — «Поход «Победителя». Повести и рассказы, ГИХЛ, 1934 г. Ц. 2 р. 25 к., пер. 75 коп.

В сборнике — шесть рассказов, героями которых являются представители самых разнообразных профессий. Здесь и железнодорожная администрация («Поход «Победителя»), и ученый-изобретатель («Сто двенадцатый опыт»), и рабочий («Герой труда»), и пионер («Отец»), и инженер («Колесо»), и колхозники («Новый дом»). Тематика—самая разнообразная. При известных условиях она могла бы свидетельствовать о широком кругозоре автора, смело берущего любую тему из окружающей его богатой действительности. Наоборот, при профессиональной молодости и неопытности автора такая калейдоскопичность является чаще всего признаком не силы, а слабости. В последнем случае автор, желая охватить как можно больше кусков жизни, но не владея достаточным знанием предмета, вынужден скользить по поверхности, не проникая в глубину явлений и не давая художественного их анализа. Сущность отношений между людьми, переделку человека в советских условиях, новые условия труда в социалистическом обществе, классовую борьбу и ряд других серьезнейших проблем он подменяет бытовщиной и мелочами фельетонного порядка, не типичными для советской действительности.

Л. Соловьев попытался охватить все многообразие нашей эпохи, показать ее бурное кипение, отобразить великую социалистическую стройку, увлекающую своим пафосом всех, начиная от сторожа, затерянного в пустыне железнодорожного разъезда, кончая профессором-изобретателем...

К разработке отдельных тем автор подходит добросовестно, кропотливо выписывает детали, копается в мелочах быта, но когда доходит до главного, до ответа на вопрос: какие же силы и каким образом оказывают влияние на переделку психики человека и какова сущность нового человека?—начинается скольжение: автор старается как можно быстрее отделаться от этого вопроса. Такой вывод можно сделать из анализа рассказов «Поход «Победителя», «Сто двенадцатый опыт» и «Колесо».

Сборник открывается рассказом «Поход «Победителя». Действие развертывается в обстановке маленького железнодорожного разъезда, настолько незначительного, что «в Сары-Булаке даже поезда не останавливались, кроме двадцать второго — «максимки», по требованию. Требования бывали раз в год,

потому и «максимка» обычно пролетал без остановки, мелькнув фонарями». Обстановка заброшенного в пустыню разезда много способствовала тому, что обитатели его превратились в своего рода чеховских героев, погрязших в мелочных ссорах, готовых перегрызть друг другу горло из-за неизвестно кем украденной с огорода морковки.

Но затем в этом же районе обнаружена была сера, и для эксплуатации ее решено было построить завод. Сиюю обстоятельство заброшенный разезд превратился в большую станцию, которой потребовались «новые запасные пути, тупики, пакгаузы, навесы, склады, гаражи для автомобильной колонны, бараки для рабочих, водонапорная башня и много других подсобных сооружений». Но люди остались прежние: начальник Петр Выврафович, телеграфист Моржедов, фельдшер Бегичев и «плешивый» сторож, десятки лет работавшие до этого на разезде. Автор и задался целью показать переделку этих отсталых людей, превращение их в действительных творцов социалистического общества под влиянием пафоса стройки завода.

Удалось ли автору разрешить поставленную задачу? К сожалению, не удалось. Причиной неудачи следует считать то обстоятельство, что автор увлекся описанием индивидуальных сторон жизни своих персонажей, забыв об отношениях общественных. Вот почему старание автора убедить в факте совершившейся переделки его героев, по существу, в этом не убеждает. Вся история о двумя ящиками деталей, забытых в пакгаузе заводской комиссией и доставленных на плоте «Победитель», имеет достаточно элементов случайности, включая наличие «груженного фордзонами вагона, случайно застрявшего на станции» (стр. 33). Не убедителен также эпизод с американцем-инженером, насильно высаженным на станции из скорого поезда, чтобы научить сары-булакских «пошехонцев» управлению трактором. Автор игнорирует реальную обстановку. Крупный завод, находящийся накануне пуска, обязательно будет иметь телеграфную и телефонную связь, радио, железнодорожную ветку и т. д. Поэтому незачем автору изобретать плоты с тракторами в качестве двигателей, извращая советскую действительность или же типизируя случайные явления, которые возможны как исключение.

Только однажды автор правильно подошел к разрешению задачи, указав, что «заводские рабочие прислали в Сары-Булак делегацию для заключения договора» (29), но, к сожалению, ограничился лишь этими двумя строчками. Договор повис в воздухе, и больше автор к нему не возвращается. Как выполнялся этот договор, какое влияние он оказал на организацию дальнейшей работы, поддерживалась ли и дальше связь между рабочими завода и станции,—об этом автор не считает нужным говорить.

В конце-концов Сары-Булак до конца остается захолустным разездом, с нескольки-

ми служащими-обывателями, готовыми поссориться из-за пустяка, со своими чудачествами, скрашивающими их серенькое существование...

Более значительным и во многих отношениях интересным рассказом является «Новый дом». Главный герой этого рассказа, колхозник Кузьма Андреевич Севастьянов, был в прошлом, по утверждению автора, «знаменитым рассказчиком о старине». Когда колхозники выселили кулака Хрулина, Кузьма возмел сильное желание вселиться в его дом. Для увеличения шансов на вселение Кузьма начал в колхозе работать по-ударному, шел первым по выполнению заданий. На общем собрании колхозников его выбрали членом правления, а в кулацком доме решили открыть амбулаторию. Это решение Кузьме не понравилось, но он продолжал работать по-ударному. «От дедов и отцов пердалась ему, как всякому старательному мужику, строящая хозяйская рачительность» (135), вот почему он старался работать лучше других, будучи членом правления, т. е. хозяином колхоза, старшим над другими товарищами. В результате такой работы он получил на трудодни 294 пуда хлеба и рассчитал, что на этот заработок «при нынешней цене на хлеб можно построить дом не хуже хрулинского» (176).

Этот рассказ и по замыслу, и по выполнению значительно выше и крепче остальных. Свежие образы колхозника Севастьянова и врача (к сожалению, по воле автора, человек без роду, без племени), углубленный показ их общественных отношений и наконец ясный, простой язык, без всяких выкрутасов и художественных безделушек, — все это плюсы, которые по праву нужно засчитать автору в актив. С другой стороны, нельзя не отметить излишнего пристрастия автора к чеховским персонажам. И здесь он не удержался, чтобы не втиснуть в ткань произведения чеховского фельдшера, который берет взятки и за плату выдает любые справки. Этот фельдшер третирует колхоз и колхозников, затем по собственному желанию бросает амбулаторию и безнаказанно «смывается» в город. Автор недостаточно мотивировал этот образ, не показал его нового социального содержания (напр., под углом зрения речи тов. Сталина на XVII съезде о работе в деревне).

Есть в рассказах и некоторый схематизм («Отец»), и лирическая слезоточивость: «Никто мужика не жалеет, впереди—еще неизвестно что, возьмут ли обратно в колхоз?» (стр. 158),—но все эти недочеты вполне устранимы, если автор захочет дать более глубокую оценку сущности наблюдаемых им явлений и более полно вывить как художник свое отношение к ним.

Останавливаясь на недочетах, мы вовсе не преследовали цели доказать непригодность сборника,—художественная значимость большинства рассказов несомненна: сборник в общем получился не плохой.

Следует отметить недостаточно внимательное редактирование сборника. Если бы редактор захотел, то многих ляпсусов удалось бы избежать, а они явно выширают, хотя бы в рассказе «Поход «Победителя». Например начальник разезда говорит о продолжительности своей службы в одном месте (стр. 6): «—Сорок лет. Ни одного взъскания не имею...», а на стр. 33 он же заявляет: «—Я за тридцать лет службы ни в чем замечен не был...»

Пожалуй, не мешало бы подумать также над такими определениями и сравнениями, как «медная щека», «чугунные сапоги», «булыжный кулак», «жестяные губы», «железные зубы», «чугунно-литая ботва», «железный клюв», «мозолистая нога» и т. д. Некоторые из них шаблонны, другие просто непонятны или неудачны.

Г. Тарпан.

Документ воинствующего идеализма¹⁾

В статье «Перпетуум-мобиле — последнее слово буржуазной физики»²⁾ мы подробно рассмотрели те гиперболические размеры, которые приняла в последние годы атака некоторых работающих в Западной Европе и в СССР физиков против одного из основных принципов материалистической диалектики природы — «принципа неумничтожаемости и несотворимости материи и ее движения» (Энгельс), конкретизирующегося в физике под названием закона сохранения энергии (и массы).

Новейшим и совершенно примечательным по своей откровенности из документов, когда-либо публиковавшихся молодой «сменной» физического идеализма в СССР, и является (в известной своей части) рецензируемая книга.

Минув ряд чисто информационных материалов (отрывков из монографий видных астрофизиков: Рёсселя, Дьюгена, Росселанда и др.), посвященных преимущественно эмпирическому описанию поверхности обочочки звезд, обратимся сразу к стержневым вопросам науки о мире, волнующим сейчас астрофизиков и обсуждаемым в двух статьях самого М. П. Бронштейна.

И первый из этих вопросов: что происходит внутри звезд?

Основной «силлогизм», с помощью которого пытаются вовлечь в бредовые несохраненческие построения современную астрофизику, достаточно нехитер.

В сердцевине звезд теряют свою полную применимость законы квантовой, эйнштейновской и классической механики и вступают в силу законы еще более общей «релятивист-

ской квантовой механики». Сия механика еще не разработана, и потому на нее можно валить, как на мертвого... «Можно» в частности считать, что закон сохранения энергии в этой механике неверен. Но в таком случае изнутри звезд «может» происходить сотворение энергии из ничего в любых количествах. И вопрос об источнике чудовищного звездного излучения «решается» автоматически...

«...Не представляет ли звезда гигантский регретиум мобиле первого рода?... «...Не излучают ли звезды благодаря тому, что в их глубоких слоях происходит нарушение закона сохранения энергии...» (стр. 164).

После этих риторических вопросов читателю представляется возможность ознакомиться с последним исследованием соратника М. П. Бронштейна по Ленинградскому филиалу так называемой «копенгагенской» (читай: махистско-идеалистической) школы теоретиков — Л. Д. Ландау. Исследование это гласит для примера, что внутри каждой звезды оказывается «патологическая область», которая «все время испускает β -лучи, то-есть выбрасывает электроны опромной скорости; всасывая же обратно электроны меньшей скорости, она возвращается в первоначальное состояние, причем полученный таким путем выгрыш в энергии звезда употребляет на излучение. Такой механизм может и не приводить к эволюции...» (стр. 165).

Действительно, как может эволюционировать звезда, если ее излучение происходит путем сотворения излучаемой материи и энергии из ничего?! От такого «излучения» с самой звездой очевидно ничего не делается: масса ее остается постоянной, ничто не меняется...

С полной закономерностью, будучи развито до своего логического конца, «несохранение энергии» зачеркивает таким образом (и от этого не спасает никакие дальнейшие оговорки М. П. Бронштейна) основной и величайший факт материалистической диалектики космоса, неизменно служившей путеводной нитью для астрономии со времен Гершеля. Я говорю об окончательно доказанном Рёсселем факте звездной эволюции¹⁾ — факте, гласящем, что громадное большинство звезд, разбросанных на ночном небе, являются разными стадиями развития единой звездной материи, эволюционирующей от так называемых «красных гигантов» к гигантам белым и вслед за тем к желтым и красным карликам...

Этому факту противоречат и этим фактом сразу и опрокидываются, как карточный до-

¹⁾ Основные проблемы космической физики. Сборник статей под ред. М. П. Бронштейна. Гос. научно-техническое изд-во Украины, 1934.

²⁾ «Новый мир», кн. 5-я 1934 г.

¹⁾ Это величайшее открытие (то-есть открытие самого эволюционного ряда звезд) никоим образом не умаляется неправильностью предложенного Рёсселем объяснения внутреннего механизма эволюции (разогревание звезды путем ее сжатия).

мик, все спекуляции несохраненцев в астрофизике. Но мало ли каких фактам они противоречат...

Есть среди героев Диккенса мистер Подснап, замечательный тем, что он отделивался от неугодных ему фактов, перекидывая их через плечо. Если бы этому герою сообщили для примера, что ни в одном из подведомственных релятивистской квантовой механике явлений нарушения закона сохранения энергии фактически не происходит (кажущаяся же неувязка в опыте испускания атомными ядрами электронов возникает благодаря участию «невидимых», меньших, чем электрон, частиц: нейтрино¹), — узнав об этом, мистер Подснап написал бы так, как мы читаем на страницах 164-й и 209-й сей книги: «...таким образом β -распад сопровождается нарушением закона сохранения энергии», а гипотеза же нейтрино есть «лишь иная форма гипотезы о несохранении энергии».

Процессивное и строго закономерное уменьшение массы звезд, происходящее при переходе от более ранних стадий звездной эволюции к стадиям позднейшим (масса красных гигантов всегда больше массы желтых карликов, а масса желтых карликов больше массы карликов красных) есть также факт, с совершенной точностью, количественно и качественно, подтверждающий, что излучение звезд идет на основе закона сохранения энергии и материи и, в частности, на основе превращения внутризвездных протонов и электронов нацело в фотоны света²).

Это превращение носит, как известно, техническое название «аннигиляции протонов и электронов».

Анигиляция? Вслед за нейтрино летит через плечо и аннигиляция...

«...Так как нет никаких оснований (sic!) полагать, что известный нам закон сохранения массы (или энергии) верен и в области релятивистской квантовой теории, то единственное разумное основание считать annihilation of matter (превращение звездной материи нацело в фотоны. — В. Л.) источником звездного излучения становится чрезвычайно шатким...» (стр. 164).

Ласково пожурив мистера Подснапа за «недостаточно вдумчивый подход» к закону сохранения энергии, Государственное научно-техническое издательство Украины в своем предисловии, оказывается, уже совсем в восторге от «блестящей», «заслуженной» и прочей «критики данной им (М. П. Бронштейном) тепловой смерти»...

¹ См. об этом подробно в нашей статье в кн. 5-й «Нового мира» 1934 г.

² При этом материя протонов и электронов качественно превращается — с сохранением массы — в материю фотонов, а вся внутренняя энергия протонов и электронов переходит, в свою очередь, к фотонам, которые, вылетая из звезды, уносят с собою звездную энергию в пространство.

Во второй статье нашего автора, озаглавленной «К вопросу о возможной теории мира как целого», мы читаем, что знаменитая поповская (излюбленная особенно Дж. Джинсом) идея о неизбежности так называемой «тепловой смерти мира», то-есть о шестивини вседенной от начального момента сотворения ее богом к конечному состоянию покоя (с равномерным распределением энергии на одном, низшем уровне), — что эта введенная в физику Клаузиусом идея используется «в интересах теологии» (а следовательно, в конечном счете, в интересах классового общества)... Что она, идея эта, «имеет совершенно антинаучный характер и, следовательно, должна быть отброшена» (стр. 196).

Сию констатацию, бесспорно, следует признать весьма похвальной, однако ближайшее ознакомление со статьей, взятой в целом, вскрывает перед нами истинные пружины столь темпераментной непримиримости. Этой пружиной является присказание новых «доказательств» в пользу все того же несохранения энергии.

Действительно, «божественные» выводы касательно «тепловой смерти» неразрывно связаны, как известно, с неправомерным распространением так называемого второго закона термодинамики (закрывающегося в том, что упорядоченные механические перемещения частиц имеют тенденцию самопроизвольно расстраиваться и переходить в беспорядочные тепловые движения) на всю вселенную в целом. Нельзя, таким образом, доказать ограниченную применимость второго закона без того, чтобы не задеть одновременно и легенду о тепловой смерти. Доказывая же ограниченность второго закона термодинамики вместе со всею термодинамикой, взятой в целом, можно пытаться удобно прихвалить сюда и принцип сохранения энергии. Стоит, на самом деле, наименовать принцип сохранения «первым началом термодинамики», и тогда, идя ко дну, второй закон термодинамики потянет за собою на буксире и закон первый!

«... В числе следствий у механики имеются... первое начало термодинамики (то-есть, по существу, принцип сохранения энергии) и второе начало термодинамики...» (стр. 207). Классическая и квантовая механика имеют ограниченную область применения. Поэтому «... мы можем предполагать, что оба начала термодинамики не имеют того абсолютно общего характера, каким наделили их физики XIX века, склонные догматизировать и возводить в абсолют законы, выведенные из рассмотрения оравличенной области явлений...» (стр. 209).

Все это, разумеется, совершенно неверно, так как в отличие от второго начала термодинамики, действительно являющегося узко специальным законом, регулирующим только область термомеханических превращений энергии, принцип сохранения не исчерпывается своими частными приложениями к механике и термодинамике... Являясь всеобщим диалектическим законом всякого (в том

числе и не-механического) изменения материи, этот принцип совершенно независим от второго закона термодинамики и выходит за пределы всей вообще термодинамики и механики, вместе взятых... Отождествление принципа сохранения энергии с первым законом термодинамики есть чисто механический анахронизм, восходящий к тем временам, когда считалось, что все виды физической энергии во вселенной суть разновидности механической энергии.

Здесь зарыта собака! Но еще более замечательна та конечная пристань, к которой уверенно ведет свою ладью М. П. Бронштейн.

Все основные уравнения физики не изменяются, как известно, от перемены знака входящей в них величины времени. Это обстоятельство полностью отвечает тому объективно реальному факту, что физические процессы могут с одинаковым успехом течь как в прямом, так и в обратном направлении. Без обратимости основных процессов мира, без наличия в нем, другими словами, встречных, параллельно и одновременно текущих потоков превращений не мог бы существовать вечный круговорот материи в бесконечной вселенной.

Процессы, входящие в круг зрения второго начала термодинамики, принципиально также обратимы (то-есть могут течь и в прямую, и в обратную сторону), хотя обратный процесс «самопроизвольного» перехода беспорядочных тепловых вибраций молекул — нацело — в упорядоченное механическое движение маловероятен и практически может быть сброшен со счетов. Но второй закон термодинамики, как только что сказано, верен лишь в узко ограниченной области и, во всяком случае, неприменим ко всей вселенной, взятой в целом.

Отсюда¹⁾ М. П. Бронштейн и делает свой заключительный вывод, гласящий, что основные физические процессы мирового бытия суть процессы необратимые.

¹⁾ А также и из следующего «эмпирического» соображения: если, дескать, положить в основу мира «обратимость», тогда «вообразите например такие вещи: мертвые солдаты на поле сражения встают и, пятясь, строятся в ряды; осколки от снарядов слетаются вместе и, слившись в один снаряд, летят в жерло орудия... Далее: «Мы видим на небе звезды, которые и спускают энергию, но не видим звезд, которые поглощают энергию... К этому можно было бы добавить:

Мы видим в СССР некоторых молодых людей, которые, изучая усердно физику, проповедают в ней явный идеализм и поповщину, и мы не видим стариков, которые начали бы молодеть и, уменьшаясь постепенно в размерах, впились бы обратно в утробу матери...»

Ясно, почему мы всего этого не видим. Ясно, что безусловной обратимости поддежат вовсе не вторичные процессы высшего качества, которые возникают уже как «надстроечный» эффект на фундаменте физического мира, но те первичные превращения материи, которые определяют становой и магистральный путь развития мира как целого. Таким магистраль-

«...Остается лишь возможность: объяснение вселенной, как целого, не может быть достигнуто на основе законов, симметричных по отношению к прошедшему и будущему, по отношению к замене $+t$ на $-t$... (стр. 198).

«...Вселенная есть замкнутая система, не подчиняющаяся законам симметричным по отношению к обоим направлениям времени» (стр. 195).

Сделав же этот вывод, то-есть проповедав *urbi et orbi* движение мировых процессов только в одном направлении, наш автор вздергивает немедленно над физикой флажок той самой теологии, «классовые интересы» которой он, несколькими страницами ранее, так сердито бранил. Действительно, при движении физических процессов только в одну сторону все эти процессы бесконечно давно уже должны были себя исчерпать. Все без исключения звезды, излучая энергию и распыляя свое вещество в мировом пространстве — при отсутствии встречного процесса собирания распылившейся звездной материи обратно в звезды, — бесконечно давно должны были растаять до последнего протона и исчезнуть с горизонта вселенной. Между тем мы благополучно видим их каждую ясную ночь над нашей головой. «Значит», звезды эти были сотворены некое число лет тому назад, — другого выхода нет и быть не может. Впрочем, мы забыли: «выход» есть, и эта милостиво предоставленная М. П. Бронштейном старушке вселенной возможность заключается, как уже известно, в том, что мир и звезды могут существовать вечно, но... за счет несохранения энергии. Становясь бездонными бочками, звезды М. П. Бронштейна и впрямь могут «качать» из себя энергию неограниченное число лет... Но этот выход не может никого обмануть. Ведь самый-то процесс излучения из недр звезд путем несохранения, ведь это-то процесс является чистейшим сотворением материи веществ-

ным процессом является на данном этапе физики превращение протонно-электронной материи звезд в материю фотонную.

И этот процесс обратим. Он обратим целиком и полностью, так как разлетевшиеся и расплывшиеся в необъятном пространстве фотоны, в определенных очагах мира, аккумулируются вновь, превращаясь обратно в протоны и электроны и давая начало зародышам звезд. Вместо карикатурного, рисуемого М. Н. Бронштейном (специально для того, чтобы с триумфом его опровергнуть) звездного «фильма навыворот»: несуществующих звезд, втягивающих в себя фотоны (как будто в этом состоит «обратимость» звездной радиации), мы имеем, повторяем, фактически два основных горнила превращений материи во вселенной: 1) звезды, где обычная материя переплавляется в фотонную и 2) нелокализуемые пока-что телескопами (повидимому, вследствие их холодности) очаги массового производства феноменов Жолио. Существование этих двух встречных и взаимно обратимых потоков бытия и образует вечный и бесконечный круговорот физического мира.

ва в прямом и непосредственном смысле слова. Ведь энергия неотделима от материи, и излучаемая звездами энергия, в свою очередь, не может лететь в мировом пространстве «одна», без материального носителя. Этим носителем звездной и любой вообще световой энергии и являются, как известно, материальные тельца — частички, крупинки, зернышки, — давно уже взвешенные и измеренные физиками и именуемые фотонами. Тот факт, что фотоны суть материя, несомненно констатируется самим Бронштейном на странице 162-й его книги («весьма разумно считать фотоны материей»). Значит, вместе с энергией фотонов сотворены и сами фотоны. Откуда взялись фотоны, да, откуда взялась материя звездных фотонов, — вот на этот вопрос пусть-ка ответят господа несохраненцы.

И не все ли равно: произошло ли творение мира богом единожды в начале дней, как это проповедуют квалифицированные ученые попы всех специальностей, или же это творение происходит каждаминутно и каждодневно, как это вытекает из концепции советского физика М. П. Бронштейна?

Вся «блестящая», «заслуженная» и прочая и прочая «критика» тепловой смерти в «Основных проблемах», в итоге, оказывается на проверку сводящейся не к борьбе с популярным креационизмом Клаузиуса, а к замене одного креационизма другим, во сто крат худшим.

С таких же примерно позиций «критикуют» М. П. Бронштейн и пресловутую «теорию» расширяющейся вселенной бельгийского попа Леметра («борьбу» с Леметром издатель М. П. Бронштейна также зачисляют ему в актив). Как бы вы думали, какие упреки предъявляет по адресу теории Леметра М. П. Бронштейн? За то ли он ее бранит, что она исходит из заведомо неверной, заведомо обскурантской методологической установки о конечном мире, содержащем конечное количество материи. Или за то, что конечные пространственные размеры вселенной волеизволей должны потянуть за собою и конечное время ее существования? Вовсе не за это. Теория Леметра виновата, оказывается, во-первых, в том, что ее уравнения «тесно» связаны с законом сохранения энергии, который, как мы видели, в глубоких недрах звезд, по видимому, не выпол-

няется» (стр. 214). И, во-вторых, в том, что оная теория недостаточно удовлетворительно, по мнению М. П. Бронштейна, вычисляет «такие например величины, как число протонов и электронов во вселенной или отношение радиуса мира к какой-либо из имеющихся...» и т. д. «Говоря это, — продолжает наш натурфилософ, — мы предполагаем, что понятие «радиус мира» будет иметь смысл в правильной космологической теории; это весьма вероятно... и представление о конечной расширяющейся вселенной должно... содержать какое-то зерно истины...» (стр. 214).

То-есть Леметр «не дождал» до программы-максимум, запланированной для «теории мира как целого» М. П. Бронштейном...

Купол, имеющий увенчать эту теорию, уже сейчас, можно сказать, светит путеводным маяком для одиноких путешников, терпеливо пробирающихся к странице 215-й... Выше упоминалось уже, что звезды, излучающие в порядке несохранения энергии, могут по сути дела оставаться совершенно неизменными: энергия творится сама по себе, звезда остается сама по себе. Но в таком случае и вселенная, оставленная из таких звезд, может преспокойно не развиваться, застыть на вечность в одном и том же состоянии.

«...Мы лишены пока возможности ответить на вопрос о том: стационарна ли вселенная в целом, или же история вселенной есть процесс какого-то одностороннего изменения в определенном направлении... Например вселенная, состоящая из звезд, в которых энергия возникает, и из каких-то других мест, в которых она уничтожается, могла бы быть стационарной...» (стр. 215).

Итак, спустя два тысячелетия после того, как грек провозгласил истину о том, что все меняется и все течет, спустя два столетия, в течение которых Кант и Лавлас, Ляпель и Дарвин, Гершель и Эншель неумоимо утверждали и утвердили наконец принцип изменчивости, развития, движения в науке о природе, — в 1935 году мы благополучно читаем чирканье о «стационарной вселенной». На этом можно поставить точку.

В. Е. Львов.

Редакция:

А. И. Безыменский.
Ф. В. Гладков.
В. В. Григоренко.
И. М. Гронский.
Л. М. Леонов.
А. Г. Малышкин.
В. П. Ставский.

Отв. редактор И. М. Гронский.

Издатель: «Известия ЦИК СССР и ВЦИК».